90 коп. Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1990. № 2. 1—208.

ISSN 0132-0637



2

1990



ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ОСНОВАН В МАЕ 1924 ГОДА. С 1925 ГОДА ИЗДАВАЛСЯ КАК ЖУРНАЛ ВСЕСОЮЗНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, С 1934 ГОДА — ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

2

1990

ФЕВРАЛЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Марк ПОПОВСКИЙ

Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга*

Это необычайная книга о необычайном человеке и о его невероятной судьбе. Невероятной даже на фоне нынешних публикаций, когда на читателя обрушился поток долго скрываемых сведений о героях и политических преступниках, о палачах и жертвах.

Здесь все нестандартно и насыщено парадоксами, которые в уме иностранца едва ли смогут уложиться. Только немыслимые зигзаги отечественной истории последних десятилетий способны были породить эту «жизнь» и это «житие».

Человек, о котором пойдет речь у Марка Поповского, не погиб в лагере, но прошел через все круги ада; он не был оппозиционером, однако почти на всей его биографии лежала печать изгойства. Врач, писавший научные труды в тюремной камере, он не только дождался их публикации, но и получил за них при Сталине Сталинскую премию. При этом он одновременно был и хирургом, и священнослужителем Русской Православной Церкви, архиепископом...

Я помню его уже слепым, за десять лет до его смерти в 1961 году. Помню его письма к моей матери, которые ему уже приходилось диктовать секретарше. Вокруг него складывались самые фантастические легенды. И неудивительно. Он поистине казался каким-то чудом природы, клубком противоречий. Однако, как увидит читатель, именно этот человек принадлежал к породе абсолютно цельных, как принято говорить, «высеченных из единого камня натур».

Такая фигура — настоящая находка для биографа, для психолога и историка. А Марк Александрович Поповский как раз и был неутомимым воссоздателем исторических характеров. Когда он заинтересовался профессором Войно-Ясенецким, архиепископом Лукой, он уже был автором целой серии книг о знаменитых врачах и биологах. Работал над обширной биографией академика Николая Вавилова. Приобрел опыт «охоты за документами», упорных поисков в архивах, опроса живых свидетелей.

Архиепископ привлек писателя прежде всего как ученый, как хирург. Мир Церкви, к которой принадлежал Войно-Ясенецкий, был биографу вначале непонятен и чужд. Знал он и то, что в прессе церковная деятельность прославленного врача замалчивалась. Много ли могла дать краткая справка в «Медицинской энциклопедии»?

Его держали в Симферополе, подальше от столицы. Не доверяли. Из сотен проповедей архиепископа напечатаны были лишь немногие. Не была издана и его главная богословская работа «О духе, душе и теле» (она увидела свет в Брюсселе через 17 лет после смерти ее автора).

Иные люди, разглядывая бюст лауреата Сталинской премии, недоумевали: почему у него длинные волосы и иконка на груди? А когда им объясняли, что это панагия, знак епископского сана, изумлению их не было конца...

Как бы то ни было, Поповский рискнул — и началась его эпопея по созданию книги «Жизнь и жит е Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга». Говорю «эпопея», потому что писатель не только лично успел встретиться со своим героем, но объехал все места его жизни, медицинской практики, ссылок, собирал устные рассказы и доподлинные документы. Обо всем этом он подробно рассказывает в книге.

Создавая ее, он стремился быть предельно честным, отделять вымысел от реальности, не превращать героя в «икону». Изобразить его живым в контексте мучительной и тягостной эпохи 20-х годов и сталинщины. Впрочем, его неизбежные экскурсы в историю Церкви не могли быть полными и достаточно объективными. Препятствием служили лакуны в этой истории советского периода и сама позиция автора, смотревшего на Церковь «извне». Правда, знавшим его Поповский признавался, что книга, вернее,

* by YMCA — PRESS. 1979. Paris

ее герой, как-то незаметно приблизили его к духовным проблемам. Это ощущается по мере развития повествования.

Когда труд был завершен, стало со всей очевидностью ясно, что напечатать его у нас невозможно. А к тому времени в сознании автора «Жизнь и житие» превратились в некий центр его творчества, почти в главное дело жизни. Но этого мало. Другая «центральная» для творчества Поповского биография, книга о Вавилове, хотя и вышла, однако в урезанном виде. Ведь тогда не решались открыто признать, что великий генетик, гордость русской науки, умер от истощения и холода в тюрьме.

В итоге две повести об удивительных судьбах определили и судьбу их создателя. Марк Поповский эмигрировал. Он смог наконец увидеть свои труды опубликованными, но, увы, они не дошли до тех, кому предназначались.

Между тем климат в стране менялся. Еще даже до перестройки вышло несколько статей о Войно-Ясенецком. Появляются они и сейчас. Но они не могут заменить обширной документальной повести Поповского.

Ее публикация в журнале «Октябрь» — настоящее событие.

И значение его не просто в том, что перед читателем откроется еще одна глава из отечественной истории. Он встретит л и ч н о с т ь. Человека беззаветной веры, несгибаемой воли и преданности долгу. Реального человека, а не созданного воображением. Для многих людей, особенно молодых,— это встреча исключительной важности.

Они уже узнали правду о беззакониях и зверствах, о крахе нравственных устоев, об искажении в человеке образа Божия. Знать и помнить это надо. Однако столь же необходимо говорить и о тех, кто не сдался, кто не потерял себя, кто сохранил сокровища духа в самых тяжких обстоятельствах, кто по-настоящему служил ближним. Они не были сверхчеловеками. У них были и слабости, и ошибки. Они были «людьми среди людей», как назвал Марк Поповский одну из своих книг о медиках. И именно в этом ободряющая, дающая надежду сила их примера.

Протоиерей Александр МЕНЬ

Том первый

ПРОЛОГ — ЖИТИЕ

> «Великий человек интересен не только фактами своей биографии, но и дымом сплетен, клубящихся вокруг него».
>
> В. В. ВЕРЕСАЕВ

Ходит по России странная молва, будто в советское уже время жил хирург-священник. Положит он больного на операционный стол, прочитает над ним молитву, да йодом и поставит крест на том месте, где надо резать. А уж после того берется за скальпель. И операции у того хирурга отменные: слепые прозревали, обреченные поднимались на ноги. То ли наука ему помогала, то ли Бог... «Сомнительно»,— говорят одни. «Так оно и было»,— утверждают другие. Одни говорят: «Партком служителя культа ни за что бы в операционной не потерпел». А другие им в ответ: «Бессилен партком, поскольку хирург тот не просто хирург, а профессор, и не так себе священник-батюшка, а полный епископ». «Профессор-епископ? Так не бывает»,— говорят опытные люди. «Бывает,— отвечают им люди не менее опытные.— Этот профессор-епископ еще и генеральские погоны носил, а в минувшей войне всеми госпиталями Сибири управлял».

Ходит легенда кругами. Одни говорят, будто жил профессор-епископ в Сибири, другие оспаривают: «Нет, в Крыму», третьи слыхали, что дело было в Ташкенте. И снова — разговоры, рассказы, истории: как и почему он в монахи постригся, как в тюрьме сидел, как с товарищем Сталиным беседовал и награды от генералиссимуса имел. Я и сам в журналистских своих разъездах не раз слыхал про этого человека. Сначала я просто слушал, а потом стал записывать, а записанное в тетрадку сводить. Говорили мне про епископа-хирурга рыбаки и охотники в Туруханске, крестьянки из деревни Большая Мурта, что на Енисее, врачи в Симферополе и Красноярске; верующие женщины из Тамбова; в Ташкенте много интересного добавил тамошний профессор-антрополог. Случилось потом вести разговоры на ту же тему со столичными священниками и епископами. Еще больше прояснили картину ленинградский писатель, бывший министр здравоохранения СССР и два его заместителя и брат афганского короля, проживающий ныне в Москве. Позднее, задумав писать книгу, разыскал я детей своего героя, его близких, учеников, секретаря и тех, кого он сам называл «духовными» дочерьми и сыновьями своими.

Чем больше, однако, узнавал я об удивительном старце, тем очевиднее становилось, что в рассказах современников правда самым причудливым образом сплавлена с легендой, исторические факты — с явными мифами. Порой такое присочиняли мои собеседники, что начинало казаться, что и не было его вовсе, этого хирурга-епископа. Но вступали в фугу новые голоса, выяснялись новые факты, и, освобожденный от легендарного дыма, герой прочно утверждался на почве реальности. В конце концов я составил об этом живо заинтересовавшем меня лице краткую справку, нечто вроде тех заметок, что помещают в энциклопедиях.

Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович. Род. в 1877 году в Керчи. Ум. 11 июня 1961 года в Симферополе. Хирург, доктор медицины. До 1917 года медик в ряде земских больниц средней России, позднее — главный врач Ташкентской городской больницы, профессор Среднеазиатского государственного университета. В начале двадцатых годов под именем Луки постригся в монахи, был рукоположен в сан епископа. Многократно подвергался арестам и административным ссылкам. Автор 55 научных трудов по хирургии и анатомии, а также десяти томов проповедей. Наиболее известна его книга «Гнойная хирургия», выдержавшая 3 издания (1934, 1946, 1956 гг.). Избран почетным членом Московской Духовной академии в Загорске. Награды: Премия Хойнатского от Варшавского университета (1916 г.), Бриллиантовый крест на клобук от Патриарха Всея Руси (1944 г.), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1945 г.), Сталинская премия первой степени за книги «Гнойная хирургия» и «Поздние резекции при огнестрельных ранениях суставов» (1946 г.). Умер В.-Я. в сане Архиепископа Крымского и Симферопольского.

На фотографиях облаченный в рясу старик с седой бородой. На груди — крест и знак архиерейского достоинства — панагия. Сурово и проницательно глядит он поверх или чуть сбоку стареньких, с немодной оправой очков. На некоторых снимках видны его руки — крупные, изящной формы руки хирурга.

Таков реалистический портрет нашего современника. Он и впрямь наш современник — прожил при Советской власти более сорока лет; по его книге училось несколько поколений советских хирургов. Он читал студентам лекции, произносил доклады на научных съездах и конференциях и проповеди в церквах. Его хорошо знали раненые в военных госпиталях и ссыльные, отбывавшие ссылку в Архангельске и Красноярском крае. И тем не менее этот хорошо ведомый многим людям человек еще при жизни стал обрастать легендами. Точнее будет сказать, что сама жизнь его превратилась в миф. Почему?

Проще всего предположить, что профессор-епископ, соединивший в своих руках крест и скальпель, поразил современников именно этим необычным сочетанием двух чужеродных сфер деятельности. Многолетняя пропаганда убедила граждан нашего Отечества в том, что наука и религия несовместимы, и даже более того, две эти сферы могут существовать, лишь ведя друг с другом непрерывно ожесточенную войну. И вдруг вот он — епископ и профессор. Невероятно, но факт.

Там, где нет правдивой свободной информации, рождаются мифы. Массы верующих создали не лишенный оттенка мстительности миф о епископе, исцеляющем именем Божьим. Медики, наоборот, развили в легендах образ профессора-чудака, который начинает хирургическую операцию с молитвы.

И все-таки миф о епископе Луке возник не только как «комедия обстоятельств». В нем явственно видится и «драма характеров». Хотя современников поразила ряса хирурга, но еще более удивительным показался несгибаемый, я бы сказал, х и р у р г и ч е с к и й характер епископа. Русская православная церковь, столетиями понуждаемая властями к конформизму и компромиссам, выработала тип деятеля уклончивого, дипломатического, избегающего открыто декларировать свои принципы. А тут вдруг епископ с темпераментом протопопа Аввакума, трибун, надевший крест в пору, когда другие в страхе срывали с себя церковные регалии, священнослужитель, ставящий суд Божий выше великокняжеского. Легенда!

Тому, кто обратил внимание на эпиграф, которым начата эта глава, я хочу

еще раз повторить: «Да! легенда». То, что из уст в уста передавалось и передается о Войно-Ясенецком, никогда не было сплетней. Сплетня коварна и однобока. Она искажает правду в угоду некоему злому умыслу. Мифотворчество, наоборот, тяготеет к апологетике. И хотя министр и замминистра здравоохранения СССР иначе оценивают Войно-Ясенецкого, нежели верующие крестьяне, а раненые из военных госпиталей воспринимали его по-другому, чем уголовники из пересыльных тюрем, все они — творцы легенды — создают в своих рассказах личность героическую и обаятельную. Некоторые легенды официозны, в других звучит протест. Но мифический герой — неизменный, как бы застывший во времени (мифы вообще чаще всего носят вневременной характер) — переходит из рассказа в рассказ в ореоле всенародного признания и одобрения. К прямой клевете на него современники обратились лишь однажды. Это произошло в самом начале 30-х годов, очевидно, по рекомендации ОГПУ, когда один эпизод из жизни епископа Луки сделался сюжетом трех пьес и одного романа. О художественной ценности этих произведений речь пойдет ниже. Пока же замечу, что, получив «социальный заказ», четыре литератора создали откровенно клеветнический извод мифа о церковнике, враге научного прогресса — враге народа.

Элементы клеветы встречаются также в статьях, которые в 1923 году посвящала архиепископу Луке газета «Туркестанская правда». Но, повторяю, для большинства тех, кто знал и рассказывал о Войно-Ясенецком, он — герой без страха и упрека.

В устном творчестве, посвященном архиепископу-хирургу, имеется еще одна интересная сторона. «Миф,— пишет Н. Бердяев,— есть в народной памяти сохранившийся рассказ о происшествии, совершившемся в прошлом, преодолевающий грани внешней объективной фактичности и раскрывающий фактичность идеальную, субъективно-объективную». Мифологическое сознание не делает различий между событиями естественными и сверхъестественными, обыденными и священными. В легендах о Войно-Ясенецком реальные эпизоды переплетаются не только с эпизодами сказочными, но подчас и с мистическими. И тем не менее, сопоставив мифы с фактами реальной жизни героя, я готов повторить вслед за Бердяевым: «Миф не означает чего-то противоположного реальному, а, наоборот, указывает на глубочайшую реальность».

Правда мифа нечто совсем иное, нежели жизненная правда романа, рассказа или мемуаров. Миф не содержит обобщений, он идет от единичного факта. И в то же время это не фотография. Из всей фотографической аппаратуры для мифотворчества важнее всего мощная лампа-вспышка собственной, сугубо субъективной оценки рассказчика. В ослепительном свете субъективности предметы и события теряют привычные очертания, исчезают тени, предметы произвольно сближаются или отдаляются, перемещаясь во времени и пространстве. Отчего профессор-хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий постригся в монахи? Легенда отвечает: «У профессора была красавица жена, которая занемогла; понадобилась операция, и муж решил оперировать сам; что-то у него не получилось, и молодая женщина умерла на операционном столе. Эта гибель так потрясла ученого, что он бросил науку и постригся в монахи». Таков миф. А что произошло в действительности?

Жена у Валентина Феликсовича действительно была. Красивая. (Сохранились ее фотографии.) Она болела туберкулезом и умерла в Ташкенте осенью 1919 года. Операция была ей не нужна. Операции не было. Но, похоронив 37-летнюю подругу, оставшись один с четырьмя маленькими детьми, Войно-Ясенецкий действительно пережил сильное потрясение. В монахи постригся он не сразу, а через три года. Пострижению предшествовали другие, скорее общественные, нежели личные обстоятельства. Но миф не знает категории времени, как, впрочем, и категории места. Жизнь в мифе — вечное повторение, «жизнь-цитата» (Томас Манн). Зато явственно выступает в легенде образ рассказчика. В данном случае реальные обстоятельства осмыслены в духе провинциальной мещанской мелодрамы. Рассказчику явно хотелось увидеть события «красивыми», его прельстил душещипательный и вместе с тем стандартный сюжет об умирающей жене и прозревшем муже. Такой характер мифов о Войно-Ясенецком получил наи-

более широкое распространение. Приходится согласиться с А. Гулыгой, который на страницах «Нового мира» справедливо заметил: «Если науку и философию создают интеллигенты, то миф вынашивается обычно полуинтеллигентами, недоучками, усвоившими лишь внешние признаки образованности. Миф ныне — плод не столько полного невежества, сколько полуобразования...»

Было бы, однако, неосмотрительно считать творцом легенды всякого, кто ее сообщает. Прежде чем добраться до наших ушей, миф мог пройти через много рук. Единственный неоспоримый автор мифов о В. Ф. Войно-Ясенецком был, как это ни покажется странным, сам В. Ф. Войно-Ясенецкий. И тут автор вынужден сделать отступление, чтобы объяснить свои взгляды.

Летом 1957 года я приехал в Симферополь, чтобы побеседовать с архиепископом Лукой. В том году вышла моя первая книга о людях медицинской науки. Как литератора меня интересовали не столько итоги научных поисков моих героев, сколько нравственные ситуации и конфликты, которые возникают в жизни ученого-врача. Профессор Войно-Ясенецкий показался мне наиболее подходящим героем для следующей книги, в которой я снова собирался вернуться к нравственным аспектам научного творчества. Все это я изложил секретарю епархиальной канцелярии в Симферополе. Старик секретарь выслушал светского просителя без энтузиазма, но тем не менее объяснил, что Владыка отдыхает под Алуштой, и растолковал, как туда проехать. С некоторой дозой надменности секретарь объяснил мне также, что называть архиепископа по имени-отчеству не полагается, что Владыка стар, болен, занят, а посему беседа с ним должна быть предельно краткой.

Откровенно говоря, ехал я на встречу с Войно-Ясенецким с тайным страхом, нотация секретаря епархии лишила меня остатков мужества. Воспитанному вне религии, почти не бывавшему в церкви, мне никогда не приходилось встречать живого архиерея. Вспомнился величественный портрет Луки в митре и торжественном облачении, который я видел в Ташкенте,— поди поговори с таким... Подъезжая к Алуште, я ждал самого худшего: пышности загородного епископского дома, театральности одежд и речей, той искусственной атмосферы, в которой невозможна никакая откровенная беседа, необходимая мне как писателю-биографу. Страхи, впрочем, оказались напрасными. Дача епископа в «Рабочем уголке» имела вид скромный, если не сказать невзрачный. Местные жители объяснили, что дом этот епархии не принадлежит, Лука снимает его на лето для себя и своих родственников.

Беседа наша состоялась в бедном примыкающем к даче садике. Архиепископ — высокий, грузный — вышел, поддерживаемый под локоть пожилой женщиной в черном. На нем была льняная, не раз уже, очевидно, стиранная ряса с нагрудным крестом. Седые волосы жидкими косичками спадали на спину. Старость изуродовала лицо, фигуру, даже походку архиерея, и только лоб — белый, выпуклый, красивой лепки — не поддался разрушительной работе времени, лоб да большие серые, строго глядевшие глаза — вот, пожалуй, и все, что роднило его с известными мне великолепными портретами 20-х — 30-х годов.

Я приветствовал хозяина дома. Он повернул голову на мой голос, но взгляд скользнул мимо — Владыка был слеп.

Полтора десятка лет прошло с той встречи, но я точно помню ощущение, испытанное в минуту знакомства. Не жалость и не сострадание вызывал этот очень старый человек, а почтительное удивление. За ветхими одеждами старости угадывалась порода и личность незаурядная.

Мы уселись на деревянных скамьях вокруг вкопанного в землю садового стола. Я представился. Сдерживая волнение, объяснил причину своего визита. Хотел бы услышать от профессора рассказ о его жизни.

— Вам не разрешат включить рассказ обо мне в вашу книгу,— сказал архиепископ. Голос вразлад со стариковским обликом зазвучал басовито, значительно и нисколько не расслабленно.

— Возможно, мне удастся опубликовать очерк в «толстом» литературном журнале. «Новый мир» уже предлагал мне...

— Это вам тоже не позволят сделать.— В его словах не было ни малей-

шего раздражения или досады. Просто Лука констатировал нечто хорошо и давно ему известное. И тут вдруг мне пришла в голову мысль, которую я по тогдашней своей молодости счел очень удачной: я расскажу о епископе-ученом на страницах одного из тех многочисленных журналов, которые Советский Союз издает для заграницы. В редакциях этих «Sovietland»-ов меня тогда любезно принимали.

— Да, конечно,— откликнулся своим ясным и значительным голосом архиепископ,— рассказ обо мне для заграницы возьмут у вас с большой охотой. Ведь вы тем самым подтвердите, что свобода совести у нас в стране действительно существует.— Легкое движение губ под седыми усами показало, что восьмидесятилетний крымский Владыка отнюдь не утерял чувство юмора.

Войно-Ясенецкий оказался прав: все мои попытки опубликовать его биографию в отечественных журналах вот уже многие годы натыкаются на непреодолимую преграду. И тем не менее в тот августовский день он, будто позабыв о старости, болезнях и неотложных делах, долго говорил со мной о своей жизни. Говорил очень просто, без всякой аффектации. Речь профессора текла свободно и была лишена церковных оборотов. Но в какой-то момент в совершенно светском рассказе слух уловил непривычное словосочетание: «Когда Господь Бог привел меня в город Енисейск...» Из всего предыдущего вытекало, что в город Енисейск привели Войно-Ясенецкого чины Народного комиссариата внутренних дел. Я попытался осторожно обратить на это внимание моего собеседника, но он, опять-таки не проявляя никакого раздражения, сказал, что те, в голубых фуражках, явились лишь орудием, исполнителем Высшей Воли. В его устах эта сентенция звучала так же естественно, как рассказ о хирургических операциях и читанных им университетских лекциях. За первым мистическим эпизодом последовали второй, третий. Архиепископ Лука не актерствовал, не стремился в чем-то убеждать меня. Мистические эпизоды из его автобиографии не служили какому бы то ни было возвеличению его личности в моих глазах. Скорей даже наоборот: Божество в рассказах архиепископа Луки являло себя лишь для того, чтобы наказать или предостеречь его. Явив свою безапелляционную волю, Оно бесследно исчезало до следующего решающего момента в земной биографии епископа-хирурга.

Впрочем, таких эпизодов в рассказе Войно-Ясенецкого было немного. Бо́льшая часть автобиографии носила совершенно земной, реалистический характер. Поражало другое: эпизоды, будто взятые из Жития святых, вплетались рассказчиком в реалистическую ткань без всякого насилия, как нечто самой собой разумеющееся. Бог, оказывается, числил земского врача Войно-Ясенецкого своим епископом еще в то время, когда медик работал в больнице и не помышлял о церковной деятельности. Позднее, прогневавшись на Луку, изображенный на иконе Иисус Христос резко отвернул от него свой лик. То же самое произошло тогда, когда невеста Валентина Феликсовича дала согласие на брак с ним: Христос, перед образом которого она молилась, исчез из киота. Рассказчик был абсолютно убежден в реальности потусторонних сил. Они вмешивались с единственной целью внести в его жизнь подлинный, высший смысл, придать ей более высокое значение.

Через много лет после беседы под Алуштой сестра В. Ф. Войно-Ясенецкого Виктория Феликсовна Дзенкевич передала мне три тетради его мемуаров. В тетрадях (они были записаны под диктовку секретарем архиепископа Луки Е. П. Лейнкфельд примерно года за два до его смерти) я снова нашел те же мистические моменты. Эти места поставили меня в затруднительное положение. Принимаясь за Биографию, я долго не мог решить, публиковать ли их, или опустить как недостоверное. Из тупика вывела меня уже цитированная выше мысль Н. Бердяева о мифе. Мистический сектор профессора Войно-Ясенецкого совершенно явственно подходит под бердяевское определение. Да, это миф, рассказ, «преодолевающий грани внешней объективной фактичности и раскрывающий фактичность идеальную, субъективно-объективную». А раз так, решил я, то не может быть и речи о том, чтобы исключить миф из Биографии. Пусть во все-

народно созданном житийно-мифическом жизнеописании архиепископа Луки присутствуют его собственные свидетельства.

Во время той давней и единственной встречи моей с героем Владыка между прочим сказал: тот, кто собирается описать его жизнь, ни в коем случае не должен отделять облик архиепископа Луки от лица хирурга Войно-Ясенецкого. Описанные порознь обе половины окажутся заведомо лживыми. Только двуединая Биография сможет отразить подлинное лицо и душу хирурга-епископа. Такой двуединый образ начал складываться в народной памяти задолго до того, как я задумал эту книгу. Мне удалось записать более пятидесяти легенд о Войно-Ясенецком. Поэтому, прежде чем обращаться к фактам, закрепленным в письмах, архивных документах и иных исторических материалах, выслушаем голос народа. И что бы мы ни думали, читая эти отрывочные, наивные, порой противоречивые свидетельства, не станем забывать слов крупнейшего философа и историка нашего времени Николая Бердяева: «Для меня миф не означает чего-то противоположного реальному, а, наоборот, указывает на глубочайшую реальность».

«Была у профессора-хирурга Войно-Ясенецкого жена-красавица. Заболела она и стала помирать. Зовет детей, хочет их перед смертью благословить. Старшие дети дома были. Мать их перекрестила, поцеловала и померла. Все врачи, какие ее лечили, видят: сердце не бьется, сама не дышит — мертвая лежит, совсем мертвая. А в это время приходит младший сын. Он с няней гулял. Бросился к матери: «Мамочка, мамочка». И что же вы думаете? — поднялась рука покойницы да его, младшенького, и перекрестила. И с этого случая чудесного профессор в Бога уверовал, лечить больных перестал и в монахи постригся». Так рассказывает верующая пожилая женщина из города Тамбова.

Вдова поэта М. Волошина утверждает, что дело было совсем не так:

«Когда жена умерла, он (Войно-Ясенецкий) заявил своим коллегам: «Я бросаю медицину». Врачи не хотели его отпускать. Тогда он обратился к отцам (старцам) Оптиной пустыни, чтобы они постригли его и посоветовали, как ему дальше жить. Те ответили: «В монахи постригаться, но служение твое будет в миру». Он некоторое время еще колебался между медициной и священством, но в конце концов остался и там и там».

Профессор-антрополог из Ташкента сообщает новые подробности. «После смерти жены Войно-Ясенецкий стал священником, но медицину не бросил. Ходил по городу в рясе с крестом и тем очень нервировал ташкентское начальство. Был он к тому времени главным врачом городской больницы и общепризнанным у нас первым хирургом, председателем Союза врачей. С крестом на груди читал лекции студентам в университете. Читал хорошо, студенты его любили, хотя и побаивались. Кроме операций и преподавания, много занимался Войно-Ясенецкий живописью: писал иконы для храма и анатомические таблицы для своих университетских занятий. Долго все это власти терпели, уговаривали его бросить церковные дела, но он не поддавался. Однажды рабочие полезли на крышу Кафедрального собора кресты ломать. Вышел Войно-Ясенецкий из храма, а они уже по лестнице взбираются. Он рассвирепел. Роста был высокого, широкогрудый, сильный. Тряхнул лестницу, рабочие попадали. Кто руку сломал, кто ногу. Он приказал своим санитарам их поднять и в больницу перенести, где и сделал по всем правилам хирургии необходимые операции. Некоторые говорят, что после этого случая его и арестовали. Но рассказывают и другое. Закончив операции, хирург снял халат, вымыл руки и сам отправился в милицию, где якобы заявил: «Арестуйте меня, я во гневе согрешил перед Богом и перед людскими законами».

Сам профессор Войно-Ясенецкий так описал события, последовавшие за смертью жены:

«Аня умерла 38 лет. Две ночи я сам читал над гробом Псалтырь, стоя у ног покойной в полном одиночестве. Часа в три второй ночи я читал 112-й псалом, начало которого поется при встрече архиерея в храме, и последние слова псалма поразили и потрясли меня, ибо я с совершенной ясностью и несом-

ненностью воспринял их как слова Самого Бога, обращенные ко мне: «И неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях». Господу Богу было ведомо, какой тяжелый и тернистый путь ждет меня, и тотчас после смерти матери моих детей Он Сам позаботился о них и мое тяжелое положение облегчил.

Почему-то без малейшего сомнения я принял потрясшие меня слова как указание Божие на мою операционную сестру Софию Сергеевну, о которой я знал только то, что она недавно похоронила мужа и была неплодной, то есть бездетной, и все мое знакомство с ней ограничивалось только деловыми разговорами, относящимися к операции. И однако слова «неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях» я без сомнения принял как Божий приказ возложить на нее заботы о моих детях и воспитание их.

Я едва дождался семи часов утра и пошел к Софии Сергеевне, жившей в хирургическом отделении. Я постучался в дверь. Открыв, она с изумлением отступила назад, увидев в столь ранний час своего сурового начальника.

— Простите, София Сергеевна,— сказал я ей,— я очень мало знаю вас, не знаю даже, веруете ли вы в Бога, но пришел к вам с Божьим повелением ввести вас в свой дом «матерью, радующеюся о детях».

Она с глубоким волнением выслушала, что случилось со мной ночью, и сказала, что ей очень больно было только издали смотреть, как мучилась моя жена, и страшно хотелось помочь нам, но она не решалась предложить свою помощь. Она с радостью согласилась исполнить Божье повеление о ней...»

Следующие страницы в «мемуарах» Войно-Ясенецкого посвящены тому, как он был возведен в сан епископа. История рукоположения описана им вполне реалистически. Зато на страницах ташкентской газеты «Туркестанская правда» тот же эпизод содержит все признаки мифа. В номере 121 от 12 июня 1923 года некто Горин опубликовал фельетон «Воровской епископ Лука». Если верить газете, священник-монах о. Валентин Войно-Ясенецкий — бессовестный карьерист, охваченный дьявольским тщеславием, буквально рвался к епископской митре. Унизительно пресмыкаясь перед сосланным из Уфы в Ташкент епископом Андреем (князем Ухтомским), он выклянчил у того назначение на епископскую кафедру, а затем собирался... Впрочем, предоставим слово автору мифа:

«...Жарко облобызав десницу бывшего Андрея Ухтомского, Валентин Ясенецкий в награду заполучил от него назначение викарием Томской епархии под именем епископа Барнаульского. Рукоположения же поехал он искать в богоспасенный город Пенджикент, где в ссылке томятся два других воровских архиерея Василий и Даниил. Эти воровские архиереи чисто воровским образом в Пенджикентской часовне без народа, без свидетелей и рукоположили честолюбивого Валентинушку в воровского епископа Луку... Как назначение, так и рукоположение «Валентинушки» есть действие абсолютно незаконное, как произведенное ссыльными неправомочными архиереями и вне пределов собственных епархий.

Но этим дело не исчерпывается. Сделавшись фиктивным викарием ссыльного епископа Андрея и не имея возможности показать своего носа ни в Томске, ни в Барнауле, где его встретили бы как воровского архиерея, наш хитрец Лука решил свить себе епископское гнездышко в Ташкенте. И вот 3 июля (1923 года), в воскресенье, он предстал в кафедральном соборе изумленному миру и поведал, что хоть он собственно епископ Барнаульский, но так и быть, ради благочестия местных кликуш и усердия славных воскресенских спекулянтов согласен остаться в Ташкенте, аще то благоугодно будет соборным кликушам и спекулянтам. Крики «аксиа» — «согласны» — были ему ответом. И таким образом Валентинушка Ясенецкий мечтает сделаться потихоньку-полегоньку Ташкентским и всея Туркреспублики архиереем».

В своем месте мы подробно разберем, что в легенде, вышедшей из недр «Туркестанской правды», реально, а что от нечистого. Но даже в кратких приведенных выше выдержках нетрудно обнаружить странное противоречие. Бросив профессорскую кафедру в университете и положение главного врача городской больницы, крупный ученый только из честолюбия устремляется на должность архиерея. И это в то время, когда не проходит дня, чтобы газеты не объявляли об арестах и ссылках служителей церкви. Непонятное честолюбие! Впрочем, у жанра легенды — свои закономерности...

В воспоминаниях жительницы Ташкента К. Ф. Панкратьевой образ епископа Луки окрашен в несколько иные тона. Ксении Панкратьевой было 16 лет, когда в диспансере ей сообщили, что она больна туберкулезом легких. Это известие привело девушку в смятение. С кем посоветоваться? Добрые люди порекомендовали обратиться к профессору-епископу. Девушка долго не решалась записаться на прием к знаменитости. Воспитанная в семье неверующих, она не имела нательного креста. Наконец записалась. Очередь ее дошла только через месяц. И вот заветный миг. Но перед ней вовсе не олимпиец, не обличитель нечестивых, а внимательный и дружелюбный д о к т о р. Он очень внимательно, даже дотошно осмотрел и выслушал пациентку. В ответ на ее опасения сказал, что легкие действительно слабые, но до туберкулеза далеко. Порекомендовал строгий режим питания, посоветовал поехать на кумыс. Спросил: «А есть ли у вас средства на такую поездку?» Не раз уже слыхала Ксения, что Владыка не только лечит, но и оказывает материальную помощь неимущим больным; что однажды, не имея денег, он снял с себя и отдал пациенту какой-то дорогой пояс, а в другой раз подарил бедняку-больному ковер со стены своего кабинета. Вспомнив все это, девушка поторопилась сказать, что деньги на лечение и связанную с этим поездку у нее есть. С тем Владыка и отпустил ее, благословив на дорогу.

Автор фельетона в «Туркестанской правде» закончил свое сочинение недвусмысленной угрозой расправиться с «воровским епископом». Надо заметить, что пресса и власть действовали в завидном единодушии. Войно-Ясенецкого арестовали в ту самую ночь, когда в типографии набирался номер с фельетоном. (Этот метод оправдал себя потом и в 1937 и в 1952-м годах.) Итак, гнусный честолюбец разоблачен. О чем же он думает, сидя за решеткой? Раскаивается? Со страхом ждет возмездия?

Через много лет Войно-Ясенецкий вспомнил в своих «мемуарах» следующие эпизоды, связанные с первым арестом:

«В годы своего священства и работы главным врачом Ташкентской больницы я не переставал писать свои «Очерки гнойной хирургии», которые хотел издать двумя частями и предполагал издать вскоре. Оставалось написать последний очерк Первого выпуска «О гнойных заболеваниях среднего уха и осложнениях его». Я обратился к начальнику тюремного отделения, в котором находился, с просьбой дать мне возможность написать эту главу. Он был так любезен, что предоставил мне право писать в его кабинете по окончании его работы.

Я скоро окончил Первый выпуск своей книги. На заглавном листе Первого выпуска я написал: ЕПИСКОП ЛУКА. ОЧЕРКИ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ. Так удивительно сбылось таинственное и непонятное мне Божье предсказание об этой книге, которое я получил еще в Переславле-Залесском несколько лет назад: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

А паства, простые люди? Как ответили они на фельетон в газете, который открыл им глаза на преступления тщеславного епископа? В мемуарах читаем:

«В тюрьме меня держали недолго и освободили на один день для того, чтобы я ехал свободно в Москву... (в коллегию ОГПУ.— М. П.). Утром, простившись с детьми, я отправился на вокзал... После первого, второго и третьего звонков и свистков паровоза поезд еще минут двенадцать не двигался с места. Как я узнал только через долгое время, поезд не мог двигаться по той причине, что толпа народа легла на рельсы, желая удержать меня в Ташкенте».

О медицинской деятельности профессора Войно-Ясенецкого в ссылке сохранилась следующая легенда. В Енисейске его однажды вызвали в ОГПУ. Едва он, как был в рясе и с крестом, переступил порог кабинета, чекист заорал:

— Кто это вам позволил заниматься практикой?

— Зачем же вы начинаете так разговор? — с достоинством ответил профессор.— Либо вы встаньте, либо я сяду, тогда и беседовать нам будет удобнее.

Чекист не ожидал такого ответа, растерялся, предложил «попу» сесть. Разговор пошел ровнее. Войно-Ясенецкий сказал: «Я не занимаюсь практикой в том смысле, какой вы вкладываете в это слово. Я не беру денег у больных. А отказать больным, уж извините, не имею права. Давал в университете Гиппократову клятву — помогать каждому, кто ко мне обратится...»

После этого власти стали смотреть на медицинскую практику ссыльного профессора довольно снисходительно.

На Енисее в то время свирепствовала трахома. Из-за этой болезни многие местные жители — кеты, селькупы, эвенки — теряли зрение. Бывший начальник Енисейского пароходства И. М. Назаров так передает слова, слышанные в 30-е годы от погонщика эвенка Никиты из Нижнего Имбацка: «Большой шаман с белой бородой пришел на нашу реку, поп-шаман. Скажет поп-шаман слово — слепой сразу зрячим становится. Потом уехал поп-шаман, опять глаза у всех болят». Капитан Назаров уверяет, что речь шла о ссыльном профессоре Войно-Ясенецком, который очень хорошо оперировал больных с последствиями трахомы.

У строптивого ссыльного стычки с местными властями происходили, очевидно, довольно часто. Рассказывают, что однажды зашел Лука в Енисейске в церковь, где давно уже не было служб, так как арестовали священника. Епископ взял у старосты ключи, отпер церковь и назначил литургию. Впервые за много месяцев над городом раздался колокольный звон. После службы епископа вызвали к какому-то должностному лицу. Опять тот же вопрос: «Кто разрешил?»

— А кто запретил служить? — воскликнул Владыка Лука.— Разве нам запрещено молиться Богу? Я подчиняюсь только Ему и Патриарху.

Пожилая верующая женщина, жительница Енисейска, Варвара Александровна Зырянова передает, что, по общему мнению, главные муки перенес Владыка не в Енисейске, а, как она слышала, в Нижне-Туруханске, куда его сослали за непослушание «органам» и за церковные проповеди. «Самый высокий туруханский начальник кричал на Владыку, топал на него ногами, требовал снять крест и рясу. Но, как передают, отвечал ему Владыка, что рясу сдерут у него только «вместе с кожей». Начальник тот ничего сделать не мог и задумал погубить Владыку, сослать его куда подальше на Север. (Некоторые говорят, что даже на остров Диксон!) Снарядили сани, и велел начальник вознице ехать медленно, чтобы Владыка по дороге замерз. Возница тот, молодой парень, так и сделал. Да еще вот что учинили: когда Владыка соскочил с саней погреться, возница вещички его вывалил на снег да и уехал вперед. Так Владыка сколько-то там верст на себе свои пожитки нес. Здорово поморозился, но до смерти они его в тот раз погубить не смогли».

«Во время ссылки он (Войно-Ясенецкий) был оставлен как-то в лесу в заброшенной избушке, где он погибал от голода и болезни. Экзема мокнущая поразила все тело его, все было в коростах. Но проезжая мимо избушки, крестьянин-мужичок услышал стон, подобрал его и привез в селение». Так пишет бывшая сибирская жительница К. А. Шамина.

Мучали Луку на Енисее так долго и жестоко, сообщает другой житель тех мест, что, когда к нему явились однажды чекисты сказать об его, Войно-Ясенецкого, освобождении, Лука решил, что настал его последний час и упал на колени перед иконами. Он начал жарко молиться, благодаря Бога за то, что тот берет его к Себе. Помолившись, Лука встал и спокойно сказал: «Я готов».

Сам архиепископ Лука свое возвращение из первой туруханской ссылки описывает следующим образом:

«С низовья Енисея приходили один за другим пароходы, привозя моих многочисленных товарищей по ссылке, одновременно со мною получивших тот же срок. Наш срок кончился. И эти последние пароходы должны были отвезти нас в Красноярск. В одиночку и группами приходили пароходы изо дня в день. А меня не вызывали в ГПУ для получения документов. Вечером в конце августа пришел последний пароход и наутро должен был уйти. Меня не вызвали, и я волновался, не зная, что было предписание задержать меня еще на один год.

Утром 20 августа я по обыкновению читал утреню, а на пароходе разводили пары... Первый протяжный гудок парохода. Я читаю четвертую кафизму Псалтыря... Последние слова 31-го псалма поражают меня как гром... Я всем существом воспринимаю их как голос Божий, обращенный ко мне. Он говорит:

«Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, в онъ же пойдеши; утвержу на тя очи Мои. Не будете яко конь и меск, им же несть разума, браздами и уздой челюсти их встягневши, не повинующихся тебе».

И внезапно наступает глубокий покой в моей смятенной душе... Пароход дает третий гудок и медленно отваливает... Я слежу за ним с тихой, радостной улыбкой, пока он не скрывается от взоров моих... «Иди, иди,— ты мне не нужен... Господь уготовил мне другой путь, не путь в грязной барже, которую ты ведешь, а светлый архиерейский путь!»

Через три месяца, а не через год Господь повелел отпустить меня, послав мне маленькую варикозную язву голени с ярким воспалением кожи вокруг нее. Меня обязаны были отпустить в Красноярск. Енисей замерз в хаотическом нагромождении льдин. Санный путь по нему должен был установиться только в середине января... По Енисею возили только на нартах, но для меня крестьяне достали крытый возок.

Настал долгожданный день отъезда... Я должен был ехать мимо монастырской церкви, стоявшей на выезде из Туруханска, в которой я много проповедовал, а иногда даже служил. У церкви меня встретил священник с крестом и большая толпа народа. Священник рассказал мне о необыкновенном событии. По окончании литургии в день моего отъезда вместе со старостой он потушил в церкви все свечи, но, когда для проводов меня вошел в церковь, внезапно загорелась одна свечка в паникадиле, с минуту померцала — и потухла. Так проводила меня любимая мною церковь, в которой под спудом лежали мощи Св. мученика Василия Мангазейского.

Тяжкий путь по Енисею был тем светлым путем архиерейским, который при отходе последнего парохода предсказал мне сам Бог со словами псалма 31-го: «Вразумлю тя и наставлю тя на путь, в онъ же пойдеши, утвержу на тя очи Мои».— Буду смотреть, как ты пойдешь этим путем, а ты не рвись на пароход, как конь или мул, не имеющий разума, которых надо направлять удилами и уздою.

Мой путь по Енисею был поистине архиерейским путем, ибо на всех тех остановках, в которых были приписные церкви и даже действующие, меня встречали колокольным звоном, и я служил молебны и проповедовал. От самых давних времен архиерея в этих местах не видали».

За первой ссылкой последовали вторая и третья. Директор школы в Туруханске А. Н. Бобко (прежде он учительствовал в Ташкенте) слышал в сороковые годы несколько изводов легенды о том, как и отчего Войно-Ясенецкий был сослан во второй раз.

«В конце двадцатых годов жил в Ташкенте один профессор, немолодой уже человек, женатый на очень юной особе. Профессор открыл какое-то средство для продолжения жизни и здоровья. Про это открытие проведала английская разведка. Англичане стали искать, как бы им проникнуть в дом старого профессора. В конце концов они подкупили молодую женщину, и она пообещала выкрасть у мужа секретное лекарство. Профессор почуял неладное и, чтобы спасти открытие, передал его своему коллеге профессору и епископу Войно-Ясенецкому. Дошел слух о замечательном открытии и до ОГПУ. Сотрудники ОГПУ вызвали Войно-Ясенецкого на допрос (сам изобретатель к этому времени застрелился), однако епископ наотрез отказался выдать властям доверенный ему секрет. Он заявил, что самая идея бессмертия человеческого противна Божеству. Пусть он, епископ Лука, погибнет, и это вместе с ним дьявольское открытие. Тогда-то Луку и выслали второй раз».

По другим сведениям, Войно-Ясенецкий был вовсе не наперсником профессора-изобретателя, а его идейным противником. Прослышав об открытии, он проклял ученого, который покушался на прерогативу Божества и, по слухам, даже стрелял в безбожника.

Как ни странно звучит последняя легенда, за ней, как почти за каждым из приведенных мифов, стоят факты вполне реальные. Но о них — ниже. Интересно другое. Не будучи знакомы друг с другом, творцы легендарного Жития упорно повторяют одну и ту же версию: из ссылок Войно-Ясенецкого не раз возили в столицу на Лубянку (в некоторых изводах фигурирует «сам» Берия) и предлагали отказаться от сана.

Шофер Рахманов, возивший архиепископа в Крыму, вспоминает со слов Владыки, что следователи стучали на него кулаками и требовали: «Сними рясу и будешь у нас в Кремле врачом». По другой версии, в награду за отступничество Войно-Ясенецкому обещали положение директора института хирургии и даже звание академика. Нет дыма без огня: очевидно, кое-кто в 30—40-е годы именно так и становился академиком. Но Лука ни на какие компромиссы не шел. По словам Рахманова, он будто бы даже отвечал своим гонителям, что не оставит веру, если даже его положат на раскаленную сковороду. «Я не могу раздвоить себя». Непримиримость раздражала чекистов: Луку засылали все дальше и дальше.

Зато среди сибиряков, верующих и просто пациентов, получивших исцеление из его рук, слава ссыльного епископа год из года возрастала. Ему старались угодить чем только могли: подарками (которые он, как правило, возвращал), поясными поклонами при встрече на улице. Туруханские крестьяне, по преданию, подавали Луке покрытые красным ковром сани, чтобы провезти его несколько кварталов от больницы до церкви. А енисейские речные капитаны перевозили научные рукописи Войно-Ясенецкого. Рукописи эти, как говорят, попали потом даже за границу.

Начало второй мировой войны застало Войно-Ясенецкого в третьей ссылке. Удалось записать несколько вариантов мифа о том, как епископ-хирург стал вдруг «persona grata». Одну версию сообщил бывший заключенный-лагерник, вторую — писатель, третью — ученый. Заключенные на Колыме представляли себе это событие так:

«Перед войной епископ сидел в одном из восточных лагерей. На второй день после начала войны он написал письмо на имя Сталина: «Хочу отдать свои силы на излечение раненых солдат и командиров». Очень скоро от Сталина пришла телеграмма: «Войно-Ясенецкому присвоить генеральское звание, одеть его согласно чину и направить командовать всеми госпиталями Сибири». В лагерной швальне быстренько сшили епископу китель, а сапог и брюк нужного фасона почему-то под рукой не оказалось. Так епископ и ходил по зоне: в кителе с генеральскими звездами, в ватных зэковских штанах и «танках» — подшитых резиновыми покрышками грубых ботинках. При встрече с этой странной фигурой начальник лагеря, чином майор, вытягивался во фрунт. Это очень развлекало заключенных: «Во дает, крестик!» — кричали они, от души потешаясь над униженным начальством».

Созвучна лагерному варианту и новелла, рассказанная ленинградским писателем Юрием Германом.

«В начале Великой Отечественной войны Сталин вызвал к себе академика Бурденко, главного хирурга Красной Армии.

— Что вам нужно для нормальной работы? Чем партия и правительство могут помочь фронтовым медикам? — спросил Сталин.

— Нам нужен профессор Войно-Ясенецкий,— ответил Бурденко.— Это замечательный хирург и ученый.

— А где он?

— В ссылке.

— Дадим вам вашего Войно-Ясенецкого,— ответил Сталин.

И вскоре после того Валентин Феликсович был освобожден из ссылки в деревне Большая Мурта, где-то на Енисее. Сталин сам распорядился, чтобы ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, и направили его командовать всеми госпиталями Сибири».

Ташкентскому профессору-антропологу Льву Васильевичу Ошанину события 1941 года рисуются, однако, по-иному:

«Война застала Войно-Ясенецкого в Томске... Отбывая ссылку, а потом живя в Томске, он все время оставался архиепископом. Правда, архиепископом не у дел, архиепископом без епархии. Но он продолжал ходить в архиерейском одеянии. С первого же дня на страницах «Епархиальных ведомостей» стали появляться пламенные патриотические статьи Войно, призывающие стать на защиту Родины. Месяца через три после начала войны Войно сообщили, чтобы он был готов к утру следующего дня к полету, так как его отправляют самолетом в Москву по вызову тогдашнего комиссара здравоохранения тов. Митерева. Прямо с аэродрома, как был в архиерейской одежде, он был доставлен в комиссариат здравоохранения. Митерев встретил его очень любезно, пожал руку, просил садиться. Разумеется, Митерев не называл его «Владыкой» (обычная форма обращения верующего к архиерею), он звал его просто профессором. «Так вот, мы прекрасно знаем вас не только как прекрасного хирурга и ученого, но и как пламенного русского патриота. Не согласитесь ли вы помочь нашей армии, нашим тяжело раненным бойцам? Мы предлагаем вам пост главного консультанта-хирурга большого сводного госпиталя в городе Пензе. Этот город является своего рода коллектором для гнойных раненых, которых будут направлять из госпиталей Рязани, Тулы и Мичуринска. Таким образом, госпиталь специально образуется и оборудуется для гнойных раненых». Это по прямой специальности Войно, и, следовательно, он в госпитале может продолжить свою научную работу. Войно отвечал, что он с величайшей охотой примет это место, однако при одном непременном условии: он ни в коем случае не снимет с себя архиерейского сана. Он хотел бы продолжать свою церковную деятельность.

По-видимому, для Митерева это не было неожиданностью. Он сказал, что урегулирует этот вопрос с Патриархом Алексием[1] и в Кремле с Комитетом по делам православной Церкви. Он попросил у Войно его паспорт, Войно решил, что это необходимо для отметки номера паспорта в журнале, где записывают время ухода и прихода вызванного. Минут через десять ему был вручен новый паспорт, в котором исчезли все судимости и все города-минусы.

Через несколько дней Войно был назначен главным хирургом-консультантом сводного пензенского госпиталя. Кроме того, по ходатайству Патриарха Алексия ему было разрешено своего рода негласное совместительство в качестве архиепископа Рязанского, Тамбовского и не помню еще какого. Но в госпитале он всегда ходил в халате, одетом поверх архиерейской одежды».

Миф, как уже говорилось,— жанр весьма субъективный. Как в зеркале, видится в нем культура рассказчика, степень его общественных представлений, симпатий и антипатий. Обитателям деревни Большая Мурта Красноярского края, где провел свою третью ссылку Войно-Ясенецкий (там, а не в Томске), имя академика Бурденко мало что говорило, да и нарком здравоохранения Митерев был для большемуртинцев фигурой далекой, туманной. Зато секретарь крайкома товарищ Голубев сиял для них на государственном небосклоне звездой первой величины. Неудивительно, что деревенская легенда о чудесном превращении ссыльного врача в генерала и правящего Красноярского архиерея связывает этот акт с именем первого лица в крае. Житель Большой Мурты, зоотехник Константин Иванович Стрелец, рассказывает:

«У товарища Голубева разболелась нога. Лечили его все красноярские светила. Из Новосибирска профессора привезли. А нога все хуже. Уже гангрена началась, к ампутации дело идет. А тут кто-то возьми и скажи в крайкоме: «Дак ведь у нас тут свой профессор имеется, Войно-Ясенецкий. По его методу даже в Австралии гнойные раны лечат». «А где же он?» «В Большой Мурте, ссыльный поселенец». Тут сразу к нам в Мурту самолет. Везут Луку в Красноярск. Сделал он операцию; ногу товарищу Голубеву спас. Ну уж после того товарищ Голубев его, конечно, от себя не отпускает.

Остался Лука в Красноярске».

Живописно выглядит и окончание легенды.

«В Красноярске Луку уважали, прикрепили к обкомовской столовой, из закрытого магазина все ему привозили. Открыл он в Николаевке церковь. Народ повалил в церковь валом. Верующие денег накидали несколько мешков. Зовут Луку эти деньги считать, а он и говорит: «Что мне их считать, везите все в банк, там сосчитают, пускай все идет на оборону Родины».

С николаевской кладбищенской церковью в Красноярске связывают и такой случай.

В церкви этой епископ Лука служил и проповедовал по субботам и воскресеньям. Народу всегда было полно. Живого епископа с каких пор уже в городе не видывали. И вот однажды, во время проповеди, к церковным дверям с грохотом подлетел мотоцикл и солдат-вестовой полез через толпу с пакетом к Луке. Бабы на него, конечно, зашикали, заругались. Пакет же с печатями пошел по рукам и дошел до проповедника. Епископ прервал свое слово, открыл пакет, прочитал, что там было написано, и сказал: «Православные христиане! По законам нашей церкви пастырь не должен покидать во время службы и проповеди свое место. Но вот получил я письмо, где сказано, что солдат раб Божий такой-то умирает в госпитале и нуждается в моей епископской и врачебной помощи. Да простит меня Бог, и вы простите, христиане православные, но должен я поторопиться к этому раненому». Сошел Лука с амвона, сел в мотоциклетную коляску и умчался. А верующие прихожане решают его ждать. Ждали его всю ночь. А под утро он приехал уже на машине, взошел на амвон и возгласил: «Благодарение Богу, раненный на поле брани солдат раб Божий такой-то спасен». Что тут началось! Люди падали на колени, кто «многие лета» кричит, кто молится. Ну и он благодарственный молебен отслужил. Случай этот по всему городу скоро разнесся, и на фронт из Красноярска пошло много посылок с подарками и теплыми вещами для наших бойцов».

С именем архиепископа Луки у многих красноярцев, жителей Тамбова и Симферополя связаны воспоминания о счастливых исцелениях. В народной памяти Войно-Ясенецкий выступает чаще как неотразимый хирург, но в одном дошедшем до нас эпизоде он проявил себя, по всей видимости, неплохим психотерапевтом.

«Дело было в Сибири. В одном военном госпитале лежал контуженный молодой солдат. На фронте он потерял дар речи. Врачи ничего поделать не могли. И вот однажды идет профессорский обход. Впереди сам епископ. Спрашивает врача: «А тут кто у вас лежит?» Тот докладывает: так, мол, и так, больной, лишенный речи после контузии. Архиепископ рукой эдак повел, всех из палаты выпроводил и на край койки сел. Взял солдата за руку и спрашивает: «Хочешь научиться говорить?» Тот, конечно, кивает. «Ты женщину когда-нибудь любил?» Тот кивает. «Помнишь ли имя первой, самой первой своей любимой?» Солдат кивает головой. «Назови это имя». Солдат — и-их — не получается, не может он ничего выговорить. Лука тогда встал и говорит: «Каждый день с утра до вечера тверди это имя. И с этим именем к тебе вернется речь». Прошли сутки, вторые. Солдат старается, мычит, а имени выговорить не может. На третью ночь заснули все в палате, и вдруг будит солдата сосед: «Проснись, дурень, ты же кричишь. Таню какую-то поминаешь». Проснулся солдат и заговорил. Немоты как не бывало».

А вот письмо из Тамбова. Со слов своей покойной подруги врача В. П. Дмитриевской учительница-пенсионерка О. В. Стрельцова описывает следующий эпизод:

«При обходе больных красноармейцев госпиталя Владыкой Лукой в качестве врача один больной красноармеец позволил себе обиду нанести ему, сказав — зачем здесь ходит длинноволосый. И что же получилось: в тот же вечер этому обидчику было возмездие и вразумление. Ночью в двенадцать часов случился с ним смертельный приступ, который вразумил его, и он, больной, потребовал врача с просьбой вызвать к нему Профессора, то есть Владыку Луку.

Он приехал ночью же, вошел в палату к больному, который со слезами просил прощения у Владыки-Профессора за свою обиду и умолял спасти ему жизнь, так как он, больной, чувствовал уже приближение смерти. Владыка дал команду немедленно приготовить все к срочной операции. Принесли больного, подготовили к операции. Владыка, как обычно в таких случаях поступал, спросил больного, верует ли он в Бога, так как не профессор возвратит ему жизнь, а Бог рукой доктора.

Больной, не прекращая слез, ответил, что он теперь верует и сознает, что он поплатился за грубую насмешку над Владыкой-Профессором. Владыка-Профессор, сделав очень серьезную операцию срочную, возвратил больного к жизни. Этот случай очень подействовал на всех больных госпиталя».

Другой цикл мифов ставит своей целью нарисовать, так сказать, общественное лицо архиепископа Луки, возвысив его, приблизив к «верхам».

«Хотите верьте, хотите не верьте, но у Луки в кабинете или где-то там стоял ВЧ — высокочастотный телефон для прямой связи с Москвой, с правительством. Это я вам точно говорю...» — рассказывает бывший начальник Енисейского пароходства депутат Верховного Совета и член бюро крайкома КПСС Иван Михайлович Назаров.

Это совсем не случайная, как может показаться, легенда. Российская общественная мифология всегда тяготела к верховной власти. В стране, где назначение гражданина состояло в том, чтоб исполнить высшие цели правителей, возвысить личность могло только внимание государя. Встреча с вождем! — любимейший кульминационный эпизод, воспроизведенный в десятках романов, фильмов, пьес. Современник товарища Сталина архиепископ-профессор не мог не встретиться с вождем народов. Иосиф Виссарионович, конечно же, должен был (такова мифологическая традиция!) пригреть, обласкать несправедливо пострадавшего русского патриота. И вот в письме женщины, не очень грамотной, но доброй и воспитанной в традициях своего времени, читаем:

«К Валентину Феликсовичу очень относились плохо... Когда он жил в Николаевке (район г. Красноярска.— М. П.) и служил в церкви на кладбище и когда он шел на службу в церковь, то ребятишки николаевские бросали в него камнями, били по голове, он сам рассказывал... А потом он был на приеме у Сталина. Приехал обратно в Красноярск, а у него в комнате висит касторовый черный костюм и теплые ботинки стоят, это указание было Сталина, а то он ходил в калошах на босу ногу».

Обратите внимание, как рассказчица умиленно подчеркивает: костюм был черный, касторовый, высший сорт, так сказать. А иначе какой же еще мог прислать Верховный Главнокомандующий?

Московская актриса-чтица М. М. Третьякова несколько раз встречалась и долго переписывалась с Войно-Ясенецким. Человек начитанный, она в рассказе о встрече с вождем не опускается до такой мелочи, как пара ботинок. Большие люди должны разговаривать о больших проблемах.

— Что бы вы хотели, чтобы партия и правительство сделали для вас? — спросил Сталин.

— Освободите из заточения всех священнослужителей,— якобы ответил бесстрашный архиерей.

Зубной врач К. А. Шамина также убеждена, что государственные разговоры архиепископа Луки и товарища Сталина касались судеб церкви. Один такой диалог на высшем уровне Шамина приводит дословно:

«— Иосиф Виссарионович, скажите, после окончания войны церкви опять закроют?

— Почему вы так думаете?

— Но ведь церкви открыли по настоянию англичан?..

— Нет,— ответил товарищ Сталин,— церкви закрываться не будут, ведь матери, потерявшие на войне сыновей, утешения будут искать где? В церквах только. И также жены убитых мужей».

В тесных отношениях между архиепископом Лукой и Сталиным убежден и сторож симферопольского кладбища, рассказавший автору этих строк, что после войны Владыка Лука каждую неделю летал на самолете лечить Сталина. Иосиф Виссарионович доверял только Владыке, других врачей к себе не подпускал.

Однако, насколько можно судить по легендам, примирение с высшей властью никак не отразилось на независимом характере Войно-Ясенецкого. Священник из Тамбова передает: «Направили Владыку из Сибири в наш город. Владыка в облздрав. Заведующим был тогда один армянин. Владыка ему и говорит: «Явился, дескать, в ваше распоряжение». А армянин этот увидел рясу и фыркнул: «Мы и без попов обойдёмся». А на следующий день из Москвы облздраву — телеграмма от министра здравоохранения: «К вам направляется консультантом госпиталя профессор Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука), примите его с почетом и наилучшим образом». Пришлось заведующему бежать в гостиницу и просить у Владыки прощения за свою грубость. Говорят, Владыка Лука очень строго ему тогда выговорил: «Не встречай гостя по одежке...»

В Тамбове же произошли у Войно-Ясенецкого два других многозначительных разговора с областными начальниками.

«Однажды председатель облисполкома спросил тамбовского архиепископа:

— Чем вас премировать за вашу замечательную работу в госпитале?

— Откройте городской собор.

— Ну нет, собора вам никогда не видать.

— А ничего другого мне от вас не нужно,— резко ответил Лука».

Другая встреча Владыки с председателем Тамбовского облисполкома Козыревым была для представителя власти куда менее приятной: Войно-Ясенецкий диагносцировал у него неоперабельный рак желудка. В комнате, где лежал больной, находился первый секретарь обкома партии (Волков). После осмотра он спросил: «Как это вы, профессор, не видевши никогда Бога, верите в него?» «А вы в ум человеческий верите?» — спросил Лука. «Верю». «А я не раз вскрывал человеческий череп, рассекал мозг и никакого ума там не находил».

Диалог о Боге и уме сохранился во множестве вариантов. Одни приписывают его событиям ташкентского периода жизни Войно-Ясенецкого, другие относят ко времени сибирских ссылок, третьи — к тамбовским и симферопольским временам. Скорей всего, что этот поразивший современников аргумент Войно-Ясенецкий пускал в ход неоднократно. По одному из свидетельств, во время врачебной конференции в Ялте, вскоре после войны, архиепископ Лука на вопрос о вере ответил так: «Вы не раз слышали, дорогие коллеги, эти слова: в моем сердце — любовь, в моем сердце — ненависть. Но ведь, вскрывая сердце, вы не находили в нем ничего, кроме мышц и крови. Вскрывая черепную коробку, не видели вы в ней ни ума, ни глупости. Точно так же и я не видел Бога. Но необходимо верить в то, что он есть, чтобы иметь смысл жизни. С Богом жизнь обретает цель, опору. Имея Бога в душе, наполняешься подлинным богатством».

Переезд архиепископа Луки из Тамбова в Симферополь и жизнь в Крыму также отразились в народных рассказах. Врач О. М. Новикова, сорок лет проработавшая в поликлинике Тамбовского областного управления МВД, считает, что Войно-Ясенецкого «съели попы». «Сразу после войны Валентин Феликсович получил за свои научные труды Сталинскую премию первой степени. Священники полагали, что вся премия пойдет на церковь. А он передал деньги государству, чтобы их истратили на помощь детям жертв войны. Попы рассердились, стали строчить на своего архиерея доносы, и вскоре он был переведен в другой город».

Парторг Среднеазиатского государственного университета (Ташкент), кандидат педагогических наук Ф. В. Панкратьев, бывший в Симферополе, утверждает, что жители Крыма встретили нового архиерея с восторгом. Когда Лука шел по городу, перед ним расстилали ковры, бросали ему под ноги цветы. Матери подносили ему на улице детей. Войно-Ясенецкий не только благословлял малышей, но и осматривал их (?!), давая советы, как лечить. В церкви, по словам все того же Ф. В. Панкратьева, врхиепископ читал лекции на научные темы.

В Симферополе, по рассказам, новый архиепископ поначалу активно занимался не только церковными, но и медицинскими делами: консультировал и оперировал больных в госпитале, читал лекции в научном хирургическом обществе, посещал даже ученый совет местного медицинского института. Но однажды, после очередного доклада по чисто хирургическим вопросам, ему передали просьбу председателя Крымского облисполкома: впредь на научные заседания приходить в светской одежде. После этого архиепископ Лука на заседания хирургического общества ходить перестал.

О том, что симферопольские власти были шокированы архиепископским облачением профессора Войно-Ясенецкого, свидетельствует и такая новелла:

«Архиепископ Крымский и Симферопольский имел обыкновение в своем облачении прогуливаться по городскому парку. Однажды, когда он сидел таким образом на скамье, к нему подошли два милиционера. Взяв под козырек, они со всей доступной им деликатностью обратились к Владыке:

— Вот вы, батюшка, сидите здесь с крестом на шее, а кругом дети... Неудобно получается. Какой пример получит молодежь...

— А если бы я сидел с револьвером на боку, дети бы получили лучший пример? — спросил архиепископ Лука».

Мы далеко не исчерпали мифические и полумифические рассказы из жизни нашего героя. Наскоро записанные, а чаще существующие лишь в устной традиции, рассказы эти могли бы составить большой том сугубо житийного характера. Создавать такой полный свод мифов не входит в наши звдачи. Три десятка приведенных выше свидетельств понадобилось нам лишь для того, чтобы показать, как упорно люди разной культуры, различных взглядов, молодые и старики, атеисты и верующие десятилетиями хранили память об этой странной на первый взгляд личности; как по крупице воссоздавался портрет человека, поразившего людей своей эпохи. За сорок лет, с 1921 года, когда профессор Войно-Ясенецкий постригся в монахи, до его смерти в 1961 году, сколько-нибудь полная биография ученого-иерея появлялась в печати едва ли более трех раз, да и то в таких малодоступных изданиях, как «Журнал Московской патриархии» и журнал «Хирургия». И тем не менее множество людей в разных концах страны помнили и помнят архиепископа-хирурга. Пусть не все фактически верно в легендах и мифах, пусть мифологическая биография его грешит огромными пропусками. И все же «мифография» Войно-Ясенецкого воссоздает портрет цельный, привлекательный и даже героический. Таков vox populi — глас народа об архиепископе-хирурге.

Но прежде чем окончательно расстаться с житием Владыки Луки и перейти к свидетельствам его жизни, выслушаем еще один голос. Майор запаса, офицер-фронтовик и старый член партии Даниил Белкин из Симферополя рассказывает: «В дни моей юности Крым был местом на редкость интернациональным. В нашем классе насчитывали двенадцать национальностей. Но во время войны из Крыма выселили всех нерусских — татар, греков, болгар, турок, немцев, итальянцев, даже некоторых армян, искони живших на этой территории. И вот в одно из тех послевоенных лет архиепископ Крымский и Симферопольский Лука объявил, что в следующее воскресенье в греческой церкви, которая в это время играла роль кафедрального собора, он прочтет проповедь «К иноверцам». Церковь в этот день была полна. Многие не попали внутрь и толпились на паперти. Как потом рассказывали в городе, смысл проповеди сводился к следующему: «Не верьте тем, кто ссорит между собой народы, независимо от того, находятся ли эти народы по разные стороны государственной границы или в одном государстве. От этих ссор выгадывают только наши враги. Для нашей же матери-церкви «несть ни эллина, ни иудея». Иноверцы всегда найдут у истинно верующего православного помощь и приют».

Архиепископ не ограничился тем, что произнес проповедь, которую верующие женщины тут же записали и размножили на пишущей машинке. Он послал секретаря своей епархии в синагогу с наказом повторить там текст проповеди. Интересно, что Лука знал правила поведения верующего в синагоге. Он предупредил секретаря, чтобы при входе тот надел головной убор и должным образом обратился к старосте».

Глава первая

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕНИ (1877—1917)

«Земную жизнь пройдя до половины,
Я в лес вступил...»
ДАНТЕ. «Ад»

Детство и юность замечательных людей — самая неблагодарная часть их биографии. Не догадываясь о блистательной судьбе ребенка, родные и близкие Леонардо да Винчи, Чарлза Дарвина и Роальда Амундсена не сохранили для потомков воспоминаний о детских играх и школьных проделках будущих гениев. Но еще хуже, когда факты все-таки попадают в руки историков. Тогда, глядя в перевернутый бинокль времени, биограф начинает копаться в детских пеленках героя, желая во что бы то ни стало выудить из прошлого задатки будущего величия. В лепете трехлетнего Гете обнаруживают склонность к стихотворчеству, а в скандальном поведении грудного младенца по фамилии Бонапарте видят предвестие побед при Аустерлице и Ваграме. Нет спора: личность складывается рано, очень рано. Но бесспорно и то, что мы не владеем пока методом, который позволил бы за поведением младенца увидеть, куда в действительности поворачивается парус его будущей жизни. Ретроспекция превращается в самообман.

Нелегко даются биографам и те периоды, когда выдающийся человек не совершает, по мнению современников, ничего выдающегося. В ход снова пускается система «объяснений». Если «историческая тень» закрывает несколько лет в разгар творческой жизни героя, это объясняют отсутствием подходящих внешних условий для свершения главных замыслов. Если «тень» падает на поздний возраст, говорят о несправедливом равнодушии современников, которое помешало гению до конца осуществить свои идеи. Есть, однако, ситуация, которая колеблет все «внешние» объяснения: английский поэт классик Джон Мильтон начал писать стихи почти в шестьдесят лет; великий археолог Генрих Шлиман обратился к раскопкам легендарной Трои после пятидесяти лет — до этого он оставался лишь удачливым торговцем. И тому и другому ничто вроде бы не мешало проявить себя в избранной области раньше. Но, как будто оттягивая свидание со своим звездным часом, они оба десятилетиями оставались в исторической тени. Американский художник Морзе, лишь перевалив за сорок лет, почувствовал в себе талант изобретателя. И в историю вошли не полотна молодого Морзе, а его телеграфный аппарат, созданный во второй половине жизни.

Очевидно, доступные для наблюдения внешние причины (а их-то и ищет обычно биограф) далеко не всегда адекватно изменяют судьбу творческой личности. Многое происходит в душевной глубине гения, в неких недоступных поверхностному взгляду недрах. И тогда мир обнаруживает вдруг в старике Фабре гениального энтомолога, хотя весь свой век он не был никаким ученым, а только школьным учителем.

В начале нынешнего столетия возникла школа психологов, которая считала всякую выдающуюся личность жертвой патологии. Вместо биографий великих людей ученые этого направления предлагали писать «патографии». Было написано несколько «патографий» великих писателей, артистов, ученых. Может быть, в таком подходе («выдающийся — значит ненормальный») есть свой резон, но как понять с этой точки зрения годы, проведенные гением в исторической тени, например, семь лет, которые Альберт Эйнштейн служил экономистом патентного Федерального бюро в Берне? Надо ли понимать эти годы как светлые промежутки между взрывами патологии?..

Вопрос же о «тени» заинтересовал меня потому только, что очень уж медленно приближался Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий к своему «историческому часу». Первую половину жизни прожил он без особых событий. Были, конечно, и в той первой половине его бытия и любовь, и научные открытия, и сильные переживания. Но в конечном счете все это оказалось важным только для него самого и самых близких ему людей. Исторический рубеж наступил ровно на половине жизненного пути. И глас народа — легенды — безошибочно отметил эту точку.

Первый миф, относящийся к Войно-Ясенецкому, рассказывает о смерти его жены. Анна Ланская погибла в 1919 году. С этого времени и стал он личностью исторической.

Валентину Феликсовичу было сорок два. Поступки, высказывания и труды его начали оказывать влияние на поступки и высказывания многих других, даже лично его и не знавших людей. И влияние это продолжается доныне.

Попробуем же без предвзятости оглядеть первую, так сказать, «доисторическую» часть жизни нашего героя. Не станем искать то, что так хотелось бы в ней найти — пророчества. Взглянем на факты. Может быть, они сами по себе расскажут нам, как между 1877 и 1919 годом сложился этот незаурядный характер.

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона говорится: «Войно-Ясенецкие — польские дворяне, герба Трубы, ныне состоящие в русском подданстве. Род этот русского происхождения, известен с шестнадцатого века...» Книга «Гербник Польский» поясняет, что Войно-Ясенецкие (Wojna Jasieniecki) происходят из русских князей, из Руси, а не из России. Как князья эти попали на службу к польским королям — неизвестно. Возможно, что они оказались в плену во время бесконечных стычек на спорных землях Украины и Белоруссии, а может быть, и сами предложили свои услуги одному из монархов Речи Посполитой. Так нередко бывало и до князя Курбского, и после него. Во всяком случае, род этот находился в большой чести. Константин Войно-Ясенецкий был воеводой на Луках, его сын Иван — воеводой Смоленским, сын Ивана — Александр — войсковым Витебским подвоеводой Виленским. В течение почти двух столетий мы находим имена Войно-Ясенецких среди придворных польских и литовских властителей, на высоких военных и административных должностях. Все эти местники, стольники, каштеляны, чашие, скарбники и подскарбники владели изрядными имениями в нынешней Белоруссии и Западной Украине. С конца семнадцатого века, однако, должности, которые занимают Войно-Ясенецкие, начинают мельчать, род бледнеет. Похоже, что какой-то незримый червь изгрызает корни мощного генеалогического древа. В начале восемнадцатого столетия потомки воевод и вельмож становятся прапорщиками Королевской гвардии, священниками, судьями.

В 1839 году в г. Липске вышел четвертый том геральдики польских дворянских родов. Составители книги, описывая герб Войно-Ясенецких (на красном поле сломанные стрелы, над ними полумесяц со звездой), спорили о том — три или пять страусовых перьев должны венчать шлем над щитом герба. Но здравствующим Войно-Ясенецким начала девятнадцатого века не было никакого дела до этих перьев и щитов. Владельцы пышного герба превратились в рядовых землепашцев Сенинского уезда Могилевской губернии. Дед героя нашей книги Станислав (родился около 1820 года) был мельником. Сохранилась записка, сделанная со слов Валентина Феликсовича его сыном Михаилом. Составляя список известных предков, Михаил Войно-Ясенецкий возле имени своего прадеда Станислава поставил в скобках «курная изба, лапти, на медведя с рогатиной».

Сын мельника Станислава Феликс (родился около 1855 года) первым после падения рода попытался вырваться из деревенской глуши. При поддержке какого-то мецената Феликсу Станиславовичу удалось окончить гимназию, а потом факультет фармации, сто лет назад провизор Феликс Станиславович Войно-Ясенецкий женился и открыл собственную аптеку. Очевидно, торговля шла не слишком успешно, аптеку пришлось ему открывать трижды — в Херсоне, Кишиневе и Керчи. Здесь, в Керчи, в мае 1877 года и увидел свет третий по счету ребенок неудачливого провизора — Валентин, будущий епископ Лука.

С конца восьмидесятых годов семья поселилась в Киеве. Феликс Станиславович оставил фармацию и поступил служить в страховое общество «Надежда». «Он был человеком удивительно чистой души, ни в чем не видевшим ничего дурного, всем доверявшим, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми», — вспоминает об отце Валентин Феликсович. О том же говорила и дочь

Ф. С. Виктория Феликсовна Дзенькевич (Войно-Ясенецкая). Возможно, что именно эта широко известная в городе честность Феликса Войно-Ясенецкого и выдвинула его на пост киевского агента богатейшего страхового общества страны. Контора общества находилась в самом центре города на Крещатике, напротив здания Думы. В том же доме, на третьем этаже, Войно-Ясенецкие — отец, мать, две дочери и три сына — занимали просторные комнаты.

Отец остался в памяти детей как человек несколько суетливый, но тихий и чрезвычайно аккуратный. Занятый делами службы, он мало видел свое семейство. Отдаляла его от семьи и его вера. Среди шести православных в доме он один оставался католиком. И притом католиком благочестивым. Главным лицом в семье была мать. Мария Дмитриевна, из харьковского мещанского рода Кудриных, великолепно исполняла обязанности хозяйки большого дома. Фотография начала века сохранила ее облик: полная, богато, со вкусом одетая дама; крупные черты красивого лица, волевой подбородок, решительный взгляд красивых, чуть навыкате глаз. Под строгим надзором этих глаз горничные держали квартиру в идеальном порядке, на кухне много варилось и пеклось. И не только для семьи. Мать постоянно отправляла домашнюю сдобу в тюрьму для арестантиков. В тюрьму же, чтобы арестанты могли заработать, посылали перетягивать матрацы и другую работу. Когда началась мировая война, на кухне постоянно кипятили большие бидоны с молоком — для госпитальных раненых. Мать была фантастически добра, но в отличие от добрых дел отца ее подарки и подношения носили подчеркнутый, несколько даже демонстративный характер.

Впрочем, в этом доме никто никого не упрекал и не поучал. Семья была дружной, и до беды со старшей сестрой Ольгой (она сошла с ума после ужасов Ходынки) мир, очевидно, представлялся молодым Войно-Ясенецким безмятежным. Интересы, однако, у молодежи сложились разные. Ольга, пианистка, окончила консерваторию, Павел и Владимир избрали юридическую карьеру. Первый стал впоследствии присяжным поверенным, второй — криминалистом. Валентин параллельно с гимназией посещал рисовальную школу и готовил себя к карьере художника; младшая, Виктория, твердо решила стать певицей. Характеры у мальчиков тоже с годами становились все более различными. Это особенно было заметно, когда семья выезжала на дачу в Китаево. Старший, Владимир, любитель светской жизни, на дачу не ездил, воздух гостиных казался ему достаточно свежим. Крепыш Павел, наоборот, упивался Днепром, лодочными прогулками, много плавал, рыбачил. Валентин привозил на дачу своих товарищей-художников из бедных семей. Художники рисовали на пленэре, толковали об освещении, о красках, о новых художественных течениях. За столом стеснялись, но ели с аппетитом. Потом у Валентина началось увлечение идеями графа Толстого. Он стал вегетарианцем, перебрался спать на пол. В ту пору на даче он не отдыхал, а целые дни пропадал в деревне, косил с крестьянами, укладывал стога. Родных дичился, обедать тоже предпочитал с мужиками в сарае картошкой и помидорами.

Двойной фотографический портрет (лето 1896 года, Китаево), где Валентин снят вместе с товарищем-художником, довольно точно передает характер и умонастроение 19-летнего Войно-Ясенецкого. На молодых людях одинаковые в полоску холщовые или ситцевые косоворотки. Воротники застегнуты на все пуговицы: никаких вольностей. Сидят они за столом, застеленным крестьянской вязаной скатертью. Тут же пивная кружка и бутыль, но это, несомненно, фотографическая бутафория: ни в юности, ни позднее Валентин к спиртному не прикасался. Линии лица у недавнего гимназиста еще мягкие, неопределившиеся. Но юношеский взгляд уже пытлив, глаза смотрят серьезно, вопрошающе.

Зимой в городе Валентин тоже отличался от братьев и сестер. Семья жила широко, открыто. Но Валентин в театр и в гости не ходил. Если посторонние приходили в дом, предпочитал отсиживаться в своей завешенной этюдами комнате. Девушек знакомых у него не было.

Вторая киевская гимназия, где учились братья Ясенецкие, блистала подбором лучших в городе преподавателей и талантами учеников, о ней писали как о выдающемся учебном заведении. Валентин на этом фоне учился средне, а на выпускных экзаменах весной 1896 года его ответы по алгебре и геометрии оказались среди худших. По алгебре Валентину Войно-Ясенецкому единственному в классе поставили двойку. Проверяя письменные работы выпускников по геометрии, университетский профессор Букреев отметил: «Работы... Ясенецкого, хотя и признаны удовлетворительными, однако едва ли этого заслуживают: они переполнены грубыми ошибками в логарифмах и отличаются крайней небрежностью в объяснениях». Неудивительно, что блестящее будущее в гимназические годы прочили брату Павлу, юноше легкому, компанейскому, который не только без труда учился, но и хорошо пел, играл на гитаре. Валентин же, молчаливый, необщительный, считался мальчиком средних способностей, от которого не приходится ждать сколько-нибудь серьезных жизненных успехов.

В вопросах совести и веры в семье Войно-Ясенецких, как уже говорилось, царила полная свобода. Мать была очень религиозна, усердно молилась в своей комнате, в церковь не ходила принципиально. От церкви оттолкнул Марию Дмитриевну случай, который произошел вскоре после смерти старшей дочери. Как положено по обряду, мать принесла в храм блюдо с кутьей и серебряные ложечки. Когда литургия кончилась, она заглянула в алтарь и обомлела: два священника ссорились из-за ее кутьи. «Все мое, все мое»,— твердил один. «Не отдам!» — вырывал блюдо другой.

Сыновья-юристы в доме Ясенецких излишней религиозности не проявляли, но по традиции ходили к пасхальной утрене и к выносу Плащаницы. Ни в детстве, ни позднее, в юности, родители не читали детям никаких поучений нравственного порядка. И в то же время в доме существовали какие-то непререкаемые понятия о чести, долге, ответственности. Совершенно нетерпимо относились Войно-Ясенецкие к еврейским погромам и вообще к любому проявлению антисемитизма. Когда Павла призвали в армию, домашние очень боялись за него. Беспокоились не о каком-нибудь несчастье с оружием, которое вполне возможно в казарме даже в мирное время, а о том, что новобранца могут послать с войсками совершать погромы. Это было бы позором для всей семьи. Сочувственно относились Войно-Ясенецкие к студенческим волнениям начала века. В день, когда киевское студенчество чтило память курсистки Ветровой, совершившей политическое самоубийство, вместе со всеми на улицы Киева вышли три брата. Впрочем, для Валентина это была первая и последняя демонстрация. Массовых сборищ он избегал.

Но в общем-то из всех детей Феликса Станиславовича и Марии Дмитриевны нравственные вопросы по-настоящему томили, пожалуй, только молчаливого Валентина. Юноша, живущий в великолепной квартире на Крещатике, сын обеспеченных родителей, получающий образование в лучшей гимназии города, болел той болезнью, которой от самого своего зарождения страдала русская интеллигенция. Его мучила вина перед народом, перед мужиками в деревне, перед оборванными бабами, ожидающими подаяния на церковной паперти. С середины девятнадцатого века и до самой революции 17-го года это странное, малопонятное для остального цивилизованного мира душевное страдание терзало души тысяч русских людей. Дворяне и разночинцы, славянофилы и атеисты, простецы и снобы исповедовали истину, которая казалась им непреложной. В будущем, считали они, Россию ждет явление высшей правды, победа над человеческими страданиями, преодоление дисгармонии бытия, осуществление идеальной, целостной жизни. Но не образованность, культура и цивилизация принесут в мир эту высшую правду, а сам народ: вот эти мужики, купцы, мещане. В таинственных глубинах народной жизни таится решение всех проблем. Там, в этих непостижимых для интеллигента пластах, хранятся подлинная, незамутненная вера, высшая нравственность и высшая мудрость. Ничего подобного нет на Западе и вообще нигде в мире. «Умом Россию не понять...» Надо опроститься, слиться с массой, служить ей. В этом главное назначение образованного человека, и в этом его спасение.

Юный Валентин Войно-Ясенецкий не проявил большой оригинальности, приняв расхожие взгляды своей эпохи за высшее достижение философии. Что же в этом странного? Народолюбие, религиозное преклонение перед народом пленяло на Руси таких великанов, как Достоевский и Хомяков, народовольцев, Герцена

и вождей социал-демократии. Не изжило оно себя и в наше время, 70 лет спустя. Где уж было двадцатилетнему мальчику на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков разобраться в опаснейшем предрассудке русского мессианства, который на глазах одного поколения обернулся сначала царским, а потом советским империализмом...

Но давно уже замечено, что между целями и средствами на Руси всегда пролегает глубокий овраг. Те предреволюционные учителя, врачи, агрономы, которые во имя русского мессианства ехали в деревню, чтобы учить и лечить мужика-богоносца, как правило, были людьми бескорыстными, достойными самого высокого уважения. Захватила идея служения и Валентина Войно-Ясенецкого. Уверовав в необходимость «пойти в народ», он, как это часто бывает с молодыми, чистой души людьми, начал ломать себя, втискивать свою натуру в тесные рамки априорных суждений. Вот как он сам описал впоследствии эту свою внутреннюю борьбу:

«Влечение к живописи было у меня настолько сильным, что по окончании гимназии я решил поступить в Петербургскую Академию художеств. Но во время вступительного экзамена тяжело задумался о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились тем, что я признал себя не вправе заниматься тем, чем мне нравится, и обязан заняться тем, что полезно для страдающих людей. Из Академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии уже были заняты, и мне предложили поступить на естественный факультет с тем, чтобы позже перейти на медицинский. От этого я отказался, так как у меня была большая нелюбовь к естественным наукам и ярко выраженный интерес к наукам гуманитарным: в особенности к богословию, философии, истории. Поэтому я предпочел поступить на юридический факультет и в течение года с интересом изучал историю и философию права, политическую экономию и римское право».

Через год, однако, его опять неодолимо повлекло к живописи. Войно-Ясенецкий отправился в Мюнхен, поступил в частную школу профессора Книрр. Проучился он там всего три недели, затосковал по дому, по России и вернулся в Киев. Стал с группой товарищей заниматься рисованием и живописью.

Два года прошло после окончания гимназии, а Валентин все еще не мог решиться, что ему делать... «Можно было поступить на медицинский факультет, но опять взяло раздумье народнического порядка и по юношеской горячности я решил, что нужно как можно скорее приняться за практическую полезную для народа работу. Бродили мысли о том, чтобы стать фельдшером или сельским учителем, и в этом настроении я однажды направился к директору народных училищ Киевского учебного округа с просьбой устроить меня в одну из школ. Директор оказался умным и проницательным человеком; он высоко оценил мои народнические стремления, но очень энергично отговаривал меня от того, что я затевал, и убедил поступить на медицинский факультет. Это соответствовало моему стремлению быть полезным для крестьян, так плохо обеспеченных медицинской помощью, но поперек дороги стояло мое почти полное отвращение к естественным наукам. Я все-таки преодолел это отвращение и поступил на медицинский факультет Киевского университета».

Время, пока шла эта борьба, было тяжелым для юноши еще и по другой причине: через сомнения и душевные страдания вырабатывал он в эти годы этическую и религиозную позиции — сначала захватило его учение графа Толстого. Но увлечение толстовством продолжалось недолго. В следующем году в руки молодого студента попала книжка Толстого «В чем моя вера?». Книжка была запретная, изданная за границей. В России она многих привлекла в ряды толстовцев, а Валентина Войно-Ясенецкого, наоборот, оттолкнула. Он увидел в ней, по его словам, «издевательство над православной верой». «Я сразу понял, что Толстой — еретик весьма далекий от подлинного христианства»,— записал он впоследствии. Традиционное православие — вера матери — неколебимо восторжествовало в нем навсегда.

Усилившаяся после возвращения из-за границы религиозность отразилась в картинах и набросках художника. Большинство сохранившихся рисунков той поры изображает истово молящихся мужиков и баб, странников с посохами, нищих на подворье Киевско-Печерской Лавры. Наброски сделаны карандашом сильным и точным, с ясно выраженным настроением. Сам Войно-Ясенецкий считает, что если бы он не оставил живопись, то пошел бы по пути Васнецова и Нестерова, «ибо уже ярко определилась основная религиозная тенденция в моих занятиях живописью».

Итак, двухлетняя душевная тяжба, которую Валентин Ясенецкий вел с самим собой, внешне как будто разрешилась: он окончательно оставил живопись. Но внутренние трудности кончились не сразу.

«Когда я изучал физику, химию, минералогию, у меня было почти физическое ощущение, что я насильно заставляю мозг работать над тем, что ему чуждо. Мозг, точно сжатый резиновый шар, стремился вытолкнуть чуждое ему содержание. Тем не менее учился я на сплошных пятерках и неожиданно чрезвычайно заинтересовался анатомией. Изучая кости, я рисовал их и дома лепил из глины, а своей препаровкой трупов сразу обратил внимание всех товарищей и профессора анатомии. Уже на втором курсе мои товарищи решили, что я буду профессором анатомии... На третьем курсе я со страстным интересом занимался изучением операций на трупах. Произошла интересная эволюция моих способностей: умение весьма тонко рисовать и моя любовь к форме перешли в любовь к анатомии и тонкую художественную работу при анатомической препаровке и при операциях на трупах. Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии.

Государственные экзамены я сдавал блестяще, на сплошных пятерках, и профессор общей хирургии сказал мне на экзамене: «Доктор, вы теперь знаете гораздо больше, чем я, ибо вы прекрасно знаете все отделы медицины, а я уже многое забыл...»

В знании и *понимании* анатомии достиг молодой Войно-Ясенецкий действительно высот поразительных. На абсолютном знании анатомии были построены позднее все его научные достижения. Но тем не менее память не совсем точно подсказывает автору мемуаров события шестидесятилетней давности.

Экзамена по общей хирургии в университете не было. Речь, очевидно, шла о курсе оперативной хирургии в топографической анатомии, которую читал профессор П. И. Морозов. Предмет этот Войно-Ясенецкий любил и получал за ответы только отличные отметки. Вообще же он учился хотя и неплохо, но без блеска. Пятерки далеко не всегда украшали его студенческий матрикул. Итоговые тройки он получил даже по таким предметам, как факультетская и госпитальная хирургия. Будущий блестящий хирург-глазник имел также тройки по офтальмологии и десмургии (учение о хирургических повязках). Не давалась сыну фармацевта и наука о приготовлении лекарств. В экзаменационных списках студентов медицинского факультета университета Св. Владимира профессор Ю. Лаутенбах упорно выводил студенту Войно-Ясенецкому двойки и тройки. Впрочем, все эти юношеские неудачи, как известно, мало чего стоят. Они разве что напоминают нам о провале студента Пастера по химии и Анатоля Франса по литературе.

Не едиными отметками жив студент!

На рубеже двух веков Киевский университет — одно из наиболее ярких учебных заведений страны. Список его профессуры блистает всероссийски и даже международно известными именами. На медицинском факультете преподают такие светила, как патолого-анатом В. К. Выскович, патолог В. П. Подвысоцкий, терапевты Ф. А. Леш и В. П. Образцов. Акушерство и гинекологию читал знаменитый хирург Г. Е. Рейн. Ученые стремились увлечь молодых наукой. Ежегодно факультеты объявляли несколько тем для научных исследований студентов. Лучшие работы награждались золотыми и серебряными медалями. Наиболее увлеченные наукой теснились вокруг любимых учителей. В кружках при кафедрах формировались серьезные исследователи. На естественном факультете под руководством профессора Навашина в начале девятисотых годов занимались будущий академик Н. Г. Холодный, будущий крупный цитолог профессор Г. А. Левицкий, видные в дальнейшем ботаники профессора В. Р. Заленский и В. М. Хитрово. Но

сколько ни рылся я в архивах университетов, сколько ни расспрашивал современников, нигде не обнаруживалось научной увлеченности студента Войно-Ясенецкого. Его однокурсники Александр Кан и Владимир Бергман получили золотые медали за работу о желатине как кровоостанавливающем средстве и исследование лучшего способа обеззараживания рук хирурга. Еще один однокурсник Валентина Войно-Ясенецкого, Григорий Пивоваров, человек, не лишенный общественной жилки, добился серебряной медали за труд о смертности врачей в России. Несколько других студентов в 1900—1903 годах получили за свои исследования медали имени Пирогова. Но будущий замечательный хирург Войно-Ясенецкий работ не пишет, медалей не домогается.

Глубоко будоражили в те годы университетскую массу и вопросы общественные. В мае 1901 года министр народного просвещения предложил киевской профессуре ответить на 15 вопросов. Речь шла о самых насущных проблемах высшей школы. Пока профессора редактировали ответы, составленные, кстати сказать, весьма радикально, молодежь тоже обсуждала свои рекомендации и «наказы». Но имени Войно-Ясенецкого нет ни под «наказами», ни в числе заводил студенческой общественной жизни.

В 1903 году медфак всколыхнуло другое событие. Баронесса Мейендорф, председательница Российского общества покровительства животным, обратилась в министерство народного просвещения с просьбой ограничить научные опыты над четвероногими. За спиной Мейендорф стояла сама императрица Мария Федоровна, покровительница «Общества покровителей». Меморандум о вивисекции по просьбе министра обсуждала специальная комиссия медицинского факультета Киевского университета. Профессора ответили решительно: «Ввиду невозможности прогресса медицинского знания без вивисекции, какие бы то ни было ограничения ее применения в специальных научных учреждениях недопустимы». В ответ на требование баронессы не разрешать производить опыты на животных людям, не имеющим медицинского диплома, комиссия заявила: «На неприменимость этого пункта дает ясный ответ история науки в лице химика Пастера и зоолога Мечникова». Письмо комиссии и сама акция баронессы Мейендорф вызвали страстные споры в университете. Но среди многочисленных студенческих резолюций за вивисекцию и против нее мы опять не находим Валентина Войно-Ясенецкого. Похоже, что и это событие не тронуло его сердца.

Листаю документы о политических беспорядках среди студентов-киевлян. Архивные папки рассказывают о «бунте» в университете Св. Владимира в декабре 1901 года — январе 1902 года. Образцы листовок, доносы провокаторов, записи речей, произнесенных на митингах. Студенты протестуют против так называемых «временных правил» правительства, урезающих и без того мизерные права учащейся молодежи. «Временные правила», в частности, позволяли властям отдавать бунтующих студентов в солдаты. Университет кипел, сходки, забастовки сменяли одна другую. В итоге 183 «зачинщика» призваны в армию, все студенты первого курса на всех факультетах — исключены, все студенты второго курса — оставлены на второй год. Даже Совет профессоров университета пришел в негодование по поводу этого произвола. Возникла резкая переписка между профессурой и попечителем учебного округа. В марте 1903 года новые беспорядки и новые репрессии: все студенты третьего курса оставлены на второй год, им предложено немедленно разъехаться по домам.

А Валентин? Его имени нет ни среди исключенных, ни среди курсовых ораторов, ни среди тех, кто подписывал петиции протеста. Нет нигде. Трус? Но мы знаем: вся долгая жизнь профессора Войно-Ясенецкого, епископа Луки, есть нескончаемая цепь поступков большого мужества. Может ли в зрелом возрасте стать героем тот, кто *годами* оставался трусом? Наоборот случается, и довольно часто, а *так* — что-то я не слыхал...

Не страх перед полицейскими шашками и не принадлежность к классу угнетателей удерживали Войно-Ясенецкого в стороне от общественной и политической жизни университета. Да и был ли он в стороне? На третьем курсе, в том самом «горячем» 1903 году, студенты медицинского факультета избрали Валентина Войно-Ясенецкого старостой. По некоторым свидетельствам, товарищи называли его «совестью курса». Это немалая честь быть курсовым свободно избранным старостой. Молодежь, особенно в ту накаленную пору, далеко не каждому готова была выразить таким образом свое доверие. Чем же вызвал Валентин расположение соучеников? Сам он об этом эпизоде рассказывает так: «Перед одной лекцией я узнал, что товарищ по курсу, поляк, ударил по щеке другого товарища — еврея. По окончании лекции я встал и попросил внимания. Все притихли. Я произнес страстную речь, обличавшую безобразный поступок студента-поляка. Я говорил о высших нормах нравственности, о перенесении обид, вспомнил великого Сократа, спокойно отнесшегося к тому, что его сварливая жена вылила ему на голову горшок грязной воды».

Надо полагать, этико-исторический экспромт студента-медика был довольно наивен. Да еще со ссылкой на зловредную Ксантиппу, одаявшую нечистотами своего великого мужа. Но молодые люди почувствовали в речи обычно молчаливого товарища нечто большее, чем желание одернуть драчуна. В аудитории вдруг прозвучала искренняя боль за оскорбленного человека, торжествующую несправедливость. Валентин выступал как моралист, привлекая внимание товарищей не к частностям, а к принципиальной стороне дела. И достиг своего. Его духовное, этическое первенство на курсе признали.

Вот он стоит перед моим мысленным взором — русый, богатырского роста юноша. На нем в соответствии с Правилами внутреннего распорядка университета «мундир темно-зеленого сукна... с двумя петлицами из золотого галуна...». Но в мундире, как и в ситцевой косоворотке, он остается собой, только собой. Строго и требовательно смотрят через добролюбовские очки его глаза. Нет, он вовсе не в конфликте с окружающим миром, но в то же время как-то отъединен от него. Что там под мундиром, на душе у этого странного юноши? У меня слишком мало фактов, чтобы судить об этом. Умерли современники, не сохранилось ни писем, ни дневников. А в «Мемуарах», писанных Войно-Ясенецким на восемьдесят первом году жизни, он уже и сам не в силах восстановить свой душевный мир начала столетия. И все-таки хотелось бы понять этот мир... Я принялся перебирать биографии и записки ровесников, университетских однокашников Войно-Ясенецкого, тех немногих, чьи имена остались в истории. Я искал человека, близкого по духу моему герою. Такая встреча могла, как мне казалось, кое-что объяснить и в юношеской судьбе Войно-Ясенецкого. Конечно, аналогия не доказательство. Но все же...

Почему-то все обнаруженные мною лица оказались питомцами естественного факультета. Академик И. Г. Холодный — крупный естествоиспытатель — ботаник, биофизик, микробиолог. Человек волевой, деятельный, натура рациональная. В юности массовые сходки, действия скопом. В науке — ярый дарвинист, атеист. К религии, как, впрочем, к любому инакомыслию, нетерпим. В конце жизни затравлен лысенковцами... Нет, характер явно не тот.

Другой студент — Григорий Андреевич Левицкий — стал в 20-х годах крупным цитологом. Большой труженик науки, приобрел своими работами мировую известность. Современники любили его. Оптимист, характера доброго, души светлой. Атеист, но считал религию предшественницей науки, фактором, подготовившим условия для научного творчества. Расстрелян. Жертва сталинизма и лысенкоизма. От Войно-Ясенецкого далек.

Еще один киевлянин — В. Р. Заленский. Личность очень привлекательная. А главное — более других подходит к внутреннему строю моего героя. Видный ботаник, анатом растений. Человек с большим художественным вкусом, художник и литератор, поклонник Фета. Верующий. По убеждениям демократ. Но при всем том натура слишком мягкая, податливая, склонная к компромиссам. В сталинскую эпоху трепетал, но, по счастью, уцелел и, отдышавшись, кое-как дожил свой век в провинции. Не то...

И вдруг как прозрение — Бердяев!

Николай Бердяев — выдающийся религиозный философ и писатель, родился в Киеве всего лишь на три года раньше Валентина Войно-Ясенецкого. Дворян-

ская семья, аристократы Западного края. Польская кровь. Дом пронизан католическим влиянием. В детстве, как и Войно-Ясенецкий, окончил рисовальную школу. В гимназии (в той самой, во Второй) учился скверно. Не слишком отличался прилежанием на естественном факультете университета. В студенческом движении не участвовал. Очень рано задался философскими вопросами и прежде всего философией нравственности.

Судьбы двух киевских студентов, столь похожие вначале, в дальнейшем резко разошлись. Но духовная близость их в юности несомненна. Читая книгу Н. Бердяева «Самопознание (Опыт философской автобиографии)», я не мог отделаться от мысли, что нечто подобное мог бы написать и мой герой, если бы только, как Бердяев во Франции, имел право свободного самовыражения. Душевный мир этих двух сверстников так настойчиво сливается в моем представлении, что я начал выписывать особенно поразившие меня гипотетические параллели. И странное дело: чем дольше выписывал я воспоминания Николая Бердяева о его детстве и юности, тем яснее становился внутренний образ Валентина Войно-Ясенецкого. Начитанный мальчик, штудирующий в библиотеке своего отца «Критику чистого разума» Канта и «Логику» Милля, числится в гимназии посредственным учеником. В чем дело?

«Мои способности обнаруживались лишь тогда, когда умственный процесс шел от меня, когда я был в активном и творческом состоянии, и я не мог обнаружить способностей, когда нужно было пассивное усвоение и запоминание... Я, в сущности, никогда не мог ничего пассивно усвоить, просто заучить, запомнить, не мог поставить себя в положение человека, которому задана задача. Поэтому экзамен для меня невыносимая вещь».

А вот строки о живописи:

«Я... очень увлекался живописью. У меня были довольно большие способности к рисованию... Я даже окончил рисовальную школу, три года учился. Начал уже писать масляными красками. Настоящего таланта у меня, наверное, не было, были способности. Но как только я осознал свое философское призвание... я совершенно бросил живопись».

В юности Бердяев был, очевидно, более решителен в самоопределении, чем Войно-Ясенецкий. Но обоих роднит то, что окончательное решение никогда не приходило к ним извне, а рождалось, хотя подчас и в муках, из собственных раздумий и опыта. «Я понимаю жизнь не как воспитание, а как борьбу за свободу. Я сам составлял план занятий. Никто никогда не натолкнул меня на занятия философией, это родилось изнутри. Я никогда не мог принадлежать ни к какой школе». Забегая вперед, мне хочется сказать, что точно так же, как Бердяев не знал учителей в философии, Войно-Ясенецкий не знал их в хирургии. До вершин мастерства оба дошли самостоятельно.

А вот строки, которые, кажется, специально написаны, чтобы объяснить душевное состояние Войно-Ясенецкого в студенческие годы:

«По характеру своему я принадлежу к людям, которые отрицательно реагируют на окружающую среду и склонны протестовать. Я всегда разрывал со всякой средой, всегда уходил. У меня очень слаба способность к приспособлению, для меня невозможен никакой конформизм».

«Но при этом: у меня отвращение к «политике», которая есть самая зловещая форма объективизации человеческого существа, выбрасывания его вовне. Она всегда основана на лжи. Но мое отношение к политике приводило не к уходу из мира, а к желанию изменить его».

И наконец о роли совести в жизни:

«Я антиколлективист, потому что не допускаю экстерроризацию личной совести, перенесения ее на коллектив. Совесть есть глубина личности, где человек соприкасается с Богом. Коллективная совесть есть метафорическое выражение. Человеческое сознание перерождается, когда им овладевает идолопоклонство... Идол коллектива столь же отвратителен, как идол государства, расы, нации, класса, с которыми он связан».

Мне было бы трудно найти более точные слова о внутреннем мире моего героя в пору его студенчества, чем те, что нашел Николай Бердяев.

Должен оговориться. Вкусы и принципы молодого Войно-Ясенецкого далеко не во всем соответствовали бердяевским. И все же, накладывая строки «Самопознания» на известные нам поступки Валентина Войно-Ясенецкого, поражаешься, насколько точно жизненная линия будущего философа сливалась в те далекие годы с линией жизни будущего хирурга.

Университет Валентин Феликсович окончил осенью 1903 года. Разлука с alma mater не была слишком грустной. Друзей на курсе он не завел. В памяти остался лишь один эпизод из прощальной беседы: «Когда я расставался с товарищами, они спрашивали, какую дорогу изберу я в медицине, и единодушно протестовали, когда я сказал, что намерен всю жизнь быть участковым земским врачом. Они говорили, что я предназначен не для этого, а, несомненно, для научной работы. Я протестовал, потому что никогда не помышлял об этой работе, а хотел лишь лечить крестьян, хотя бы в самой убогой обстановке». Позднее этот эпизод был повторен в «Мемуарах» архиепископа Луки, и автор еще раз подчеркнул: «Я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям». В этих словах не было ни позы, ни желания покрасоваться перед сверстниками. Дав на двадцать первом году жизни зарок служить мужику, Войно-Ясенецкий не отрекся от него до конца своей медицинской карьеры.

Однако поехать в деревню сразу после окончания университета не удалось, помешала русско-японская война. Молодому врачу предложили службу в отряде Красного Креста. Нетрудно догадаться, кто именно рекомендовал включить Войно-Ясенецкого в отряд. Университетский профессор оперативной хирургии и топографической анатомии П. И. Морозов, тот самый, что на выпускном экзамене сказал Валентину Феликсовичу: «Вы теперь знаете больше, чем я...», заведовал хирургическими курсами в Мариинской общине сестер милосердия. На базе этой общины формировалась и первая группа медиков-добровольцев. Профессор, естественно, постарался укомплектовать группу лучшими своими учениками. Недавний студент охотно принял предложение учителя.

Отряд выехал на Дальний Восток 30 марта 1904 года. На большой фотографии, помещенной в журнале «Нива», где белые длинные юбки, ослепительные воротнички и наколки миловидных сестер милосердия чередуются со строгими сюртуками и мундирами добровольцев-мужчин, мы видим и младшего врача В. Ф. Ясенецкого-Войно [2]. Он еще более возмужал, отпустил усы и бородку. На «исторических» снимках (война!) люди всегда стараются выглядеть более серьезными и значительными, чем в обыденной жизни. Для Валентина Феликсовича сосредоточенность и серьезность — естественное, обыкновенное состояние его духа. Таков он и на том общем портрете.

Месяц спустя с дороги (отряд направился в Читу) младший врач послал родным коротенькое письмо. На страничке, испещренной мелким, но четким почерком, ни слова о трудностях дороги, об отношениях с сослуживцами. Ничего временного, мелкого, случайного, что так естественно было бы в письме молодого человека, покидающего родной дом. Только почтительное удивление перед мощью природы, перед дикостью и размахом далекого края.

«Почти целый день сегодня едем тайгой. Какая глушь, какая дикая картина! Тайга не грандиозна, не величественна, но она глуха и мрачна; она какое-то лесное кладбище: бурелом, бурелом без конца, пни обломанные, мертвые стволы без вершин. Земля вся мокрая, повсюду лужи, кочки. Когда карабкаешься по этим стволам, приходят на память те бродяги, что ходили по этой тайге тысячи верст, и не верится, чтобы человек мог столько перенести. Поезд быстро мчится по тайге, и нельзя оторваться от дикой картины и от ощущения быстрой езды. Целую вас крепко, крепко, крепко. Посылаю один из множества цветов, собранных сегодня в тайге. Целую всех.

Валентин».

Жизнь в Чите продолжалась около года и ознаменовалась для Войно-Ясенецкого двумя важными событиями. Здесь впервые он получил возможность испытать себя как хирург. Здесь же, в Чите, незадолго до окончания войны, в

церкви, построенной декабристами, обвенчался он с Анной Ланской. О двух этих фактах в «Мемуарах» сказано кратко: «...В Киевском госпитале Красного Креста возле Читы... было два хирургических отделения: одним заведовал опытный одесский хирург, а другое главный врач поручил мне, хотя в отряде были еще два хирурга значительно старше меня. Однако врач не ошибся, ибо я сразу же развил большую хирургическую работу на раненых и, не имея специальной подготовки по хирургии, стал сразу делать крупные операции на костях, суставах и черепе. Результаты работы были вполне хорошими, ошибок я не делал, несчастий не бывало. В работе мне много помогала недавно вышедшая книга французского хирурга Лежара «Неотложная хирургия», которую я основательно проштудировал перед поездкой на Дальний Восток».

История женитьбы описана еще более кратко:

«В Чите я женился на сестре милосердия, работавшей прежде в Киевском военном госпитале, где ее называли «святой сестрой». Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет, и в ночь перед венчанием в церкви, построенной декабристами, она молилась перед иконой Спасителя, и вдруг ей показалось, что Христос отвернул свой лик и образ его исчез из киота. Это было, по-видимому, напоминание о ее обете, и за нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой патологической ревностью».

В первый раз я увидел портрет Анны Ланской в Ташкенте, в квартире ее дочери Елены. С тех пор прошло несколько лет, но я ясно помню тот острый укол в груди, который ощутил при первом же взгляде на фотографию. В облике умершей молодой женщины, почти девочки, мне почудилась скрытая драма. Тогда я еще не читал «Мемуаров» и не видел писем мужа к жене. Не интуицией только, а каким-то (да простит меня читатель) мужским чувством уловил я, что передо мной существо, жившее напряженной и тайной жизнью сердца. В ранних портретах тщательно скрываемая под маской девичьего благонравия упорно проступала чувственность, склонность к экзальтации, к драме. На более поздних фотографиях, когда пошли дети, эти знаки тайной сердечной смуты смягчились, стушевались. Но и после того как притомилась она от жизни и быта, в черных глазах все еще читалась какая-то неудовлетворенность, будто чем-то обожгла ее жизнь, поманила и обожгла... Этот характер явственно отразился и на детях Анны Ланской. Те двое — Елена и Алексей, что унаследовали ее облик — темные «горячие» глаза, смуглую кожу и иссиня-черные волосы, переняли и ее натуру, страстную и способную в области чувств доходить до экзальтации. Жизнь сердца у этих детей своей матери оказалась значительно сильнее жизни ума.

Как же соседствовало это трепетное сердце рядом с человеком, для которого высшую ценность имели разум, воля и аскетически понятое чувство долга?

«Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера»,— рассказывал Валентин Феликсович о жене своим близким. И, очевидно, не кривил душой. Так оно и было. А она?

Я читал где-то, что в тени знаменитости всегда таится страдающая женщина. Тень, падающая от крупной личности Войно-Ясенецкого, несомненно, заслоняет от нас душевный мир его подруги. И все же я, как мог, постарался понять эту драму. Внешние обстоятельства не давали разгадки. Анна была для Валентина Феликсовича его единственной женщиной — так говорят современники. Его письма к жене тоже мало что объясняют. Письма эти и через три, и через десять лет после венчания полны нежного, теплого дружелюбия. Между 1907-м и 1913-м годами у Войно-Ясенецкого родилось четверо детей: три мальчика и девочка. В одном случае отцу пришлось быть даже акушером и принять собственного сына. И все-таки нет гармонии в этих разумных, расчисленных супружеских отношениях. «Анна ревновала брата, ревновала ко всем: к больным, к сослуживцам, к случайным знакомым. Однажды даже травилась,— вспоминает сестра Валентина Феликсовича Виктория Феликсовна Дзенькевич.— Я ездила к ним, когда они жили в Переславле-Залесском. Квартира просторная, Валентина в городе уважали... Анна была хорошая хозяйка, всегда цветущего здоровья. Но эта болезненная ревность...»

Дочь Войно-Ясенецких Елена, явно не желая впускать посторонних в интимную жизнь родителей, тем не менее подтверждает:

«Мама не лишена была ревности. Помню, она ревновала его к врачихе Михневич и к какой-то больной у папы, которую называли «гнилушкой». Папа очень тяготился этой ревностью, и мне кажется, что бедная мама ревновала напрасно, так как папа был очень строг к себе и очень любил маму». И еще. «Конечно, мама была морально не удовлетворена, так как папа всегда был занят. Мама не была веселой, не стремилась к развлечениям, но немножко радости ей, конечно, хотелось. Мама любила одеваться. У нее было много нарядных платьев, она хорошо шила. И дома всегда была подтянута, хорошо одета...»

Я снова гляжу в горячие глаза Анны Ланской. Мне известна теперь в самых малых подробностях жизнь ее мужа. Он тяжело трудился в земских больницах, еще больше над своей огромной по материалу докторской диссертацией. Человек строго моральный, он отметал самую мысль о возможности измены. Предан был дому, семье, детям. Наконец, он любил ее. Что за глупость ревновать такого мужа?

Нет, она не была глупой, Анна Ланская. Но она была женщиной, до кончиков ногтей женщиной. Она ждала яркой, сильной, особенной любви. Она отказала двум военным врачам, сделавшим ей предложение в Киевском госпитале. Они были обыкновенными. Она ждала необыкновенного и дождалась его. Это он, одухотворенный, мужественный и чистый молодой доктор, ломавший себя ради счастья других, конечно же, должен был принести счастье и ей, Анне. Но почему-то этого не произошло. Валентин Феликсович всегда был погружен в дела. Он разговаривал с больными, врачами, медицинскими сестрами, а для нее у него не хватало времени. Так ей казалось. Да, он хороший семьянин и муж. Но утром за столом он читает книгу, потом уезжает на целый день в больницу, потом — частный прием больных, а вечером он удаляется в свой кабинет, чтобы снова читать и писать до глубокой ночи. Приезд гостей — редчайший случай, прогулка в лесу — почти невероятное счастье. А годы идут. И копится горечь в душе, прорываясь всякий раз наружу по какому-то пустяковому, глупому случаю. Сам Валентин Феликсович, и его сестра, и добродушная нянюшка в семье Войно-Ясенецких, и Елизавета Никаноровна — все считают Анну Васильевну ревнивой. А она вовсе не ревнива. Она только женщина, женщина, ожидавшая большой любви.

Студенты Киевского университета, узнав что их талантливый товарищ собирается посвятить жизнь земской медицине, имели достаточно оснований для недоумения. Кто же не знает, что пойти в земские доктора значило погубить свою карьеру! Незадолго до выпуска приват-доцент Михайлов прочитал будущим врачам своеобразный курс «деревенской» хирургии. Лектор напомнил об убожестве уездной больнички; после настоящего учения об асептике и антисептике он нарисовал картину асептики и антисептики «применительно к обстоятельствам». Приват-доцент объяснял своим слушателям, как пользоваться упрощенными дешевыми стерилизаторами, как приготовлять и применять дешевый перевязочный материал (лигнин, пеньку, кудель, мох). После блеска университетских операционных молодые медики узнали об операционных, где кетгут и шелк приходится заменять льняными нитями, и конским волосом, и сухожилиями животных. Курс Михайлова предназначался для тех, кто собирался стать земским врачом. Однокурсники Войно-Ясенецкого, надо полагать, восприняли учение о кудели и конском волосе с юмором. Они не собирались покидать больших городов, где почтенная профессия частно практикующего или больничного врача гарантировала им комфорт и спокойную жизнь без всяких этих вызовов среди ночи и поездки на крестьянских лошадях за тридцать верст к не разродившейся в срок бабе.

Новый тип «мужицкой» медицины возник лишь за сорок лет перед тем. До 1864 года Российская империя, в которой 90 процентов подданных были сельские жители, вообще не имела в провинции научно образованных врачей. Создать сельскую медицину на беспредельных просторах страны при крайней рас-

сеянности населения, при его низкой культуре и ничтожности земских средств казалось делом совершенно немыслимым. И тем не менее российская интеллигенция с энтузиазмом приняла на свои плечи судьбы народного здравия. «То, чему земство пришло на смену в области здравоохранения, было поистине ужасно»,— писал известный земский деятель А. И. Шингарев. На всем громадном пространстве 350 земских уездов, где проживало тогда 38 миллионов жителей, существовало лишь 351 лечебное учреждение «приказа общественного призрения». В основном это были маленькие амбулатории в уездных городах. В сельских местностях больниц не было совсем, не было их и в некоторых уездных городах.

Энергия земцев произвела поразительный переворот в деревенской медицине. К 1890 году число лечебных учреждений в уездах возросло более чем втрое, а число больничных кроватей в два с половиной раза. Более семисот больниц и амбулаторий земцы открыли заново. Им приходилось все начинать сначала. Европа с ее долгой культурной историей и скромными географическими пространствами мало чему могла научить русских организаторов здравоохранения. Их учила жизнь. Между прочим, недостаток средств, больниц, медиков-специалистов привел к тому, что земский врач с самого начала стал практиком-энциклопедистом. Он должен был лечить больных по всем специальностям. И лечил, переходя в течение рабочего дня от офтальмологии к хирургии, от стоматологии к детским болезням. Хорошо это или плохо, судить не станем. Для той эпохи, для российской глухомани врачебный энциклопедизм был спасением. Можно лишь удивляться героям-врачам, которые в нищенских условиях земской больницы не только безукоризненно исполняли свой профессиональный долг, но еще находили силы делать большую науку. Двадцать три мужицких врача вышли впоследствии в видные профессора: К. Г. Хрущев (Воронежская губерния), С. И. Спасокукотский (Смоленск), А. В. Вишневский (Казань). Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий был той же породы.

Впрочем, карьера его сложилась вначале не совсем удачно. Вернувшись, как тогда говорили, в «Россию», они с женой поселились в 1905 году в небольшом уездном городке Ардатове Симбирской губернии. Здесь молодому врачу поручили больницу на тридцать пять коек. Больница оказалась бедной, плохо оборудованной, однако, верный своему врачебному темпераменту, Войно-Ясенецкий, ни на что не обращая внимания, сразу начал широко оперировать как хирург и глазник. Работал он с утра до вечера, но больных было так много, что уже через несколько месяцев он выбился из сил. Решил перейти в маленькую больницу. Такая больница на десять коек нашлась в деревне Верхний Любаж Фатежского уезда Курской губернии, но и там оказалось не легче: собственно, трудности создавал себе сам врач. Чем больше и удачнее он оперировал, тем более росла его слава и тем больше пациентов спешило в больницу. В Верхний Любаж стали съезжаться жаждущие помощи из других уездов Курской губернии и из соседней Орловской. Главным бедствием здешних мест была слепота. Русская деревня с ее грязью и нищетой издавна была очагом трахомы. Тысячи незрячих — жертвы болезни-ослепительницы — бродили по дорогам, выпрашивая подаяние.

Собираясь стать земским врачом, Войно-Ясенецкий не забыл и об этом народном бедствии. Осенью 1903 года, сразу после выпускных экзаменов в университете, он начал посещать в Киеве глазную клинику. Амбулаторного приема и операций в клинике ему казалось недостаточно, и он стал приводить больных к себе в дом. «Наша квартира,— вспоминает сестра Валентина Феликсовича Виктория,— превратилась на какое-то время в глазной лазарет. Больные лежали в комнатах, как в палатах. Валентин лечил их, а мама кормила». Этот киевский опыт очень пригодился ему потом в земских больницах. В Ардатове и Любаже слава о глазных операциях, которые делал новый доктор, росла так стремительно, что хирург не успевал осматривать желающих оперироваться. Особенно после того, как прозревший в результате хирургического вмешательства молодой нищий собрал слепых со всей округи и они длинной вереницей, ведя друг друга за палки, явились к врачу просить исцеления.

В маленькой больнице, как и в большой, рабочий день хирурга начинался

в девять утра и заканчивался глубокой ночью. Кроме операций, надлежало навещать больных в ближних и дальних деревнях, исполнять обязанности судебного и санитарного медика.

Очевидно, в эти первые годы нелегким оставался и быт молодой четы. Из письма Валентина Феликсовича, помеченного 1906 годом, видно, что минувшую зиму супруги жили в холодной квартире и сильно мерзли. Да и жалованье полагалось земскому врачу куда как незавидное. И в этой нищете, в этом одиночестве, когда буквально не у кого спросить и не у кого учиться (от Верхнего Любажа до ближайшего городка — 25 верст) — врачу то и дело приходилось принимать самые серьезные, порой жизненно важные решения.

Приват-доцент Михайлов, читавший студентам-киевлянам курс «крестьянской хирургии», и тот, пожалуй, удивился бы, узнав, в каких условиях приходится подчас оперировать его питомцу.

«Я приехал для осмотра земской школы в недалекую от Любажа деревню,— вспоминает Войно-Ясенецкий.— Занятия уже кончились. Неожиданно прибежала в школу девочка, неся на руках совершенно задыхающегося ребенка. Он поперхнулся маленьким кусочком сахара, который попал ему в гортань. У меня был только перочинный ножик, кусок ваты и немного раствора сулемы. Тем не менее я решил сделать трахеотомию и просил учительницу помочь мне, но она, закрыв глаза, убежала. Немного храбрее оказалась старуха уборщица, но и она оставила меня одного, когда я приступил к операции. Я положил спеленатого ребенка к себе на колени и быстро сделал ему трахеотомию, протекшую как нельзя лучше. Вместо трахеотомической канюли я ввел в трахею гусиное перо, заранее приготовленное старухой. К сожалению, операция не помогла, так как кусочек сахару застрял ниже, по-видимому, в бронхе».

Но тяготы провинциальной жизни не ограничивались только недостатками, так сказать, «профессионального» порядка. В России, где с древних пор управляют не законы, а люди, служащий человек никогда не знает своей завтрашней судьбы. Сначала Войно-Ясенецкий вроде бы был повышен: земская Управа перевела его в уездный город Фатеж. Но через несколько недель та же Управа, не слишком затрудняя себя поисками подходящего предлога, выгнала врача вон.

«Фатежский уезд был гнездом самых редких зубров-черносотенцев,— пишет в своих «Мемуарах» Валентин Феликсович.— Самый крайний из них был председатель земской Управы Татезатул, незадолго до того прославившийся своим законопроектом о принудительной иммиграции в Россию китайских крестьян для передачи их в рабство помещикам. Татезатул счел меня революционером за то, что я не отправился немедленно, оставив все дела, к заболевшему исправнику, и постановлением Управы я был уволен со службы. Это, однако, не обошлось благополучно. В базарный день один из исцеленных мною слепых влез на бочку и произнес зажигательную речь по поводу моего увольнения. Под его предводительством толпа народа пошла громить земскую Управу, здание которой находилось тут же, на базарной площади. Там был только один член Управы, от страха залезший под стол. Мне, конечно, пришлось поскорее уехать из Фатежа».

Но легко сказать — уехать. У Войно-Ясенецких было уже двое детей. В 1907 году родился Михаил, а осенью 1908 года, в те самые дни, когда разыгрался скандал, появилась на свет Елена. На первых порах семья перебралась на Украину, в Золотоношу. Там нашлось место амбулаторного врача. Но без настоящей работы Валентин Феликсович томился, настоящей же считал только хирургию. Предстояло снова вступать в переговоры с каким-нибудь земством, тащиться, на зиму глядя, с малышами и жалким скарбом, может быть, через всю Россию... И вот в эту грустную, если не сказать — трагическую пору своей жизни Валентин Феликсович принял вдруг решение попытать счастья в Москве.

Ход мыслей его был таков: так как рядового врача может обидеть и выгнать любой земский и не земский чиновник, надо сделаться доктором медицины. Доктора медицины никто не позволит оскорблять и поносить. А для того, чтобы стать доктором, следует уехать в Москву и поступить в экстерны в клинику к известному хирургу Петру Ивановичу Дьяконову. Сейчас же. Не откладывая.

Это было поразительно наивное решение. Наивность в делах житейских сопровождала Валентина Феликсовича всю его жизнь. Житейски наивным оставался этот серьезный и по-своему мудрый человек и тогда, когда стал профессором, и тогда, когда облачился в архиерейскую рясу.

Но тогда, в 1908-м, собираясь в Москву, он попросту игнорировал реальные обстоятельства. Чтобы добиться докторской степени, нужно было посвятить научной работе по крайней мере два-три года. Где будет жить, чем станет кормиться все это время он сам и его семья? Ведь доходов — никаких...

И все-таки Валентин Феликсович поехал. Оставил Анну с малышами у родных, а сам поступил в экстернатуру. Надо полагать, что на самое скромное существование зарабатывал он себе ночными дежурствами по клинике. Так от века кормились врачи-экстерны — жертвы излишней преданности науке.

Тут мы и подошли к главной причине, которая погнала Войно-Ясенецкого в Москву. Причину эту он сам от себя тщательно скрывал, ибо не укладывалась она в схему его жизни. По схеме надлежало ему быть только доктором для бедных, лечить и оперировать в самых убогих условиях, не думать ни о чем, кроме пользы каждого отдельного пациента. Задушив в себе во имя схемы художника, он оказался не в силах убить также и ученого. Как ни подавлял он страсть к науке, она все равно выходила наружу. Незаметно для себя сельский доктор начал записывать сначала чем-то поразившие его медицинские случаи. Потом как-то само собой получилось, что он написал в Любаже три статьи. Журнал «Хирургия» и «Врачебная газета» почти тотчас опубликовали их. Так же сама собой жизнь сельского доктора подсказала ему жгучую, насущно важную хирургическую проблему, которую надо было решать во что бы то ни стало и как можно скорее.

Все началось с беды. В первый же год работы в Ардатове у Валентина Феликсовича на операционном столе чуть не погиб крепкий, не старый еще крестьянин, которому предстояло удалить камни из почек. Наркоз давала не слишком опытная и очень невыдержанная фельдшерица. В тот самый момент, когда хирург полностью сосредоточился над разверстой брюшной полостью пациента, она вдруг страшно закричала и выронила из рук склянку с хлороформом: больной задыхался. Очевидно, сестра передозировала лекарство. Этот миг запомнился Войно-Ясенецкому надолго. Через десять лет в предисловии к своей диссертации снова вспомнил он, как в какие-то считанные мгновения должен был решить: продолжать операцию или бросить все, замарав стерильные, мытые-перемытые свои руки, выводить больного из наркозного удушья. Героическими средствами крестьянина удалось спасти. Но хирург с тех пор стал избегать наркоза. В деревне при плохих, неквалифицированных помощниках могла беда повториться в любой день. Но чем заменить наркоз?

С тех пор как в середине 10-х годов девятнадцатого столетия был открыт кокаин, среди медиков не прекращался спор о преимуществах наркоза и местного обезболивания. Не имея под рукой штата опытных наркотизаторов, провинциальные хирурги отдавали явное предпочтение местной анестезии. Хирург при этом становился хозяином положения, успех или неуспех в его работе уже не зависел от неудачи наркоза. Кроме того, возле операционного стола освобождается лишняя пара рук, которую можно привлечь непосредственно к операции.

В столичных клиниках вопрос о замене несомненно вредного наркоза практически безвредной местной анестезией не стоял так остро. В руках опытных наркотизаторов хлороформ (а позднее сернокислый эфир) не представлял такой опасности, как в условиях земства. А оперировать спящего в комфортабельных условиях клиники для городских хирургов было более привычно. Да и психика больного при этом не страдала так, как она страдает при местной анестезии, когда человек становится невольным свидетелем собственной операции. Первое десятилетие нынешнего века — пора самых пылких споров о методах обезболивания. В 1902 году хирург П. А. Герцен (внук русского публициста и писателя), известный в медицинской среде как ярый сторонник наркоза, вдруг предпринял десять крупных операций под местной анестезией. Вскоре затем, в 1905 году, был открыт новокаин, и старший ординатор Киевского военного госпиталя А. Я. Бердяев (близкий родственник Н. А. Бердяева) первый в России заговорил об обезболивании растворами этого препарата. Бердяев заявил себя горячим сторонником местной анестезии. Свою книгу об анестезии он даже предварил эпиграфом: «Где допустимо местное обезболивание, там недопустимо обезболивание общее». В 1906 году на шестом съезде российских хирургов возник горячий спор об анестезии спинномозговой. В те же годы немец Бир предложил новый вид обезболивания — внутреннюю местную анестезию, а русский хирург В. А. Оппель начал разрабатывать внутриартериальный метод местной анестезии. Одновременно, однако, активизировались и сторонники наркоза.

В том самом 1908 году, когда Валентин Феликсович решил отправиться в Москву, профессор-хирург И. К. Спижарный пытался примирить две противоположные точки зрения. На восьмом съезде российских хирургов (ссылаясь, кстати, на великолепные результаты, полученные врачом Ясенецким в Любажской больнице) он заявил: «Техника местного обезболивания не так уж проста: оперирование при этой анестезии труднее, чем при наркозе... но стремление избежать того рокового процента смертности, который неизбежно сопровождает общие анестезии, и известный вред средств, употребляемых при общем наркозе для всего организма,— заставляют врача поступаться своими удобствами для блага больного».

Врач из глухой деревенской больнички Войно-Ясенецкий не только отлично ориентировался в ратоборстве хирургических гигантов, но и имел на этот счет свое личное мнение. Он задался целью решить вопрос об обезболивании с помощью метода, который в 900-е годы был совсем еще новым, мало кому ведомым. В Любаже, куда ему присылали из Киева всю новейшую медицинскую литературу, он познакомился с еще не переведенной у нас книгой австрийского хирурга Генриха Брауна «Die Localanästhesie» («Местная анестезия»). Встреча с этой книгой стала для Валентина Феликсовича событием огромной важности. «Я с жадностью прочел ее,— писал он позднее,— и из нее впервые узнал о регионарной анестезии, немногие методы которой весьма недавно были опубликованы... У меня возник живой интерес к регионарной анестезии, я поставил себе задачей разработку новых методов ее». Не откладывая дела в долгий ящик, Валентин Феликсович принялся оперировать по-новому. В Любаже он с успехом произвел 538 операций (среди них много крупных) под местным обезболиванием. Очевидно, пользовался он в основном только зарождавшейся на Западе так называемой регионарной анестезией.

Однако в Москве, явившись к знаменитому Дьяконову, Валентин Феликсович не решился в первый же день говорить о своей теме. Петр Иванович Дьяконов, основатель и первый председатель Съездов хирургов российских, пожилой уже человек, крупный ученый, прошедший школу земской медицины, тоже не спросил о его научных интересах. Он предложил новичку разработать вполне солидную тему «туберкулез коленного сустава» и отпустил молодого человека с тем, чтобы тот познакомился с литературой. Можно без сомнения утверждать, что, остановись Валентин Феликсович на довольно традиционной, предложенной профессором теме, она скорее привела бы его к докторской степени, нежели спорная проблема обезболивания. Но для таких людей, как Войно-Ясенецкий, увлечься чем-нибудь — значит безраздельно отдать себя предмету увлечения. Литературу о туберкулезе колена он прочитал, но при следующей встрече с Дьяконовым откровенно признался, что эта тема его нисколько не занимает. «Но вот есть одна проблема...» И тут произошел разговор, который делает честь и престарелому директору клиники, и молодому экстерну. Книги Брауна, о которой начал рассказывать деревенский доктор, Дьяконов не читал. И о новейшем средстве обезболивания — регионарной анестезии — тоже ничего не слышал (какой соблазн объявить все эти «заграничные штучки» ерундой и шарлатанством для маститого профессора!). Но ученый не оборвал провинциала. Дослушав его до конца и видя, что собеседник горит желанием заниматься новым методом, профессор спокойно кивнул головой. В пору, когда науку просто дела-

ли, а не планировали и не утверждали в сотнях инстанций, когда она еще не успела обрасти бюрократическим аппаратом, одного этого жеста было достаточно, чтобы уже на следующий день экстерн начал работать в полюбившейся ему области.

Вскоре после знаменательного разговора Валентин Феликсович писал жене: «Из Москвы не хочу уезжать, прежде чем не возьму от нее того, что нужно мне: знаний и умения научно работать. Я по обыкновению не знаю меры в работе и уже сильно переутомился... А работа предстоит большая: для диссертации надо изучить французский язык и прочитать около пятисот работ на французском и немецком языках. Кроме того, много работать придется над докторскими экзаменами... Во всяком случае, стать доктором медицины нельзя раньше, чем к январю 1910 года, если все это время быть свободным от всяких других занятий. Зато потом будет мне широкая дорога и не придется сидеть в дрянной участковой земской больнице».

Преданная Анна Васильевна, уже постигшая, надо полагать, за четыре года характер своего супруга, лишь грустно вздохнула, читая эти строки. В письме был весь Валентин — страстный, когда речь шла о науке, работе, и совершенно нереально видящий мир каждодневных житейских забот! Доктором медицины не стал он ни к 1910-му, ни к 1912-му году. Вожделенная степень присуждена ему восемь лет спустя, почти на пороге революции 1917 года. А «широкая дорога», о которой мечтали они оба, открылась ему в иную пору, в иную эпоху, в иной ипостаси. Тогда уже, когда не стало в России земских больниц и не было в живых красавицы Анны Ланской.

И все же в Москве в тот раз продержался Войно-Ясенецкий довольно долго — восемь месяцев. Можно лишь удивляться, как много он работал и сколько успел за это время. Из клиники Дьяконова бежал в Институт топографической анатомии и оперативной хирургии (где директорствовал профессор Ф. А. Рейн). Там делал анатомические исследования на трупах.

От Рейна спешил на кафедру описательной анатомии к профессору Карузину, изучать черепа. Интересно, что и Рейн, и Карузин, как прежде Дьяконов, впервые от Войно-Ясенецкого услыхали о регионарной анестезии.

...Отдаленность описываемой эпохи может вызвать у читателя мысль, что та научная проблема, которая 60 лет назад увлекла Войно-Ясенецкого, давно отжила свой век и представляет интерес сугубо исторический. Это не так. Споры сторонников наркоза и местной анестезии продолжали кипеть в 20-х, 30-х годах и в какой-то форме докатились до нашего времени. Французский хирург Э. Форг писал, что никакие усовершенствования наркоза не превысят положительных сторон местного обезболивания, ибо при наркозе мы поступаем так, как будто нам надо погасить свет в одном квартале, а мы повергаем во тьму весь город. Хирург А. В. Вишневский в конце сороковых годов торжественно провозгласил на заседании Московского хирургического общества, что наркоз в его клинике вообще больше не применяется, но другой столь же опытный хирург С. П. Федоров продолжал оспаривать и осмеивать увлечение местной анестезией. На заседании не менее публичном он привел старую немецкую пословицу, которая в переводе звучала примерно так: «Врач говорит: «Но ведь совсем не больно». Больной кричит: «Ай! Караул, довольно!» Давно сошли в могилу и Вишневский-отец, и Сергей Петрович Федоров, и многие другие участники спора, но и сегодня, когда Вишневский-сын с гордостью сообщает в научном журнале, что в его клинике под местной анестезией совершаются даже операции на сердце, находится достаточно голосов, готовых протестовать против этого хирургического излишества. Старый спор не утерял своей остроты, хотя и звучит сегодня по ряду причин несколько приглушенно.

Не потеряла своего значения и регионарная анестезия. По мнению нескольких видных современных хирургов, этот метод обезболивания принадлежит скорее будущему, нежели прошлому медицины. Он требует мастерства и знаний, которых попросту не хватает пока большинству хирургов. Врачи пришли к регионарной анестезии путем долгих поисков. В течение многих столетий, желая оградить больного на операционном столе от боли, хирурги обращались к жгуту. Перед операцией перетягивали конечность на долгий срок, пока рука или нога не теряли чувствительность. Позднее анестезию — потерю чувствительности — пытались вызвать, сдавливая непосредственно те нервы, которые ведают передачей болевого импульса из района операции. «За неимением лучших средств больному предоставляли терпеть жестокую боль от ligature fortiori (жгута), в надежде, что она избавит его от боли, причиненной ножом; эта надежда редко сбывалась, но часто, вероятно, больные расплачивались за старание хирургов параличом нервов от сдавливания и даже гангреной конечностей. Пресечь передачу болевых импульсов из оперированного участка врачи пытались также, применяя холод. При малых операциях, вроде панариция, лекарственный холод помогает и сейчас. Но крупные вмешательства с холодным обезболиванием в практику не вошли.

В конце девятнадцатого века жгут и холод были заменены в операционной шприцем и иглой. Появились лекарственные препараты, способные прерывать болевую чувствительность. В нервные стволы стали вводить сначала опий и кокаин, потом стали пользоваться для анестезии новокаином. Генрих Браун предложил первые приемы точного попадания иглой в необходимый при данной операции нервный ствол. Возникла регионарная анестезия.

Однако очень скоро стало ясно, что этот вид обезболивания не так-то прост. Далеко не ко всем нервным стволам существуют удобные подступы. А некоторые нервы даже, по мнению Брауна, и вовсе недоступны благодетельным шприцам с новокаином. Регионарная анестезия потребовала от хирургов глубокого знания топографической анатомии, знания, где залегают и как проходят нервы, ведающие чувствительностью того или иного участка тела. Откровенно говоря, хирурги не слишком торопились освоить этот «слишком интеллигентный» для большинства из них метод обезболивания. Значительно большее распространение получила так называемая инфильтрационная анестезия. В этом случае хирург предваряет каждый шаг скальпеля в операционной ране очередной порцией новокаина. Тут думать особенно не о чем: не жалей только новокаина, коли налево и направо, обезболивай все, заодно анестезируешь и нервную ветвь, которую нужно выключить в данном случае...

Подводя итоги первых двадцати лет существования регионарной анестезии, Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий писал: «Я не ошибусь, если назову регионарную анестезию совершенным методом местной анестезии. На смену прежним неуклюжим и примитивным способам послойного пропитывания, даже анестезирующим раствором, всего, что надо резать, пришла новая, изящная и привлекательная методика местной анестезии, в основу которой легла глубоко рациональная идея прервать проводимость тех нервов, по которым передается болевая чувствительность из области, подлежащей операции».

Это было написано в 1915 году.

Но в 1908 году сторонников регионарной анестезии, как я уже говорил, было еще мало. Убедившись в преимуществах метода, Войно-Ясенецкий со всей своей энергией принялся утверждать его в российской хирургии. Не слово, но дело стало его аргументом. Он искал и находил все новые и новые подступы к нервным стволам, анестезия которых позволяла ему сразу обезболить большую поверхность тела. В своем поиске врач-провинциал не убоялся поднять руку даже на учителя. Генрих Браун — отец регионарной анестезии — усомнился в возможности подобраться со шприцем и иглой к седалищному нерву? Войно-Ясенецкий берется решить именно этот вопрос. Он много оперирует на трупах и в конце концов обнаруживает прием, с помощью которого можно «поймать» седалищный нерв при его выходе из полости таза. Один укол новокаина в эту точку, и — мечта хирурга! — вся нога теряет чувствительность.

Дальнейшие поиски привели Валентина Феликсовича еще к одному открытию. Оказалось, что достаточно сделать одну-единственную инъекцию кокаина в так называемый срединный нерв, как целиком теряет чувствительность кисть руки. Другое открытие пришло после того, как ученый исследовал и промерил

триста человеческих черепов. В результате этой гигантской работы стало ясно, как и где всего удобнее вводить новокаин и алкоголь во вторую ветвь тройничного нерва. Читателю, далекому от медицины, предыдущая фраза мало что объясняет. Но тысячи людей, страдающих от невыносимых невралгических болей, вызванных воспалением тройничного нерва, знают, какое облегчение может доставить один такой укол хорошего мастера-нейрохирурга. Кстати, эту операцию — алкоголизация второй ветви тройничного нерва — Валентин Феликсович сделал своей сестре. (При выходе его из так называемого круглого отверстия «foramen rotundum».)

«Я очень мучилась от ужасных болей, а после операции, которая продолжалась всего несколько минут, совсем забыла о своей болезни»,— рассказывает Виктория Феликсовна.

Так научные исследования Войно-Ясенецкого с самого начала оказались направленными ко благу его коллег, рассеянных по империи земских докторов. Но самому Валентину Феликсовичу его работа в клиниках никаких материальных выгод не принесла. Совсем наоборот. В Москве он обнищал, так что пришлось срочно искать прибежища в очередной земской больнице. В декабре 1908 года еще один удар — умер профессор Дьяконов. Месяц спустя Войно-Ясенецкий покинул Москву. Путь его лежал на Восток, в Саратовскую губернию. Больница на десять коек, где отныне ему предстояло работать, находилась в селе Романовке неподалеку от города Балашова.

В своих «Мемуарах» и «Биографии» 1945 года Валентин Феликсович о службе в Романовке почти ничего не говорит. Между тем во врачебной судьбе его полтора года, проведенные в Балашовском земстве, сыграли заметную роль. Тут были собраны многие материалы, вошедшие в его диссертацию и будущую книгу о гнойной хирургии. Тут же в 1909 году родился сын Алексей. Что же представляла собой жизнь деревенского медика в эти годы?

Романовская слобода лежит неподалеку от того места, где сходятся ныне границы Воронежской, Волгоградской и Саратовской областей. Громадное степное село на реке Хопер с двумя церквами и четырьмя кабаками в те давние времена населяли в основном украинцы, мужики богатые и грубые. Что ни праздник — на широких романовских улицах начинались пьянки, драки, поножовщина. По рассказам старого медика, работавшего в Романовской слободе вскоре после Войно-Ясенецкого, болезни в романовских обителях тоже имели тенденцию к масштабам, к размаху. Сифилис бытовой — так целое село сифилитиков. Пневмония — так ее на расстоянии видно, флегмона — так полведра гноя. Два врача, три фельдшерицы и фельдшер, работая без передышки целыми сутками, едва справлялись с наплывом больных. На прием в амбулаторию приходило по сто — сто пятьдесят человек. А засим — верхом или на телеге по деревням. Дел и там хватало, ведь на участке было двадцать сел и двенадцать хуторов. Операции делали, наркоз давали, щипцы акушерские накладывали частенько тут же, в хате...

Эти воспоминания старика врача дополняет «Обзор состояния земской медицины в Балашовском уезде за 1907—1910 и отчасти 1911 годы». «Обзор» — документ до крайности откровенный, даже жестокий. Составляли его люди, явно раздраженные на начальство. Они не скрывали ничего: в точных цифрах показаны перенагруженность врачей, нищета больницы и из-за этого низкий уровень медицинской помощи в уезде:

«Романовский участок. Площадь — 580 квадратных верст, радиус — 13,5 версты. Население — 30 506 человек. Более 70% жителей расположено далее чем за 8 верст от дома врача. Амбулатория — 31 640 обращений в год».

Много это или мало? «Участок в два раза превышает требования нормы по площади и в три раза по населению и количеству работы»,— сообщает «Обзор». Что может сделать врач в такой обстановке? Принимая в час 25—30 больных, можно уделить каждому не более двух минут. Тут и осмотр, и назначение. Приемы длятся по пять — семь часов в день. «По моим подсчетам,— пишет составитель,— только в 45 случаях из ста можно поставить приблизительно точный

диагноз, а 55 проходят мимо без диагноза. На долю одного врача нередко приходится принять до 200 человек... Помещение для амбулаторных приемов большей частью тесно и душно. В Балашовском участке, например, в одной комнате принимают три врача, двое из них за одним столом. Тут же за ширмой гинекологические исследования, рядом в перевязочной делают разрезы, прививки детям, все это сопровождается криками, плачем. В ожидальнях давка и шум, бывают случаи обмороков от недостатка воздуха. О каком-либо выслушивании больного здесь не может быть и речи».

В этой тесноте, духоте и шуме полтора года работал и Валентин Феликсович. Кроме врачебного приема и выездов, на него падала в больнице и вся хирургия. «Я делал в Романовке не менее 300 операций в год»,— упоминает он в своей «Биографии». «Обзор» подтверждает: в 1909 году хирург произвел 292 операции. В начале следующего года операционный темп возрос еще больше. Много это или мало — три сотни оперативных вмешательств за год? Ответ дает «История русской хирургии». Автор книги известный хирург, профессор Военно-медицинской академии в Петербурге В. А. Оппель, познакомившись в те же годы с отчетом Мелекесской земской больницы, мало чем отличавшейся от больницы в Романовке, писал: «Какую надо иметь железную энергию, какой энтузиазм в работе, чтобы в старом здании больницы на 30 коек довести количество операций до 300 в год?!» «Железная энергия», «энтузиазм в работе» — Войно-Ясенецкий имел полное право принять эти слова на свой счет.

Мне не удалось разыскать годовых больничных отчетов, которые Валентин Феликсович выпускал в Романовке в 1909—1910 годах. Не нашел у себя этих отчетов и старый балашовский житель, знаток балашовской старины, профессор-хирург Николай Александрович Софинский. Однако на мою просьбу сообщить, на каком уровне стояла в Романовке хирургическая помощь, он ответил обстоятельным письмом. Есть там такие строки:

«Романовская больница сделала в 1909 году 4 резекции верхней челюсти и 4 трепанации черепа по поводу опухоли мозга. В том году Войно-Ясенецкий был единственным хирургом больницы. Второе, что я запомнил, Валентин Феликсович просил ассигновать нужную сумму денег на покупку микроскопа и микротома для Романовской больницы, и в этом ему было отказано. А я узнал, что и то и другое купил он на собственные деньги и успевал готовить препараты и исследовать их. Один! Один! В балашовской больнице на 25 коек мы стали заниматься микроскопическим исследованием опухолей в 1946 году, а Валентин Феликсович делал это в 1909-м!»

Таково то немногое, что мы знаем о жизни и работе Войно-Ясенецкого в Романовке. А может быть, и не так этого мало, если добавить, что все свои отпуска наш герой проводил в Москве, исследуя трупы и черепа, изыскивая новые методы регионарной анестезии.

Еще в молодости сложилась в характере Валентина Феликсовича черта, роднящая его со всеми «одержимыми» науки: всякий раз, когда жизнь ставила выбор — призвание или житейские блага, он выбирал призвание. Так было в Фатеже, в Романовке, так продолжалось в Переславле-Залесском.

В этот маленький городок Средней России Валентин Феликсович привез семью в ноябре 1910 года. Мы не знаем причины переезда, но совершенно ясно, что не тяга к городским благам привела сюда деревенского доктора. Переславская больница мало чем отличалась от Романовской. Правда, здесь было тридцать кроватей вместо шестнадцати, но остальные условия те же: ни электричества, ни рентгеновского аппарата; воду доставлял водовоз с бочкой, а почти ежедневная чистка вонючей ямы, заменяющей канализацию, на несколько часов парализовала всю жизнь лечебницы. Да и пациенты переславские ничем не отличались от романовских.

Больница служила центром медицинской помощи для всего уезда. Так что на приемы к врачу стекались в основном окрестные крестьяне.

В половине девятого утра больничный кучер Александр подавал к дому заведующего экипаж. Войно-Ясенецкие занимали довольно просторный деревянный

дом помещицы Лилеевой на Троицкой улице, неподалеку от того места, где теперь шоссе Москва — Ярославль прорезает старинный земляной вал. Расстояние от дома до больницы не больше версты, но и это время у врача зря не пропадало. Он брал с собой в экипаж 15—20 карточек с немецкими и французскими словами и учил их в дороге.

«Впечатления моего детства очень однообразны,— вспоминает старший сын Валентина Феликсовича Михаил,— отец работает. Работает днем, вечером, ночью. Утром мы его не видим, он уходит в больницу рано. Обедаем вместе, но отец и тут остается молчалнвым, чаще всего читает за столом книгу. Мать старается не отвлекать его. Она тоже не слишком многоречива».

Более подробно о стиле этого до странности «тихого» дома рассказала мне 76-летняя Елизавета Никаноровна Кокина, бывшая горничная Войно-Ясенецких. Она прослужила у Войно-Ясенецких семь лет и даже побывала с ними в Ташкенте. Своих бывших хозяев вспомнила Елизавета Никаноровна через пятьдесят с лишним лет с глубокой нежностью. («Барин! Он! Ах, милые вы мои...» — воскликнула она, увидев фотографии доктора и его жены.) И вот развернулась передо мной жизнь этой семьи с 1911-го по 1918-й год, жизнь, увиденная глазами неглупой и наблюдательной деревенской женщины.

«Анна Васильевна была изо всего города самая интересная. Роста высокого, крепкая на вид, но уставала быстро. А как не устать? Обшить и кормить шестерых — не шутка. Это не то что теперь — пошел да купил в магазине трусики или что тебе нужно... Нрав имела тихий, но лжи никакой не переносила. Вранье для нее — острый нож». За то время, что Лиза жила в их доме, хозяйка выгнала не меньше десяти кухарок и горничных. И все только за одно, за неправду. Если ты в доме что разбила или сломала — не бойся, только повинись. Хозяйка ничего тебе не сделает. Даже если деньги на базаре потеряла. Но если скажешь: «Калитку я закрыла», а калитка окажется незапертой — конец, выгонит Анна Васильевна в одночасье, не посмотрит, что ночь на дворе...

Мужа любила без памяти. Ни в чем ему не перечила. Может, и были между ними какие нелады, но при детях и при прислуге — ни-ни. Барин был суровый. К делам домашним не прикасался. Лишнего слова никогда не говаривал. Если ему что за обедом не понравится — встанет и уйдет молчком. А уж Анна-то Васильевна в тарелку заглядывает: что там ему не по душе пришлось...»

Завтракал барин один в восемь часов. Обедать приезжал в пять. После обеда немного отдыхал. Потом в кабинете больных принимал. После вечернего самовара уходил к себе в кабинет. Пишет там, читает, пока весь керосин в лампе не выгорит. Часто его ночью в больницу вызывали. Молча соберется, едет. Никогда не сердился, если вызывали. «Он справедливый был»,— несколько раз повторяет Елизавета Никаноровна.

Жили тихо. Раз в месяц приезжала игуменья знакомая из Федоровского монастыря, чайку попить. Большого ума была женщина. Да еще захаживал доктор Михневич с женой Софьей Михайловной. Они вместе в больнице работали. А больше никто не ходил. Воспоминания о жене Михневича почему-то поворачивают мысль Лизы в новом направлении. «Барин не мог видеть чужих женщин. Если бы он хотел — мог бы жениться на любой. Вон он был какой большой да пригожий. Но про это он и думать не хотел. Строг был». Вспоминалось Лизе и такое. Однажды в урочный час позвонила у дверей девушка, попросила провести ее к доктору. Через минуту в кабинете — шум, крик. Девушка выскочила в прихожую да оттуда бегом на улицу. А Валентин Феликсович к барыне в комнату прошагал, сердитый, и там стал громко рассказывать, что девушка потребовала «нагулянного ребенка вытащить». Долго доктор не мог после того успокоиться.

Старушка рассказала немудреную историю, которая приключилась в те годы с ней самой. В шестнадцатом году, двадцати двух лет отроду, сошлась она с парнем из своей деревни и понесла от него. Зная, однако, как не любит Анна Васильевна неправды, Лиза во всем ей повинилась. А повинившись, пошла собрать свои вещички: кто же станет ее держать при детях такую гулящую... Идти, однако, было некуда. Мать в деревне ее и на порог не пустила бы с приплодом.

Прошел день, другой, Лизу никто не гнал. А на третий, посоветовавшись с мужем, барыня предложила Лизе остаться и рожать у них. Покидая Переславль в 1917 году, Войно-Ясенецкие взяли девушку с собой в Ташкент[3].

А как относились в доме к детям?

С детьми, рассказывает Елизавета Никаноровна, барин и барыня были очень ласковы. Никогда их не наказывали, даже слова грубого не говорили. Только Мишу за баловство мать в чулан иногда ставила. Да скоро и выпускала. Про чулан Михаил Валентинович не помнит, но ласковый, доброжелательный тон, принятый в семье, глубоко запал в его память. Развлечений, поездок, подарков в детстве, однако, было мало. Как редчайшее событие вспоминается, что однажды отец катал детей на лодке. В первый раз увидели они: папа сильный, прекрасно управляется с веслами, хорошо плавает. Невелико чудо — доктору Войно-Ясенецкому в те годы не исполнилось и тридцати пяти лет. Таким же почти недостоверным подарком брезжит где-то в далеком прошлом семейное посещение кинематографа. Едва ли родители не хотели доставить детям удовольствия. За скудостью детских радостей угадывается скорее занятость отца и скудость материальных возможностей семьи.

«Мебель в переславском доме была до последней степени неказистая,— вспоминает Михаил Валентинович.— Сбережений ни тогда, ни потом отец не имел». И, как бы перекликаясь с этим признанием, звучит певучий голос Елизаветы Никаноровны: «Им, Ясенецким, форсить-то не из чего было. Вина, табаку в доме не держали, сластей тоже никогда не было. Книг только ему по почте много шло. Книг было много. Ни в киятры, ни в гости они не ездили. И к ним редко кто ходил...»

Бедность годами держала семью в тисках. В 1913-м, после рождения четвертого ребенка, пришлось рассчитать кухарку. Весь год копили деньги на поездки Валентина Феликсовича в Москву для научных опытов, а потом в Киев для сдачи докторских экзаменов. Денежные дела Войно-Ясенецкий всю жизнь считал малозначительными, но постоянная бедность и у него вырвала в конце концов строки раздражения. В 1914 году в письме из Киева, жалуясь жене на плохое самочувствие и настроение, он добавляет: «Порче настроения помогает и пальто мое, которое как-то вдруг все больше стало расползаться и вытираться и постоянно напоминает мне о том, что у нас и гроша за душой нет. Товарищи по Университету, которых я встречаю, все отлично одеты и все недовольны, что мало у них частной практики: всего на 250—300 рублей в месяц».

Эти с иголочки одетые киевские медики, очевидно, с жалостью поглядывали на провинциального собрата. Бедняга, тянет свою лямку где-то в глуши. А ведь подавал большие надежды... Пять типографски отпечатанных толстых тетрадей: «Отчеты о деятельности Переславской земской больницы с 1911 по 1915 год» позволяют нам во всех деталях представить, как именно «тянул служебную лямку» Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.

Переславская больница и до приезда нового врача была не из худших. Здесь, по словам отчета, уже десять лет работали «дельные хирурги». И операций производили они вполне достаточно. За 1907 год, например,— 254, за 1909 год — 266. Но вот пришел новый заведующий, и в 1911 году число оперативных вмешательств возросло до 370, а в 1913-м — до 424. И это только в стационаре. В амбулатории Войно-Ясенецкий вместе с фельдшером делал за год от 636 до 693 «малых» операций. Таким образом, число хирургических вмешательств в Переславской больнице за год превышало тысячу.

Почти шестьдесят лет спустя я обратился к главному врачу Переславль-Залесской районной больницы Ярославской области. Я просил сообщить, как теперь работает лечебница, сколько в ней врачей, коек, какие операции там делают. Ответил мне врач-хирург Потков. Письмо его дышало самоуважением. Нынешняя больница в Переславле, конечно, не чета старой. Есть тут и водопровод, и канализация, и электричество. Число коек выросло в десять раз и достигло 320, сотрудников в стационаре — 80 и в поликлинике еще 34! А хирург тут нынче не один, как в 1913 году, а семеро их, хирургов. Да еще уролог и анесте-

зиолог есть. Достижения налицо, тем более что больница строится, развивается и врачей будет скоро еще больше. А как работают врачи? Сколько операций делает вся эта хирургическая братия?

— Изрядно,— отвечает доктор Потков,— за 1971 год в стационаре семь хирургов произвели 909 вмешательств. И три-четыре хирурга поликлинические добавили за тот же год 635 «малых» операций. Итого — полторы тысячи. С первого взгляда действительно изрядно, но если сравнить с 1913 годом, получается смешновато: один Войно-Ясенецкий делал тысячу операций в год, а десяток сегодняшних хирургов — полторы тысячи.

Впрочем, для представления о профессиональном уровне больницы важно не столько количество операций, сколько то, что медики называют «хирургическим потолком». Для современного хирурга «потолок» Войно-Ясенецкого попросту недостижим. Главный врач Переславской больницы делал в своей операционной решительно все, что делали хирурги начала двадцатого века. В первый же год он предпринял 78 различных операций на глазах, многократно удалял щитовидную железу, несколько радикальных операций на среднем ухе, вырезал раковые опухоли в желудке и в мозгу, оперировал как акушер, уролог, гинеколог. Многое сделал в хирургии желчных путей, желудка, селезенки, головного мозга. При этом опробовал все виды анестезии и наркоза и окончательно убедился в несомненных преимуществах еще мало изученной регионарной анестезии. Работу, которую делал в Переславле земский врач Войно-Ясенецкий, в наше время могут повторить разве что специалисты шести или семи хирургических специальностей. Думаю, что и в пору хирургического энциклопедизма находилось мало врачей, владеющих скальпелем столь же универсально.

Это немало в жизни хирурга — знания, техническое мастерство. Удачи в операционной создают не только хорошую репутацию, но и душевное равновесие. Киевские врачи, суетившиеся по поводу пациентов и гонораров, могли бы в этом смысле позавидовать провинциальному коллеге. Он, покидая после очередного успеха больницу, уносил в душе чувство удовлетворения, радость человека, которому для свершения добра отпущены немалые силы. Из постоянного ощущения своего таланта, своих возможностей выросло с годами то величественное, непоколебимое спокойствие профессора и епископа Войно-Ясенецкого, которое пронес он, к удивлению современников, через всю вторую половину своей жизни.

Отношения с властями в Переславле сложились для Валентина Феликсовича благоприятно. Его уважали «отцы» города, более цивилизованная, чем в Фатеже и Балашове, Переславская земская управа охотно ассигновала деньги на реконструкцию и оборудование больницы. За два-три года был построен новый заразный барак, двухэтажное здание прачечной и дезинфекционной камеры. Было капитально отремонтировано и вновь обставлено хирургическое отделение, оборудован рентгеновский кабинет. Все то, о чем тщетно годами просили у земства его предшественники, Войно-Ясенецкий получил без унижений. За него ходатайствовала его непрерывно возрастающая слава хирурга. Любили своего врача и горожане. Более чем через полвека я встречал в Переславле пациентов Валентина Феликсовича. Они с благодарностью вспоминали его имя. Гимназистка 1914 года и ученик на телеграфе, впоследствии делавший тут революцию, бывшая крестьянская девочка, ныне домашняя хозяйка, и сын священника, унаследовавший занятие отца, эти теперь уже очень старые люди говорили о том, что в дни их юности имя доктора Войно-Ясенецкого в городе было окружено глубочайшим почтением.

Сотни операций, тысячи амбулаторных больных... Из года в год все возрастающий поток страдальцев неизбежно притупляет у врача интерес к отдельной личности, к данному конкретному больному. Такова неизбежность профессии, даже самые добрые, самые человечные врачи становятся ее жертвой. А Войно-Ясенецкий?

Добреньким Валентина Феликсовича никак не назовешь. Его врачебный стиль, судя по некоторым письмам и воспоминаниям предреволюционных лет, отдавал скорее рациональным холодком исследовательской лаборатории и анатомички, нежели состраданием врача-благодетеля из Армии спасения. В 1912 году, во время ежегодной своей научной командировки в Москву, он писал жене:

«Работа у меня идет отлично, уже исследовал около 25 трупов и нашел важный и верный способ анестезирования седалищного нерва... Скажи по телефону Иванову, что я прошу его, если встретится какая-нибудь операция на ноге (на бедре, на голени, на стопе), не делать ее до моего приезда, так как хочу испытать свой новый способ анестезирования седалищного нерва».

Итак, голень, бедро, стопа стоят перед умственным взором хирурга, возвращающегося в свою больницу. Ему хочется испытать... Еще в древности, зная эту страсть медиков к исследованию, авторы книг о врачебной профессиональной этике требовали от своих коллег ни в коем случае не поддаваться у постели больного научному интересу, а помышлять лишь о жизни и здоровье пациента. Похоже, что наш герой не слишком-то прислушивается к призывам Гиппократа и Галена...

Но вот передо мной документы, которые с удивительным педантизмом весь свой век составлял доктор Войно-Ясенецкий: больничные истории болезней. Их сохранилось за разные годы его жизни несколько сотен. Читаю их и нахожу то, что меньше всего можно было бы ожидать в таком документе: житейские обстоятельства, характеры, портреты больных. Вот шестидесятилетняя старуха Фекла А. Из своей деревни она пешком за три километра пришла на прием в земскую амбулаторию. Температура — 39 градусов. Мы видим эту старую, больную женщину, слышим даже ее голос, ее интонацию. Уже десять дней у нее болит шея и «вся нездоровая». Своими натруженными руками Фекла снимает платок, и вместе с врачом мы видим на слипшихся от гноя волосах лист подорожника. Под ним — огромный карбункул.

Через много лет этим, не побоюсь сказать, художественным портретом профессор Войно-Ясенецкий откроет свою знаменитую монографию «Гнойная хирургия». Несколько поколений хирургов станут на примере Феклы изучать вопрос о том, как лучше всего иссекать карбункулы головы. Но нам важнее понять другое: зачем врачу так полно, так живописно изображать облик старой крестьянки, набрасывать в истории болезни детали, не имеющие никакого отношения к предстоящей операции?

История болезни крестьянки Елены Я. из Смоленской губернии — целая драма. Елене 36 лет, но она уже десять раз рожала. Однако не только многочисленные роды рано состарили эту крестьянку. Из десяти детей она похоронила семерых. У Елены Я. — туберкулез легких, бугорчатка. Ей бы лечиться и лечиться. Врач уже наметил хирургические и терапевтические методы, с помощью которых он надеется помочь несчастной. Но неожиданно больная выписалась из больницы. Тут врач вправе поставить точку, тем более что Елена не единственная беглянка. «Процент больных, не соглашавшихся на операцию,— очень велик,— жалуется Валентин Феликсович в одном из годовых больничных отчетов.— Это можно объяснить только некультурностью населения». Казалось бы, все ясно. Но хирург хочет знать, что же все-таки произошло с Еленой Я. Просто испугалась? Но ведь она специально добиралась до Переславля, прослышав от людей о том, что в здешней больнице хорошо лечат... Валентин Феликсович наводит справки и через несколько дней дописывает строку, которая не имеет никакого отношения к его профессиональному долгу, но зато имеет прямое отношение к долгу человеческому: Елена Я. должна была выписаться из больницы потому, что находившаяся у чужих людей ее маленькая дочка умерла. Мать похоронила восьмого ребенка и покинула город. Очевидно, после смерти девочки собственная судьба стала ей окончательно безразлична. Истории болезни, составленные Войно-Ясенецким, многое говорят о пациенте, но еще больше о враче. Они свидетельство живого интереса его к каждому, пусть даже ничем не примечательному человеку и его способности тайно сострадать и сочувствовать. И еще говорят эти истории о жизни российской деревни. В селе Бибирево великовозрастный сын заспорил с 72-летним отцом Егором Л. Обычный мужицкий спор из-за клочка земли, из-за крытого соломой сарая. Сын бросился на отца с плотничьим долотом в руке. Норовил непременно ударить старика в лицо.

Егора Л. привезли в больницу с проломленной в двух местах нижней челюстью. Врач сделал необходимую операцию, и старик стал поправляться. Через месяц возникла последняя запись: «Свободно ест, может жевать хлеб».

А вот Спиридон Н., сорокалетний крестьянин, житель Переславля. 24 июля в пьяном виде он собственными руками выдрал себе оба глаза. Врачу оставалось лишь завершить самочинно начатую «операцию». Повод, который привел к трагической развязке, мог бы и не занимать хирурга: мало ли что делают с собой и с другими пьяные мужики! Но Валентин Феликсович не упустил случая выяснить, из-за чего все-таки произошло несчастье. В истории болезни читаем: Спиридон изуродовал себя, «чтобы не видеть женщин, к которым имел слабость». Пройдут годы, и в Ташкенте, осматривая в больнице узбеков, и потом на Енисее, оперируя охотников и рыбаков, а позже, во время Отечественной войны, в красноярских и тамбовских военных госпиталях Валентин Феликсович станет так же подробно записывать странные, ужасные и смешные обстоятельства жизни, болезни и ранения своих пациентов, ибо никогда не существовало для него в больнице «медицинских случаев», а были живые страдающие люди, и никогда не терял он интереса к неповторимой личности и судьбе больного человека.

Публикуя диссертацию «Регионарная анестезия», Валентин Феликсович включил в список трудов и отчеты о деятельности Переславской больницы. Вместе с отчетами попали в печать несколько сотен составленных им историй болезни. Отчеты — несомненно, научный труд, дающий глубокий анализ жизни больницы за несколько лет. Но историку, читающему эти документы, открывается в них еще одна отнюдь не медицинская сторона. Истории болезни, если рассматривать их en masse, дают как бы коллективный портрет переславского сельского и городского обывателя. Большинство записей обнажают быт мужика: «ушиб ногу упавшим бревном», «ударила в лицо копытом лошадь», «упал с воза», «свалился со стога». И грыжи, бесчисленные пупочные и паховые грыжи тяжело работающих людей. Но есть еще одна многочисленная группа больных, чьи раны — следствие иных обстоятельств. «В праздник получил удар колом по голове», «тесть ткнул вилами в бок», «пьяный сам упал с крыльца», «на Петров день получил удар в грудь ножом», «ранен топором в голову», «Егор О., 36 лет, из деревни Большево Петровской волости, сильно пьянствовал, но в последнее время бросил пить. Несколько дней был очень задумчив, тосковал, не спал по ночам... В 6 часов вечера перерезал себе горло кухонным ножом, затем бросился бежать по деревне и упал, истекая кровью...»

За этими колами, ножами и вилами опять возникает некая групповая характеристика переславца, но уже не бытовая, внешняя, а как бы внутренний портрет его, отпечаток душевного склада.

...Докторские экзамены сдал Валентин Феликсович отлично. Правда, за два-три дня до главных испытаний — оперативная хирургия и вскрытие трупа — у него сделалась рожа лица. Но больной, с высокой температурой, он все-таки экзаменовался, и профессора вынуждены были признать, что дело свое земский доктор знает прекрасно. Вторая половина 1914 года и начало 1915-го ушли на писание диссертации, а весной 1916 года — новая поездка, теперь уже в Москву, на «защиту». Оппонентами Войно-Ясенецкого были известный хирург Мартынов и анатом Карузин. В «Мемуарах» Войно-Ясенецкий вспоминает:

«Интересен был отзыв профессора Мартынова. Он сказал: «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации обычно пишутся на заданную тему, с целью получения высших назначений по службе, и научная ценность их невелика. Но когда я читал Вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее».

А профессор Карузин, очень взволнованный, подбежал ко мне и, потрясая руку, усердно просил прощения за то, что не интересовался моей работой на чердаке, где хранились черепа, и не подозревал, что там творится такая блестящая работа.

За свое сочинение я получил от Варшавского Университета крупную премию имени Хойнацкого в 900 рублей золотом, предназначавшуюся за лучшее сочинение, пролагающее новые пути в медицине» [4].

То, что московские «светила», много лет равнодушно взиравшие на искания провинциального хирурга, вдруг «прозрели» на защите его диссертации, неудивительно: работа Войно-Ясенецкого действительно крупное событие для своего времени. Кстати, могли бы они заметить его и пораньше. В 1909 году, например, когда переславский хирург докладывал о своих работах в Московском хирургическом обществе, или в 1912-м, когда сделал большой доклад на Двенадцатом съезде русских хирургов. Но для нас важно знать, что сказало об этих работах Время — главный научный оппонент всех диссертантов. Я уже приводил мнение некоторых современных хирургов о будущем регионарной анестезии. А вот мнение, так сказать, официальное. «Во всех работах Войно-Ясенецкого,— пишет автор монографии «Очерки развития местного обезболивания в СССР» (1954) А. А. Зыков,— подкупает математическая точность его исследований и наглядность доказательства, благодаря хорошим анатомическим иллюстрациям... Значение книги Войно-Ясенецкого для русской хирургии велико. Эта книга не только знакомила с существом регионарного обезболивания, но и давала правильную критическую оценку существовавших методов... Для практических врачей эта книга являлась руководством к действию».

На отличные иллюстрации — рисунки и фотографии, которыми снабжена диссертация,— обращали внимание все, кому попадалась в руки «Регионарная анестезия». Фотографировать начал Валентин Феликсович в Переславле. Мастерством этим, как и всем, за что брался, овладел капитально. Завел свою фотографическую аппаратуру. По многу раз фотографировал анатомические объекты и всякий раз записывал в специальную книжку, какая была выдержка, освещенность, диафрагма, каким получился снимок. Фотографии в диссертации четки и убедительны. Но еще лучше рисунки. Они изящны и почти стереоскопичны. Через полтора десятка лет после последнего киевского этюда несостоявшийся художник Войно-Ясенецкий еще раз показал, на что он способен...

«Я хотел бы надеяться, что моя книга станет известной моим землякам и товарищам и поможет им успешно удовлетворить те огромные запросы на хирургическую помощь, которые так настойчиво предъявляет им жизнь,— написал диссертант во вступлении к своей работе.— Внимание земских врачей было бы для меня лучшей наградой за положенный на нее труд и важнейшим оправданием в большой затрате времени на нее».

Да, он по-прежнему чувствовал себя земцем, мужицким лекарем, каковым желал оставаться и впредь. Единственно, что хотелось,— это перебраться куда-нибудь на Украину, в родные для них с Анной места. И тем не менее слова, обращенные к коллегам-земцам, оказались словами прощания.

Произошли события, смешавшие все планы. «В начале 1917 года к нам приехала старшая сестра моей жены, только что похоронившая в Крыму свою молоденькую дочь, умершую от скоротечной чахотки. На великую беду она привезла с собою ватное одеяло, под которым лежала ее дочь. Я говорил своей Анне, что в одеяле привезена к нам смерть. Так и случилось: сестра Ани прожила у нас всего две недели, и вскоре после ее отъезда я обнаружил у Ани явные признаки начинающегося туберкулеза легких».

В ту пору существовало ошибочное мнение, что туберкулез лучше лечится в сухом, жарком климате. Распознав у жены признаки легочной болезни, Валентин Феликсович немедленно начал искать в газетах объявление о должности врача в Средней Азии. Ему попалось сообщение о конкурсе, которое дала Ташкентская городская управа. В Ташкент были посланы документы, и скоро доктор медицинских наук Войно-Ясенецкий получил приглашение занять должность главного врача и хирурга Городской ташкентской больницы.

В путь двинулись весной, в марте. Один из сыновей вспоминает: когда в Переславле укладывали в ящики многочисленные книги, вошел отец. «Николай отрекся от престола»,— сказал он. Начиналась новая эпоха.

Глава вторая

ДВЕ ПРАВДЫ (1917—1923)

«Свою русскость я вижу в том, что проблема моральной философии для меня всегда стояла в центре... Всю жизнь я утверждаю мораль неповторимо-индивидуальную и враждебную с моралью общего, общеобязательного».

Н. БЕРДЯЕВ. «Самопознание».

«Нет! Саша, веру без дел я не постигаю... Вера дел, а не вера, выраженная одним помыслом и молитвою,— вот моя вера... И еще было бы лучше, если бы добрых (истинно добрых) дел было столько в моей жизни, чтобы они мне не давали времени молиться; тогда бы вся жизнь моя была молитва, в настоящем, в глубоком, в христианском смысле этого слова, то есть вдохновенная, богоугодная жертва любви в земной жизни».

Н. И. ПИРОГОВ. Письмо к невесте, 20 апреля 1850 г.

Из Москвы до Ташкента поезд тянулся целую неделю: уже начинался развал транспорта. Классный вагон, где от старого, доброго времени остались лишь занавески с помпонами, был набит до отказа. Мешки, духота, детский плач. Чтобы пройти в донельзя загаженный умывальник, приходилось переступать через тела вповалку лежащих на полу людей. При посадке в Москве младшего Войно-Ясенецкого, трехлетнего Валентина, передавали в окно. Валентин Феликсович страдал от нечистоты, от вынужденного безделья. Анна Васильевна извелась от капризов малышей. Ташкент возник как земля обетованная. Когда выбрались из вагонной сутолоки, отдышавшись и оглядевшись, узрели чудо: над городом замерла теплая, благоуханная ночь. И луна, и минареты как из арабской сказки. На привокзальной площади новоприбывших ожидали две запряженные сытыми лошадьми линейки. Дом главного врача встретил свежевымытыми полами и постланными постелями. Дети с восторгом бегали по квартире (шесть комнат) и щелкали выключателями: впервые увидели электричество.

Большой переезд — большие надежды. И та теплая, незадолго до Пасхи, ночь обещала усталым путникам вроде бы все, о чем мечталось: Анне Васильевне — выздоровление, Валентину Феликсовичу — спокойное место для научной работы и врачебной работы, детям — радость жизни с родными в большом чудесном городе, который рисовался почти Багдадом из «Тысячи и одной ночи». Возможно, в иную эпоху все эти скромные желания сбылись бы. Но на российском календаре значился год девятьсот семнадцатый, исторический барометр катастрофически падал, предсказывая долгую и безжалостную непогоду.

Городская, или, как ее еще называли, Ново-Городская, больница представляла собой барачный городок для заразных больных. Построенная без затей, но добротно, больница эта и по сей день служит городу. Незадолго до приезда Войно-Ясенецкого молодой талантливый врач Моисей Ильич Слоним развернул тут терапевтическое отделение. Теперь Валентину Феликсовичу предстояло организовать отделение хирургическое. Они очень подошли друг к другу: больница в центре города, где каждую минуту можно было ожидать самых различных и самых тяжелых больных, и Войно-Ясенецкий с его всегдашней деловитой готовностью действовать и сильно развитым чувством врачебной ответственности.

Чтобы хирург был «всегда под рукой», дом главного врача построили на территории больницы. Валентин Феликсович, домосед и труженик (если не в операционной, так в анатомичке, а коли не там, то у себя дома за письменным столом), всегда был под рукой. К нему в Ташкенте быстро привыкли, и сам он, казалось, безо всякого труда сменил больничку в 25 коек на отделение, где лежало несколько сот больных. Конечно, по сравнению с Переславлем-Залесским в Ташкенте для хирурга изменилось многое, но неизменной осталась его привычка жить лишь тем, что сам он считал серьезным и достойным внимания. Все же серьезное и важное относилось более ко внутренней, нежели внешней жизни его. А внутренний мир ученого оставался четким, упорядоченным и до поры до времени независимым от сотрясавших край политических и общественных событий.

Врач (впоследствии профессор-антрополог) Лев Васильевич Ошанин, более трех лет прослуживший в Ташкенте под началом Войно-Ясенецкого, так описывает обстановку тех лет:

«Время было тревожное. Нести суточные дежурства приходилось через двое-трое суток. В 1917—1920 годах в городе было темно. На улицах по ночам постоянно стреляли. Кто и зачем стрелял, мы не знали. Но раненых привозили в больницу. Я не хирург и за исключением легких случаев всегда вызывал Войно для решения вопроса, оставить ли больного под повязкой до утра или оперировать немедленно. В любой час ночи он немедленно одевался и шел по моему вызову. Иногда раненые поступали один за другим. Часто сразу же оперировались, так что ночь проходила без сна. Случалось, что Войно ночью вызывали на дом к больному, или в другую больницу на консультацию, или для неотложной операции. Он тотчас отправлялся в такие ночные, далеко не безопасные путешествия, так как грабежи были нередки. Так же немедленно и безотказно шел Войно, когда его вызывали в терапевтическое отделение на консультацию. Никогда не было в его лице досады, недовольства, что его беспокоят по пустякам (с точки зрения опытного хирурга). Наоборот, чувствовалась полная готовность помочь» [5].

Внутреннее спокойствие, невозмутимость, которыми главный врач встречал любые жизненные и профессиональные испытания, уже тогда изумляли сослуживцев.

«Я ни разу не видел его гневным, вспылившим или просто раздраженным,— пишет в своих «Очерках» Л. В. Ошанин.— Он всегда говорил спокойно, негромко, неторопливым глуховатым голосом, никогда его не повышая. Это не значит, что он был равнодушен, многое его возмущало, но он никогда не выходил из себя, а свое негодование выражал тем же спокойным голосом».

Но даже привыкший к невозмутимости главного врача Ошанин однажды был поражен душевной дисциплиной, которую Валентин Феликсович проявил перед лицом смертельной опасности. В одну из таких ночей, когда на темных улицах города шла уже ставшая привычной перестрелка, в больницу доставили жертву автомобильной катастрофы, мужчину высокого роста и могучего сложения. Это был латыш Цирулис или Цируль, начальник городской милиции. Его привезли с довольно тяжелым переломом бедра. Рентгеновского аппарата в больнице не было, но Войно-Ясенецкий так точно совместил обломки кости, что нога срослась очень хорошо, без укорочения. Цируль был в восторге от своего доктора и хотел как-то отблагодарить его. Однако ему дали понять, что о гонораре не может быть и речи. Тогда Цируль явился на квартиру Войно-Ясенецкого и на своем немыслимом русском языке произнес примерно следующее: «Ви часто ходит к больной. Опасно. Если нападать. Вот оружие для защита себе». С этими словами он выложил на стол браунинг с двумя обоймами и до полусотни патронов.

Врач принял браунинг и спрятал его в ящик письменного стола. Однако вскоре пришлось искать для револьвера новое место: старший сын обнаружил оружие и был не прочь поиграть с занятной игрушкой. Валентин Феликсович в один прекрасный день принес весь свой «арсенал» в дежурную комнату больницы. Он попросил доктора Ошанина, который недавно вернулся с фронта и, по его словам, имел там личное оружие и даже упражнялся в стрельбе, осмотреть, заряжен ли браунинг. И тут, вспоминает Ошанин, произошло вот что:

«Войно сидел напротив меня, шага за полтора. Сразу позади его затылка была толстая стена из жженого кирпича, старой прочной кладки. Я несколько раз до отказа вытянул затвор и потряс браунинг казенной частью вниз. Патрона не было. Не знаю, почему я не проверил пальцем, нет ли в стволе коварного седьмого патрона. «Ну вот, браунинг пуст, можете убедиться...» Я поднял ствол браунинга примерно на пять-шесть сантиметров выше головы Войно — и нажал на спуск. Бац... Пуля рикошетировала от стены, с визгом пролетела мимо затыл-

ка Войно и моего лба, ударилась в противоположную стену и упала там. Я был ни жив ни мертв. Войно сидел совершенно невозмутимо. Прошло несколько секунд полного молчания. Затем Войно спокойно сгреб обратно браунинг, обойму и патроны и встал. Перед уходом, не в порядке упрека, а лишь в порядке назидательного констатирования факта изрек: «Зачем вы говорите, что знаете это оружие; никогда не следует говорить, что вы знаете, если вы что-нибудь знаете понаслышке». И отбыл».

Впрочем, ташкентская жизнь тех лет каждый день, каждый час давала возможность герою и трусу испытать себя. На огромной площади, на которой могли бы разместиться четыре Франции, с осени 1917 до конца 1923 года шла непрерывная ожесточенная война. Фронты появлялись и исчезали, менялись противники, но кровопролитие не прекращалось. К лету 1918 года Туркестанская республика превратилась в советский остров. Железную дорогу, соединяющую Среднюю Азию с остальной Россией, у Оренбурга перерезали казаки генерала Дутова. В Ферганской долине большевиков атаковали отряды узбекских и русских крестьян, объединившихся в «Крестьянскую армию». Этих партизан советские историки упорно именовали басмачами, то есть бандитами. В 1921—1923 годах басмаческое, а по сути крестьянское движение против советской власти еще более усилилось. В его рядах действовало до 50 тысяч вооруженных всадников. На стороне противников Советов находилась и большая часть Закаспийской области. В самом Ташкенте шла грызня между большевиками и эсерами, между большевиками «дореволюционными» и партийцами эпохи гражданской войны. Кого-то все время разоблачали, арестовывали, расстреливали.

На фоне всей этой кровавой неразберихи в январе 1919 года военный комиссар Туркестанской республики К. Осипов попытался захватить в Ташкенте власть. Было ли это восстание направлено против большевистских крайностей или Осипов просто замыслил назначить себя диктатором — сказать трудно. В позднейших источниках по поводу организатора путча ничего, кроме ругани, найти не удалось. Нас, впрочем, во всей этой истории интересует лишь эпизод, произошедший в городе уже после разгрома восстания. Как всегда в таких случаях, победители начали хватать правых и виноватых, расстреливать людей без всякого суда. В обстановке массового террора всяк мог свести счеты со своим соседом по дому или сослуживцем. Для этого было достаточно показать пальцем на неприятного тебе человека и добавить, что он предатель интересов рабочего класса. Суд, основанный на пролетарском классовом сознании, никаких других доказательств не требовал. Схватили и доктора Войно-Ясенецкого. По одной версии, он у себя в операционной оказывал предпочтение «белым», а «красных» не лечил. По другой — главный врач воспротивился якобы размещению «красного» отряда на территории больницы. На самом деле все было проще.

«Мы были арестованы неким Андреем, служителем больничного морга, питавшим ненависть ко мне за наказание, полученное им по моей жалобе от начальника города,— писал впоследствии Войно-Ясенецкий.— Меня и завхоза больницы повели в железнодорожные мастерские, в которых происходил суд над восставшим Туркестанским полком. Когда мы проходили по железнодорожному мосту, стоявшие на рельсах рабочие что-то кричали Андрею. Как я узнал после, они советовали Андрею не возиться с нами, а расстрелять нас под мостом. Огромное помещение было полно солдатами восставшего полка, и их по очереди вызывали в отдельную комнату, и там почти всем в списке имен ставили крест... Нам крестов не поставили и быстро отпустили. Когда нас провожали обратно в больницу, то встречавшиеся по дороге рабочие крайне удивлялись тому, что нас отпустили из мастерских. Позже мы узнали, что в тот же день вечером в огромной казарме мастерских была произведена ужасная человеческая бойня над солдатами Туркестанского полка и многими гражданами».

Этот рассказ не совсем точный, а главное, утерявший из-за большой отдаленности времени детали (Валентин Феликсович продиктовал его секретарю через пятьдесят лет) — дополняет профессор Ошанин.

Главного врача арестовали вместе с его ближайшим учеником хирургом Р. А. Ротенбергом. Арестовал патруль из двух рабочих и двух матросов. Патрульных в хирургическое отделение привел служитель морга Андрей — пьяница, лодырь и вор, которого Войно-Ясенецкий при всем своем долготерпении давно уже обещал выгнать с работы. Весть о том, что Валентина Феликсовича увели в железнодорожные мастерские, вызвала в больнице глубокое уныние. Мастерские имели страшную репутацию. Сама фраза «увести в железнодорожные мастерские» означала в те дни не что иное, как «расстрелять». Случилось все это рано утром, и до глубокой ночи никто о судьбе арестованных ничего не знал. Подробности сообщил вернувшийся в сопровождении двух вооруженных рабочих Ротенберг. В мастерских их посадили в каком-то довольно просторном помещении, где было много и других арестованных. Одна дверь вела в комнату, где заседала «чрезвычайная тройка». Дело решалось быстро. Обратно из судилища возвращались немногие. Большинство осужденных (на разбор каждой судьбы «судьи» тратили не больше трех минут) уводили через другую дверь — приговор приводили в исполнение немедленно.

Два врача просидели перед роковой дверью больше полусуток. Все это время Войно-Ясенецкий оставался совершенно невозмутимым. На частые тревожные вопросы Ротенберга: «Почему нас не вызывают? Что это может означать?» Валентин Феликсович отвечал: «Вызовут, когда придет время, сидите спокойно». Поздно вечером через «зал смерти» проходил видный партиец, знавший главного врача в лицо. Он удивился, увидев тут знаменитого хирурга, расспросил, что произошло, и скрылся в комнате суда. Через десять минут врачам были вручены обратные пропуска в больницу. Партийный «спаситель», однако, не отпустил их одних. Обстановка в городе была слишком накалена: медиков мог пристрелить любой встречный патруль, даже несмотря на печать «тройки».

Весть, что арестованные вернулись, быстро облетела больницу. В дежурную комнату стали сбегаться врачи и сестры, каждый хотел собственными глазами убедиться — доктор жив. Войно-Ясенецкий предупредил, однако, что он просит не только не допускать никаких оваций, но и вообще никаких эмоциональных всплесков. К обычному утреннему часу назначенный на операцию больной был подготовлен, обработан и доставлен в операционную. Все были на местах. Минута в минуту хирург встал к операционному столу и принялся действовать скальпелем так, как будто ничего не случилось.

Когда я думаю о поведении Войно-Ясенецкого во время революции и гражданской войны, меня покоряет не столько его мужество в «минуты роковые», сколько та педантичность, с которой все эти годы он занимался наукой. В эпоху, когда в России погибало научное творчество, он, и без того по горло занятый врачебной текучкой, дня не пропускал, чтобы не продвинуть вперед свою исследовательскую работу.

Тему исследования подсказала опять-таки земская врачебная практика. «С самого начала своей хирургической деятельности в Чите, Любаже и Романовке,— вспоминает Валентин Феликсович,— я ясно понял, как огромно значение гнойной хирургии, как мало знаний о ней вынес я из Университета, и поставил себе задачей глубокое самостоятельное изучение диагностики и терапии гнойных заболеваний».

За десятилетия до открытия антибиотиков, в пору, когда возможности врача в борьбе против раневой инфекции были ничтожны, Войно-Ясенецкий взялся за книгу о том, как можно хирургическими методами противостоять гнойному процессу. Первый среди врачей он разработал специальные приемы оперативного вмешательства при гнойных процессах и тем самым выделил гнойную хирургию из хирургии общей. Для хирургов-практиков доантибиотической эпохи такое исследование представляло важность первостепенную. Идея книги «Очерки гнойной хирургии» зародилась еще в Переславле. Там же был составлен план и написано предисловие. Теперь в Ташкенте, оперируя на больных и на трупах, Войно-Ясенецкий собирал материал для монографии. Книга строилась на сотнях историй болезни, которые Валентин Феликсович диктовал или писал сам. Для диктовки избрал он время, которое хирурги издавна облюбовали для отдыха и душевного расслабления,— минуты, когда врач «размывается». В этот краткий час отдыха в операционных наступает обычно разрядка — звучит оживленная речь, слышит-

ся смех усталых, хорошо поработавших людей. Но Валентин Феликсович не отдыхал и, моя руки, диктовал ход операции. В эту работу втянул он молодых больничных хирургов, своих учеников. Один из них, ныне ташкентский профессор Борис Абрамович Стекольников, вспоминает:

«Сколько я помню, Валентин Феликсович всегда собирал материал для книги «Гнойная хирургия». Когда его интересовал какой-нибудь больной, он говорил: «Напишите историю болезни для книги». Это значило дать подробную мотивировку диагноза, пути распространения воспалительного процесса, осложнения, план операции и подробное описание самой операции. К написанию такой истории болезни приходилось долго готовиться. Это была трудная, но полезная работа, сильно расширяющая кругозор хирурга. Если Валентина Феликсовича не удовлетворяла моя история болезни, он произносил свое любимое: «Никуда не годится». Но постепенно я научился делать эту работу и теперь с удовлетворением вижу некоторые свои истории болезни в «Очерках гнойной хирургии».

Столь же обязательной частью ташкентской жизни были операции в морге. «Мне нередко приходилось делать исследования на трупах в больничном морге, куда ежедневно привозили повозки, горой нагруженные трупами беженцев из Поволжья, где свирепствовали тяжелый голод и эпидемии заразных болезней. Работу на трупах приходилось начинать с собственноручной очистки их от вшей и нечистот».

Исследования на покрытых вшами трупах, с четырех до семи вечера почти ежедневно, закончились бедой: врач заразился и жесточайшим образом переболел возвратным тифом. Но и после этого он не оставил операций в морге до того самого дня, когда ото всех научных занятий его оторвали силой.

Как же этот «мужицкий доктор» встретил новую власть? Всю свою жизнь, и до революции и после, Валентин Феликсович в тех немногих случаях, когда он обращал внимание на общественную жизнь, судил о ней с точки зрения нравственности. Царизм с его Ходынкой, позором русско-японской войны, расстрелами 1905 года, дворцовой грязью и провалами в войне с Германией был для Войно-Ясенецкого властью безнравственной. Первые лозунги большевиков о мире, земле и свободе показались ему этически приемлемыми. В детали он не входил, а считал своим долгом гражданина служить при новой власти так же честно, как служил при старой. Его ближайшие ученики — хирург Стекольников, Беньяминович, Жолондз — были горячо увлечены лозунгами революции. Находились в медицинском мире и противники Советов. Но ни с теми, ни с другими Валентин Феликсович никогда общественных вопросов не обсуждал. Так же точно, как не обсуждал он проблем житейских, хозяйственных. Это было ему неинтересно.

Другое дело — помочь обществу своими знаниями врача. Осенью 1918 года комиссар здравоохранения И. И. Орлов пригласил ведущих медиков Ташкента — М. И. Слонима, А. Д. Грекова и В. Ф. Войно-Ясенецкого обсудить острую нужду, которую испытывала республика в медицинских кадрах. На всей огромной территории Советского Туркестана насчитывалось всего 250 врачей. Остро не хватало также фельдшеров и медицинских сестер. Никто не приказывал Валентину Феликсовичу, и без того сверх меры загруженному в городской больнице, брать на себя новое дело, но он охотно предложил услуги, и вскоре бывший кафешантан Буфф удалось превратить в среднемедицинскую школу, где Войно-Ясенецкий читал курс анатомии. Занятия пошли настолько успешно, что через год, осенью 1919 года, школа была преобразована в первый курс медицинского факультета. В организационной группе вновь оказались Войно-Ясенецкий, Греков, Слоним и Ошанин.

«Студентов набралась масса, и они с жадностью набросились на учебу, помогая всем, чем могли, молодому факультету,— вспоминает профессор микробиологии А. Д. Греков, основатель и многолетний директор Ташкентского института вакцин и сывороток.— Так, помню, кости для занятий по анатомии раздобывали на старых кладбищах и в окрестностях Ташкента, рискуя при этом боками... Не было книг, на гектографе перепечатывали оттиски с тех, что имелись у руководителей, Войно-Ясенецкий выполнял художественные таблицы по анатомии. Ботаник собирал травы и на них обучал слушателей...»

В воспоминаниях профессора А. Д. Грекова особенно важно одно обстоятельство: «Вокруг нас, бывших за Советы на научном фронте, раздавалось часто шипение людей, мечтавших о старом, возвращение которого они стремились видеть в малейшей неудаче на фронтах советских войск. Однако мы упорно делали свое дело и были вполне удовлетворены, когда весной 1920 года к нам прибыли из Москвы уже там сформированные кадры профессорского и ассистентского состава персонала Среднеазиатского медфака...»

Войно-Ясенецкий на научном фронте был за Советы. (Кстати, с 1917 года по 1923-й он оставался первым председателем Союза врачей г. Ташкента.) Поэтому, когда в разгар гражданской войны в Ташкент прибыл поезд с преподавателями нового университета (этот сугубо политический акт предпринял Ленин, а практически осуществила Крупская), власти без труда утвердили Валентина Феликсовича в качестве профессора. Прежде, однако, чем возникли университет и кафедра оперативной хирургии, в жизни нашего героя произошли серьезные, резко изменившие его жизнь перемены.

...Войны и революции не считают своих жертв. Даже потом, когда на сцене появляются историки, чтобы подогнать факты и цифры под выгодный победителю ранжир, в расчет принимаются лишь те, кого убили в боях, окопах, на баррикадах. О том, сколько жизней стоили России Октябрьская революция и гражданская война, мы знаем очень приблизительно. И уж совсем никем не считанными остались миллионы жертв косвенных. В них не стреляли, их не рубили шашками. Их просто убил голод, холод, болезни и сверхчеловеческие переживания эпохи, когда до самой низкой точки упала ценность человеческой личности. Анна Ланская стала жертвой именно такого рода.

В первые месяцы ташкентского житья ей как будто стало намного лучше: температура снизилась, сил прибавилось, но уже с конца 1917 года положение в городе начало резко ухудшаться и одновременно ухудшалось ее здоровье. Стали дорожать продукты, обнищали базары. Поднимаясь рано утром, Лиза простаивала в очередях до середины дня. Ведь кормить теперь приходилось (вместе с Лизиным ребенком) восемь человек! Женщины с грустью вспоминали благословенные времена в тихом и сытом Переславле. О тишине можно было лишь мечтать. Над больничным двором свистели пули. Стены корпусов, как оспой, покрылись пулевыми шрамами. Во время одной из таких перестрелок ранило в бедро операционную сестру Велицкую. В другой раз чуть не убило главного врача: пуля просвистела у самого уха. Нервы у Анны Васильевны были все время напряжены. В час, когда муж возвращался обычно из больницы, она металась по квартире, не находя себе места.

К зиме стало совсем голодно. Лиза не выдержала, уехала домой. Анна еще перемогалась, кое-как ходила по дому. Но ни готовить, ни убрать шесть просторных комнат уже не могла. Квартиру убирал Валентин Феликсович. Дети помнят, как вечером он мыл полы, накручивая на половую щетку старые бинты. Стали приносить из больничной кухни обед— квашеная тухлая капуста в мутной воде. Лечил Анну Васильевну доктор Моисей Слоним. Человек добрый, расположенный к Войно-Ясенецкому, он пытался поддержать пациентку не только лекарствами, но и усиленным питанием: от своего стола посылал доктор довольно богатые по тем временам обеды. Слоним, лучший терапевт города, являлся как бы лейбмедиком советских властей. Кроме того, он имел большой частный прием. От гонорара Моисей Ильич в отличие от Валентина Феликсовича не отказывался, и семья его даже в самые тяжелые времена не голодала. Но ни обеды Слонима, ни продукты, которые тайком от Войно-Ясенецкого посылала его жене семья хирурга Ротенберга, не приносили большой пользы. Анна раздавала пищу детям, а сама сидела на той же капустной похлебке, что и муж. Окончательно свалила ее весть об аресте Валентина. Та ночь, когда кое-как уложив детей и уже не надеясь увидеть мужа в живых, сидела она в холодном доме при свете моргающей коптилки (электричество, так порадовавшее их в день приезда, было давно выключено), оказалась для нее роковой. После ужасных суток ожидания до самой своей кончины (13 ноября по старому, 27 ноября 1919 года по новому стилю) она уже не поднималась с постели. «Она горела в лихорадке, совсем потеряла сон и

очень мучилась,— пишет об этих днях Валентин Феликсович.— Последние тринадцать ночей я просидел у ее смертного одра, а днем работал в больнице». От его двухнедельного бдения сохранился ворох маленьких исписанных карандашом листков, на которых Валентин Феликсович из ночи в ночь заносил каждое слово, описывал каждое движение умирающей. Какой смысл придавал он этой летописи страданий? Готовился ли в будущем дать отчет детям или, истомленный физически и нравственно, пытался в этом привычном занятии найти поддержку своему духу и телу? Как бы ни складывалась их жизнь, Анна всегда оставалась самым близким ему человеком: были дети, были ученики, был преданный друг Моисей Ильич Слоним, но никто никогда потом не занял в его душе место Анны. Никто вообще не мог бы сказать, что дружит или дружил с Войно-Ясенецким, что тот полностью открывал ему свое сердце. В ноябре 1919 года умирала не просто Анна Ланская, жена и мать детей Валентина Феликсовича, но отпадал, умирал некий кусок собственного естества. И вот муж, врач, человек науки, он, записывая ее слова, как умел, старался остановить эту гибель, сохранить, спасти то, что еще можно было спасти.

«Настала и последняя страшная ночь. Чтобы облегчить страдания умирающей, я вспрыснул ей шприц морфия, и она заметно успокоилась. Минут через двадцать слышу: «Вспрысни еще». Через полчаса это повторилось опять, и в течение двух-трех часов я вспрыснул ей много шприцев морфия, далеко превысив допустимую дозу. Но отравляющего действия не видел.

Вдруг Аня быстро приподнялась и села и довольно громко сказала: «Позови детей». Пришли дети, и всех их она перекрестила, но не целовала, вероятно, боялась заразить. Простившись с детьми, она опять легла, спокойно лежала с закрытыми глазами, и дыхание ее становилось все реже и реже... Настал и последний вздох...»

Анна умерла в десять вечера. За несколько минут до смерти Войно-Ясенецкий записал ее последние слова: «Да будет Господь милостив к нам». Потом разбудил детей. Сказал старшим: «Я написал молитву — молитесь за маму». Оставшись один, всю ночь просидел у тела жены. Читая Евангелие, плакал. Когда на кладбище ставили крест, Валентин Феликсович своей рукой написал на нем: «Чистая сердцем, алчущая и жаждущая правды...»

Так, не войдя ни в какие статистики революции, ушла из жизни еще одна жертва всероссийской социальной трагедии.

Смерть Анны творцы легенд считают срединной линией биографии доктора Войно-Ясенецкого, линией перегиба, перелома его судьбы. Отсюда начинается жизнь-легенда, жизнь-миф. В действительности перелом произошел позже, примерно через два года после гибели Анны Васильевны. Но в мифотворчестве своя система отсчета. Современников поразила ситуация: известный, почитаемый врач и ученый вдруг среди хаоса военных лет потерял жену, остался один с четырьмя маленькими детьми. Человек, бесстрашно распоряжающийся чужими жизнями, вдруг сам поставлен был перед необходимостью решать мудреную задачу собственного бытия. Об этом много говорили. Даже через полвека с лишним мне рассказывали в Ташкенте несколько версий того давнего события.

«Семья Войно-Ясенецких бедствовала потому, что доктор, принимая больных, никогда не брал подношений. Жена умоляла его хоть что-нибудь приносить в дом (деньги в 1918—1919 годах потеряли всякую ценность). Ведь надо было кормить детей. Но он упорно отказывался от всех гонораров. Между супругами начались конфликты. И тут только Войно-Ясенецкий понял, что совершил непростительную ошибку: в собственном доме просмотрел он начало страшной болезни. Но помочь умирающей было уже нечем. У гроба любимой жены Валентина Феликсовича охватило раскаяние, это-то раскаяние и привело его к религии, к церкви». Так излагает запомнившиеся ей факты коренная ташкентская жительница, кандидат биологических наук М. З. Лейтман.

А бывшая студентка Войно-Ясенецкого, ныне член-корреспондент Академии медицинских наук СССР З. И. Умидова считает, что «Валентин Феликсович был слишком суров с женой, и это ускорило ее гибель». Концовка ее версии та же: «Раскаиваясь в содеянном, ученый постригся в монахи». Однако врач-гинеколог А. А. Шорохова (осенью 1971 года, когда мы беседовали с ней, ей только исполнилось 90 лет), убеждена, что все было совсем иначе: «Никаких конфликтов между супругами не было, просто жена Войно-Ясенецкого заразилась где-то туберкулезом и сгорела за один месяц, как тогда нередко бывало с молодыми людьми. Была Анна Васильевна очень религиозна и, пока болела, просила мужа читать ей Евангелие. Этот месяц, пока он ежевечерне читал ей Новый Завет, и решил его судьбу. Он стал религиозным. Уверовав, сжег свои картины и начал писать иконы, которыми украсил больничную часовню».

«Неверно,— решительно возражает бывший хирург городской больницы, ученица Валентина Феликсовича А. М. Беньяминович.— Анна Васильевна, молодая, красивая, была почти неверующей. Ей надоедало, что муж таскает ее по церквам и монастырям. Она даже жаловалась знакомым на излишнюю религиозность Валентина».

Возможно ли выяснить правду среди столь противоречивых суждений? Попробуем. Сначала послушаем, что говорит об этом сам герой:

«У земского врача, каким я был тринадцать лет, воскресные и праздничные дни — самые занятые и обремененные огромной работой. Поэтому я не имел возможности ни в Любаже, ни в Романовке, ни в Переславле-Залесском бывать на богослужениях в церквах и многие годы не говел. Однако последние годы моей жизни в Переславле я с большим трудом нашел возможность бывать в соборе...»

Иными словами, пережив юношеское религиозное увлечение, доктор Войно-Ясенецкий стал с годами *традиционно верующим*, то есть человеком, религиозным настолько, чтобы время от времени бывать в церкви и исполнять наиболее важные православные обряды. Такое отношение к религии было довольно распространенным среди российской интеллигенции. Вера не исключалась из обихода и в то же время не занимала сколько-нибудь значительного положения в жизни. Вера становилась *бытом*, таким же, очевидно, каким она является сегодня для многих англичан, французов и американцев.

Возможно, что трагическая обстановка многолетней кровавой войны несколько обострила религиозные чувства главного врача, но в общем-то это была все та же традиционная религиозность, которая, по словам профессора Л. В. Ошанина, проявлялась лишь в том, что по субботам, воскресеньям и в некоторые большие праздники Войно-Ясенецкий посещал церковные службы. При таком ровном отношении к делам веры совершенно очевидно, что Валентин Феликсович не мог «замучить жену», таская ее по церквам и монастырям. Да и она не могла неожиданно, вдруг, за один месяц сделать его пламенным христианином, ибо утвердился в своих религиозных чувствах Валентин Феликсович давно, еще в юности; и чувства эти до поры до времени оставались, как говорят медики, «в пределах нормы».

Сочинители легенд путают: вслед за смертью Анны никакого вулканического взрыва религиозности в душе Войно-Ясенецкого не произошло. Как муж и христианин, он скорбел об утрате любимого человека, но боль потери заглушал не молитвами, а шестнадцатичасовой напряженной работой. На двадцатый — двадцать третий годы падает пора самой плодотворной научной и педагогической его деятельности. Не правы авторы легенд и в том, что муж проглядел у жены заболевание туберкулезом. Не было этого. Опытный врач, он обнаружил болезнь еще в Переславле, вскоре после заражения. Единственно, что достоверно в слухах и россказнях тех давних лет, это то, что вечно занятый врачеванием и наукой, неумелый по части добывания средств, Валентин Феликсович действительно не дал больной необходимого ей питания и ухода. Но виновен ли он в этом? В другом месте, в другое время хирург такого класса, как он, смог бы обеспечить своей подруге все необходимое. Но в разгар гражданской войны, всеобщего беззакония и хозяйственной разрухи благами, которые так нужны были Анне, владели только должностные бонзы да вьющиеся вокруг них проходимцы и жулики (коих всегда много в эпохи с расшатанной системой законности). У кого же достанет смело-

сти обвинять ученого за то, что в роковой момент не смог он угнаться за ворами и проходимцами?

Так распадается легенда о том, что смерть жены сделала Войно-Ясенецкого религиозным фанатиком. Нет, он не изменился в 1919-м. Но менялось время. И довольно круто.

В операционной городской больницы уже много лет висела икона Божьей Матери, оборотясь на которую, хирург имел обыкновение осенять себя перед операцией крестным знамением. Заведено это было так давно и исполнялось так часто, что неверующие врачи перестали обращать на это внимание, а верующие считали делом самым обычным. Но времена, повторяю, менялись, и в начале 1920 года одна из ревизионных комиссий приказала икону убрать. В ответ на это Валентин Феликсович ушел из больницы и заявил, что вернется только после того, как икону водворят на место. В двадцатом году для большинства окружающих этот поступок главного врача выглядел уже анахронизмом. Доктор Войно-Ясенецкий попросту проглядел начало новой эры, когда гражданину на каждом шагу принялись напоминать, что он живет в государственной квартире, работает в государственном учреждении и топчет государственную землю. А раз так, должен считать естественным любое вмешательство власти и его жизнь, ибо и сам он, гражданин, есть не что иное, как имущество государственное. Все остальные сотрудники больницы (и не только больницы) за три года уже привыкли к новому положению. Войно-Ясенецкий не привык к нему до конца жизни.

Профессор Ошанин, человек неверующий, но глубоко уважающий своего шефа, так описывает дальнейшую историю борьбы за икону. Комиссия высказалась в том смысле, что «операционная — учреждение государственное. У нас церковь отделена от государства. Если вашему хирургу хочется молиться, пусть молится, никто ему не мешает, но пусть держит икону у себя дома».

Войно-Ясенецкий повторил, что в операционную не вернется. Вмешалось, однако, обстоятельство непредвиденное: крупный партиец привез в больницу для неотложной операции свою жену. Женщину мог бы прооперировать любой хирург, но она категорически заявила, что никакого другого врача, кроме Войно-Ясенецкого, не желает. «Войно вызвали в приемную,— пишет профессор Ошанин.— Он подтвердил, что очень сожалеет, но, согласно своим религиозным убеждениям, не пойдет в операционную, пока икону не повесят обратно... Доставивший больную заявил, что дает «честное слово», что икона завтра же будет на месте, лишь бы врач немедленно оперировал больную... Войно счел честное слово партийца достаточной гарантией. Он немедленно пошел в хирургический корпус, оперировал женщину, которая в дальнейшем вполне поправилась. На следующее утро икона действительно висела в операционной».

С юмором рассказывая о победе Войно-Ясенецкого, Ошанин заметил, что случилось это лишь потому, что «времена были переходные, не устоявшиеся, во многом парадоксальные». Я не могу с этим согласиться. Действительно, новая власть в те годы еще не успела окончательно окостенеть в своей нетерпимости. Но главную роль в этой скромной, но многозначительной истории сыграли не безликие люди из учреждений, а воля и достоинство, с которыми впервые после революции выступил на защиту своих прав хирург-гражданин Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.

Когда я собирал материалы к его биографии, то от людей, родившихся и выросших после революции, не раз слышал такой примерно вопрос: «Как же так: врач — и верующий? Разве это возможно? Ведь наука опровергает, исключает религию...» В этом недоумении мне чудилась еще и другая интонация: настоящий ли он ученый, ваш Войно-Ясенецкий? Настоящий разве стал бы верить во всю эту божественную чертовщину?

Прежде чем ответить по существу, сошлюсь на свидетельство физиолога Ивана Петровича Павлова, чья репутация ученого, кажется, никем еще не опровергалась. В начале 30-х годов архиепископ Кентерберийский разослал крупнейшим исследователям мира анкету, в которой, между прочим, значился и такой вопрос: «Считаете ли вы религию совместимой с наукой или нет?» «Да, считаю»,— ответил Павлов. «Почему вы так считаете?» — «Да просто по одному тому, что целый ряд выдающихся ученых были верующими. Значит, для них это совместимо. Факт есть факт, с ним нельзя не считаться».

Да, такой факт. Религиозными людьми были такие корифеи техники и естествознания, как Коперник и Леонардо да Винчи, Ньютон (который даже писал комментарии к Библии) и астроном Кеплер, математик Паскаль, творец современной ботанической классификации Линней, Гарвей, открывший закон кровообращения. В новое время к этой когорте можно отнести Пастера, Менделя, Лобачевского. Хирург Пирогов обратился к вере 39 лет от роду, сразу после возвращения с Кавказа, где он впервые в истории медицины применил наркоз в военно-полевых условиях. Его переписка с невестой (1850 г.) полна религиозных размышлений. Позднее в «Дневнике старого врача» Пирогов с полной откровенностью признавался:

«Жизнь-матушка привела, наконец, к тихому пристанищу. Я сделался, но не вдруг, как неофиты, и не без борьбы, верующим. К сожалению, однако же еще и до сих пор, на старости, ум разъедает по временам оплоты веры, но я благодарю Бога за то, что по крайней мере успел понять себя и увидал, что мой ум может ужиться с искреннею верою. И я, исповедуя себя весьма часто, не могу не верить себе, что искренне верую в учение Христа Спасителя...»

Век двадцатый стал свидетелем глубокой религиозности физика Альберта Эйнштейна, врача Альберта Швейцера, антрополога Тейяра де Шардена. Среди наших знаменитых современников верующими были физиолог И. П. Павлов, офтальмолог В. П. Филатов, геохимик В. И. Вернадский, академик-востоковед Н. И. Конрад, хирург С. С. Юдин, патологоанатом А. И. Абрикосов.

Как бы отвечая на вопрос моих собеседников, профессор Л. В. Ошанин пишет: «Во внутреннем мире Войно уживались наука и религия и притом уживались так, что не мешали одна другой и даже друг другу помогали». Ошанин не пытается объяснить, «как в одной черепной коробке могли бы уживаться столь различные (по его мнению.— М. П.) жильцы». Свой рассказ о верующем враче он завершает честным признанием: «Я не берусь разбираться в столь дремучих дебрях чужой души. Ограничиваюсь констатацией факта — да, уживались!»

Ученик Валентина Феликсовича Б. А. Стекольников (убежденный атеист и коммунист, как он сам себя аттестует) тоже пытался объяснить «парадоксальное» сочетание интересов учителя. И притом объяснить с помощью одного слова: «В. Ф. был сложным, необычным человеком, человеком крайностей. Большой ученый, он оставался человеком церкви. Полностью, без какой бы то ни было критики он принимал всю внешнюю сторону религии. И отклонения от ритуала считал богохульством. В этом проявлялась черта его характера — крайность».

«Объяснение» Стекольникова похоже на «объяснение» знатока птиц, который говорил, что красное брюшко снегиря объясняется наличием определенно окрашенных перьев на его брюшной поверхности. Но так или иначе и Стекольников — коммунист и атеист — вынужден признать: у Валентина Феликсовича искренняя вера совмещалась с подлинной научностью. Это был факт неоспоримый. «Можно не соглашаться с убеждениями этого человека как духовного лица,— писал о более позднем периоде жизни Войно-Ясенецкого близко знавший его профессор микробиологии А. Д. Греков,— но приходится преклоняться перед его огромными знаниями и талантом».

...Ученый-медик отличается от своих коллег — математиков, физиков и даже биологов — тем, что свои знания он не может передать ученикам с помощью одних лишь книг и статей. Даже лекций для этого недостаточно. В медицине (особенно в хирургии) научить — значит показать. Исследователь-хирург должен иметь учеников, тех, что наследуют не только его идеи, открытия, но и его «хирургический почерк» — манеру держать нож и накладывать шов. Школа — важный знак научной значимости врача. Расцвет небольшой, но своеобразной школы Войно-Ясенецкого пришелся на начало двадцатых годов (1920—1923 гг.).

«Валентин Феликсович не был преподавателем в общепринятом смысле этого слова,— вспоминает Анна Ильинична Беньяминович.— Он учил «при случае»,

но зато случаи эти запоминали мы на всю жизнь. Возвратился как-то главный врач в субботу вечером к себе домой после всенощной, увидел свет в операционной. Зашел. Возле задыхающегося от крупа юноши бился хирург Александр Матвеевич Жолондз — никак не мог «найти» у больного трахею. Мгновенно оценив обстановку, Войно-Ясенецкий облил свои руки йодом, выхватил из рук растерявшегося ученика инструмент, ткнул скальпелем прямо в трахею. «Вставляйте трубку!» И ушел. А в другой раз, вот так же после церкви, зайдя в операционную, обнаружил он только что отсеченный кусок кишки: хирург Ротенберг заканчивал операцию у больного с ущемленной грыжей. «Зачем же вы живую кишку убрали?» — недовольно заметил Валентин Феликсович. И этого вопроса, произнесенного строго, с укором, но без всякой резкости, достаточно было, чтобы весь остальной хирургический век Григорий Александрович Ротенберг, принимаясь оперировать грыжу, думал о том, как бы ему отогреть и спасти «полумертвую» ткань.

Допуская ученика к новой операции, главный хирург всякий раз устраивал строгий экзамен по топографической анатомии и хирургии. Своим медленным и спокойным голосом он вопрошал: «Какой метод вы изберете для данной операции?» Хирург спешил назвать метод, который казался ему наиболее подходящим, но в ответ слышал уничтожительную реплику учителя: «Вы не можете заранее предсказать метод операции. Надо знать все методы, а избирать оперативный прием только после того, как вы увидите больного».

Войно-Ясенецкий никогда не кричал на сотрудников, не срывался, как большинство хирургов в операционной; для него было немыслимым оскорбить младшего коллегу. Но, когда дело шло о дисциплине и порядке, он становился непреклонным. «Мы имели обыкновение читать историю болезни вслух, пока профессор мыл руки, готовясь к операции,— пишет Б. А. Стекольников.— Однажды я читал таким образом историю болезни, но так как не успел записать некоторые детали, то пропущенное произносил, не заглядывая в бумагу. Валентин Феликсович заметил это и спросил, почему я не все записал. Я ответил, что у меня абсолютно нет времени. Ни слова не говоря, он отменил операцию. Это произвело на меня тяжелое впечатление, но зато я научился полностью и детально вести историю болезни».

До крайности сосредоточенный, погруженный в свои мысли Войно-Ясенецкий тем не менее мгновенно замечал любой промах подчиненного и разил немедленно. Однажды он вошел в операционную в ту минуту, когда женщина-хирург нечаянно уронила на пол инструмент. На свою беду, она сделала импульсивный жест, как бы желая поднять упавший предмет. И не подняла даже, а только чуть наклонилась в ту сторону. И сразу была уволена. Главный врач с негодованием говорил потом о ее «недостойном хирурга» поведении.

Ученье у Войно-Ясенецкого давалось сотрудникам нелегко. «Шеф» никогда подчиненных не хвалил (исключение делалось только для санитарок). Выговор же получить врач мог даже тогда, когда, казалось бы, заслуживал одобрения. Одна из таких справедливых «несправедливостей» запомнилась Б. А. Стекольникову во всех подробностях.

Городская больница принимала больных, доставляемых «скорой помощью». Как-то ночью во время дежурства Стекольникова привезли мужчину с закрытой травмой живота. Дежурный врач мог бы, конечно, послать за главным. Но, поразмыслив, сам поставил довольно сложный диагноз: «разрыв селезенки». Диагноз оказался правильным. Разорванную селезенку хирург удалил и совсем уже заканчивал операцию, когда в глубине живота появилось немного крови. Он попробовал ее остановить, но кровотечение, хотя и не сильное, продолжалось. Пришлось наложить шов, захватив кровоточащие ткани в брюшину. «Утром на конференции я доложил о случившемся, не скрыв, конечно, факта кровотечения. Я надеялся услышать от профессора одобрение. Ведь вот я, молодой хирург, так точно поставил диагноз и спас жизнь больному. Валентин Феликсович попросил объяснить причину кровотечения. Я ответил, что дело, очевидно, в нарушении венозного сплетения. «Вы не поняли, откуда это кровотечение. И сейчас не понимаете своей ошибки. Вы поранили хвост поджелудочной железы. Если еще раз это повторится, я лишу вас права быть ответственным дежурным». После выговора врач целую неделю со страхом подходил к кровати своего больного. Ведь если бы из поврежденной поджелудочной железы начал выделяться фермент (поджелудочный сок), он мог бы разъесть, переварить тонкий кишечник, и тогда неминуемо возник бы перитонит. Всю эту неделю Стекольников старался быть поблизости от больного, чтобы в случае беды немедленно предпринять операцию. К счастью, все обошлось, но суровый урок пошел молодому хирургу впрок. Никакая лекция об осложнениях при операции на селезенке не дала бы ему больше, чем эта суровая, но справедливая отповедь учителя.

Однако главные знания обретали ученики на операциях. Особенно после того, как удалось уговорить Войно-Ясенецкого оперировать, поясняя вслух. И без того мастерские операции его превратились в блестящие лекции по топографической анатомии. Что кроется за фасцией, которую он сейчас вскрывает, какие сосуды или какой пучок нервов лежат глубже, где сейчас находится его рука со скальпелем, части каких органов окружают операционное поле,— все это открывалось ученикам зримо, ярко, как в стереоскопическом фильме.

Операции Валентин Феликсович предпочитал радикальные, разрезы широкие, чтобы иметь возможность обозреть все узлы, ткани, слои. Сказывался опыт земской больницы, где хирургические паллиативы у пациентов и врачей были не в чести. Одну из таких операций описал Л. В. Ошанин. Главный хирург оперировал сестру его жены. У нее был далеко зашедший рак правой молочной железы, больная не сразу обратилась к врачу. Обычно при таком вмешательстве «разрез по Кохеру» считается вполне достаточным. Но Войно-Ясенецкий для блага больной значительно «расширил» оперативное поле. Он произвел радикальный хирургический «туалет» и буквально выгреб все лимфатические железы не только из подмышечной впадины, но и из-под ключицы, и из-под лопатки. Ведь, возможно, в них уже были метастазы рака. После столь тщательной операции больная прожила еще тридцать лет и умерла в глубокой старости...

Рентгеновского аппарата в начале 20-х годов в больнице не было, исследования в больничной лаборатории ограничивались анализом крови и мочи. Выслушивать больных главный врач тоже не мог — дурно слышал. Но сколько-нибудь серьезных ошибок в диагностике тем не менее не совершал. Если же ошибался, то, по словам доктора Беньяминович, «как грешник на исповеди, спешил выложить ученикам все малые и большие свои промахи». Эти «покаяния» Войно-Ясенецкого были своеобразной формой обучения в «школе» Войно-Ясенецкого. Лжи главный хирург не терпел: солгавший навсегда погибал в его глазах. Впрочем, даже промахи во время операций у такого учителя, как Валентин Феликсович, оказывались поучительными. Одна из принятых в те годы операций — удаление пораженных туберкулезом шейных желез — требовала особого артистизма. Железы эти интимно связаны с шейными сосудами. Обычно, прежде чем заняться вылущиванием желез, Войно-Ясенецкий выделял сосудистый пучок и отводил его в сторону от операционного поля. Но однажды он все-таки поранил скальпелем поверхностную наружную вену. В порез тут же засосало воздух. Ассистенты услышали зловещее «псст» и похолодели: воздух в кровеносном русле — это почти верная смерть. Войно-Ясенецкий не проявил никаких признаков паники. Ни одна мышца на его лице не дрогнула и тогда, когда, к ужасу ассистентов, волна пузырьков воздуха поползла по обнаженной яремной внутренней вене — глубинный эмбол вот-вот готов был прорваться в жизненно важные органы. И тут одним движением Валентин Феликсович исправил свой промах. Он перерезал яремную вену, выпустил воздух и, опять-таки ни слова не говоря, зашил разрез. Ученики получили важный урок, который, однако, не сопровождался ни единым словом пояснения.

И все же во всех этих блестящих оперативных вмешательствах сотрудники находили серьезный изъян: всю операцию с начала до конца Войно-Ясенецкий делал сам. Ассистенту ничего не оставалось, кроме как держать крючки и зажимы во время завязывания узлов. Любое проявление инициативы со стороны ассистента Валентин Феликсович считал неуместным. Сам не имевший в юности учителей, он умел учить только примером. То же самое повторялось с научными

докладами. Прочитав за два часа до выступления на научном обществе доклад Стекольникова, Войно-Ясенецкий безапелляционно заявил: «Никуда не годится». «Что же делать? Как исправить доклад?» — взмолился ученик. И получил в ответ типичную для «шефа» реплику: «Нечего исправлять. Доклад как брилллиант. Куда ни повернешь — должен сверкать. Ваш не сверкает».

Осенью 1920 года Войно-Ясенецкий, педагог, получил новые возможности: в Ташкенте открылся Государственный Туркестанский университет. Профессоров и ассистентов подобрали в Москве и привезли в Среднюю Азию, как уже говорилось, по личному распоряжению Ленина. Среди местных врачей чести быть избранными удостоились только четыре человека. И среди них Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Он занял на медицинском факультете кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии. Факультет разместился в просторных залах бывшего кадетского корпуса. Но кафедре оперативной хирургии в смысле помещения не повезло: под нее отвели три маленькие комнатки, служившие раньше людской и кухней в доме начальника корпуса. В комнатах с асфальтовым полом и испорченным отоплением всегда было холодно и сыро. Оборудованием кафедра тоже не блистала. Только выполненные с большим художественным мастерством анатомические таблицы — творчество самого профессора — украшали непрезентабельное помещение. Впрочем, не красна изба углами... Великолепные лекции Валентина Феликсовича собирали полную аудиторию. Слушать его приходили не только студенты, но и многие городские врачи.

Жизнь профессора мало чем отличалась от жизни врача-хирурга. Разве что только количеством ежедневного труда. В свои уплотненные сутки Войно-Ясенецкий умудрялся втиснуть еще несколько операций в клинической больнице, второй обход больных, лекции для студентов и подготовку к ним. О подготовке к занятиям Б. А. Стекольников вспоминает: «Однажды Валентин Феликсович вызвал меня к себе вечером на квартиру. Когда я вошел, он сидел за столом. На листе бумаги был начерчен контур стопы, и в этот контур он вписывал многочисленные кости стопы. На столе не было ни атласа, ни скелета стопы, он рисовал на память... Так тщательно и добросовестно готовился он к каждой лекции».

А пока профессор Войно-Ясенецкий лечил и учил, старательно готовился к лекциям и, не считаясь со своим покоем и отдыхом, спасал человеческие жизни, другие люди превращали жизнь горожан в страшный, бессмысленный, невыносимый кошмар. В Ташкенте свирепствовали малярия, холера, сыпной тиф. Голод на Волге гнал в Туркестан массы голодающих. Они вповалку лежали на вокзале: оборванные, покрытые вшами. Идя на кафедру, профессор встречал телеги, груженные голыми трупами. Их везли из переполненного свыше всякой меры сыпнотифозного отделения. Больные и трупы лежали даже возле больничных ворот. Перед нескончаемым потоком страдальцев у врачей опускались руки. Остановить эпидемию могли только решительные государственные меры. Но властям было не до того. С самого семнадцатого года продолжали они резню, которой не было видно конца. По всему Туркестану разыскивали и вылавливали тех, кто имел какое-нибудь отношение к прежнему строю: крупных и мелких чиновников царской администрации, депутатов городской Думы, офицеров. Для «бывших» не было оправданий. Их расстреливали без суда. Генерала, который проявил полное презрение к своим гонителям, застрелили в тюремной камере... через дверной глазок. В газетах писали об этом как о событии обыденном. Жестокость была объявлена государственной необходимостью. Ею похвалялись, ее превратили в принцип. Другие государственные принципы были не лучше. Видный руководитель Туркестанской республики заявил: «Мы захватили власть и пролем кровь всякого, кто попытается у нас эту власть отнять». Комиссар одного из полков Красной Армии, некто Шкаруба, похвалялся перед приехавшим из Ташкента партийцем-инспектором: «Я здесь числюсь Малютой Скуратовым. И веду себя как Малюта Скуратов».

В столице республики уже после того, как отгремели бои, власти вели себя так, будто Ташкент оставался вражеской территорией. Что ни день горожане читали в газетах приказы ЦИК: «Мобилизовать всех зубных врачей...», «Считать мобилизованными всех учителей». Мобилизованные, как военнопленные, обязаны были работать там, где им прикажут, сколько прикажут и довольствоваться платой, которую властям будет угодно им положить. С крестьянами управлялись еще проще: их грабили под видом продразверстки или просто отнимали продукты, скот, зерно как «реквизированные». Один из делегатов десятого съезда РКП из Туркестана рассказывал, что в результате непрерывных беззаконных поборов разбежались многие киргизские поселки.

Беззаконные действия властей вызывают массовое подражание среди населения. Между 1919-м и 1923-м годами нет ни одного номера «Туркестанской правды», где бы половина газеты не была посвящена должностным злоупотреблениям. В городе ежедневно происходили квартирные налеты, ограбления, убийства на улицах. Оживленно работают фальшивомонетчики. Коррупция среди государственных служащих принимает чудовищные размеры. Вот заголовки газетных статей, взятых из двух номеров «Туркестанской правды» за октябрь 1922 года: «Установлена крупная взятка», «По пьяной взятке», «Панама в Кожтресте», «Советский плут», «В борьбе со взяткой», «Борьба с пьянством и взяточничеством», «Борьба с мародерами и взяточниками из Сред.-Аз. железной дороги».

Воров и взяточников сажают, но «социалистическая собственность» — по общим понятиям, собственность ничейная — продолжает утекать. На какое-то время хозяйственный развал удается приостановить с помощью нэпа. Но нэп (вот беда!) смягчил, ослабил «классовую борьбу». Этого нельзя допустить. Без постоянной борьбы теряет смысл весь режим насилия, «диктатура пролетариата». «Не имея врага, не построишь храма». Классовых врагов ищут и находят, находят и истребляют. Кого-то выгоняют из партии — чистка, другого выбрасывают с работы — на всякий случай, в порядке бдительности. В политическую болтанку втягивают молодежь, студентов. В передовой университетской газеты тех лет читаем:

«Курс на классовое расслоение студенчества, твердо и неуклонно проводимый за последнее время руководящими центрами в нашей Туркестанской высшей школе, начал давать уже свои благотворные результаты... Внешним толчком, побудившим студенчество стряхнуть с себя гнет безразличия и пассивности, отказаться от гнилой платформы аполитичности с ее идейной пустотой, была та «социальная встряска» (массовое исключение из университета студентов непролетарского происхождения.— М. П.), которая не так давно бурей пронеслась в жизни туркестанского студенчества. Следует, однако, признать, что не одним страхом репрессий и боязнью политических преследований обусловлен тот беспрерывно растущий подъем, который мы сейчас наблюдаем в общественной жизни широких студенческих масс. Здесь происходит процесс классового самоопределения... Жизнь все больше убеждает нас в том, что Высшая школа должна стать не только «мастерской науки», но и орудием политической борьбы. Все те, кто и сейчас пытается оградить себя от всяких «внешних влияний» окружающей общественной жизни идеей служения «чистой науке», являются либо нашими скрытыми противниками, либо, в лучшем случае, мещански настроенными обывателями, которые ничему не научились в горниле гражданской войны».

Участвовать в «классовой борьбе» пролетарский студент мог, не только выталкивая из аудитории своего товарища-конкурента. Были и другие возможности. Рекомендовалось, например, глумиться над священниками, верующими. Отделенная от государства церковь, по существу, не пользовалась защитой закона. Это была как бы «ничейная», а скорее даже вражеская земля, где всяк мог развлекаться. И развлекались. На Пасху и на Рождество компании молодых парней с размалеванными сажей лицами — на голове «рога», позади веревочный хвост — врывались в храмы, горланили, бесчинствовали, оскорбляли верующих. А если кто пытался отстаивать декларированное декретами свободное и беспрепятственное право на богослужения — таких кулаком под дых. И ни-ни... Милиция на случай сопротивления «классового врага», вот она, рядом...

Так воспитывала эпоха двадцатых годов «нового человека». И было то воспитание небесплодным. Молодежь городских окраин с радостью восприняла дозволение скопом нападать на одного, бить слабого, издеваться над каждым, «кто не как все». Прошли годы, юность достигла зрелости. И в свой черед бывшие забавники, участники антипасхальных карнавалов двадцатого — двадцать третьего

годов обратились в «героев» тридцать седьмого. Тех самых, что расстреливали творцов революции и участников гражданской войны. Режь! Бей! Бога нет...

Может показаться, что автор без надобности отступил в область, которая, как мы знаем из предыдущего, очень мало интересовала героя. Да. До известного времени Войно-Ясенецкий действительно жил как бы вне общественной и нравственной атмосферы Ташкента. Но настал день, когда погруженный в науку профессор показал, что он совсем не так слеп, как некоторым представлялось.

В один из первых дней февраля 1921 года Войно-Ясенецкий появился в больничном коридоре в рясе священника с большим крестом на груди. Высокий, худощавый, очень прямой («как военный»,— вспоминает сестра Канцепольская), он, как обычно, прошагал в кабинет, снял там рясу и в халате явился в предоперационную мыть свои удивительно красивые руки. Предстояла операция. Был профессор рыжевато-рус, с небольшой бородкой, светло-серые глаза смотрели строго, отрешенно. Черная ряса ему шла. И никто в отделении не улыбнулся, никто не посмел задать вопросы, не имеющие отношения к больничным делам. И сам он не спешил объясняться. Только ассистенту, который обратился к нему по имени-отчеству, ответил глуховатым, спокойным голосом, что Валентина Феликсовича больше нет, а есть священник отец Валентин.

«Вы не можете себе представить тот шок, который мы пережили,— говорит бывшая медсестра М. Г. Канцепольская.— Одно дело — личная вера, даже икона в операционной. К этому мы привыкли. Но надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-священника, когда на стенах домов висели плакаты: «Поп, помещик и белый генерал — злейшие враги Советской власти»,— мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не был...»

А вот что о своем приобщении к церкви рассказывает сам Валентин Феликсович:

«Я скоро узнал [6], что в Ташкенте существует церковное братство, и пошел на одно заседание его. По одному из обсуждавшихся вопросов я выступил с речью, которая произвела большое впечатление. Это впечатление перешло в радость, когда узнали, что я главный врач городской больницы. Настоятель вокзальной церкви протоиерей Михаил Андреев в воскресные дни по вечерам устраивал в церкви собрания, на которых сам или желающие из числа присутствующих выступали с беседами на темы св. Писания, а потом все пели духовные песни. Я часто бывал на этих собраниях и нередко проводил серьезные беседы на темы св. Писания».

Как активно верующий мирянин Войно-Ясенецкий попал в конце 1920 года на один из церковных съездов, где снова произнес речь о положении в Ташкентской епархии.

«Когда окончился съезд и присутствующие расходились,— пишет он,— я неожиданно столкнулся в выходных дверях с Владыкой Иннокентием. Он взял меня под руку и повел на перрон, окружавший собор. Обойдя два раза вокруг собора, он заговорил о большом впечатлении, которое произвела на него моя речь на собрании, восторгался глубиной и искренностью моей веры и, неожиданно остановившись, сказал мне: «Доктор, вам надо быть священником!..» У меня не было и мысли о священстве, но слова Преосвященного Иннокентия я принял как Божий призыв архиерейскими устами и, минуты не размышляя: «Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно Богу!»

Беседа епископа Ташкентского Иннокентия и профессора Войно-Ясенецкого — важное, если не сказать — важнейшее звено во всей дальнейшей судьбе героя. От этой беседы начинается качественно новая жизнь Валентина Феликсовича.

Понять, почему Владыка сделал столь странное предложение профессору, нетрудно. Русская Православная Церковь переживала тяжелейший кризис. Поставленная вне закона, постоянно ограбляемая, поносимая в официальном и неофициальном порядке, она день ото дня теряла не только верующих мирян, но и своих собственных служителей. Многих епископов и священников власти без большого к тому основания обвинили в контрреволюционной деятельности, осудили и выслали. Другие, не предвидя добра от церковного служения, пустились в бега. Скинув рясу и обрив бороды, массами переходили на должности секретарей, счетоводов и даже оперных певцов. Заполучить в такую пору нового священника, да не какого-нибудь, а известного всему городу врача и *ученого*, было для епархии огромным политическим приобретением. Епископ, таким образом, соблазнял профессора, имея цели сугубо политические. Я не нахожу в поведении Владыки Иннокентия более высоких помыслов, ибо известно, что в делах нравственных этот талантливый и интеллигентный архиерей был не слишком тверд. Вскоре после рукоположения Валентина Феликсовича в священники он сам, боясь репрессий, бежал из Ташкента, а потом и вовсе сменил флаг, примкнув к «живой церкви».

Сложнее понять ответ, который профессор дал епископу. Впрочем, так ли сложно?.. Попробуйте наложить характер и принципы хирурга Войно-Ясенецкого на общественную обстановку Ташкента 1920 года и вы увидите, что эти две материи попросту несовместимы, готтентотская «мораль» эпохи с ее «хорошо все то, что нам выгодно», рано или поздно должна была войти в столкновение с прямотой и гуманизмом ученого. Принципиальный нейтрализм Валентина Феликсовича давал все более глубокие трещины. Что делать? Этот вопрос задавали себе в те годы тысячи русских интеллигентов. Эпоха не подсказывала единых рецептов, всяк отвечал на роковой вопрос по-своему, в зависимости от личного характера и обстоятельств. Кто-то ушел в Добровольческую армию, где иной раз мог убедиться, что белый террор мало чем отличается от красного, кое-кому удалось уклониться от борьбы, уехать в эмиграцию.

«Мужицкому доктору» Войно-Ясенецкому не подходил ни один из названных вариантов. Бежать в другую страну у него и в мыслях не было. Но и терпеть поругание, которому новая власть подвергала дорогие ему принципы, он тоже не мог, не желал. Профессор Л. В. Ошанин в своих очерках очень точно заметил:

«Не знаю, часто ли проповедовал Войно с церковного амвона основную христианскую добродетель — христианское смирение. Что касается самого Войно, то в его характере не было ни на йоту христианского смирения... В нем, когда было нужно, сама собой проявлялась человеческая гордость. Гордость сознательная, гордость за свою замечательную точную науку, широту и разносторонность своих знаний, гордость за свой талант и за свое несомненное бесстрашие».

Вот тут и видится мне причина того ответа, который профессор-хирург дал Владыке Иннокентию. Предложение епископа отвечало затаенному до поры до времени желанию Войно-Ясенецкого протестовать. Протестовать не против Советской власти (ее он в те поры считал властью *народной*) и не против социалистических идей (в которых он так до конца дней своих и не разобрался), но против бездушия эпохи, против всеобщего и повального аморализма, который охватил все вокруг.

Войно-Ясенецкий не был первым, кто попытался оценить годы революции и гражданской войны меркой совести. О разгуле пьянства, разврата, коррупции, человеконенавистничества еще в 1918 году во весь голос заявил в своих «Несвоевременных мыслях» Максим Горький. Разжигание низменных инстинктов потрясло академика И. П. Павлова. Он решительно протестовал против того, что новый порядок оставляет народ без морали. «Нужно подвести моральные основы под поведение народных масс»,— говорил он своему ученику Л. А. Орбели.

Впрочем, после 1918 года, когда была запрещена вся оппозиционная печать и Советы откровенно встали на путь подавления инакомыслия, никто не мог уже открыто заявить о своих претензиях. Нравственный протест ЧК приравнивала к контрреволюционным выступлениям. Акцию Войно-Ясенецкого карательные органы также вполне могли оценить как вызов «диктатуре пролетариата». А почему бы и нет? Стать священником в 1921 году значило бросить вызов тому всеобщему страху, в котором затаилась порядочная, но не страдающая избытком мужества часть русской интеллигенции. В наэлектризованной политическими страстями атмосфере никто даже не заметил, что протест Валентина Феликсовича не содержал никаких политических требований. Достаточно того, что он протестовал.

«Мы каждую минуту ждали, что Валентина Феликсовича арестуют»,— вспоминает хирург Беньяминович.

Между тем для самого Войно-Ясенецкого его акция была совершенно чиста и естественна. Сказав: «Буду священником»,— он просто обрел самую подходящую для него форму взаимоотношения с окружающим миром. С этого часа он перестал быть пассивным участником всероссийского вертепа, снял с себя ответственность за беззакония эпохи, стал борцом за чистоту собственную и чистоту тех, кто пожелал бы довериться ему. Таким же независимым остался он в своем отношении к науке.

Профессор Ошанин свидетельствует: «Войно не был философом идеологического направления или биологом-виталистом...» Строго материалистичной была его диссертация «Регионарная анестезия», ничего мистического не содержала и монография «Гнойная хирургия», выдержавшая в 40—50-е годы три издания. Однако при всем том Валентин Феликсович (как и физиолог Павлов!) считал, что в творчестве исследователя двадцатого века наука и религия не конкурируют друг с другом. Уже в 20-е годы он приблизился к представлению, которое большинство западных ученых приняло в 60—70-х годах нашего столетия. Наука и религия — плоскости непересекающиеся. Сама по себе наука не окрашена ни в политические, ни в этические цвета. Вера — личное дело ученого. С этим убеждением прошел он через все испытания священнической жизни, не отрекаясь от науки точно так же, как никогда не отрекался он от сана и веры.

«Религиозные убеждения Войно,— пишет профессор Ошанин,— нашли свое выражение в служении определенному религиозному культу, культу «ортодоксальной» православной церкви, со всей ее яркой театральностью, со всеми ее окаменевшими древними догмами, со всем ее сложным ритуалом». Неверующий Ошанин не одобряет этот акт своего коллеги и специально подчеркивает даже: «Профессор Войно-Ясенецкий безоговорочно, без какой-либо критики принял все стороны, все внешние формы православия». Это верно. Принял. Цельная натура Валентина Феликсовича ничего не принимала вполовину. И все же я должен повторить: главная причина, побудившая ученого надеть рясу и крест, была не церковно-служебная, а этическая. И ряса, и крест, и литургия были лишь формой нравственного протеста, его «не могу молчать!». Об этом он сам пишет в своих мемуарах.

«Уже в ближайшее воскресенье, при чтении часов, я, провожаемый двумя дьяконами, вышел в чужом подряснике к стоящему на кафедре архиерею и был посвящен им в чтеца, певца и иподьякона, а во время литургии — и в сан дьякона... Это необыкновенное событие посвящения в дьякона произвело огромную сенсацию в Ташкенте, и ко мне пришли большой группой во главе с одним профессором студенты медицинского факультета. Конечно, они не могли понять и оценить моего поступка, ибо сами были далеки от религии. Что поняли бы они, если бы я сказал им, что при виде карнавалов, издевающихся над Господом нашим Иисусом Христом, мое сердце громко кричало: «Не могу молчать!» Я чувствовал, что мой долг — защитить проповедью оскорбленного Спасителя нашего.

Через неделю после посвящения во дьякона, в праздник Сретения Господня 1921 года, я был рукоположен во иерея епископом Иннокентием, и мне пришлось совмещать мое священство с чтением лекций на медицинском факультете... Преосвященный Иннокентий, редко сам проповедывающий, назначил меня четвертым священником собора и поручил мне все дело проповеди. При этом он сказал мне словами апостола Павла: «Ваше дело не крестити, а благовестити».

Чтобы благовестить — проповедовать,— пришлось заново на сорок четвертом году жизни изучать богослужение и основы богословия. Потеснив и без того не слишком долгий сон, отец Валентин взялся за новую для него литературу. Засим снова чередом: операция, работа на трупах, обходы, лекции. Хирург Садык Алиевич Масумов (он учился в начале двадцатых годов на медицинском факультете) так описывает лекции по топографической анатомии: «Читал Войно-Ясенецкий очень спокойно, с достоинством. Усевшись за кафедрой в священнической рясе, с крестом, вынимая белоснежный платок, протирал очки и, взяв в руки указку, методично, без воды начинал говорить о мышцах, нервах, сосудах. Читал речитативом, может быть, чуть-чуть монотонно, но просто, хорошо. Запомнился гибкий, богатый русский язык профессора. Мы уходили с лекций обогащенные его мыслями, увлеченные и заинтересованные сложностью и остроумием конструкции человеческого тела».

Так же почтительно говорят о своем профессоре бывшие студенты ташкентского медфака член-корреспондент АМН СССР терапевт З. И. Умидова, профессор-эпидемиолог М. С. Софиев, кандидат медицинских наук микробиолог М. З. Лейтман.

Конечно, находились в университете и другие люди, те, что считали пребывание «попа» на кафедре недопустимым. Полвека спустя после описываемых событий я два часа выслушивал одного из них. Моим собеседником в симферопольской гостинице был хирург-пенсионер Петр Петрович Царенко. В начале 20-х годов совсем еще молодым он работал врачом в одной из ташкентских больниц. Через пятьдесят лет профессор-хирург Царенко, человек крупного сложения, весь какой-то оплывший, с надменно-начальственным выражением лица начал свой рассказ словами: «Я скажу вам о Войно-Ясенецком больше отрицательного, чем положительного».

Ничего «положительного», а попросту ничего хорошего о Валентине Феликсовиче он действительно не сказал, но воспоминания его по-своему интересны.

«После рукоположения Войно-Ясенецкого в священники мы серьезно ставили вопрос о том, допустимо ли в советской высшей школе доверять воспитание молодежи служителям культа. Мы даже намекнули ему тогда об отставке (двадцатичетырехлетний, только что окончивший университетский курс Царенко, конечно, ни о чем таком намекать известному профессору не мог, но партийцу с довоенным стажем, члену бюро Крымского обкома партии, профессору П. П. Царенко кажется теперь, что это он собственными руками выставлял «попа» Войно-Ясенецкого с кафедры). Подавляющее большинство ташкентских врачей,— продолжал мой собеседник,— сожалело, что Валентин Феликсович погиб для науки. Служба в церкви оказалась для него роковой — он начал произносить контрреволюционные проповеди и был арестован».

Спрашиваю: «А вы сами слышали эти контрреволюционные проповеди?» «Нет, нет (торопливый оборонительный жест), я в церковь не ходил. Посещать в те годы церковь значило находиться в оппозиции к Советской власти, а я всегда твердо держался генеральной линии партии».

Ниже мы еще встретимся с этим героем своего времени и с его «воспоминаниями». Но, говоря о «речах», которые Войно-Ясенецкий произносил в Ташкенте, Царенко, хоть и в кривом зеркале, но запечатлел подлинный факт. Одно публичное выступление Валентина Феликсовича, произнесенное летом 1921 года (правда, не в церкви, а в суде), действительно пришлось властям сильно не по вкусу. Лев Васильевич Ошанин так описал этот инцидент:

«В Ташкент из Бухары привезли как-то партию раненых красноармейцев. Во время пути им делали перевязки в санитарном поезде. Но время было летнее и под повязками развились личинки мух... Раненых поместили в клинику профессора Ситковского (в больницу им. Полторацкого). Рабочий день уже кончился, и врачи разошлись. Дежурный врач сделал две-три неотложные перевязки, а остальных раненых только подбинтовал и оставил для радикальной обработки до утра. Сразу же неизвестно откуда распространился слух, что врачи клиники занимаются вредительством, гонят раненых бойцов, у которых раны кишмя кишат червями».

Тогда во главе ЧК, или Особого отдела, стоял латыш Петерс[7]. Он имел в городе грозную репутацию человека неумолимо-жестокого и очень быстрого на вынесение приговора с «высшей мерой». По его приказу тотчас были арестованы и заключены в тюрьму профессор П. П. Ситковский и все врачи его клиники. Были арестованы и два или три врача, служившие в наркомздраве.

Петерс решил сделать суд показательным. Как и большинство латышей из ЧК, он скверно знал русский язык, но, несмотря на это, назначил себя общественным обвинителем. В этой роли произнес он не слишком грамотную, но зато

«громовую» обвинительную речь. Были в ней и «белые охвостья», и «контрреволюция», и «явное предательство». Над обвиняемыми нависла угроза расстрела.

«Других выступлений я не помню,— пишет Ошанин,— кроме выступления профессора Войно-Ясенецкого, который был вызван в числе других экспертов-хирургов... Он сразу бесстрашно напал на грозного Петерса, он буквально громил Петерса как круглого невежду, который берется судить о вещах, в которых ничего не понимает, как бессовестного демагога, требующего высшей меры для совершенно честных и добросовестных людей».

Точный по фактам рассказ Л. В. Ошанина, к сожалению, беден деталями. Между тем революционный суд времен гражданской войны — зрелище, которое потомству забывать не следует.

Вот что рассказал мне в Ташкенте свидетель суда над Ситковским-хирургом профессор Садык Алиевич Масумов.

Суд происходил в том самом громадном танцевальном зале кафе-шантана «Буфф», где за три года до того Войно-Ясенецкий с другими виднейшими врачами города зимними холодными вечерами только что не при свете плошек учили будущих фельдшеров и медицинских сестер. Теперь зал был снова полон. Больше всего тут было рабочих, но некоторое количество пропусков (вот когда еще началась система пропусков на «открытые» суды.— М. П.) получили врачи города. По приказу Петерса профессора Петра Порфирьевича Ситковского из тюрьмы в зал суда доставила конная охрана. Профессор шел посредине улицы с заложенными за спину руками, а по сторонам цокали копытами конвойные с саблями наголо. Это было в духе Петерса. Начальник ЧК, человек жестокий и неумолимый, был вместе с тем весьма расположен к театральным эффектам. Суд над Ситковским он тоже замыслил как театральное зрелище. Этакий апофеоз всевидящей и всеслышащей Чрезвычайной Комиссии, которая способна разоблачить любые козни врага. Все необходимые для такого спектакля атрибуты были налицо: герои-красноармейцы, пострадавшие за власть советов[8], тайный белогвардеец профессор, не желающий лечить красных бойцов. И как следствие явного заговора и саботажа — подумать только! — черви, кишевшие в ранах бойцов. «Высшая мера» Ситковскому и «его людям» была заранее предрешена. Суд нужен был для воспитательных целей, чтобы лучше показать рабочему классу его врагов — прислужников мирового капитализма. Но великолепно задуманный и отрежиссированный спектакль пошел насмарку, когда председательствующий вызвал в качестве эксперта профессора Войно-Ясенецкого. Непредвиденный для судей эффект произошел после первых же реплик эксперта.

— Поп и профессор Ясенецкий-Войно,— обратился к Валентину Феликсовичу Петерс,— считаете ли вы, что профессор Ситковский виновен в безобразиях, которые обнаружены в его клинике?

Вопрос касался первого пункта обвинения. Заведующему клиникой вменялся в вину развал дисциплины среди больных и обслуживающего персонала. Раненые, лежащие в клинике, пьянствовали, дрались, водили в палаты проституток, а врачи и медсестры этому якобы потворствовали.

— Гражданин общественный обвинитель,— последовал ответ эксперта Войно-Ясенецкого,— я прошу по тому же делу арестовать и меня. Ибо в моей клинике царит такой же беспорядок, что и у профессора Ситковского.

— А вы не спешите, придет время, и вас арестуем! — заорал Петерс.

В ответ на угрозу Войно-Ясенецкий встал, перекрестился и, обведя широким жестом судей, выразил надежду, что многие из здесь сидящих также со временем окажутся за решеткой. Аплодисменты интеллигентной части зала были наградой его бесстрашию.

Между тем замечание эксперта о беспорядке, царящем в хирургических клиниках города, вовсе не являлось риторической фразой. Большинство раненых, лежавших в клиниках профессоров Ситковского, Войно-Ясенецкого и Боровского, были красноармейцы. В огромных, превращенных в палаты маршировальных залах высшего кадетского корпуса разгулявшаяся на фронтах братва без просыпу пила самогон, курила махру, а по временам и «баловалась девочками». Тут же рядом лежали тяжело раненные. Но на их мольбы о тишине и покое легко раненные не обращали никакого внимания. Однажды во время профессорского обхода ординатор Беньяминович доложила об очередной оргии в палате. Валентин Феликсович приказал вызвать дебоширов к нему. Но едва он поднялся на второй этаж в свой кабинет, как снизу по лестнице целая орава пьяных красноармейцев полезла «бить попа». Доктор Беньяминович успела запереться в операционной, а профессора избили. Били жестоко, пинали ногами и костылями. После этих побоев заведующий клиникой на несколько дней был прикован к постели. Сидящие в зале врачи хорошо знали эту историю, знали и о других бесчинствах красноармейцев в госпиталях. Беспорядок в клинике Ситковского, который расписывал в своей речи Петерс, никого не удивил: как и Войно-Ясенецкий, профессор Ситковский просто физически не мог справиться с буйными пациентами.

Второй вопрос общественного обвинителя касался случая с «червями». Войно-Ясенецкий обстоятельно объяснил суду, что никаких червей под повязками у красноармейцев не было, а были личинки мух. Хирурги не боятся таких случаев и не торопятся очистить раны от личинок, так как давно замечено, что личинки действуют на заживление ран благотворно. Английские медики даже применяли личинок в качестве своеобразных стимуляторов заживления. Опытный лектор, Валентин Феликсович так внятно и убедительно растолковал суть дела, что рабочая часть зала одобрительно загудела.

— Какие еще там личинки... Откуда вы все это знаете? — рассердился Петерс.

— Да будет известно гражданину общественному обвинителю,— с достоинством отпарировал Войно-Ясенецкий,— что я окончил не двухлетнюю советскую фельдшерскую школу, а медицинский факультет университета Святого Владимира в Киеве. (Шум в зале. Аплодисменты.)

Последний ответ окончательно вывел из себя всесильного чекиста. Так с ним никто еще не разговаривал. Высокое положение представителя власти требовало, чтобы дерзкий эксперт был немедленно изничтожен, унижен, раздавлен. Прямолинейный Петерс выбрал для удара, как ему показалось, наиболее уязвимое место противника:

— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?

Вопрос звучал грубо, но таил в себе подлинное обвинение: христианство запрещает священнику проливать кровь, даже в операционной. Когда-то в глухой латгальской деревушке учитель приходской школы втолковал маленькому Якобу Петерсу, что пролитие человеческой крови противно христианскому вероучению. С тех пор сам Якоб Христофорович успел начисто освободиться от веры и от боязни кровопролития. Но в пылу диспута память подсказала ему старое, давно отброшенное заклятие, и, сын своего времени, он пустил в ход это оружие, чтобы побольней ударить противника. Но — мимо.

Если бы они беседовали мирно в деловой обстановке, о. Валентин объяснил бы Петерсу, что Патриарх Тихон, узнав о его, профессора Войно-Ясенецкого, священстве, специальным наказом подтвердил право хирурга и впредь заниматься своей наукой. Но тут было не до объяснений. В переполненном многолюдном зале о. Валентин ответил противнику в полном соответствии с законами полемики:

— Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?

Зал встретил удачный ответ хохотом и аплодисментами. Все симпатии были теперь на стороне хирурга-священника. Ему аплодировали и рабочие, и врачи. Но Петерс не смирился. Как бык на красную тряпку, продолжал он наскакивать на взбесившего его эксперта. Следующий вопрос должен был, по его расчетам, изменить настроение рабочей аудитории:

— Как это вы верите в бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы его видели, своего бога?

— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил. (Колокольчик председателя потонул в долго не смолкаемом хохоте всего зала.)

«Дело врачей» с треском провалилось. Однако, чтобы спасти престиж Петерса, «судьи» приговорили профессора Ситковского и его сотрудников к шестнадцати годам тюремного заключения. Эта явная несправедливость вызвала ропот в городе. Тогда чекисты вообще отменили решение «суда».

Через месяц врачей стали днем отпускать из камеры в клинику на работу, а через два месяца и вовсе выпустили из тюрьмы. По общему мнению, спасла их от расстрела речь хирурга-священника Войно-Ясенецкого.

У этой истории есть два уточняющих постскриптума.

Первый, когда судебный спектакль окончился и публика покинула зал, Цируль, тот самый латыш Цируль, которого Войно-Ясенецкий поставил на ноги и который подарил профессору браунинг, сказал, повстречавшись с доктором Слонимом: «Этот поп такой поп, что он может в свой кулак все врачи города забирайт, в карман положи, на свалка таскай и выбрасывай».

Постскриптум второй. П. П. Ситковский был, по существу, создателем медицинского факультета в новом университете. До ареста он считался вторым — после Валентина Феликсовича — фигурой в ташкентской хирургии. А через год после «дела врачей» ему были преподнесены в подарок золотые часы с надписью, выгравированной на крышке: «Профессору Петру Порфирьевичу Ситковскому за организацию медицинского факультета от Правительства Туркестанской республики». На суде профессор проявил выдержку и достоинство. Петерс упорно добивался от него ответа, почему он не пришел в клинику в тот вечер, когда привезли обожженных красноармейцев. И хотя «неуважительная причина» грозила ученому жестокими карами, он отказался впустить посторонних в свою жизнь. Только много недель спустя в городе узнали, что в тот самый роковой вечер жена Ситковского пыталась отравиться и муж ее спас. Впрочем, Якоб Петерс, расстрелявший в 1918—1919 годах несколько тысяч «белых» и эсеров, едва ли признал бы события в доме профессора Ситковского достойными внимания. Для него это была всего лишь мелкобуржуазная мелодрама. Что же касается Войно-Ясенецкого, то на следующий день после окончания суда он уже был у себя на кафедре и приступил к очередным лекциям и занятиям.

Общественное поведение Валентина Феликсовича в Ташкенте между 1920 и 1923 годами представляется сплошным парадоксом. Один, не имея никакой реальной опоры, кроме собственного авторитета, он отстаивает законность, нравственность, право на независимые убеждения. Нет, он не произносит антисоветских проповедей. Оставим эту клевету на совести П. П. Царенко из Симферополя. Политика по-прежнему кажется ему предметом скучным, недостойным серьезного внимания. Но всякий раз, когда на его глазах пытаются попирать дорогие ему нравственные начала, он протестует. И очень энергично. Профессор Войно-Ясенецкий ведет себя в полном согласии с любимой пословицей В. Г. Короленко и Льва Толстого: «Делай что должно, и пусть будет что будет».

Месяцев через пять после суда над Ситковским очередная ревизионная комиссия приказала снять икону в операционной Городской больницы. Идиллические времена, когда икона вернулась ради «честного партийного слова», миновали. Доля личной человеческой воли в машинизированном государственном аппарате стремительно уменьшалась, приближаясь к нулевой отметке. А Войно-Ясенецкий оставался все тем же: независимо мыслящим, непреклонным, знающим себе цену. Конфликт был неизбежен и в конце концов вспыхнул: профессор заявил, что не выйдет на работу, пока икону не вернут на место. И ушел домой. В конце 1921 года такой «саботаж» карался как самое тяжелое политическое преступление. Хирургу грозил арест. Верный друг Валентина Феликсовича «лейб-медик» членов советского правительства Моисей Ильич Слоним бросился к стопам «главного хозяина» Туркестана Председателя Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б) Я. Э. Рудзутака[9]. Зная психологию новой власти, Моисей Ильич почтительно разъяснил, что если будет арестован выдающийся хирург, ученый и педагог Войно-Ясенецкий, то ущерб от этого понесут прежде всего рабоче-крестьянская республика, ее медицина и наука. Рудзутак милостиво обещал пока профессора не арестовывать, пусть врачи сами найдут выход из «хирургического кризиса». Между прочим, тогда же товарищ Рудзутак заметил, что сам бы оперироваться у Войно-Ясенецкого не стал: «А вдруг во время операции хирург совсем сойдет с ума?»

Валентин Феликсович ничего о ходатайстве Слонима не знал и едва ли одобрил такое бесцеремонное вмешательство в свои личные дела. Он бастовал уже несколько дней. Засылаемые к нему в качестве разведчиков хирурги «доносили», что главный врач все время работает за письменным столом, что-то пишет, что-то читает. Уговаривать его было бесполезно.

Конец «второго иконоборства» профессор Л. В. Ошанин, по своему обыкновению, изображает в красках комических. «Вспомнили, что Войно не просто священник, но священник-монах, то есть находится под абсолютной властью архиепископа, которому должен подчиняться. В те времена архиепископом Туркестанским был митрополит Никандр. Делегация из двух или трех врачей отправилась в резиденцию митрополита. Оказалось, что митрополит неплохо разбирается в мирских делах. Он сразу сообразил, что для его епархии невыгодно, если один из пасомых им агнцев будет не в меру строптив и бодлив. Митрополит сказал, что вызовет «отца Луку», то есть В. Ф. Войно-Ясенецкого, и с ним побеседует, что врачи могут спокойно идти домой. Он гарантирует, что «хирургический кризис» будет ликвидирован... Войно на следующий день вышел на работу... и приступил к очередным операциям, несмотря на отсутствие иконы, которая с тех пор навсегда исчезла из операционной».

Шутейная версия Ошанина абсолютно недостоверна. Осенью 1921 года, когда происходило «второе иконоборство», Войно-Ясенецкий еще не был монахом, «отцом Лукой» (рассказчик забежал на два года вперед), а митрополит Никандр не был архиепископом Ташкентским. Перед нами типичный миф, сложенный во врачебной, атеистической среде, и место ему не здесь, а в «житийном» прологе нашей книги.

В действительности главный врач протестовал против изгнания иконы долго и всеми доступными ему средствами. В частности, в знак протеста не явился в научное врачебное общество, где стоял его доклад. Когда же на следующем заседании отец Валентин, как всегда в рясе, взошел на кафедру, чтобы произнести доклад, то прежде чем изложить новый способ резекции коленного сустава, сделал следующее заявление: «Приношу обществу извинение за то, что я не читал доклад в назначенный для меня день. Но случилось это не по моей вине. Это случилось по вине нашего комиссара здравоохранения Гельфгота, в которого вселился бес. Он учинил кощунство над иконой».

Выпад против высшего медицинского чиновника вызвал общий шум. Затем воцарилась, по словам современника, «гробовая тишина». Остолбенев от страха, врачи ожидали, что присутствовавший на заседании комиссар Гельфгот тут же испепелит нечестивца. Но комиссар, очевидно, побоялся скандала. Того же страха иудейска ради и председатель научного общества профессор М. А. Захарченко прошептал секретарю общества доктору Л. В. Ошанину, чтобы тот ни в коем случае не заносил в протокол неуважительных слов о представителе власти. Так реально выглядел конец «второго иконоборства». Оставляю читателю самому решать, кто в действительности остался победителем в этой борьбе.

Не скрывал своих принципов отец Валентин и на антирелигиозных диспутах. Такие дискуссии были любимы всеми слоями публики двадцатых годов. В пору, когда политические споры стали невозможными, в обстановке обязательного единомыслия дискуссии о бытии Божием и бессмертии души остались единственно доступной формой свободного обмена мыслями. Власти полагали, что дискуссии разрушат веру, расшатают церковь. Священники-богословы, наоборот, видели в дискуссиях возможность отстаивать веру, противостоять хаосу всеобщей безнравственности. Но чаще всего не торжествовал ни тот, ни другой замысел. На Руси, от века не знавшей демократических свобод, спорить не умели. К тому же спорящие стороны были поставлены в явно неравноправное положение. Низкая культура диспутантов еще более усугубляла дело. Так что в конце концов встречи священников с пропагандистами-антирелигиозниками оборачивались средневековой перебранкой капуцина и раввина, почти в таком же

виде, как описано у Генриха Гейне. А жаждущая развлечений публика, лузгая семечки и похохатывая, развлекала себя в этом своеобразном, а главное, бесплатном цирке.

Власти поощряли дискуссии, но лишь до того времени, пока такие серьезные религиозные деятели, как Введенский и Флоренский, не начали публично, как мальчишек, «шлепать» доморощенных антирелигиозников из партактива. После этого комиссар просвещения Луначарский заявил, что проводить диспуты следует очень осторожно, и практика открытого ратоборства властей со сторонниками веры была заменена акциями тайными.

В Ташкенте диспуты проходили чаще всего в зале «Колизея» (ныне театр им. Свердлова), при большом стечении народа. За несколько дней до встречи сторон в городе вывешивались афиши. Ошанин в «Очерках» и Стекольников в «Биографии В. Ф. Войно-Ясенецкого» говорят, что на таких публичных ристалищах Валентин Феликсович, как правило, одерживал моральные победы над своими противниками и вызывал всеобщее расположение публики. В «Мемуарах» он так говорит об этих выступлениях:

«...Мне приходилось в течение двух лет вести публичные диспуты при множестве слушателей с неким отрекшимся от Бога протоиереем[10], бывшим миссионером Курской епархии, возглавлявшим антирелигиозную пропаганду в Средней Азии. Как правило, эти диспуты кончались посрамлением отступника веры, и верующие не давали ему прохода вопросом: «Скажи нам, когда ты врал: тогда ли, когда был попом, или теперь врешь?» Несчастный хулитель Бога стал бояться меня и просил устроителей диспутов избавить его от «этого философа».

Активность в делах церкви не мешала работе хирурга. Те, кто считал Войно-Ясенецкого погибшим «для науки», были, вероятно, обескуражены, повстречавшись с отцом Валентином на первом научном съезде врачей Туркестана (Ташкент, 23—28 октября 1922 года). Здесь хирург-священник выступил с четырьмя большими докладами и десять раз брал слово в прениях. Можно сказать, что ни одно сколько-нибудь серьезное выступление по хирургии не осталось без его замечания и оценки. Ему, накопившему огромный оперативный опыт, было что сказать и о злокачественных новообразованиях, и об удалении почечных камней. Был у Войно-Ясенецкого свой собственный метод хирургического лечения глаз (гнойные кератиты), туберкулеза шейных желез, гнойных заболеваний кисти руки. Интересны были его суждения о том, какая анестезия более подходит для той или иной операции (он по-прежнему оставался поборником местной анестезии).

Первый научный съезд врачей Туркестана поддержал два практических предложения о. Валентина: лечить туберкулезных больных на курортах (солнцелечение в Чимганских горах, грязелечение в Молла-Кара и Яны-Кургане) и второе — помочь провинциальным медикам освоить некоторые наиболее необходимые в условиях Туркестана глазные операции. В решениях съезда записано: «Поручить профессорам Турбину и Ясенецкому-Войно составить краткое практическое руководство для врачей по глазным болезням... Просить государственное издательство напечатать эту книгу и широко распространить ее среди врачей».

Руководство по глазным болезням написать так и не удалось, но зато к началу 1923 года была совсем близка к завершению первая часть «Гнойной хирургии» — главной книги профессора Войно-Ясенецкого. Одной главы не хватало (всего одной главы!), чтобы послать труд в издательство, когда произошли события, на годы оторвавшие автора от всякой научной работы...

В первый же день, когда Войно-Ясенецкий явился в больницу в духовном облачении, ему пришлось выслушать резкое замечание своей всегда послушной и добросовестной ученицы Анны Ильиничны Беньяминович. «Я неверующая, и, что бы вы там ни выдумывали, я буду называть вас только по имени-отчеству. Никакого отца Валентина для меня не существует».

Еще более непримиримо отнесся к «поповству» о. Валентина П. П. Царенко, в то время молодой, но уже сделавший некоторую карьеру хирург (он был, между прочим, секретарем съезда врачей). «Я не раз видел Войно-Ясенецкого идущим в церковь и из церкви,— рассказывает Царенко.— Он шел, окруженный толпой бабонек, благословлял их, а они лобызали ему руки. Тяжелая картина». В больнице, по мнению Царенко, главный хирург тоже «чудил» — благословлял больных перед операцией. Все это было совершенно недопустимо, и Царенко с удовлетворением замечает, что арест пошел Войно-Ясенецкому на пользу. «Получив предупреждение, отец Валентин стал поскромнее».

Студентка-медичка красавица Капа Дренова тоже считала себя вправе обличать хирурга-священника. В больнице Капа крутила многочисленные романы, а дома учила английский на случай скорой мировой революции. «Вы кокетничаете своей рясой,— говорила Капа.— Поклонение верующих ласкает ваше честолюбие. Не так ли?» Наветы завистника и карьериста Царенко, благоглупости пустенькой Капы можно было бы и не принимать в расчет, но в том-то и дело, что эти двое представляли собой наиболее распространенный тип в окружении Войно-Ясенецкого. Священства о. Валентина не одобрил ни один из его сотрудников. Кто по убеждению, кто от страха, но все медики приняли новое обличье и новое общественное положение в штыки. Молодые врачи принимали рясу за символ классово-враждебной идеологии. Им казалось смешным и то обостренное внимание, с которым «шеф» относился к любому случаю безнравственности. Хотя выражение «лес рубят — щепки летят» вошло в российский политический словарь позднее, но люди двадцатых уже вполне освоились с этой философией. Стоит ли говорить о каком-то отдельном случае потери совести на фоне гигантских побед в эпоху мировых войн и революционных преобразований? Смешно! И доктор Ошанин искренне потешается, описывая, как проходил в 1921 году «суд» над ташкентским врачом, нарушителем элементарных правил своей профессии.

Известный в городе психиатр, лечивший гипнозом, несколько раз поцеловал загипнотизированную больную. Разбирал «дело» Президиум Союза врачей. Председателем Союза был профессор Войно-Ясенецкий. Перед этим случаем явного морального уродства Валентин Феликсович испытал неподдельное отвращение и недоумение. Он пытался постичь, как может случиться, чтобы врач использовал свои знания и свое призвание для столь низменных целей. А молодой Ошанин увидел в тех же фактах только тему для смешного, пикантного рассказика. Сценка в его исполнении действительно выглядит забавной.

«То ли она спала чутко, то ли не поддалась гипнозу, но она сообщила обо всем мужу, а тот на следующий день пришел к врачу и публично дал ему пощечину. И вот «грешник» предстал перед Президиумом Союза врачей... Одетый в рясу с большим крестом на груди, огромный, величественный, аскетически суровый Войно вел «допрос». Глядя на «грешника» неумолимыми, холодными, как сталь, глазами (бывали у него и такие, я как сейчас их вижу), «отче» вопрошал каким-то замогильным голосом:

Войно: И вы делали над ней пассы?
Грешник (не зная куда деваться от срама): Да, делал...
Войно: И вы делали эти пассы с целью усыпить ее?
Грешник (убитым голосом): Да, с этой целью.
Войно: И вы хотели ее усыпить, чтобы в сонном состоянии ее целовать?
Грешник (после мучительной паузы): Да, с этой целью.
Войно: И вы ее целовали?
Грешник (и без того уже неживой от стыда): Да...
Войно: А зачем вы ее целовали?
На это грешник ответствовал гробовым молчанием».

Юмореску «о суде над грешником» Л. В. Ошанин завершил беззаботным пассажем: «Для нас, членов суда, тогда молодых, не слишком аскетичных и пуританских, да еще на беду нрава смешливого, такая заунывная архипастырская исповедь была тяжелым испытанием».

Лев Васильевич вовсе не имел намерения обидеть своего учителя и начальника. Более того, он, как уже говорилось, любил Войно-Ясенецкого, во всяком

случае, уважал его. Но одно дело — уважать, другое — понимать. Непонимание оборачивалось непредумышленной насмешкой. И так изо дня в день — непонимание, насмешки, а порой и ненависть. Комсомольские карнавалы на Пасху и Рождество, оскорбительные выкрики прохожих на улице... Между 1921-м и 1923-м годами на долю о. Валентина выпали те же испытания, что переживал в то время любой служитель церкви.

Откуда это? Куда девалась стройная картина православной Руси с переполненными храмами и иконой в каждом доме, картина, так умилявшая народолюбцев-славянофилов? Конечно, законы и действия государства носили в это время активно антицерковный, антихристианский характер. Но трудно представить себе, чтобы правительственный декрет об изъятии церковных ценностей или распоряжение о закрытии церквей могли в одночасье разрушить веру итальянского или испанского крестьянина. Почему же так легко раскрошилось христианское сознание русских православных мужиков и мастеровых? Дело, очевидно, было не столько в новых законах, сколько в старых навыках народной жизни. Революция и гражданская война лишь обнажили то, что давно предчувствовали наиболее проницательные умы России,— русский народ безрелигиозен. Духовная незрелость его, прорывающаяся то кровавыми бунтами, то рабским беззаветным царепоклонством, самосожжением раскольников и злодеяниями на больших дорогах, отпечаталась и на отношениях с Богом. Одна из важных сторон христианства — нравственная его основа,— несмотря на тысячелетнюю историю российского православия, осталась для огромной массы народа пустым звуком. Вера была понята миллионами как исполнение обрядов. Молебен, лампада перед иконой, водосвятие, крещение, соборование — вот из чего складывалось для подавляющей части простых людей понятие веры. К этой обрядовой стороне низы относились уважительно, порой даже истово (отсюда обилие религиозных сект и направлений в православии). Учтя это, великие прагматики социал-демократы до поры до времени не решались открыто выступать против веры. Они сделали даже вид, что сочувствуют религиозным меньшинствам. В 1903 году Ленин писал: «Социал-демократы требуют... чтобы каждый имел полное право исповедовать какую угодно веру совершенно свободно... Каждый должен иметь полную свободу не только держаться какой угодно веры, *но и распространять любую веру...»* *

Полтора десятка лет спустя, захватив власть, правительство, возглавляемое Лениным, сочло, что ему более выгодно объявить священников врагами народа, а церкви — местом одурачивания масс. Началось организованное гонение на церковь. Гонения привели к частичному крушению этой твердыни, в крушение церкви выбило из-под веры миллионов главную опору. Верить в собственном сердце, верить для себя и просто жить по Христу народ российский за тысячу лет рабства не научился. А далее, как салазки с ледяной горы, все покатилось быстрей и быстрей. Уже давно замечено: если от религии отходит интеллигент, в его личном и общественном поведении мало что меняется — социальная культура, социальные навыки, пусть внешне, но все-таки компенсируют отвергнутые принципы Нагорной проповеди. Но когда крест с себя срывает мужик, в характере его наступают, как правило, деструкции, непоправимые, общественно-опасные. Свобода от веры тотчас обернулась для крестьянской России свободой не только от законов божеских, но и человеческих. Возникла самая подходящая среда для размножения, роста и процветания мещанина. Явление это совсем не классовое, а психологическое и этическое — вчерашний мужик или мастеровой, потерявший «страх Божий» и оттого убежденный в том, что все дозволено, нынешний мещанин быстро стал главным лицом нового общества.

У нас с понятием «мещанин» соединено обычно представление о плохом художественном вкусе и наклонности к накопительству. Между тем главное в мещанской психологии вовсе не любовь к канарейкам, а ненависть ко всему, что ему, мещанину, непривычно, ко всякому, кто «не как все». К какой угодно власти привыкает мещанин быстро, без труда. Но если несходное с собой выражение лица заметит в ком-нибудь из нечиновных — враз лютеет. Ибо хорошо знает:

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд. т. 7. стр. 173.

на «чужом» можно отыграться, сорвать злобу, разрешить свою ущемленность, ущербность.

В начале двадцатых людьми «не как все» были объявлены те, кто в рясах, в погонах, в рубашках с галстуками. Мещанин размышлять не стал: внешняя форма для него и есть с о д е р ж а н и е. Чужак? Гав! — и за горло. В начале тридцатых мещанину разъяснили, что «можно галстук носить очень яркий и быть в шахте героем труда». В начале сороковых новое уточнение: золотые погоны (наши погоны!) — это хорошо. И ряса, если она заседает в Комитете защиты мира,— тоже патриотична. Взамен прежних «не как все» получил мещанин для ворчания и кусания новых манекенов — евреев, писателей, непрогрессивных иностранцев. Ибо, как уже говорилось: «Не имея врага, не построишь храма».

Надев рясу, профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий в тот же миг превратился для мещанской массы в чудесного, можно сказать, просто великолепного врага. Все в нем было явно вражеское: и облаченье, и поступки. Действительно, как это понять: все с себя кресты снимают, а этот надел? Не боится? Все боятся, а он не боится? Врешь, нас не проведешь! Если ты профессор да подался в священники, значит, была у тебя какая-то выгода. Без выгоды никто ничего делать не станет. И мещанин, как хорошо натасканная ищейка, начинает искать эту «выгоду». Крупных личностей для него нет. Величие идей отсутствует. Причина, по которой ученый пошел в попы, непременно должна быть понятна. Темнит Войно-Ясенецкий, но мы его раскусим, голубчика. Продался за деньги? Нет, не то. Бессребреник — гад. Брезгует деньгами. Ну тогда, значит, тщеславие его расперло, покрасоваться захотелось, внимание на себя обратить. Ишь, франт, поповская морда... Ты у нас покрасуешься где надо...

Что должен делать христианин в эпоху всеобщего, эпидемического паралича совести? «И что сделает праведник, когда разрушены основы?» (Псалмы Царя Давида.) Препоясаться мечом и крушить отступников веры ошую и одесную? Подставлять хамам то правую, то левую щеку? Или закрыть глаза на мерзость века, или признать вместе с поэтом Фетом и Софьей Андреевной Толстой, что христианство — неосуществимо?

«Валентин Феликсович слушал «разоблачения» Капы Дреновой и только улыбался,— вспоминает профессор З. И. Умидова.— Снисходительно так улыбался, как взрослый улыбается, слушая ребенка. Как ни старалась Капа, ей никак не удавалось вызвать его на серьезный разговор».

Можно ли сомневаться: у профессора Войно-Ясенецкого достало бы твердости, чтобы отчитать бестактную девчонку, которая позволяет себе вмешиваться в чужую личную жизнь. Но с в я щ е н н и к отец Валентин не счел возможным ответить молодой дикарке резкостью. Христианин и человек большого жизненного опыта, он знал, что резкостью ничего, кроме озлобления, в молодую душу не внесешь. С терпением относился он к любому мнению. И даже ко взглядам Капы и Царенко.

«Зная многих из нас как безнадежных безбожников, он никогда нам ничего не проповедовал, не агитировал, не стремился «направить на путь истинный»,— пишет Л. В. Ошанин.— Вообще Войно был терпим к инаковерующим. Среди его учеников было много евреев: одним из ближайших его друзей был профессор Моисей Ильич Слоним». Однажды (это было уже в 1926 году), встретив Ошанина с женой и дочерью, строгий епископ Лука запросто пожал всем руки. «Здравствуйте, здравствуйте,— сказал он улыбаясь,— целое безбожное семейство по улице идет, и как только земля терпит». «Войно был строг, суров, аскетичен,— добавляет Ошанин,— особенно суровыми были его холодные, умные, внимательные глаза. Но иногда он как-то особенно искренне и дружелюбно улыбался. Не я один, а все, знавшие Войно, хорошо помнят его милую улыбку». Именно такой улыбкой приветствовал он «безбожное семейство» Ошаниных.

Но, как ни парадоксально, снисходительность и дружелюбие хирурга-священника проливались в те годы в основном на безбожников и инаковерующих. С верующими он был суров, непреклонен, а по некоторым свидетельствам, даже жесток. Об этом существует несколько рассказов. Один из них относится к лету 1922 года, когда религиозная ситуация в городе до крайности накалилась.

В Москве в противовес традиционной православной церкви, возглавляемой Патриархом Тихоном, возникла так называемая «Живая церковь». Пользуясь поддержкой светских властей, «живоцерковники» (речь о них пойдет ниже) начали захватывать по всей стране церкви, приходы, кафедры, кафедральные соборы. В Ташкенте им удалось занять собор, стоящий в центре города. Сергиевская же церковь на Пушкинской улице, где служил о. Валентин, сохранила верность Патриарху. Между двумя церковными организациями шла жестокая борьба. В эту пору многие верующие, особенно живущие в центре люди, да к тому же не слишком разбирающиеся в церковной политике, обращались к Войно-Ясенецкому с просьбой разрешить им посещать собор на Красной площади. Но о. Валентин на все эти просьбы категорически заявил, что тем, кто станет молиться в «живоцерковном» соборе, он откажет в исповеди и причастии. Стариков (это были в основном интеллигентные люди — врачи, профессора, учителя) непримиримость священника огорчала, но делать нечего, приходилось таскать свои старые кости в дальнюю Сергиевскую церковь.

Можно как угодно относиться к этим фактам, но в них нельзя не заметить твердой последовательности: в душе верующего Войно-Ясенецкий желал пробудить твердость, непримиримость, подобные той пламенной непримиримости, с которой он сам относился к делам веры. Различное отношение к верующим и атеистам сохранял хирург-священник всю свою жизнь. Различие это было для него принципиальным и вытекало из его представлений о долге христианина.

А мещанин между тем не унимается: он уже уразумел, что общественный вызов, брошенный о. Валентином, адресован ему, мещанину. Он жаждет мести. Дай ему волю, и он вымазал бы хирурга-священника смолой, перевалял бы в перьях и по всем правилам средневекового обряда протащил по городу. Впрочем, зачем же смола, можно и без смолы. По Ташкенту ползет липкий, грязный слушок: «Батюшка-то Валентин жену схоронил и другую в дом привел. При детях малых... Срам... Стыд... Проповедует в храме, чтобы православные венчались крепким церковным браком, а сам...»

Слух кажется очень достоверным. После смерти жены Валентин Феликсович действительно поселил в доме свою хирургическую сестру Софью Сергеевну Велицкую. В «Мемуарах»[11] он придает этому эпизоду характер мистический. В ночной час, когда стоял он в ногах умершей жены Анны, читая Псалмы, Строка 112 Псалма — «И неплодную вводит в дом матерью, радующеюся о детях»,— подсказала ему нужное решение.

Но если даже оставить в стороне мистическое объяснение, то выбор домоправительницы и воспитательницы детей, сделанный Валентином Феликсовичем осенью 1919 года, не оставляет желать лучшего. Да и не было у него другой возможности. «Когда умерла мама, папа в отчаянии, оставшись с четырьмя детьми, звал к себе приехать тетю Шуру и тетю Женю (родных сестер жены.— М. П.), но они отказались. На помощь пришла к нам Софья Сергеевна Велицкая — ангел наш хранитель — и посвятила себя нам, детям»,— пишет Елена Валентиновна Жукова-Войно. О том, что С. С. Велицкая спасла детей Валентина Феликсовича от неминуемой в ту пору гибели, говорят и многие из бывших сотрудников Городской больницы в Ташкенте.

На коллективном снимке, где хирургическая сестра снята вместе со своими коллегами в операционной, мы видим очень худощавую, прямую и, по всей видимости, решительную женщину лет сорока. У нее живое, полное доброжелательства и участия лицо. Настоящая сестра милосердия старой выучки. Была Софья Сергеевна женой убитого на фронте офицера царского. Своих детей не имела. В операционной ценили ее за мастерство и скромность: ни слова лишнего, зато с ходу угадывала, какой инструмент потребует оперирующий хирург в следующее мгновение. Детей Войно-Ясенецкого, как рассказывают, Велицкая любила и в доме младшего — Валентина — дожила до глубокой старости. Что же касается отношений с главой дома, то тут я призываю читателя полностью довериться «Мемуарам» Войно-Ясенецкого:

«Моя квартира главного врача состояла из пяти комнат, так удачно расположенных, что Софья Сергеевна могла получить отдельную комнату, вполне изолированную от тех, которые я занимал. Она долго жила в моей семье, но была только второй матерью для детей, и Богу Всеведущему известно, что мое отношение к ней было совершенно чистым».

К той же теме Войно-Ясенецкий вынужден был вернуться, получив от архиепископа Иннокентия предложение стать священником.

«Я говорил с Владыкою о том, что в моем доме живет моя операционная сестра Велицкая, которую я, по явно чудесному Божию повелению, ввел в дом матерью, радующеюся о детях, а священник не может жить в одном доме с чужой женщиной. Но Владыка не придал значения этому моему возражению и сказал, что не сомневается в моей верности седьмой заповеди».

Ровно через полвека после рукоположения профессора Войно-Ясенецкого в иереи я беседовал в Ташкенте и Москве с людьми, которые хорошо его знали в начале двадцатых годов. Удалось сыскать шесть человек. Старые врачи, не столько атеисты, сколько люди, уставшие от жизни и потому равнодушные ко всему, и в том числе к религии, тем не менее охотно говорили со мною о Валентине Феликсовиче. Воспоминания юности всегда приятны. И о нравственной личности профессора, ставшего священником, говорили тоже с удовольствием: за долгую свою жизнь мои собеседники успели оценить то, что в просторечии зовется **совестью**. Никто из них не читал находящихся под запретом книг Бердяева. Едва ли кто-нибудь помнил спор Л. Н. Толстого с Фетом, исполнимо ли христианство, возможен ли в современных условиях христианин-абсолют. И тем не менее, рассказывая об о. Валентине, все они, будто сговорившись, повторяли эпитет — «абсолютный». «Абсолютно чистый», «эпически абсолютно бесстрашен», «человек-абсолют». Подводя итог беседе, бывшая медицинская сестра Ташкентской городской больницы Минна Григорьевна Нежанская (Канцепольская) так выразила общее мнение: «В делах, требовавших нравственного решения, Валентин Феликсович вел себя так, будто вокруг никого не было. Он всегда стоял перед своей совестью один. И суд, которым он судил себя, был строже любого трибунала».

Тысяча девятьсот двадцать второй и начало двадцать третьего года были для христианской церкви в России трагическими. Не проходило дня, чтобы в газетах не появлялось объявлений об аресте священников и епископов. Процессы церковников шли по всей стране. Судили в Екатеринославле, Уфе, Екатеринбурге, Рыльске, Орле, Калуге, Шуе; судили в Ростове-на-Дону, Иркутске, Харькове, Туле, Рыбинске, Киеве. В мае 1922 года в Москве взят под стражу Патриарх Русской Православной Церкви Тихон. В июле 1922 года суд в Петрограде приговорил к расстрелу митрополита Вениамина и десять священников якобы за то, что они противились конфискации церковного имущества. В марте 1923 года перед судом предстал глава католической церкви в России с одним из своих приближенных. Снова смертный приговор. В Тифлисе арестованы и содержатся в тюрьме Католикос Грузии и Кутаисский епископ.

В основном служителей церкви судят за сокрытие храмовых ценностей. Но по существу преследование епископов, священников и верующих мирян не прекращается с начала 1918 года, когда вступил в силу Декрет об отделении церкви от государства.

Внешне Декрет выглядел документом сравнительно мирным (хотя против него протестовали многие, и в том числе Максим Горький). Но на деле «отделение» обернулось цепью кровавых столкновений. На местах власти поняли Декрет как право бесконтрольно грабить церковные здания, закрывать храмы и разгонять причт. За пять лет, по признанию газеты «Правда», число кровопролитных столкновений с верующими достигло солидной цифры — 1414 случаев. Следовало ожидать, что конец гражданской войны несколько умерит страсти, что власти смягчат репрессии по отношению к верующим и членам причта. Но этого не случилось. В мирном 1922 году было расстреляно 45 священников и епископов, более 250 человек получили по приговору длительные тюремные сроки.

Отделив церковь от государства, Советское правительство никогда не исполняло собственный Декрет. Никогда не признавалось за гражданами и право на свободу совести. Находившийся в зените своей партийной карьеры Г. Зиновьев на заседании Исполкома Коминтерна 12 июня 1923 года в длинной речи решительно отверг призывы западных компартий прекратить преследование верующих. «Чтобы мы провозгласили религию частным делом по отношению к партии — это просто неслыханно»,— воскликнул Зиновьев. Массовый антицерковный террор 22—23 годов советская пресса и лекторы-антирелигиозники объясняли провокационными действиями реакционеров-церковников, врагов Советской власти. Но полвека спустя получил широкую огласку один из тех документов, с помощью которых в действительности был запущен механизм изничтожения церкви. В секретном письме членам Политбюро, разосланном 19 февраля 1922 года, Ленин в следующих словах обосновал необходимость антицерковного террора:

«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и потому должны) произвести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету».

Кроме того, умирающий от голода крестьянин не сумеет защитить церковь. Ленин считал начало 1922 года наиболее подходящим временем для массового изъятия храмовых ценностей еще по двум причинам. «Без этого фонда,—писал он,— никакая государственная работа, никакое хозяйственное строительство, в частности никакое отстаивание своей позиции в Генуе, в особенности, совершенно немыслимо».

Экономический расчет Председатель Совнаркома подкрепил столь же серьезным политическим расчетом: «Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для достижения известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществить их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Это соображение еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи окажется или может оказаться, что жесткие меры против духовенства будут политически нерациональны, может быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью»[12].

В свой план, кроме сугубо рациональных обоснований, Владимир Ильич внес и начало эмоциональное. «Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели думать» *.

Само собой разумеется, что ташкентский священник о. Валентин ничего не знал о секретных государственных планах ограбления и подавления православной церкви. Но, как и все, он получил вскорости возможность узреть исполнение этих планов воочию. Один из замыслов начал выявлять себя весной 1922 года. В мае самозваная группа священников объявила себя представителем всех православных. В июле «живоцерковники» создали Всероссийское Церковное управление (ВЦУ) «живой церкви». Обновленческая, или «живая», церковь немедленно заявила, что она не признает Патриарха Тихона и приветствует любые требования Советов к церкви. О том, откуда и почему возникла «живая церковь», дает представление диалог между одним из ее организаторов, А. И. Введенским, и церковным писателем А. Э. Левитиным.

Левитин: За всем ходом событий в мае 1922 года чувствуется чья-то направляющая дирижерская палочка.

Введенский: Безусловно. Было место, в котором делалась религиозная погода.

Левитин: Где ж оно было, это место?

Введенский: А я вам не скажу. Сами догадайтесь.

И Левитин догадывается. Он пишет:

«Это место находилось в кабинете Евгения Александровича Тучкова — одного из руководящих работников ОГПУ, который ведал тогда церковными делами. Умный, хитрый и волевой человек, Е. А. Тучков, надо отдать ему справедливость, очень умело проводил правительственную политику в отношениях с церковью... Характерно, что впоследствии, уже будучи не у дел, он с большим уважением говорил о Патриархе Тихоне и с величайшим отвращением об обновленцах»[13].

Весной 1923 года живоцерковники организовали Собор, на котором «лишили» Патриарха Тихона его сана. Это было тем более просто, что сам Патриарх находился под домашним арестом и не имел возможности никаким образом ответить самозванцам.

Главная политическая идея живоцерковников состояла в том, чтобы срастись с государственным аппаратом. Они даже подавали на сей счет проекты во ВЦИК. В ожидании благ от новой власти и желая задобрить ее, обновленцы доносили на своих идейных противников. Главный деятель «живой церкви» некто В. Красницкий не гнушался произносить политические угрозы даже с церковной кафедры. В речах он обещал известить гражданские власти о «контрреволюционной деятельности» того или иного тихоновца и даже целых приходов. Угрозы эти, несомненно, исполнялись, ибо тюрьмы были полны священниками, сохранившими верность Патриарху Тихону.

О связях «живой церкви» с ГПУ рассказывает и Н. Бердяев. В 1922 году вместе с большой группой русских писателей и философов его приговорили к высылке за пределы страны. В связи с этим Николаю Александровичу пришлось несколько раз посетить страховое общество «Россия» на Лубянской площади, где разместилось Государственное политическое управление (ГПУ). «Я был поражен, что коридор и приемная ГПУ были полны духовенством,— вспоминает Н. Бердяев.— Это все были живоцерковники. На меня все это произвело тяжелое впечатление. К «живой церкви» я относился отрицательно, так как представители ее начали свое дело с доносов на Патриарха и патриаршью церковь. Так не делается реформация...»

«Живая церковь» с ее доносами и подобострастием к властям была противна и Войно-Ясенецкому, возмущала его и внутрицерковная политика обновленцев: они охотно ходили в гражданской одежде, коротко стригли волосы, приняли специальное решение, по которому епископы получали право жениться, а вдовые священники вторично вступать в брак. Всем этим новомодным, а главное, неканоническим затеям решительно противились члены избранного в 1918 году Синода во главе с Патриархом Тихоном. О личности руководителя Русской Православной церкви А. Э. Левитин сообщает следующее:

«Патриарх Тихон[14] был умным и добрым человеком, который, однако, являлся типичным представителем дореволюционного русского духовенства. Странно было бы ожидать от этого человека, чтобы он рассуждал как марксист, да еще большевик, и приветствовал бы октябрьскую революцию! Тогда он не был бы главой русского, в целом консервативного, духовенства. Отражая позицию всего русского духовенства и почти всей тогдашней интеллигенции (даже таких людей, как М. Горький, Куприн, Короленко, Скиталец и др.), Патриарх выступил с рядом воззваний. С Крещенским воззванием 6/19 января 1918 года, в котором он выступал с протестом против кровавых эксцессов, с воззванием против Брестского мира (против Брестского мира выступали, кстати, многие большевики, в том числе Дзержинский, Куйбышев, Урицкий.— М. П.), а также с резким письмом к

* Письмо, из которого автором приведены отрывки, в Полном собрании сочинений В. И. Ленина отсутствует. Директор Центрального партийного архива при Институте марксизма-ленинизма И. Н. Китаев сообщил нам, что ему известен этот документ, перепечатанный, однако, из эмигрантской газеты «Русская мысль» за 1971 год. От официального ответа по существу (имеется или нет оригинал в архиве) И. Н. Китаев уклонился. (Прим. ред.)

В. И. Ленину, написаным к первой годовщине Октября, в котором содержались требования всеобщей амнистии.

Что характерно для всех этих воззваний? Патриарх нигде не восстает против социалистических и коммунистических принципов, ни даже против революции как таковой. Он восстает главным образом против эксцессов и против отдельных актов Советского правительства (Брестский мир)».

Я привел эту большую выписку из рукописи Левитина и Шаврова, потому что с первых дней образования «живой церкви» Войно-Ясенецкий оказался ее самым решительным врагом и столь же решительным сторонником Патриарха. Его общественная программа (если можно говорить о какой-нибудь программе), очевидно, во многом совпадала с позицией Святейшего.

Начавшийся в Москве раскол очень скоро докатился и до Ташкента. Обновленцы и тут принялись захватывать приходы и церковные должности. Ждали приезда назначенного в столице живоцерковного епископа: ГПУ расчищало «революционерам» дорогу, беря под стражу каждого, кто противился «живой церкви». Атака организованная сопровождалась нажимом идеологическим: по стране прокатилась мощная волна антирелигиозной пропаганды. Одна за другой следовали антирелигиозные лекции, спектакли, вскрытие мощей, открытые судебные процессы, где священников обвиняли во всех смертных грехах. Антирелигиозная и антицерковная кампания 1922 года завершилась грандиозным «комсомольским рождеством». Во многих городах, и в том числе в Ташкенте, молодежь вышла 25 декабря на улицы с пением оскорбительных для верующих частушек, с чучелами монахов и попов. Рассказывают, что нарком просвещения А. В. Луначарский прокомментировал «комсомольское рождество» довольно презрительно: «Трудно сказать, чего больше во всем этом — невежества или безвкусицы». Впрочем, широкие массы, не отличающиеся образованностью Луначарского, но накопившие за годы революции достаточный житейский опыт, восприняли организованную государством вакханалию именно так, как этого желали в соответствующих инстанциях — как угрозу и предупреждение. «Внешние успехи безбожия произвели ошеломляющее впечатление — опустели церкви; молодежь, для которой кощунство превратилось в привычку; улюлюканье и свист, которые раздавались на улицах вдогонку жалким, робким священникам,— таковы типичные явления тех лет».

Вслед за деморализацией противника начался захват его «укреплений». Архиепископ Ташкентский Иннокентий в ожидании ареста (как тихоновец, он знал, что черед его близок) возвел в сан епископа архимандрита Виссариона. Но не прошло и суток, как вновь назначенный епископ исчез в подвалах ГПУ, а потом был выслан из города. Вконец перепуганный Иннокентий также убежал из Ташкента, так никому и не передав церковную власть в Туркестане.

«Епископ уехал, в церкви бунт,— вспоминает Войно-Ясенецкий.— Тогда протоиерей Михаил Андреев и я стали во главе правления. Мы развили довольно большую деятельность, объединили всех оставшихся верными священников и церковных старост. Мы устроили съезд оставшихся верными, предупредив об этом ГПУ, прося разрешения и присылки наблюдателя».

В начале июня, когда развернулись эти события, было уже ясно, куда клонится церковная политика властей. Поддерживать Тихона в эти дни означало открыто заявить о своем несогласии с теми, кто держал Патриарха в Донском монастыре в качестве подследственного. Двадцать третьего мая 1923 года (в ГПУ все было расписано как по нотам) Тихона увезли на Лубянку. Этим актом было окончательно указано на то, что Патриарх — государственный преступник. Недавний суд над главой католической церкви в России, кардиналом Цниплаком и его каноником, который закончился расстрелом одного и тюремным заключением для другого, не предвещал Патриарху ничего хорошего.

Арест Святейшего обновленцы приняли за свою окончательную победу. «Тихоновские» епархии сдавались по всей Руси без боя. И только в Ташкенте арест Патриарха наткнулся на сопротивление, которого не ожидали ни ГПУ, ни «живоцерковники». В городе, где вчера еще не существовало никакой церковной власти, а деморализованные священники со страхом ожидали приезда обновленского епископа, объявился вдруг местный епископ, сторонник Патриарха.

Случилось это так: незадолго до бегства Владыки Иннокентия в Ташкент перевели из Ашхабада ссыльного Уфимского Владыку Андрея Ухтомского. Личность эта была незаурядная. Ухтомский еще до революции отличался либеральными взглядами, а в 1918 году выступил с призывом произвести в Православной церкви радикальные реформы. Благодаря своей левизне Ухтомский Владыка заслужил в церковной среде презрительное прозвище «большевик». Но в 1922 году его левый радикализм не имел никакой цены. От епископов требовалась лишь безоговорочная капитуляция перед «живоцерковниками». Ухтомский был слишком порядочен, чтобы признать доносчиков-обновленцев представителями всей верующей России. И — оказался в ссылке. В Ташкенте его крупную, даже величественную фигуру сразу заметили и друзья, и враги. Интеллигент, простой в обращении и твердый в принципах, епископ Андрей даже в изгнании сумел послужить опорой разгоняемой церкви: незадолго до ссылки, находясь в Москве, он получил от Патриарха право возводить в сан новых епископов. В трудных обстоятельствах живоцерковной атаки право это очень пригодилось.

«Приехав в Ташкент,— пишет Войно-Ясенецкий,— Преосвященный Андрей одобрил избрание меня кандидатом во епископа Собором Туркестанского духовенства и тайно постриг меня в монахи... Он говорил, что хотел мне дать имя Целителя Пантелеймона, но когда побывал на литургии, совершенной мной, и услышал мою проповедь, то нашел, что мне гораздо более подходит имя Апостола, Евангелиста, врача и художника Луки».

В том, что умный епископ Андрей остановил свой взгляд на профессоре-священнике, нет ничего странного: едва ли во всей Средней Азии нашлась тогда фигура более подходящая для открытого ратоборства с «живоцерковниками». Но понимал ли сам о. Валентин (Владыка Лука), что означал для него этот выбор?

Приняв обет монашества (это было необходимой ступенью к возведению в сан епископа, сорокашестилетний Войно-Ясенецкий навсегда отрезал себе доступ к земным радостям. Такой удел многим представлялся дикостью, но в конечном счете монашество касалось только его самого. Однако следующий шаг — принятие епископской митры — почти наверняка вел к аресту и ссылке. Отец Лука был одновременно отцом четырех детей. Ему напоминали об этом друзья, и сотрудники, и близкие. «Однажды ночью, когда я лежал в своей кровати (она находилась в кабинете отца),— вспоминает средний сын Войно-Ясенецкого Алексей,— пришла Софья Сергеевна. Думая, что я сплю, она стала со слезами в голосе упрашивать отца не идти в монахи ради нас — детей. Но отец остался непреклонным».

Войно-Ясенецкий не сделал никакой попытки объяснить современникам причину своего решения (в «Мемуарах» мы находим только факты, без комментариев). Очевидно, сделанный выбор Валентин-Лука считал вполне естественным, более того — единственно возможным при данных обстоятельствах. Между тем даже с точки зрения канонической церковной нравственности он мог бы избрать для себя иной (вполне достойный!) метод поведения.

Речь идет не о том, чтобы в трудный час бежать с церковного корабля, как бежали в те годы многие священники и епископы. Но еще в пору раннего христианства, в эпоху кровавых гонений в церкви утвердились два одинаково правомерных ответа на эти гонения. Христианин мог избрать путь церковной «акривии» — отказ от любых компромиссов, путь мученичества — и путь «икономии» — приспособления к обстоятельствам ради сохранения целостности церкви. Даже в третьем и четвертом веках новой эры, когда тысячи христиан бесстрашно шли на казни и пытки, уготованные им римскими императорами, икономия считалась столь же достойным делом, сколь и акривия. Некоторые деятели церкви полагали даже, что путь икономии есть тоже мученичество, даже еще более тяжкое, ибо оно не содержит пафоса героизма, согревающего душу тех, кто идет тропой акривии. Они разъясняли, что икономия не есть приспособленчество, она не есть лавирование среди опасностей с целью достичь каких-то выгод. На-

оборот, тот, кто идет этим путем, взваливает на себя крест непонимания, насмешек и пренебрежения ради одной цели — спасения стада Христова.

Можно не сомневаться, будущий епископ Лука знал, что его никто не укорил бы, если перед лицом наступающих обновленцев он остался бы рядовым священником, в тайне хранящим верность подлинной церкви. Кстати, в Ташкенте и в других местах было немало священников-тихоновцев, которые благополучно пересидели недолгое торжество «живой церкви». Но, как справедливо заметил (мы уже говорили об этом) профессор Ошанин, смирения, даже для самых высших целей, Войно-Ясенецкому всегда недоставало. Он легко терпел выпады безбожников-врачей и даже побои распоясавшихся пациентов, ибо то поношение относилось только к его личности. Но поношение **справедливости** было для него непереносимым. Победу «живоцерковников» рассматривал он как торжество бесчестия, как победу безнравственности. Для огнепального характера Войно-Ясенецкого путь икономии решительно не годился. Решив стать епископом Туркестанским, прямолинейный, несгибаемый, презирающий опасности, он открыто избрал путь мученичества в самом прямом, обнаженном виде.

...Обряд рукоположения в епископы (хиротония) требовал участия двух архиереев. После бегства Иннокентия в Ташкенте другого архиерея, кроме Андрея Ухтомского, не оказалось. Но Владыка Андрей нашел выход из положения: он направил Войно-Ясенецкого со своим письмом в Пенджикент, небольшой таджикский городок в девяноста верстах от Самарканда. В Пенджикенте отбывали ссылку епископ Болховский Даниил и епископ Суздальский Василий. Чтобы власти не арестовали будущего главу Туркестанской церкви раньше времени, было решено, что Войно-Ясенецкий выедет в Пенджикент тайком. В «Мемуарах» находим полный отчет о событиях, которые разыгрались между вторником 29 мая и субботней ночью с 11-го на 12 июня 1923 года (по новому стилю).

Об отъезде из Ташкента Войно-Ясенецкий пишет:

«...Я назначил на следующий день для отвода глаз четыре операции, а сам вечером уехал в Самарканд в сопровождении одного иеромонаха, дьякона и моего старшего девятнадцатилетнего сына. Утром (30 мая.— М. П.) приехали в Самарканд, но найти пароконного извозчика для дальнейшего пути в Пенджикент оказалось почти невозможным, так как все боялись нападения басмачей. Наконец нашелся один забулдыга, который согласился нас везти... Преосвященные Даниил и Василий, прочитав письмо Андрея Ухтомского, решили назначить на завтра литургию для совершения хиротонии, а немедленно отслужить вечерню и утреню в маленькой церкви Святителя Николая Мирликийского, без звона и при закрытых дверях.

Все мы утром отправились в церковь. Заперли за собой дверь и не звонили, а сразу начали службу и в начале литургии совершили хиротонию во епископа. При хиротонии хиротонисуемый склоняется над престолом, а архиерей держит над его головой разомкнутое Евангелие. В этот важный момент хиротонии, когда архиереи разогнули над моей головой Евангелие и читали совершительные слова таинства священства, я пришел в такое глубокое волнение, что всем телом задрожал, и потом архиереи говорили, что подобного волнения не видели никогда. Из церкви Преосвященные Даниил и Василий вернулись домой несколько раньше меня и встретили меня архиерейским приветствием: «Тон деспотин...» Архиереем я стал 18/31 мая 1923 года. В Ташкент мы вернулись на следующий день вполне благополучно.

Когда сообщили об этой хиротонии Патриарху Тихону, то он, ни минуты не задумываясь, утвердил и признал законной мою хиротонию».

Известие о рукоположении епископа-тихоновца привело священников Ташкентского кафедрального собора в ужас. Они разбежались, так что первую свою воскресную всенощную литургию, совпавшую с памятью Равноапостольных Константина и Елены, епископ Лука служил с одним оставшимся ему верным священником.

«Спокойно прошла следующая неделя, и я спокойно отслужил вторую воскресную всенощную (10 июня 1923 г.— М. П.). Вернувшись домой, я читал правила к причащению Св. Тайн. В одиннадцать вечера — стук во входную дверь, обыск и мой первый арест».

Появление ночных гостей нисколько не встревожило Войно-Ясенецкого. Внутренне он был давно готов к этому. Невозмутимо попрощался с детьми и Софьей Сергеевной и сел в «черный ворон». Однако считать, что последняя неделя прошла для него спокойно, было бы ошибкой. Те дни, что епископ Туркестанский и Ташкентский провел на свободе, были днями напряженной борьбы с «живоцерковниками». Каждую минуту ожидая ареста, Лука только и делал, что внушал верующим и причту свою страстную ненависть к церковному подлогу. Ему удалось составить Завещание такой взрывчатой силы, что подобно динамитной шашке оно буквально разнесло общественный покой города. Завещание, перепечатанное на машинке, стали раздавать в церквах уже утром одиннадцатого июня. В этом кратком завете, написанном, возможно, за несколько часов до ареста, явственно возникает перед нами характер епископа Луки и его этическая программа.

«Живая церковь» для него — «вепрь» — дикая свинья, с которой истинно верующий не должен поддерживать никаких отношений.

«К твердому и неуклонному исполнению завещаю вам: неколебимо стоять на том пути, на который я наставил вас.

Подчиняться силе, если будут отбирать от вас храмы и отдавать их в распоряжение дикого вепря, попущением Божиим вознесшегося на горнем месте соборного храма нашего.

Внешностью богослужения не соблазняться и поругания богослужения, творимого вепрем, не считать богослужением. Идти в храмы, где служат достойные иереи, вепрю не подчинившиеся. Если и всеми храмами завладеет вепрь, считать себя отлученным Богом от храмов и ввергнутым в голод слышания слова Божия.

С вепрем и его прислужниками никакого общения не иметь и не унижаться до препирательства с ними.

Против власти, поставленной нам Богом по грехам нашим, никак нимало не восставать и во всем ей смиренно повиноваться.

Властью преемства апостольского, данного мне Господом нашим Иисусом Христом, повелеваю всем чадам Туркестанской Церкви строго и неуклонно блюсти мое завещание. Отступающим от него и входящим с вепрем в молитвенное общение угрожаю гневом и осуждением Божиим».

Подписано: «Смиренный Лука».

Глава третья

СХЕМА И СХИМА (1924—1925)

«Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь».
Первое послание Петра, 4.15.16

«Я не принимаю категории опасности. Опасность совсем неплохая вещь. Человек должен проходить через опасности».
Н. БЕРДЯЕВ. «Самопознание».

Два года прошло с тех пор, как в зале, где судили профессора Ситковского, столкнулись чекист Петерс и хирург Войно-Ясенецкий. Много изменилось с того времени. Чрезвычайная Комиссия, которую возглавлял в Туркестане Петерс, была переименована в Государственное политическое управление — ГПУ. Заслуги безжалостного латыша получили признание, и он ожидал повышения в Москву на должность Начальника всего Восточного Управления ОГПУ. В судьбе хирурга-священника тоже произошли немалые перемены. Но эти двое не забыли друг

друга. И надо полагать, готовя арест Войно-Ясенецкого, начальник Туркестанского ОГПУ с удовольствием предвкушал, как он расправится наконец с попом, который два года назад публично посадил его в лужу.

Человек в таких делах опытный, Ян Христофорович начал с обработки «общественного мнения». Арестовывая кого-нибудь в двадцатых годах, власти (в отличие от времен более поздних, когда аресты предпочитали замалчивать) спешили доказать, что схвачен злодей, обманщик, проходимец. И арест его, таким образом, является общественным благом. Поскольку все средства информации находились в одних руках, сделать это было нетрудно. В начале июня 1923 года некоему Горину из редакции «Туркестанской правды» заказали фельетон про жулика-епископа. Фельетончик получился хлесткий. Слово «воровской» повторено в нем восемнадцать раз. И в заголовке значилось: «Воровской епископ Лука». Назначение фельетона состояло в том, чтобы доказать: епископ Лука рукоположен незаконно с точки зрения церковных правил. Он «воровской» епископ. И кафедру архиерейскую захватил он незаконно, «воровским образом», за что должен быть «извержен». Аргументы свои автор фельетона почерпнул из Апостольских правил, а также решений Антиохийского и Карфагенского соборов. Если принять в расчет, что церковный собор в Антиохии происходил в 341 году н. э., а собор в Карфагене состоялся еще раньше — в 318 году, то аргументы автора «Туркестанской правды» иначе как издевательскими не назовешь. Пользуясь правилами, составленными 1600 лет назад, Горин «доказал», что два епископа в Пенджикенте не имели права рукополагать третьего, так как сами они находятся за пределами своих епархий, а сие в 318-м и 341-м годах нашей эры считалось беззаконным. В той же археологической пыли Горин разыскал параграфы, из которых явствовало, что и ташкентскую кафедру епископ Лука захватил «воровским образом».

Но особенно угодил фельетонист своим хозяевам, когда в Правилах Карфагенского собора выкопал следующие строки: «Епископов, творящих самочиние, нарушающих вышеприведенные правила, немедленно передавать по извержении в распоряжение гражданской власти, как обыкновенных бродяг и шарлатанов...» События церковной жизни в Ташкенте 1923 года меньше всего походили на то, что задолго до падения Римской империи именовалось «самочинным нарушением правил». Но ни газету, ни автора фельетона это не смутило. Свой опус Горин завершил уже совсем не церковными угрозами:

«Та общественная смута, которую несет с собой авантюризм профессора, те сношения, в которые он вступил с поднадзорными, граждански опороченными ссыльными епископами, та демагогия и тихоновщина, которыми он занимается и сугубо будет заниматься в Ташкентском соборе в качестве самочинного епископа,— все это представляет достаточно материалов для привлечения его в порядке внутреннего управления — к ответственности».

«Тихоновщина» — вот слово-ключ, открывающее подлинный смысл не слишком замысловатого горинского фельетона. Епископа Луку надо было арестовать за верность Патриарху Тихону, за противодействие «живоцерковникам». От него следовало избавиться во что бы то ни стало. А для этого годилось все — от Правил Вселенских соборов до подложных обвинений и прямой провокации.

Сотрудники Петерса не стали затруднять себя, чтобы измыслить сколько-нибудь достоверное обвинение против Ташкентского епископа. Для этой цели в 1923-м, равно как и в 1937-м да и позже, годилась любая басня. Луку обвинили в сношениях с оренбургскими контрреволюционными казаками и одновременно в связях с англичанами, которые он осуществлял якобы через турецкую границу. Тридцать пять лет спустя, рассказывая мне о тех давних допросах, Владыка заметил с улыбкой: «Я не мог быть участником казачьего заговора и деятелем международного шпионажа по двум причинам: во-первых, это противоречило моим убеждениям, а во-вторых, чекисты утверждали, что и на Кавказе, и на Урале я действовал одновременно. Все мои попытки объяснить им, что для одного человека это физически невозможно, ни к чему не приводили».

Мы не знаем, был ли автором «кавказско-уральской легенды» сам Якоб Петерс, но доподлинно известно, что допрашивал Войно-Ясенецкого начальник Туркестанского ГПУ лично. В «Мемуарах» читаем:

«Однажды ночью меня вызвали на допрос, продолжавшийся часа два. Его вел очень крупный чекист, занимавший потом очень видную должность в московском ГПУ. Он допрашивал меня о моих политических взглядах и о моем отношении к советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром: «Так кто же вы — друг или враг наш?»

Я ответил: «И друг ваш, и враг ваш. Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы воздвигли гонения на христианство, и потому, конечно, я не друг ваш» [15].

Тюрьма образца 1923 года еще не превратилась окончательно в ту садистски жестокую темницу, какой она стала полтора десятка лет спустя. После первых допросов профессора-епископа перевели из подвальной одиночки в более просторное общее помещение. Гулять подследственных выводили на большой двор. Пятнадцатилетняя дочь Войно-Ясенецкого Лена имела возможность приносить отцу не только пищу, но и бумагу и карандаши, ибо, как и дома, он продолжал в заключении работать над своими «Очерками гнойной хирургии». Чтобы завершить первый том (выпуск) монографии, ему оставалось дописать последнюю главу о гнойных болезнях среднего уха. В камере писать было невозможно, и Лука обратился к начальнику тюрьмы с просьбой предоставить ему для научной работы специальное помещение. Разрешение последовало. Мы можем лишь удивляться либеральности эпохи, когда были возможны и такие просьбы заключенного, и такие ответы начальства.

Так или иначе епископу-арестанту разрешили после окончания рабочего дня занимать тюремную канцелярию и там писать свою книгу до отбоя. Монографию удалось завершить, в Медицинском государственном издательстве ее даже одобрили. Но ни первый, ни второй выпуск ее в двадцатые годы света так и не увидели: книга вышла лишь одиннадцать лет спустя, в 1934 году. Сохранился любопытный эпизод, связанный с попыткой издать «Гнойную хирургию» в двадцатых годах. Прежде чем кануть в восточно-сибирской ссылке, Войно-Ясенецкий успел обратиться к наркому просвещения А. В. Луначарскому, ведавшему также наукой и делами издательскими. Заключенный профессор просил у наркома не свободы и не справедливого суда. Интересовало его совсем иное: он хотел, чтобы на обложке будущей медицинской монографии рядом с фамилией автора обозначен был его духовный сан. Луначарский ответил решительным отказом. Советское государственное издательство не может выпускать книг епископа Луки. Отпечатанный на машинке ответ наркома Войно-Ясенецкий с большим огорчением показывал позднее в ссылке студенту-медику Ф. И. Накладову.

...Все лето 1923 года в Ташкенте продолжалась борьба «живой церкви» против священников и верующих, преданных традиционному православию. Власти делали все, чтобы расчистить дорогу своим ставленникам. Арестовывали каждого, кто оставался верен Тихону и тихоновскому епископу Луке. «Туркестанская правда» на своих страницах вела непрерывную травлю явных и тайных противников «живой церкви». Заголовки газетных статей той поры достаточно выразительны: «Поп-мошенник», «Завещание лжеепископа Ясенецкого», «Гибель богов». Первого августа газета вышла с большим интервью, которое дал все тому же корреспонденту Горину вновь назначенный обновленческий епископ Николай Коблов. Имя Ясенецкого повторялось в интервью несколько раз и всякий раз в сопровождении политических проклятий. Деятельность Луки в Ташкенте «обновленец» оценил именно так, как это выгодно было для его хозяев: «...Контрреволюционная демагогическая работа». Затем «епископ» Николай сделал корреспонденту заявление совсем уже в духе тех доносов, что делал в Москве Председатель Всероссийского церковного управления (ВЦУ) Красницкий: «Последней и главной опорой тихоновщины считаю не религиозные, а политические мотивы. Кто предан искренне советской власти и новому социалистическому порядку, тот не может противиться обновлению и ВЦУ».

К середине августа все было кончено: все храмы в городе перешли к «живоцерковникам». Но... храмы эти стояли пустыми. «Завещание» епископа Лу-

ки — несколько десятков перепечатанных на машинке листочков — оказали на прихожан значительно большее влияние, чем газетные заклинания партийных пропагандистов и «живоцерковников». Пока Ясенецкий оставался в городе, его слово, его запрет на сношение с «вепрем» звучали для тысяч верующих как голос пророка. В ГПУ поняли: Луку надо как можно скорее выслать за пределы Туркестана. И вот, «оформив» Войно-Ясенецкого как политического преступника, Петерс отправил его в Москву, в распоряжение Главного Политического Управления. Последняя «милость» ГПУ состояла в том, что «опасный» арестант получил сутки на сборы и прощание с семьей.

Всю ночь большая квартира главного врача была полна прихожанами. Люди шли проститься с человеком, пользующимся в городе абсолютным уважением и доверием, верующие жаждали услышать последнее наставление. Утром, побывав на могиле жены, Лука направился на вокзал. Ехать ему разрешили не в арестантском, а в пассажирском вагоне. Надо полагать, в этот утренний час люди Петерса испытали наконец облегчение: операция «епископ» завершилась успешно. Лука попадает теперь в дальнюю, долгую ссылку, откуда ему едва ли суждено вернуться. А без него совсем нетрудно будет навести порядок в церковной жизни города. И все же в последний миг, когда поезд уже трогался с места, чекисты испытали еще одну встряску. Несколько десятков верующих — мужчины и женщины — легли на рельсы, они не желали отпускать своего пастыря. Ташкент снова продемонстрировал профессору-епископу Войно-Ясенецкому любовь и преданность.

Продолжавшийся почти пять месяцев путь из Туркестана в Москву, а оттуда в Восточную Сибирь описан в «Мемуарах» Владыки Луки с протокольной точностью, хотя и крайне немногословно. В Москве Владыке в течение недели разрешили жить на частной квартире. За это время он дважды встречался с Патриархом Тихоном и один раз в церкви Вознесенья в Кадашах служил с ним литургию. Патриарха к этому времени выпустили из тюрьмы, и он снова возглавлял Русскую Православную Церковь. В закулисной игре властей, где еще недавно все козыри принадлежали «живоцерковникам», произошел какой-то перебой. Почему ГПУ отшатнулось вдруг от недавних своих любимцев, мы не знаем. Может быть, власти были обеспокоены слишком широкой оппозицией, которую за рубежом и по всей стране вызвали наглые действия «живоцерковников». Во всяком случае, в соответствующих кабинетах начали разрабатывать новую церковную политику, в которой Патриарху отводилось уже более или менее достойное место. О беседах Войно-Ясенецкого с Патриархом мы знаем только то, что Тихон подтвердил право епископа Туркестанского заниматься хирургией. Что касается Луки, то можно не сомневаться: встреча в Москве еще более подогрела его религиозный энтузиазм, сделала его еще более страстным поборником традиционного православия и непримиримым врагом «живой церкви».

Во время второго посещения дома на Лубянке Войно-Ясенецкий был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму. Бандиты и жулики в камере относились к профессору-епископу, по его словам, «довольно прилично». В Бутырках просидел он месяца два. Из наиболее значительных событий того времени осталось у него в памяти первое появление симптомов сердечной болезни, которая в дальнейшем усилилась и на полпути к месту ссылки обернулась миокардитом с большими отеками на ногах. В Бутырках же, к большой своей радости, Владыка достал Новый Завет на немецком языке и усердно читал его, сидя в камере.

Глубокой ночью 1923 года партию арестантов из Бутырской тюрьмы пешком перегоняли через весь город на Таганку. «Я шел в первом ряду,— пишет Войно-Ясенецкий,— а недалеко от меня (шел) тот матерый вор-старик, который был повелителем шпаны в соседней камере... В Таганской тюрьме меня поместили не со шпаной, а в камере политических заключенных. Все арестанты, в том числе и я, получили небольшие тулупчики от жены писателя Максима Горького. Проходя в клозет по длинному коридору, я увидел через решетчатую дверь пустой одиночной камеры, пол которой по щиколотку был залит водой, сидящего у колонны и дрожащего полуголого шпаненка и отдал ему ненужный мне полушубок. Это произвело огромное впечатление на старика, предводителя шпаны, и каждый раз,

когда я проходил мимо уголовной камеры, он очень любезно приветствовал меня и именовал «батюшка». Позже, в других тюрьмах, я не раз убеждался в том, как глубоко ценят воры и бандиты простое человеческое отношение к ним».

В Таганской же тюрьме перенес Владыка тяжелый грипп — около недели пролежал в сорокаградусном жару. Наконец в начале декабря был сформирован восточносибирский этап. Вместе с Войно-Ясенецким в ссылку на Енисей ехал ташкентский протоиерей Михаил Андреев. Позднее к ним присоединился еще один ташкентский протоиерей — Илларион Голубятников. Ехали в «столыпинских» арестантских вагонах. В узкий коридор, как в зоопарке, выходят решетчатые двери камер; высоко под потолком едва пропускающее свет оконце.

Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск... По ночным улицам заключенных с вокзала быстрым шагом гонят в тюрьму. Утром снова в вагоны — и дальше. Болезнь сердца у Войно-Ясенецкого прогрессирует, но на этапе никто не оказывает ему помощи. В Тюмени этап задержался, но единственную за всю дорогу склянку настойки валерианы больной получил лишь на двенадцатый день.

Менялись камеры, спутники, ситуации. Новосибирск остался в памяти как место особенно тяжелое. В камеру, отведенную Войно-Ясенецкому и двум его спутникам-профессорам, тюремщики подсадили бандита, убившего восемь человек, и проститутку, которая по ночам уходила «на практику» к тюремной страже. Случалось, что бандиты проявляли к «батюшке» некоторое уважение, но чаще над ним глумились, его оскорбляли, даже били. В новосибирской тюремной бане у Владыки украли деньги, а затем в вагоне разворовали чемодан с вещами. В издевательствах недалеко от уголовных ушла и стража: в Красноярске охрана посадила политических заключенных в подвал, загаженный человеческими испражнениями. Лопат не дали. Вновь прибывшим пришлось чистить свое жилье «подручными средствами». Рядом с подвалом Войно-Ясенецкий несколько раз слышал ружейные залпы: работники ГПУ расстреливали казаков-повстанцев.

Но вот наконец и последняя часть пути: в лютую январскую стужу заключенных на санях повезли из Красноярска за 400 километров на север, в Енисейск. «Об этом пути я мало помню,— пишет Лука,— не забуду только операции, которую мне пришлось произвести на одном ночлеге крестьянину лет тридцати. После тяжелого остеомиелита, никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости. Нечем было перевязывать его, и рубаха и постель всегда были залиты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всяких затруднений вытащил огромный секвестр».

...Почти полвека спустя, в августе 1970 года, я сел в Красноярске на дизель-электроход «Сергей Прокофьев», чтобы плыть по местам ссылки моего героя. Я в то время еще не читал «Мемуаров», и единственная возможность дознаться, как профессор-епископ провел 1924—1926 годы, состояла в том, чтобы разыскать на Енисее свидетелей его жизни и поговорить с ними. Забегая вперед, скажу: енисейская поездка (она продолжалась две недели) показала, насколько живуча все-таки историческая правда. В Красноярске, Енисейске, Туруханске, а потом и в деревне Большая Мурта нашел я не одного и не двух, а более сорока местных жителей, знавших и помнивших моего героя. Да еще десяток человек ответили на письма, отправленные по адресам, которые удалось узнать на Енисее. В результате, вернувшись в Москву, я привез не только тетради, полные записей, но и уникальные фотографии Войно-Ясенецкого, его книги, а в Туруханске получил в подарок некогда принадлежавшую епископу Луке икону.

...Судьба города Енисейска, которую приезжий может без труда восстановить для себя, походив день-другой по улицам, типична для многих сибирских городов. До революции столица золотопромышленного района Енисейск насчитывал до пятнадцати тысяч жителей. Тут в добротно построенных кирпичных и бревенчатых с резными наличниками домах жили купцы, золотопромышленники, семьи приисковых рабочих и служащих. Цены на квалифицированный труд стояли тут всегда высокие, так что большинство жителей были людьми обеспеченными — золото всех кормило. Мощеные улицы, ухоженный парк, отличные здания гимназии, больницы, дома призрения, одиннадцать, включая собор, златоглавых церк-

вей — все свидетельствовало о достатке городского бюджета. Многое успел сделать для города перед первой мировой войной городской голова — инженер по образованию и довольно известный в Сибири путешественник. При нем было проведено электричество, появился телефон. Мысля категориями всероссийскими, он настойчиво налаживал торгово-промышленные связи между городами и поселками края. Сам дважды проводил караваны судов с Оби на Енисей и даже представлял в правительство проект соединения двух великих сибирских рек системой современных каналов. В те же годы городская интеллигенция успешно прививала населению культурные интересы. В шести тысячах километров от российских столиц енисейцы завели хорошую общедоступную библиотеку, организовали то, что мы теперь называем драматическим коллективом. (В музее можно видеть театральные афиши тех лет, извещающие о драматических и оперных спектаклях.) Существовал тут и кружок любителей словесности, одно время выпускавший литературный альманах. В городе жили и работали хорошие земские врачи (доктор Бицин, доктор Салтурин), больничная операционная располагала таким операционным инструментарием (его выписали из Германии), какого не было в иных губернских городах.

Гражданская война и пять лет, последовавших после утверждения в Енисейске новой власти (1919—1924), полностью преобразили город. Он опустел. В то время, когда Войно-Ясенецкий приехал в ссылку, в Енисейске едва ли оставалось шесть тысяч человек. Свои добротные дома покинули не только купцы и золотопромышленники, но и учителя, врачи, инженеры, многие речные капитаны. Вместо прежних опытных медиков частную практику открыли фельдшеры (С. М. Бурмакин, Н. Н. Крыловский, Лимескин). Ушли в поисках сбыта своих знаний и мастеровые, от плотников до ювелиров. Купеческие особняки заняли учреждения: горком и окружком ВКП, РИК, Чека, окружком комсомола. У новых хозяев тоже были свои занятия, своя культура и свои развлечения (о них ниже). И, конечно же, свое представление об общественной структуре. Врач С. М. Якобсон, поселившийся в Енисейске в 1925 году, так описывает политическую ситуацию, возникшую здесь в годы нэпа:

«Волей-неволей население делилось на две категории: «красных» и «белых», друзей и врагов. Служители культа, как и кулачество, относились ко вторым. Такова фактически была схема. Она довлела над многими руководящими работниками. Руководство Енисейского района, по моим впечатлениям, не смогло стать выше этого...»

Из этой «классовой» схемы и проистекли в дальнейшем те конфликты, которыми столь богата первая ссылка Владыки Луки. Схема работала с четкостью гильотины. Признать ссыльного епископа «красным» хозяева Енисейска, конечно же, не могли. Значит, «белый». Да не просто «белый», а некая центральная фигура, привлекающая к себе симпатии отсталых масс. А раз так — дави и души его, «контру»... Между тем положение в городе в связи с приездом Луки сложилось отнюдь не простое. «За всю историю Енисейска,— пишет Якобсон,— не было еще такого, чтобы иметь в городе известного миру ученого в сочетании в одном и том же лице с высокопреосвященством. Немудрено поэтому, что положение священнослужителя, в отсталой, темной части населения в первую очередь, довольно скоро нашло понимание, преклонение, сочувствие». Но одновременно, по словам доктора С. М. Якобсона, большая часть енисейской интеллигенции видела в нем (Войно-Ясенецком) ученого, а «практическая деятельность профессора стала способствовать росту его авторитета как врача». Якобсон даже слышал, как кое-кто из новой, просоветской интеллигенции негодовал по поводу репрессий и дальнейших высылок хирурга-епископа из города.

Лука не вписывался в схему. По той или иной причине его приветствовала большая часть населения, к нему тянулись и «реакционные», и «прогрессивные». Чиновников раздражала эта возникшая со ссыльным «попом» неясность. Однако очень скоро в глазах должностных лиц фигура Войно-Ясенецкого прояснилась полностью. Он открыто продемонстрировал властям свою нераскаянность. Заняв на Ручейной улице в двухэтажном доме Забоевых просторную квартиру с гостиной, епископ Лука со своими спутниками протоиереем Илларионом Голубятниковым и Михаилом Андреевым начал по воскресеньям и праздничным дням совершать богослужения. Служить в квартире пришлось оттого, что, как объяснено в «Мемуарах», в Енисейске «священники уклонились в живоцерковный раскол», а общаться с «живоцерковниками» Лука принципиально не желал. Служба по традиционному чину собирала немало народа, и квартира ссыльных священнослужителей в короткое время стала местом, где верующие открыто выражали несогласие с официальным, пока еще не отмененным церковным курсом.

Впрочем, и такую свою деятельность Войно-Ясенецкий стал считать вскоре слишком пассивной. Если верить слухам, которые и доныне передают в Енисейске, он принялся захватывать закрытые властями храмы и служить в них. Во всяком случае, один такой эпизод местные жители помнят хорошо. Открыть храм, закрытый по решению райисполкома,— это уже акт явного неповиновения. Луку вызывали в ГПУ. Держался он с достоинством, заявил, что виноватым себя не считает и впредь намерен возносить хвалу Богу в специально построенных для того храмах, и, как говорят, добавил, что единственными хозяевами над собой признает Бога и Патриарха.

Дело в тот раз ограничилось выговором. Должностные лица допустили по отношению к ссыльному послабление: может быть, потому, что еще не привыкли к сочетанию епископской рясы и профессорского звания. А может быть, и оттого, что Войно-Ясенецкий уже сделал несколько удачных операций, о которых в Енисейске много говорили. Власти решили потерпеть некоторые причуды епископа, чтобы на всякий случай сохранить в городе хорошего хирурга. Лука никакого внимания на вызов ГПУ не обратил, служба в церквах и на квартире продолжалась. Но не прошло и недели, как положение усугубилось снова. Войно-Ясенецкий ввязался в новую баталию.

В 20-х годах тон в городе задавали комсомольцы. Они были первыми и самыми страстными проводниками партийной политики, и в том числе политики классовой непримиримости. Мы уже говорили о буквально физиологической потребности новой власти изыскивать заклятых врагов и непременно изничтожать их. Поскольку после 1919 года в Енисейске и его окрестностях реальных противников не осталось, жаждущие побед комсомольские вожаки повели массы «на штурм небес». С «небесами» расправлялись запросто. «Незадолго до моего приезда в Енисейск,— пишет в «Мемуарах» Владыка Лука,— был закрыт женский монастырь, и две послушницы этого монастыря рассказали мне, каким кощунством и надругательством сопровождалось закрытие храма Божьего. Дело дошло до того, что комсомолка, бывшая в числе разорявших монастырь, задрала все свои юбки и села на престол». Случай, который настолько потряс Владыку, так, что он не забыл его даже через тридцать пять лет, диктуя свои «Мемуары», был для той эпохи вполне заурядным. Бывший милиционер Михаил Федорович Терещенко с большой охотой рассказывал мне, как в 1924—1925 годах он сам обдирал с икон Успенского собора золотые ризы, как грузил на подводу реквизированные чаши и кадила; как помогал стаскивать с церквей колокола. Во время реквизиций верующие — порой набегало несколько сот человек,— стоя поодаль, ругали представителей власти и комсомольских активистов. Терещенко слышал и проклятия, и молитвы, в которых верующие призывали громы и молнии на головы богохульников. Исполняя свой служебный долг, милиционер Терещенко вынужден был давать время от времени предупредительные выстрелы в воздух, а кое-кого и препровождать в милицейский участок. Впрочем, сам Терещенко к верующим относился, по его словам, без всякого зла. Вспомнил он также, как зимой 1924 года молодые борцы с религиозным дурманом опрокинули в деревне Сотниково часовню: «Просто так, для смеха».

Главным заводилой всех антирелигиозных проделок в Енисейске был один из первых секретарей райкома комсомола — веселый рыжий Митька Щукин. Он организовал молодежную капеллу, члены которой разыгрывали смешные сценки про попов и монахов. Он же выводил комсомольцев на пасхальные и рождественские карнавалы, на которых сжигали чучела все тех же попов и монахов. Наконец, не кто иной, как Митька Щукин, был автором антирелигиозных частушек и песенок. С гармошкой в руках, лихо сдвинув на затылок кепку, секретарь

появлялся на подмостках дома культуры, устроенного в доме изгнанного купца Валандина, и к вящему удовольствию молодых атеистов исполнял такие, к примеру, вирши:

В ссылку приехал епископ Лука,
Солиднее будет успенского попа.
Стали монашки к нему приходить,
Стирать и портяночки мыть...

Автора виршей я в Енисейске не застал. Д. Щукин в 30-е годы работал в органах НКВД, потом в КГБ. Сейчас на пенсии. Удалось дознаться, что он находится в Риге, но адреса мне его не дали, объяснили — крупные работники госбезопасности не обозначены ни в телефонных справочниках, ни даже в картотеке адресного бюро. Ну что ж, надо полагать, у Дмитрия Щукина действительно есть причины скрывать свой адрес и телефон. И хотя мы не знаем, что делал он в 30-х и 40-х годах, но некоторые задатки будущей щукинской карьеры четко прослеживаются уже в двадцатые. Поносными песенками и карнавалами он не ограничивается. Бывшая пионервожатая в Енисейске, а ныне пенсионерка республиканского значения Евдокия Яковлевна Ким вспоминает, что весь 1924 год в городе гремели взрывы: комсомольцы под руководством своего секретаря разрушали церковные здания. О воскресниках, на которых молодежь после взрыва в Рождественской церкви разравнивала площадку для комсомольских собраний, рассказывает врач Маргарита Петровна Овчининна [16].

Живя в Ташкенте, епископ Лука полагал, что все беды русской православной церкви в послереволюционную пору происходят лишь от козней «живоцерковников». Кощунствующая молодежь не казалась ему достойной серьезного отпора. Но в Енисейске «живоцерковники» реальной силой не обладали, зато разгул комсомольцев-атеистов грозил полностью лишить город мест молитвы. Лука решил протестовать. Несколько раз он выступал с проповедями, пытался урезонить, пристыдить разрушителей храмов. Потом принял участие в публичном и, как говорят, многолюдном диспуте с молодым медиком-атеистом Чеглецовым. Но ни успокоить, ни даже умерить антирелигиозную волну двадцатых годов было, конечно, невозможно. Лука только еще больше настроил против себя енисейское партийное и советское начальство. А скоро к доносам церковного характера присоединились жалобы на Войно-Ясенецкого от местных фельдшеров.

О своей врачебной работе в Енисейске епископ Лука оставил краткую запись, которая уместилась в «Мемуарах» на десяти строках:

«Мой приезд в Енисейск произвел большую сенсацию, которая достигла апогея, когда я сделал экстракцию врожденной катаракты трем слепым мальчикам-братьям и сделал их зрячими. По просьбе доктора Василия Александровича Башурова, заведовавшего Енисейской больницей, я начал оперировать у него и за два месяца жития в Енисейске сделал немало очень больших хирургических и гинекологических операций. В то же время я вел большой прием у себя на дому, и было так много желающих попасть ко мне, что в первые же дни оказалось необходимым ввести запись больных. Запись, начатая в первых числах марта, достигла дня Св. Троицы» (июнь).

Все это верно, но так же примерно, как выцветший дагерротип. В действительности же два с небольшим месяца (январь — март 1924 года) жизни Войно-Ясенецкого в Енисейске были насыщены чрезвычайно яркими житейскими и медицинскими эпизодами, насыщены большой хирургической работой, которую Владыка совмещал с напряженной жизнью религиозной. Лучше всего об этом периоде мог бы рассказать доктор В. А. Башуров, но ко времени моего приезда его уже не было в живых. О врачевании Войно-Ясенецкого я услышал в конце концов от шести старожилов. Наиболее полным оказался рассказ девяностолетнего Арсения Кузьмича Константинова. Интеллигент сибиряк, в прошлом почтовый и торговый служащий, Константинов сохранил прекрасную память (к его воспоминаниям мы еще вернемся) и со слов своего друга доктора Башурова передал следующее:

«В Енисейскую больницу Войно-Ясенецкий впервые зашел зимним днем 1924 года. Очевидно, он только что появился в городе, потому что заведующий больницей ничего о нем еще не слыхал. Представился: «Я профессор Ташкентского университета, в миру Ясенецкий-Войно, имя мое в монашестве — Лука. Башуров, в ту пору очень молодой врач, слушал собеседника с недоверием, подумал даже, не сумасшедший ли перед ним. Войно просил разрешить ему оперировать. Не служить, не зарплату получать, а только оперировать. «У меня плохой инструмент, нечем делать операции»,— схитрил Башуров. Войно пожелал увидеть инструментарий. Поглядевши, сказал, что никогда не думал, что в таком маленьком городке он найдет столь замечательные хирургические инструменты. После этого Башурову ничего не оставалось, как довериться странному профессору в рясе. На ближайшие дни была назначена сложная операция, каких прежде в Енисейске никогда не делали.

Настал операционный день. Больного положили на стол, усыпили... и... первое же движение профессора заставило Башурова побледнеть. Лука рассек брюшную стенку пациента таким широким и стремительным взмахом скальпеля, что у заведующего больницей мелькнуло в голове: «Мясник! Зарежет больного!» Лука заметил, что ассистент волнуется, и сказал: «Не беспокойтесь, коллега, положитесь на меня». И действительно, операцию сделал он превосходно».

Так же хорошо прошла вторая, гинекологическая операция. Больную дочь советского или партийного работника оперировали на дому. Когда женщина выздоровела, Луку и Башурова пригласили обедать в дом высокопоставленного хозяина. Тут сидело несколько важных городских персон. Во время обеда Башуров сказал: «Вы меня, профессор, напугали в первый раз, но теперь я верю в ваши приемы». «Это не мои приемы,— возразил Лука,— а приемы хирургии. У меня же просто хорошо натренированные пальцы. Если мне дадут книгу и попросят прорезать скальпелем строго определенное количество страниц, я прорежу именно столько и ни одним листком больше». Тут же была принесена, но не книга, а книжечка папиросной бумаги, употребляемой на цигарки. Лука ощупал плотность бумаги, остроту скальпеля и резанул. Пересчитали рассеченные листки, их оказалось ровно пять, как и просил хозяин дома.

После первых операций к Войно-Ясенецкому хлынули горожане и крестьяне из окрестных сел. Список желающих получить помощь был составлен на три месяца вперед, а больные все ехали и ехали. И тут Башуров испугался уже не на шутку. На каждую операцию с участием Войно-Ясенецкого полагалось получать отдельное разрешение, а разрешения эти давались туго. Растущая популярность Луки раздражала городских начальников. Кроме того, в ГПУ подозревали, что «поп», принимая дома, получает большие гонорары. Чтобы поймать Луку с поличным, к нему несколько раз подсылали «разведчиков». Но оказалось, что никакой мзды с больных он не берет, а в ответ на благодарность пациентов отвечает: «Это Бог вас исцелил моими руками. Молитесь ему». Но в качестве врача-бессребреника Лука все равно не устраивал власти. К тому времени каждому было известно, многократно повторено: советская власть, то есть «красные», обеспечивает народу бесплатную медицинскую помощь, и тем спасает трудящихся от корыстолюбия частных врачей, то есть «белых». Все ясно, все четко. А тут вдруг Войно-Ясенецкий — частный, но бескорыстный. Пресловутая схема опять давала трещину.

Едва ли епископ Лука догадывался об антипатиях, которые он вызывал у тех, от кого зависела его судьба. Как и в Ташкенте, он оставался собой и только собой. Другим быть попросту не мог. Официальным лицам его поступки казались странными, подозрительными. Но, очевидно, более несуразным был мир, в котором все многоцветие человеческой индивидуальности люди пытались свести к двум цветам — красному и белому. Войно-Ясенецкий, хирург и епископ, ни к какой партии себя не причислял, ни в какой общности, кроме православной церкви, себя не числил. У него был свой собственный отсчет времени и пространства, свое представление о том, что дóлжно и чего не дóлжно делать человеку. Свое врачебное мастерство считал Лука даром мистическим, предназначенным, в частности, для прославления и утверждения Бога. И как врач вел он себя в полном

соответствии с дарованными ему способностями. Не отказывал он в помощи самым сирым и убогим, не брал ничего за лечение, мог целыми днями возиться с какими-нибудь хворыми и грязными ребятишками деревенскими и в то же время способен был запросто выгнать пришедшего на прием атеиста. Это не было с его стороны акцией политической, а только выражением его, епископа Луки, религиозных, нравственных представлений.

Так случилось, когда к нему в дом явились одетые в служебную форму милиционеры. Один из них за день до того спьяну упал с телеги и ушибся. Между профессором-епископом и милиционерами произошел следующий диалог:

— Вот пришли к вам лечиться, доктор...

— Я коммунистов лечить не стану. Я исцеляю с помощью Господа нашего Иисуса Христа, а вы в него не верите.

— Не верим,— подтвердили милиционеры,— мы верим только в науку. И ушли.

Конечно, ни о какой науке енисейские милиционеры, с грехом пополам окончившие четырехклассное училище, не имели представления. Но словесные залпы, которыми представители власти считали нужным обменяться с профессором-епископом, тоже входили в ритуальную советскую систему 20-х годов. По схеме этой, «белые» — всегда враги и гонители науки, «красные» же ее всегдашние покровители.

О врачебном мастерстве Войно-Ясенецкого говорили мне в Енисейске 79-летняя библиотекарша Татьяна Александровна Хнюнина, бывший почтовый работник Иннокентий Николаевич Богушевич, 66 лет, медсестра-пенсионерка 73-летняя Варвара Александровна Зырянова. Особенно запомнились старым енисейцам глазные операции Луки. За два месяца он сделал их не меньше двух десятков. Экстракцию врожденной катаракты трем мальчикам-братьям, о которых в «Мемуарах» сказано крайне скупо, народная память дополняет интересными подробностями. Речь, оказывается, шла о целой семье, в которой отец, мать и несколько маленьких детей были от рождения слепы. Из семи человек шесть стали после операции зрячими. Прозревший мальчик лет девяти вышел впервые на улицу. С изумлением увидел он мир, который прежде представлялся ему совсем иным. Подвели лошадь. Видишь? Чей это конь? Мальчик не мог ответить. Но, ощупав коня, закричал радостно: «Это наш, наш Мишка!» Так же трудно было ему сначала понять на взгляд, что это за штука такая — карандаш... Семья недавних слепцов буквально боготворила хирурга-епископа, но на просьбы принять от них какие-нибудь подношения Лука, как всегда, отвечал отказом.

Как ни успешны были глазные и полостные вмешательства, совершенные Войно-Ясенецким, меня куда больше поразила операция, о которой вскользь, как о самом обычном деле, сообщает енисейская жительница В. А. Зырянова. «Однажды,— рассказала она,— в Енисейск откуда-то из района привезли умирающего мужчину с больными почками. Когда Владыка осмотрел его, то приказал родным купить и заколоть теленка. Теленка закололи, Владыка взял от него свежие почки и пришил их больному. Говорят, после операции тому мужику полегчало».

У всякого, кто знаком с историей медицины нового времени, это сообщение не может не вызвать интереса. Первую пересадку животной почки в нашей стране совершил в 34 году доктор И. И. Вороной из Киева. Женщине, страдающей от уремии, он подсадил на ногу почку свиньи. Факт этот отмечен как первая попытка трансплантации чужеродной почечной ткани. Но, оказывается, не Вороной в специальной киевской клинике, а Войно-Ясенецкий в маленькой енисейской больничке на десять лет раньше произвел операцию, от которой отсчитывается эра пересадок почки в нашей стране.

Операции Луки привели, однако, к последствиям самым неожиданным: замечательного хирурга выслали в глухую деревню. Неудовольствие енисейского городского начальства сомкнулось с раздражением местных медиков, у которых Войно попросту отбил клиентуру. Возникшую ситуацию старый енисейский медик Н. Н. Крыловский выразил одной фразой. «Некоторые молодые врачи не любят оказываться в тени, находясь рядом с крупной личностью»,— сказал он доктору С. М. Якобсону. Речь, впрочем, шла не о врачах, а о фельдшерах, успевших сколотить в годы нэпа изрядные капиталы на частных приемах. Предприниматели от медицины стали лицемерно жаловаться властям на «попа», который производит «безответственные» операции. Доносы упали на подготовленную почву. Городская администрация, недостаточно грамотная, чтобы разобраться в сути вопроса, приняла к сведению, что беспокойный епископ является к тому же еще и сомнительным медиком. Судьба Луки решалась в одночасье. В середине марта его арестовали и под конвоем выслали еще на несколько сот километров южнее, на Ангару. Вместе с ним в ссылку поехали его ближние: протоиерей Илларион Голубятников и Михаил Андреев, а также две монашки, которых епископ Лука постриг в Енисейске под именами Лукия и Валентина.

Маленькому каравану пришлось преодолеть по замерзшему Енисею девяносто километров, добираясь до устья Ангары. Потом по ангарскому льду шли еще более ста километров до районного села Богучаны. Тут ссыльных разлучили: Голубятникова и Андреева послали в деревню неподалеку от Богучан, а «главного преступника» Войно-Ясенецкого за сто двадцать километров в деревню Хая, что лежит на притоке Ангары — Чуне. Хая — деревушка в восемь дворов. Кругом бескрайняя лесная пустыня. В марте тут еще глубокая зима. Дом, где со своими монашками поселился Лука, часто до крыши заносило снегом. Приходилось ждать, пока утром олени протопчут тропу, чтобы можно было принести хвороста на растопку. Питание — скудное. Ссыльным не только искупаться, умыться поначалу негде было: в рукомойнике, который висел в сенях, замерзала вода.

Елена Валентиновна считает, что на Ангаре заниматься медицинской практикой отцу не приходилось. Однако в «Мемуарах» сообщается о двух довольно серьезных операциях, которые епископ Лука произвел после изгнания из Енисейска. В районном селе Богучаны, где ссыльные находились проездом всего два дня, оперировал он крестьянина с нагноившимся эхинококком печени и, возвращаясь через несколько месяцев назад, нашел своего пациента совершенно здоровым. Второе вмешательство произвел он на глазу. Среди вещей, с которыми Лука во время ссылок не расставался, был набор глазных инструментов и маленький стерилизатор. Этот инструментарий пригодился в глухой деревушке на притоке Ангары. В пустой, нежилой избе, в полном одиночестве хирург сделал экстракцию катаракты старику крестьянину. Операция прошла успешно.

Тяготы ссылки переносил Войно-Ясенецкий без ропота. «Обо мне не заботься, я ни в чем не нуждаюсь»,— писал он сыну Михаилу из Енисейска и через несколько месяцев снова: «Обо мне не беспокойтесь. Господь отлично устроил меня в Хае. Я радостен, глубоко спокоен, никаких нужд не испытываю — монахини с большой любовью заботятся обо мне». Это письмо писалось в то самое время, когда жизнь в Хае была совершенно невыносима из-за придирок и издевательств старухи, хозяйки дома, в котором Войно-Ясенецкий был определен на поселение. Старуха стала выживать ссыльных из жилья и в конце концов выгнала их. Лука с монахинями вынесли из дома свои вещи и сели на поклажу у стены. Эта картина возмутила даже обычно глухое к чужому горю деревенское «общественное мнение». Односельчане стали стыдить старуху и заставили ее вернуть квартирантов в дом.

В июне последовал приказ отправить Войно-Ясенецкого обратно в Енисейск. Свой путь описывает Лука, как всегда, немногословно и точно: «Нам дали двух провожатых крестьян и верховых лошадей. Монахини впервые сели на лошадей. Очень крупные оводы так нещадно жалили лошадей, что целые струи крови текли по их бокам и ногам. Лошадь, на которой ехала монахиня Лукия, не раз ложилась и каталась по земле, чтобы избавиться от оводов, и сильно придавила ей ногу.

На полдороге до Богучан мы побывали (очевидно: остановились.— М. П.) в лесной избушке, несмотря на требование провожатых ехать дальше всю ночь. На них подействовала только моя угроза, что они будут отвечать перед судом за бесчеловечное обращение со мной — профессором. Не доезжая до Богучан, прекратилась наша верховая езда. Меня, никогда раньше не ездившего верхом и крайне утомленного, пришлось снимать с лошади моим провожатым.

Дальше до Богучан мы ехали на телеге.

Потом плыли по Ангаре в лодках, причем пришлось миновать опасные пороги. Вечером на берегу Енисея, против устья Ангары, мы с монахинями отслужили под открытым небом незабываемую вечерню.

По прибытии в Енисейск меня заключили в тюрьму, в одиночную камеру...»

Читая и слушая о злоключениях епископа Луки в первой ссылке, я не раз ловил себя на том, что где-то уже встречал подобную ситуацию. Ссыльный в Енисейске; Ангара с ее губительными порогами, таежный гнус, со света сживающий и скот, и человека; измученные, падающие от усталости, но не падающие духом люди, готовые и более того претерпеть за свою веру... Да ведь это страницы из «Жития протопопа Аввакума»! Раскольничий священник, попавший в царскую немилость и сосланный в Сибирь, на два с половиной века раньше проделал тот же путь по Енисею и Ангаре, что и епископ Лука. Как и Войно-Ясенецкий, отстаивал Аввакум «истиную» веру от «ложной»; старую церковь — от новой с дурным политическим привкусом. За то был схвачен, бит, морен голодом и сослан с женой и малыми детьми сперва на Лену, а потом на Енисей под начало жестокого воеводы Афанасия Пашкова. «А как приехал на Енисейской, другой указ пришел: велено в Дауры везти — двадцать тысящ и больши будет от Москвы».

Кораблекрушение на Ангаре, издевательства и побои от воеводы, смерть малых детей, неслыханные тяготы, перенесенные раздетыми, разутыми, лишенными пищи людьми! Все снес Аввакум, снес и воспел: «Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие — огонь да встряска, люди голодные; лишо станут мучить — ано и умрет!» — и над всем этим ужасом нечеловеческое упорство священника, отстаивающего свою веру: свое человеческое достоинство. Ибо, твердит он, писано: «Не начный блажен, но скончавай» — «Блажен не тот, кто начал, а тот, кто начатое довел до конца». Да уж кто-кто, а Аввакум и Лука умели доводить начатое до логического конца.

Но интересны для нас не только внешние обстоятельства двух жизней и даже не географический параллелизм двух судеб. Значительно важнее сходство двух характеров. Дважды за три века в России возник и дошел до своего апогея характер религиозного бунтаря-фанатика. Случаен или закономерен такой повтор в российской истории? Появление обоих пророков-мучеников кажется мне закономерным. Их породили не только схожие человеческие типы, но и близкие, если не сказать идентичные, общественные обстоятельства. Ссыльный Войно-Ясенецкий, конечно, не перенес в Восточной Сибири тех страданий, что выпали на долю его предшественника Аввакума. Ссыльная Россия 1924 года уже не походила на ту, какой она была в 1656 году, и еще не успела дойти по жестокости до уровня 1937 года и последующих годов. Как я уже говорил, это была пора сравнительно либеральная. И тем не менее можно не сомневаться: случись Луке испытать батоги и плети, он все равно не изменил бы своим принципам, остался таким же огнепальным, истовым, непреклонным, каким был его исторический предтеча. Духовное родство свое с Аввакумом полностью доказал он во время третьего по счету сидения в бериевских тюрьмах, в 1937—1939 годах.

Что же до внешних обстоятельств, роднящих Россию XVII и Россию XX века, так это старинные, хронические хвори наши — бессудность и беззаконность. Схватить неугодного без суда, следствия, тайком сослать на край света, похоронить в сыром каземате или просто убить, назвав убийство казнью,— это у нас исконное, коренное, неотъемлемое, со времен Владимира Мономаха. Век XIX, чуть приблизивший Россию к европейскому облику, внес в старинный порядок некоторые коррективы, но со второго десятилетия века XX бессудность как форма взаимоотношений между государством и гражданином восторжествовала вновь. На смену «слову и делу государеву» пришла система заложников, практиковавшаяся в эпоху гражданской войны, потом административные расстрелы, о которых с ужасом писал В. Г. Короленко Луначарскому, и наконец «суд тройки» — без адвоката, без слушания сторон, с заранее подготовленным приговором. Внешние формы менялись, но неизменной оставалась ее суть — незащищенность гражданина и всевластие власти, которой для оправдания своих действий не нужны уже никакие законы. В таком мире наказание превращается в месть, в целую серию мстительных актов, когда заключенный ссыльный становится жертвой не только бесчеловечного законодательства, но и жестоких тюремщиков. Дальше все зависит от душевных свойств жертвы. Произвол действует, как «тяжкий млат»,— крушит стекло и кует булат. Люди слабые гнутся, ломаются, в звериной жажде сохранить себя предают всех и вся. Но среди тысяч согнутых вдруг обнаруживает себя пророк с «булатным» характером. Независимо мыслящий, охваченный гордыней своей правоты, возмущенный попранием Закона, он вступает в бой с властью.

Подобные человеческие характеры не монополия России. Они известны и в Европе, и в Америке, и в Азии. Там, где закон охраняет свободу и жизнь гражданина, Аввакумы и Войно-Ясенецкие становятся во главе оппозиции, испытывают свои силы в парламентских прениях. Это из их числа вышли Дэвид Тора и Махатма Ганди, и Альберт Швейцер. В стране же, где для мыслителя и моралиста закрыта любая возможность свободного волеизъявления, ему остается одно — гибель, гибель при первом же столкновении с властью, ибо попирающие законы никого так люто не ненавидят, как тех, кто требует законности.

Случается, однако, что по недосмотру или благодаря чуду пророк остается в живых. Тогда начинается его путь мученичества, путь в историю. Прошли этим крестным путем и Аввакум, и Валентин Войно-Ясенецкий, в монашестве Лука. Наверно, были и другие, но только у этих достало для утверждения себя не только сил духовных, но и физических сил. Они выжили. В двадцатом столетии вновь оказалась справедливой истина, провозглашенная в семнадцатом: «Блажен не начный, а скончавай».

Те, кто сослал епископа Луку в глухую деревню, естественно, полагали, что, наголодавшись и намучившись, он вернется обратно более покладистым. Да и как же иначе: в городе, даже таком, как Енисейск, жить удобнее, сытнее, приятнее, чем в таежной деревушке. Сравнив сладкое с горьким, человек должен избрать сладкое. А избравши, припасть к ногам начальства с покаянием. Такова нормальная реакция, на которую во все времена рассчитывают власть имущие. В стандартных случаях эта лотерея для них беспроигрышна. Но только в стандартных. Для Войно трехмесячный искус на Ангаре был только лишним доводом за то, что он прав. Тебя ненавидят, тебя боятся, от тебя пытаются избавиться — великолепно. Значит, твое слово действительно наводит страх на одних и укрепляет веру в других. А ведь это то самое, о чем, по словам апостола Луки, высокого покровителя епископа Луки Ташкентского, говорил когда-то Христос: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого» (Лука, 6, стих. 22). Нет, епископ Лука вовсе не считал, что сладкое во всех случаях жизни лучше горького. Он не собирался отступать от самого себя. Он не собирался отступать в Енисейск.

В ближайшее же воскресенье на подмостках дома культуры Митька Щукин, лихо заломив кепку на рыжей кудлатой голове, пропел куплеты собственного изготовления:

На Успеньи крест погнулся,
С Ангары Лука вернулся..

Дальше шел текст мало пригодный для печати, но зато содержащий неприкрытые угрозы. В лице Митьки Щукина «общественность» предупредила ссыльного епископа. Он не внял. Более того, едва разложив свое немудреное имущество в том же доме Забоевых на Ручейной, он в церкви Преображения Господня отслужил литургию. Да не как-нибудь, а архиерейским чином. Коренная енисейская жительница Наталья Евдокимовна Ермолина, в свои 67 все еще изящная, даже красивая сибирская казачка, хорошо помнит ту давнюю литургию. Она и ее молодые тогда подруги пели на клиросе. Песнопения по нотам композитора Бортнянского хористки начали разучивать задолго до возвращения Луки с Анга-

ры. Очень уж им хотелось показать Владыке свой хор во всем блеске. И действительно, руководимое епископом богослужение своей строгостью и стройностью запомнилось енисейцам надолго.

А вскоре новое событие взволновало город: в конце июня 1924 г. в той же Преображенской церкви епископ Лука посвятил в сан священника сорокалетнего псаломщика Николая Тюрнева. В эпоху, когда священников арестовывали только за то, что они священники, надеть рясу значило проявить недюжинное мужество. Между тем Тюрнев, человек боязливый, кроткий, отягощенный большой семьей, борцом не был. Борцом был Лука. Страстными речами он так околдовал беднягу псаломщика, что тот на все махнул рукой и согласился «пострадать за Христа». Обряд рукоположения превратился в мрачную, почти похоронную процессию. Прихожане настолько уверились в скором и неизбежном аресте Тюрнева, что в тот момент, когда на неофита надели черную рясу и черный широкий пояс, а епископ благословлял его, народ в церкви разразился рыданиями. Предчувствие беды не обмануло енисейцев. Очень скоро после того, как новый батюшка поселился в селе Ворогове, его арестовали и долго держали в тюрьме. Арестовывали его и потом, в течение всей жизни.

Говорят, о присылке священника Луку просили вороговские верующие. Их церковь после ареста предыдущего батюшки стояла пустой. Но мне кажется, что таинство рукоположения нужно было Войно-Ясенецкому само по себе. Таинство это еще раз продемонстрировало его, епископа Луки, твердость духа и непримиримость, его веру в свои неотъемлемые епископские права, права преосвященного в крае, где из каждых десяти деятелей русской православной церкви девять томились в тюрьме или ссылке.

... Передо мной старый снимок: на фоне жалких провинциальных фотодекораций семь человек — священники и светские люди. На переднем плане, возвышаясь на полголовы над своими соседями, сидит епископ Лука, в рясе, в черном клобуке, с панагией на цепи. Снимок сделан в начале 1924 года. Летом 1970-го его подарила мне енисейская жительница Варвара Александровна Зырянова. Передавая мне портрет, она призналась, что долго хранила и другие снимки Луки, а также портреты патриарха Тихона, но страх перед обыском и арестом заставил ее сжечь все фотографии. Только это изображение ссыльных священников и нескольких наиболее преданных церкви прихожан-енисейцев ей было жаль уничтожать, и она спрятала их под пол.

На фотографии епископ худ, сосредоточен, серьезен. Даже перед объективом руки его продолжают перебирать крупные четки. В позе, во взгляде — отрешенность от мирских дел. Но мы знаем — дела эти существовали. В Ташкенте осталось четверо маленьких детей Войно-Ясенецкого, на Украине, в Черкассах, доживали век его родители, далеко на западе — в Москве, в Петрограде, в Киеве — коллеги-врачи развивали любимую его науку — хирургию. Думал ли он обо всем этом? Монашество требует, чтобы как можно меньше нитей связывало чернеца с внешней светской жизнью. Но человеческое, светское врывалось в жизнь Луки со всех сторон. Епископ-монах обращается с поздравлением к академику И. П. Павлову, интересуется двухсотлетним юбилеем Российской Академии наук, посылает письма детям, родным, и не только родным. Не таится ли за этим некая излишняя светскость, измена схиме? Читаю письма епископа Луки начала 20-х годов и еще раз убеждаюсь: нет, в общении с внешним миром он все тот же, что и в общении с людьми веры. Какие бы внецерковные дела ни отвлекали Войно-Ясенецкого, суть его контактов с людьми сводится к проповеди, к размышлению о благодетельности веры, к призыву любить и трудиться, потому что нет другого пути приближения к Божеству.

Письма Луки из сибирской ссылки принадлежат перу глубоко верующего человека, для которого нет иного взгляда на мир, кроме взгляда религиозного. Однако в этих строках, написанных полвека назад, интересно и другое: в них не удается обнаружить ни грана горечи или обиды, столь естественных для несправедливо обиженного, незаконно осужденного! Зато явственна в них уверенность человека, который слишком хорошо знает себе цену, чтобы раздражаться по поводу мелких пакостей провинциальной милиции. Если Войно-Ясенецкому и приходится иногда писать о перенесенных в ссылке тяготах, то лишь для того, чтобы объяснить, отчего он не имел возможности вовремя снестись со своим адресатом. В этом смысле интересна переписка Луки с академиком Иваном Петровичем Павловым. Поздравительное письмо знаменитому физиологу Лука отправил из Туруханска год спустя после описываемых событий. Вот оно полностью:

«Возлюбленный во Христе брат мой и глубокоуважаемый коллега Иван Петрович! Изгнанный за Христа на край света (три месяца прожил я на 400 верст севернее Туруханска), почти совсем оторванный от мира, я только что узнал о прошедшем чествовании Вас по поводу 75-летия Вашей славной жизни и о предстоящем торжестве 200-летия Академии наук. Прошу Вас принять и мое запоздалое приветствие. Славлю Бога, давшего Вам столь великую силу ума и благословившего труды Ваши. Низко кланяюсь Вам за великий труд Ваш. И, кроме глубокого уважения моего, примите любовь мою и благословение мое за благочестие Ваше, о котором до меня дошел слух от знающих Вас.

Сожалею, что не может поспеть к академическому торжеству приветствие мое.

Благодать и милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с Вами.

Смиренный Лука, епископ Ташкентский и Туркестанский (б. профессор топографической анатомии и оперативной хирургии Ясенецкий-Войно).

Туруханск. 28.8.1925». [17]

От непослушного епископа надо было избавиться раз и навсегда. Оставить его в Енисейске? Ни в коем случае! В Туруханск его, в Курейку, на Диксон! Для начала решили — в Туруханск. Ждали только транспорта. В конце июня 1924 года из Красноярска пришел караван. Маломощный пароходик тащил на буксире несколько старых барж. Баржи были набиты ссыльными, в основном эсерами. Меньше чем через семь лет после революции правительство большевиков ссылало в Туруханский край своих недавних политических сообщников. В трюм одной из этих грязных посудин втиснули и Луку. Ехал он один: монахиням сопровождать его запретили.

«Путь по широкому Енисею, текущему в безграничной тайге, был скучен и однообразен»,— писал впоследствии Войно-Ясенецкий. Действительно, после Енисейска, если плыть вниз, на Север, берега реки становятся низкими, болотистыми, унылыми. Пристаней мало. Для пассажиров одно развлечение — кормить чаек, которые целыми днями кружат над судном в ожидании подачки. За полвека, прошедших со времени ссылки Луки, тут мало что изменилось. Может быть, только больше стало брошенных деревень. Уходит отсюда народ. Уезжают не только ссыльные, но и коренные, местные. Безлюдеет Енисей. Костяки разрушающихся изб то и дело возникают на прибрежной опушке. Если ушли не все, число черных смоленых лодок у берега показывает, сколько еще осталось семей. Лодок совсем мало. А было время: кипели здешние берега жизнью особого рода. В 30-е — 50-е годы нашего века, почти как при Аустерлице, перебывала тут «вся Европа»: везли тогда вниз по реке пленных офицеров, генералов и чиновников Польши, Румынии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы. Потом пошли немцы, венгры, чехи. Говорят, даже американцев здесь видели. А уже русских, украинцев, кавказцев — этих проволочено тут и похоронено по берегам Енисея бессчетно. В 20-х годах все только начиналось. Коренные местные жители, однако, уже и тогда заметили: ссыльный пошел не тот. Вместо убежденных врагов власти, людей, как правило, интеллигентных, серьезных, которые в ссылку попадали по приговору царского суда, в советское время на Енисей нагнали каких-то серых, случайных людишек, которых местные с издевкой именовали не иначе как «политические ссыльные за кражу хомутов». Жила эта публика в Туруханске, Енисейске и иных местах разобщенно, недружно, часто впроголодь. Коренные енисейцы относились к незваным гостям холодно, если не сказать враждебно.

Караван тянулся по реке медленно, полторы тысячи верст вниз по течению шли без малого две недели. Баржи качало, по ночам в надстройках свистел ветер, визжало какое-то ржавое железо. Солнца ссыльные почти не видели: лето выдалось сырое, холодное, с дождями. Унылая погода, безрадостная водная пустыня широко разлившегося в низовьях Енисея наводили на мрачные думы. Люди ехали

на Север с тяжелым сердцем, впереди предстояли годы лишений. Многих точила мысль: удастся ли вообще выбраться отсюда подобру-поздорову? Только Лука сохранял философское спокойствие. Ночью спал на своем жидком тюфячке, подкладывая под голову присланную дочерью подушечку-думку, днем читал Ветхий и Новый Завет, серьезно и сочувственно беседовал с эсерами, из которых кое-кто уже начал понимать тщету своих политических иллюзий. Что делало Луку столь уверенным среди всеобщей неуверенности? Конечно, в крае, где в то время не было ни одного дипломированного врача, для профессора-хирурга нашлись бы работа, кров и пища. Но такой голый расчет вряд ли приходил в голову Войно-Ясенецкому. Зная его характер, естественно предположить, что, едучи в ссылку, Лука просто не думал о том, где он станет жить и что он будет есть. Больше, чем хлеб насущный, интересовало его, например, — каких взглядов — не живоцерковных ли? — держится туруханский священник и сможет ли в связи с этим он, епископ Лука, посещать туруханский храм и произносить там свои проповеди. По-детски безразличное отношение к быту, к тому, что большинство людей считает для себя насущно необходимым, пронес епископ Лука через всю жизнь. В разговорах охотно вспоминал он о Божьей птичке, которая не жнет, не сеет, и сам жил, не слишком отличаясь от той птички. В первой ссылке на Енисей принципы эти особенно ему пригодились.

Край, куда ехал епископ Лука, представлял собой в 20-х годах гигантскую территорию, протянувшуюся вдоль Енисея на несколько тысяч километров. На севере эта географическая громада завершалась берегом Ледовитого океана, на юге весьма нечеткие ее пределы терялись где-то в приангарской тайге. «Столица» края — город Туруханск, а точнее Ново-Туруханск (в прошлом село Монастырское), насчитывала две-три сотни одноэтажных деревянных домишек, рассыпанных по высокому косогору при впадении в Енисей реки Нижняя Тунгуска. Школа и тюрьма, исполком и магазин, почтовое отделение, больница и фактория Сибпушнины — вот и все присутственные места города. Был тут еще в прошлом Троицкий туруханский монастырь, основанный двести пятьдесят лет назад, но в советское время его упразднили, а монахов выгнали. Остались лишь Троицкая церковь с зимней и летней половиной. «Канализации и водопровода в городе нет», — сообщает 66-й том энциклопедии словаря Брокгауза и Эфрона. Но рыбаки и охотники, основные жители Туруханска, обходились также без тротуаров, электричества, хлебопекарни, аптеки. В столице края, протянувшегося на несколько тысяч километров, не было также портняжной и обувной мастерских, библиотеки. Газеты приходили с опозданием на месяц, а кинофильмы не приходили вовсе. Енисей и его притоки — единственные дороги, по которым шло снабжение края — восемь месяцев лежат подо льдом. А зимой единственным реальным видом транспорта оставались запряженные собаками нарты. Зимой случались тут морозы до сорока и более градусов. По ночам под самыми окнами у туруханцев бегали волки. Так выглядело место, где отныне предстояло пребывать ссыльному профессору-епископу. Бывалых людей, эсеров, от одного вида Туруханска оторопь взяла, а Лука... Вот что сам он писал о Туруханске:

«В Туруханске, когда я выходил из баржи, толпа народа вся опустилась на колени, прося благословения. Меня сразу же поместили в квартире врача больницы и предложили вести врачебную работу. Незадолго до этого врач больницы распознал у себя рак нижней губы и уехал в Красноярск... В больнице оставался фельдшер, и вместе со мной приехала из Красноярска молодая девушка, только что окончившая фельдшерскую школу и очень волновавшаяся от перспективы работать с профессором. С этими двумя помощниками я делал такие большие операции, как резекции верхней челюсти, большие чревосечения, гинекологические операции и немало глазных».

Вот и все. И ни слова о морозах, нищете, о неустроенности быта.

...Туруханск, каким он представился мне летом 1970 года, внешне во всяком случае, не слишком отличался от того города, который увидал на полвека раньше профессор Войно-Ясенецкий. Теперь тут, правда, есть электрическое освещение, а в учреждениях, число которых учетверилось, имеются даже телефоны; построен дом культуры, а рядом с поселком возник аэродром с постоянной авиалинией. Но по грязным немощеным улицам, которые перейти можно, лишь перескакивая с мостика на мостик, кляча по-прежнему волочила железную бочку на колесах: тот, кто хочет приобрести бочку воды, платит водовозу рубль. Так же, как и в далеком прошлом, благоухают во дворах уборные-скворечни, а бесчисленные, неправдоподобно громадные кучи мусора и отбросов на городских перекрестках превращают Туруханск в город-помойку, город-свалку.

Общий вид районной столицы, если обозревать ее с вершины Туруханского холма, тоже не радует. Правда, тюрьма, райком, милиция и школа выглядят неплохо, но большинство частных домов уже десятилетиями не знают ремонта: крыши просели, бревенчатые стены вросли в землю. Снаружи туруханцы свои дома не красят, и нагромождение грязных, серых, покосившихся изб с подслеповатыми окошечками без наличников оставляет у приезжего чувство глубокого уныния. С того же холма открывается великолепный вид на тайгу, на просторы Енисея, на впадающую в него среди густой еловой хвои и желтых плесов полноводную Нижнюю Тунгуску. Но едва оглянешься — и в глаза бросается нахально сверкающая новым цинком крыша кооперативного склада: туруханцы соорудили его в здании XVII века Троицкой церкви, сковырнув предварительно колокола и разрушив звонницу.

Ни в райисполкоме, ни в райкоме партии о профессоре-епископе никто ничего не слыхал. Там у людей своих проблем выше головы: лесоповал, рыбосдача, нацкадры. Ничего не знали о Луке и в районной больнице (с полдюжины бараков, разбросанных по несуразно большому, без единого дерева двору). Главный врач послал за старухой санитаркой, местной уроженкой. Я ожидал ее прихода с внутренней дрожью: неужели совсем забыт, неужели его тут никто не помнит? Но вот пришла пожилая женщина в белом платочке, взяла в свои корявые с опухшими суставами руки (40 лет возни с половыми тряпками зря не проходят) фотографию, отнесла ее подальше от глаз и тихонько охнула: «Это что ж, профессор Лука! Ах ты же мой миленький... Отец священный... Как же его не знать? Да его у нас **весь народ** знает». Она стала моим гидом, моим проводником, Вергилием моим, эта старая больничная санитарка. Мы обошли с ней полгорода, навестили самые невзрачные, самые разваленные домишки Туруханска, и я смог убедиться: народ действительно знает и помнит профессора Войно-Ясенецкого.

...Девяностолетняя Пелагея Потаповна тяжело больна. Уже несколько лет не покидает она стен своего дома. В избе, кроме стола, заваленного грязной посудой, деревянных лавок и постели, ничего нет. Впрочем, было бы преувеличением назвать постелью ту кучу тряпья, на которой проводит большую часть жизни слепая старая женщина. Страдания изглодали не только тело, но и душу Пелагеи. Кажется, она боится, что я предъявлю ей какой-то счет за события полувековой давности. Поэтому разговаривает нехотя, отвечает резко. Да, жил у нее профессор Лука, ну и что из того? Он и жил-то в избе всего неделю. Вещей у него не было никаких. Одежда только та, что на нем, да тюфяк, да маленькая подушечка. Видела она у него еще две книги толстые. И больше ничего. Ел мало: «Сварю ему рисовой каши или еще чего-нибудь — и сыт». «Осталось ли в хате что-нибудь из вещей, которыми пользовался Лука?» «Вот только иконы. Перед ними и молился». Иконостас невелик, убог, пылен. Лампада пуста. Мне очень хочется в память о Войно иметь хотя бы самую скромную из этих икон. Хозяйка машет иссохшей рукой: «Берите хоть все, я в могилу не унесу». Со стесненным сердцем, почему-то страшно стыдясь, заворачиваю в газету образ Спаса в медном дешевом окладе.

Потаповых в Туруханске — полгорода. Все коренные, здешние. Рыбачат и охотятся тут, может быть, с самого того 1660 года, когда основан монастырь. Александра Демидовича и Александру Михайловну Потаповых застаю в чистой горенке с множеством половиков и половичков. Они и сами такие же, как и горенка, аккуратисты. Садимся за выскобленный до медового цвета стол. Разговор идет дружелюбный, сердечный. Хозяин готовится в нерадостный отъезд: в последние месяцы мучает его желудок — опухоль какая-то. Улетает он самолетом в Норильск, на операцию. При слове «операция» сидящая в сторонке Александра Михайловна отворачивается и мелко-мелко, чтобы не заметил муж, крестится.

Будущее семьи Потаповых туманно, поэтому с особенной охотой обращаются старики к временам прошедшим, которые теперь кажутся им светлыми, полными радости. Зимой 1924/25 года Потапову несколько раз приходилось возить Луку на своей лошади в церковь. Мужики решили возить епископа по очереди. От больницы до церкви и полверсты не будет, сани больше для почета. В одной из таких поездок Александр признался профессору в своей беде: задумал он жениться, но расстраивает его черное, поросшее волосками пятно на нижней губе. Оно у него с рождения и все время растет. Лука сказал, что пятно можно удалить, пригласил в больницу. Операцию сделал очень ловко: пятно срезал, а на его место приладил лоскуток кожи, взятый из-под подбородка. Рубчик получился совсем незаметный. Пятого мая 1924 года состоялась свадьба, одна из тех сибирских свадеб, когда невеста до самой церкви в глаза не видит своего суженого. («Сосватали нас, я плакала,— вставляет слово Александра Михайловна,— не хочу замуж, а батюшка мой, нет, говорит, не по-твоему будет, а по-моему».) За свадебным столом — вот за этим самым — жених оказался после операции с подвязанной щекой. А под иконами как наиболее уважаемый гость сидел профессор Лука. Речей он не произносил, пил и ел умеренно. Раскрасневшись от давних волнующих воспоминаний, Александра Михайловна пытается изобразить свадьбу в лицах. «Вот в точности так, как на портрете, сидел у нас. На груди крест. Гордо так сидел, умно, симпатично... «И муж, расчувствовавшись, поддакивает жене: «Очень душевный был... Сколько операций сделал, сколько людей спас!»

Об этих операциях и исцелениях слышал я потом в каждой следующей избе. Бывший начальник туруханской пристани Михаил Николаевич Черненко, человек грамотный, деловитый, не расстающийся, несмотря на отставку, с синим форменным френчем, напирал особенно на те операции, которые Лука делал болевшим трахомой тунгусам. Тунгусы ехали к нему издалека и как-то очень уважительно звали профессора на родном языке. Да и русских мужиков со старческими катарактами Лука тоже не бросал в беде. Между прочим, вернул зрение одному старику из дальнего стана, который перед тем пятнадцать лет был «темен».

Еще один дом: Потапов Иван, 65 лет, тоже возил когда-то Луку в церковь. Вспоминает разговор, который профессор вел с каким-то попутчиком. Лука беспокоился о больном, у которого он утром удалил большой отрезок кишки. Операция получилась сложная, таких сложных, по словам Луки, делать ему до сих пор не приходилось. От себя Иван Потапов добавляет, что больного того он знал, мужик этот после операции уехал к себе в деревню в полном здравии. Другой раз Иван зашел в больницу и на столе у Луки увидел стеклянную банку с «человеческим мясом». Профессор объяснил: в банке опухоль, которая разрослась и погубила бы человека, если бы врач не удалил ее вовремя.

Какие же именно операции делал Войно-Ясенецкий в Туруханске? От своего гида — больничной санитарки — узнал я, что оборудование в больнице в двадцатые годы было самое примитивное: инструменты, например, перед операцией кипятили в самоваре. В Москве, вернувшись с Енисея, получил я письмо от хирурга Фаддея Ильича Накладова: в 1925 году в качестве студента-практиканта Накладов несколько месяцев работал в Туруханске под руководством профессора Войно-Ясенецкого. На его глазах знаменитый хирург несколько раз оперировал больных с язвой желудка, а также совершал уникальные онкологические операции. Однажды убрал у крестьянина опухоль правой глазницы и гайморовой полости. Для этого пришлось удалить больному всю правую половину верхней челюсти. «Он говорил мне,— пишет Накладов,— что намерен разработать технику операций на сердце. Разговор этот был у нас в тот период, когда не только в практике, но и в литературе такие вопросы еще не возникали». И еще: «Его техникой как хирурга я искренне восхищался. Он это заметил и в одно прекрасное время сказал мне: «Хирургом нужно родиться. Хирург должен иметь три качества: глаз орла, сердце льва и руки женщины».

«Да, Лука, этот человек не от мира сего, исключительно замечательный хирург. Ни одна его операция не была неудачной»,—как бы подтверждая слова Накладова, пишет 75-летняя жительница Иркутска А. М. Крылова, бывшая в юности на приемах у Войно-Ясенецкого в туруханской больнице. Крылова перечисляет несколько редких операций, с помощью которых профессор Лука спасал своих пациентов. Среди них помнится ей излечение 7-летнего мальчика, у которого выстрелом из ружья было размозжено лицо; девочка «с ожогом последней степени всего тела» — хирург спас ее, пересадив кожу, взятую от матери. И много других.

Но основная масса больных, посещавших туруханскую больницу, нуждалась не в операциях. Люди на севере страдали от цинги, от паразитических червей. Женщины приносили больных детей и сами просили помощи от женских недугов. Земский врач Войно-Ясенецкий, не чинясь, лечил и женские, и детские, и внутренние, и глазные болезни. И, как в давние времена, на прием к нему набивались толпы народа. Туруханцы готовы были ожидать часами, только бы попасть к *самому*.

У многих остался в памяти ритуал, которым сопровождалась встреча больного с профессором-епископом. «Приходишь к Луке со сложенными руками ладонями кверху. Он на твои ладони свою левую кладет, а правой тебя ограждает (благословляет.— **М. П.**). Потом протягивает тебе свою руку для целования. Кто таким манером к нему обращался, того принимал он без очереди».

Особый церемониал существовал для операционной, где по старой, ташкентской еще, традиции на тумбочке стояла икона, а возле нее — зажженная лампада. После подготовки операционного поля Войно-Ясенецкий, по словам Ф. И. Накладова, ставил на теле больного йодом крест. У молодых фельдшеров и сестер такие приготовления вызывали, естественно, улыбки, особенно в тех случаях, когда на операционном столе лежала гинекологическая больная, но сам профессор сохранял невозмутимость.

Супруги Чистяковы, Дмитрий Николаевич и Мария Андреевна, летом 1925 года принесли в больницу годовалого своего Илью. Мальчик чуть не с первого дня жизни бился в падучей. Профессор сказал, что припадки будут продолжаться и далее. Они либо сами собой пройдут к трем годам, или к восьми годам мальчик умрет. Посоветовал: «Не отливайте его, пусть сам падает, сам лежит себе». Горько было отцу и матери смотреть, как бьется их дитя об землю, как катается по полу с пеной на губах, но они точно следовали совету профессора: давали Илюше самому успокоиться и уснуть после припадка. К трем годам, как и говорил Лука, болезнь прошла без следа, Илья вырос здоровым парнем, взят был в армию и уехал на фронт. Там и пропал без вести в 1943-м.

У самого Енисейского обрыва навещаем еще одну полуразвалившуюся хату. Полы вздыбились, стены накренились, как на корабле в качку, и, как на корабле, с треском, сами собой захлопываются щелявые двери. Здесь живет герой первой мировой и участник гражданской войны Вукол Петрович Вавилов, 1890 года рождения. Вукол, маленький, босой, в цветной рубахе под жилетом, с двухнедельной седой щетиной на туповатом личике, подводит нас к покосившейся стене. На гвозде болтается солдатский Георгий. Рядом какие-то выгоревшие фотографии в рамочках. Вукол гордо тычет пальцем в рамку. Не без труда удается рассмотреть на выгоревшей фотографии его самого. Одеревеневший перед аппаратом, он стоит с неестественно выпяченной грудью. На груди — все тот же Георгий. После всех войн поселился Вавилов в деревне Мироедиха, верстах в тридцати от Туруханска, и оттуда частенько наезжал в здешнюю столицу. «Зачем ездил?» «Как зачем? Все-таки тут церква и магазин». Но значительно милее воинственному Вуколу другое воспоминание: «Если идет Лука по улице в своей рясе, идет навстречу партейный, Лука нипочем не уступит ему дорогу. Идет, пока партейный не отскочит. Не уступал партейному никогда». На улицах Туруханска, с их топкой осенней и весенней грязью, такое зрелище представить себе нетрудно. Но случалось ли такое в действительности — Бог весть.

Мои собеседники доброжелательны. Они всячески стараются помочь розыскам, напрягают память, куда-то бегают, чтобы выяснить подробности. В отличие от работников райкома и райисполкома их нисколько не удивляет, что о профессоре-епископе пишут книгу. А почему бы и нет? Книги пишут о хороших людях. О плохих не стали бы. Лука, несомненно, хороший: бессребреник, даром что

профессор,— к самому бедному рыбаку не брезговал зайти в хату, посидеть на именинах, на свадьбе, на поминках. Проповеди его церковные тоже многим памятны. Говорил просто, но слова были весомые. Пустого не говаривал. Проповедовал дружбу между людьми, уважение друг к другу, предостерегал от спиртного, объяснял, как сберечь свое здоровье. В ту пору от туруханцев часто можно было услышать по любому поводу: «Лука так сказал». И конец. Лука — высший авторитет. Слушать его любили. Правда, не все и не всегда было понятно в его проповедях. Призывает, к примеру, Лука молиться от всего сердца, отдавать себя молитве полностью и рассказывает при этом, что одна женщина молилась, стоя на коленях, так усердно, что однажды отделилась от пола и на какое-то время повисла в воздухе. «Я в это верю и вас призываю верить»,— говорил епископ Лука. А в другой раз еще того удивительнее выразился: «Я верю в Бога, но тружусь вопреки ему: он людей наказывает болезнями, а я исцеляю». Может быть, и не совсем ту самую мысль высказал в проповеди епископ Лука, но именно эти слова сохранились в народной памяти.

О своей церковной жизни на новом месте Войно-Ясенецкий записал: «В Туруханске был закрытый мужской монастырь, в котором, однако, стариком священником совершались все богослужения. Он подчинялся красноярскому живоцерковному архиерею; мне надо было обратить его и всю туруханскую паству на путь верности древнему православию. Я легко достиг этого проповедью о грехе великом Церковного раскола: священник принес покаяние перед народом, и я мог бывать на церковных службах и почти всегда проповедовал в них».

Эти строки заставили меня предпринять поиски старика священника. Отец Мартин Римша оказался личностью примечательной. Учитель по профессии, искренно верующий человек, интеллигент. Римша приехал сюда незадолго до первой мировой войны. До этого почти сорок лет учил он детей в деревнях родной Белоруссии. Изменить учительству заставила его болезнь сердца. Римша окончил в Москве восторговские пастырские курсы для Сибири и с большой семьей прочно обосновался на Енисее. Сердцем этот неофит был мягок, но в делах веры тверд и неуступчив. Туруханские крестьяне священника уважали. Нередко захаживали к нему побеседовать сосланные в Туруханск большевики. Яков Свердлов, живший от Римши через дом, был тут своим человеком, хотя религиозные и политические дискуссии то и дело накаляли отношения добрых соседей. Приезд в Туруханск епископа Луки порадовал отца Мартина: в непокорном архиерее почудилась ему родственная душа. Отречение от «живоцерковников» не потребовало от него надрыва. Он все понял, едва услыхал от Войно-Ясенецкого, на какой политической закваске замешана «живая церковь». И тем не менее встреча с Лукой принесла Римше серьезное горе: на многие годы пришлось ему прервать отношения с любимой дочерью.

Дочь Веру мечтал Мартин видеть дьякониссой. Для этого отдал девочку сначала в епархиальное училище, потом в Енисейский монастырь. У Веры оказались хорошие способности, ей легко давались и Священная история, и катехизис, и учение о католицизме, лютеранстве, кальвинизме. А уж Библию-то проштудировала она всю от корки до корки, и не один раз. Но, как это часто бывало в начале революции, надоевшая монастырская зубрежка вызвала у дочери отвращение к религии вообще. Вера стала активисткой, уехала от родителей в Красноярск, вышла замуж, превратилась в ярую комсомолку-безбожницу. Начался семейный разлад. Отца Вера любила: был он с многочисленными своими детьми справедлив, даже нежен, но политические страсти год от года все более разводили отца и дочь. Окончательный разрыв произошел после приезда Луки.

Через много лет учительница-пенсионерка Вера Мартиновна Савинская (Римша), живущая на Ангаре в поселке Таежный, в нескольких больших письмах ко мне рассказала историю своей жизни. Нет, лично она не встречалась с епископом Лукой, не пожелала встретиться, хотя в Красноярске в 1926 году, возвращаясь из ссылки, он прислал ей приглашение зайти к нему. Что делать, не поняла тогда девчонка, что за человек прошел рядом с ней. В старости кляла себя за это. Но, хоть и не повидались они, Вера Мартиновна не забывала профессора-

епископа, сыгравшего в чем-то роковую, а в чем-то и благодетельную роль в судьбе ее семьи.

Весной 1924 года умерла мать Веры. «Летом я поехала на могилу к ней в Туруханск. Проведать надо было отца и четырех подростков-братьев. Привезла я с собой несколько номеров журнала «Безбожник», в котором печаталась тогда «Библия для неверующих» Емельяна Ярославского, привезла для сличения с настоящей Библией, имеющейся у отца. Он посмотрел и изрек: «Это какая-то сатанинская философия!» — и отложил журналы в сторону. В Туруханске жил в те годы еще один священник, А. Корсак, окончивший в свое время духовную семинарию. Когда я ему посоветовала почитать эти журналы, он охотно взял их домой. Потом пытался вызвать моего отца на беседу по поводу прочитанного, старался доказать ему, что Ем. Ярославский во многом все-таки прав... На это отец мой с горькой усмешкой произнес: «И это говорит человек, носящий сан иерея? Пойти на поводу у этого социалистического младенца (кивнул в мою сторону)? Мне стыдно за вас!» А осенью в газете «Красноярский рабочий» прочитала я про отречение священника Корсака перед народом от церкви. Я была очень тогда рада, что мои пропагандистские усилия дали свои плоды, пусть их никто не знает и не учитывает.

Но вот появился в Туруханске Лука. Одним из первых его вопросов к моему отцу был вопрос: «Кому подчиняешься, батюшка, обновленцам или тихоновцам?» «Те и другие мне пишут, и отвечать приходится тем и другим»,— был ответ отца. «Правильная вера у Патриарха Тихона, а обновленцы — подлипалы советской власти»,— определил епископ».

Учительнице-атеистке Савинской было неприятно, что отец ее оказался под влиянием ссыльного тихоновца. Но еще более обидно стало ей, когда Лука, по ее словам, «сам того не зная, свел на нет всю мою антирелигиозную пропаганду».

«До его приезда,— пишет Савинская,— совсем мало людей посещало церковь, а с его приездом приток прихожан в церковь значительно усилился. Туруханцы мне говорили, что в двунадесятые праздники верующие выстилали дорогу ему от больницы до церкви красным сукном, коврами и половиками... А мне отец перестал даже отвечать на письма...» [18].

Зачем я так много пишу о случайных людях? Зачем копаюсь в судьбах никому неведомых и никому вроде бы не интересных туруханских обывателей? Ведь о прославленном профессоре-епископе можно писать, и не упоминая имен свидетелей. К чему они тут: давно умерший священник, отставной начальник пристани, слепая старуха?..

Когда археологи раскопали Помпею, то в завалах вулканического пепла и грязи уже не нашли они тел несчастных горожан. Не сохранились и деревянные, тонкой резьбы колонны домов, мебель, деревянные поделки. Но там, где две тысячи лет назад рушились постройки и падали убитые, задохнувшиеся в дыму горожане, в недрах почвы остались пустоты. Форма пережила сущность людей и вещей. Кто-то предложил нагнетать в подземные пустоты жидкий гипс. Гипс пробирался в черные норы, застывал там. В результате на свет появились отливки — точные и страшные свидетели заживо похороненного города. Кто подлинный хранитель исторической правды о жертвах Помпеи? Ученый, предложивший пользоваться гипсом, дал только прием, метод. Он только выявил истину, а хранила ее двадцать веков земля, та самая «памятью насыщенная земля», которую воспел Максимилиан Волошин. Мне хочется, чтобы аналогия с помпейскими гипсами в какой-то степени объяснила читателю то чувство глубокой благодарности, которое вызывают у меня современники и свидетели жизни Войно-Ясенецкого, каждый, пусть самый скромный хранитель истины.

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Анахронизм — с 1943 г. Патриархом был Сергий. Алексий сменил его только в 1945 г. Ошибочно названы и «Епархиальные ведомости». С 1943 г. выходит «Журнал Московской Патриархии».

[2] Эта перестановка в фамилии впервые встретилась мне в подписи к фотографии в «Ниве», но затем она закрепилась и долгие годы фигурировала в документах В. Ф.

[3] В «Мемуарах» Валентин Феликсович отметил этот эпизод всего одной фразой: «С нами ехала девушка-прислуга, недавно родившая ребенка».
[4] Премию Хойнацкого В. Ф. не получил, так как не смог предоставить в Варшавский университет необходимого количества экземпляров книги: она была быстро раскуплена врачами.
[5] По положению главный врач городской больницы являлся как бы главным хирургом города.
[6] Это произошло в начале 1920 г. (Мемуары).
[7] Якоб Христофорович Петерс (1886—1942). Чекист, «правая рука Дзержинского». («Герои Октября», 1967, т. 2, стр. 234). С 1920 член ЦК Туркестанского бюро РКП(б), нач. ЧК республики. Потом в Москве член Коллегии ОГПУ. Арестован в 1936 г. Дата смерти — 1942 г.— условна.
[8] В действительности два десятка раненых и обожженных бойцов стали жертвой взрыва пороховых погребов в тыловом городе Бухаре. Причину взрыва установить не удалось.
[9] Ян Эрнестович Рудзутак (1887—1938). Видный деятель большевистской партии. Расстрелян 29 июля 1938 г.
[10] Речь идет о расстриге протоиерее Ломакине, который активно нападал на Войно-Ясенецкого не только устно, но и в печати.
[11] С. С. Велицкая умерла в Одессе в 1962 г. в доме выращенного ею Валентина Валентиновича Войно-Ясенецкого.
[12] Письмо членам Политбюро имеет гриф: «Строго секретно» и пометку Ленина: «Товарищу Молотову для членов Политбюро. Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро (товарищу Калинину тоже) делать свои заметки на самом документе». Письму дал отвод Томский. Политбюро указало т. Ленину на неприемлемость методов, рекомендованных Макиавелли (именно его и имел в виду Ленин, когда говорил об одном «умном писателе по государственным вопросам») на пятом году Советской власти. Изъятие церковных ценностей было тем не менее произведено впоследствии Дзержинским и Уншлихтом без всякого обсуждения в верхах. Письмо имеется в «самиздате».
[13] Беседа Анатолия Эммануиловича Левитина (Краснова) с А. И. Введенским происходила в 1943 г. Беседа эта приведена в монографии «Очерки по истории русской церковной смуты», т. 1, авторы: Анатолий Левитин и Вадим Шавров. Рукопись. М., 1963.
[14] На Патриарший престол Тихон был избран в октябре 1917 года на Церковном Соборе в Москве.
[15] О том, что он мог бы стать коммунистом, если бы власти не преследовали Церковь, Валентин Феликсович говорил не раз. Свои симпатии он подтвердил во время войны 1941—1945 гг., в пору примирения Сталина с Православной Церковью. Публицистические статьи архиепископа Луки в те годы и по духу, и по лексике мало чем отличались от передовиц газеты «Правда». Волевой архиерей в общем-то симпатизировал «твердому порядку». И само выражение «большевизм», надо полагать, звучало для него так же, как оно звучало в устах знаменитого борца с малярией профессора Рональда Росса; тот свой метод полного уничтожения комара-переносчика назвал «большевизмом в санитарии».
[16] Обе старые комсомолки Е. Я. Ким (1907 г. р.) и М. П. Овчинкина (1904 г. р.) живут ныне в Москве. Личное сообщение 22.8 и 25.8.1972. Е. Я. Ким считает Октябрьскую революцию вполне закономерной, закономерны также коллективизация, индустриализация и победа в Великой Отечественной войне. 1937 год и массовые аресты Е. Я. Ким считает исторической случайностью.
[17] Ленинградское отделение архива АН СССР, фонд 259, оп. 2, № 1190. Письмо написано на вырванном тетрадном листке, сверху чернилами поставлен крест. 75 лет И. П. Павлову исполнилось 14/26 сентября 1924 г. В ответ на поздравление Войно-Ясенецкого И. П. Павлов написал в Туруханск:
«Ваше Преосвященство и дорогой товарищ!
Глубоко тронут Вашим теплым приветом и приношу за него сердечную благодарность. В тяжелое время, полное неотступной скорби для думающих и чувствующих, чувствующих — по-человечески, остается одна жизненная опора — исполнение по мере сил принятого на себя долга. Всей душой сочувствую Вам в Вашем мученичестве.
Искренне преданный вам Иван Павлов».
По свидетельству физиолога профессора Бабкина, в 1917 г. в одной из вступительных лекций к курсу физиологии для студентов Военно-медицинской академии великий экспериментатор сказал: «Если то, что делают большевики с Россией,— эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы предоставить даже лягушку». Как видно из приведенного выше письма, и восемь лет спустя, в 1925 г., общественные взгляды И. П. Павлова не слишком изменились. (Проф. Б. П. Бабкин «И. П. Павлов. Биография». Чикаго, 1951. Глава «Павлов и большевики» — англ.)
[18] Дальнейшая судьба священника М. Ф. Римши сложилась трагически. Его арестовали за неподчинение властям, неподчинение выразилось в том, что священник отказался присутствовать при вскрытии мощей Василия Мангазейского в раке бывшего Туруханского монастыря. Такие вскрытия-надругательства были любимым развлечением безбожников 20-х. Претерпев 12 лет ссылки и лагерей, о. Мартин в 1936 г. написал дочери, что хотел бы приехать в Красноярск. Она к этому времени считала отца давно погибшим. «При встрече,— вспоминает Вера Мартиновна,— отец показал мне целую пачку почтовых квитанций. Лука, оказывается, все это время делал ему ежемесячные переводы по 30, а чаще по 50 рублей». Умер М. Ф. Римша в 1941 г. в доме своей дочери.

Илья ФОНЯКОВ

Семь сонетов

Монолог современника

Ну, нет, я не измерюсь этой мерой,
Не умещусь в убогий трафарет!
Я прост, но я и сложен, мой портрет
Не подменить раскрашенной фанерой.

Я ускользну из паутины серой,
Из всех мелкоячеистых тенет
Невидимых и видимых анкет,
Как свято в их могущество ни веруй.

А нынче и в компании подчас:
«Ты кто? Ты с нами или против нас?» —
Загомонят, обступят всей оравой.

Смешны попытки эти, видит бог!
Вынь да положь: ты левый или правый?
Ну нет, я человек, а не сапог!

* * *

Фронт «Память» митингует в Ленинграде.
Военный марш гремит на весь район.
Змеиная головка — микрофон —
Поблескивает в сквере на эстраде.

Кричит в толпу какой-то рыхлый дядя
О том, что заговор со всех сторон:
Там — иудей, там — чуть ли не масон,
Везде — о н и... Спасите, бога ради!

«Конечно, беды наши неспроста,
Поскольку Русь забыла про Христа!»
И кажется в особенности странным,

Что это говорят почти всерьез
Те, у которых был бы сам Христос
На подозренье — по анкетным данным.

Упрямец

Отстаиваю суверенитет!
Пусть ограничить право на сужденье
Не сможет никакое учрежденье:
Ни пленум, ни совет, ни комитет.

Но, может быть, страшней авторитет
Расхожего людского убежденья.
Он паче всех не знает снисхожденья:
Встал поперек — считай, тебя уж нет.

А все ж — стою! Тут вовсе не бравада.
Мне кажется, зачем-то это надо
Не только мне. Прошу меня простить —

Старинные амбиции воскресли:
Самим собой остаться — даже если
Придется одиночеством платить.

Полтавщина

«Притормози, — жена сказала, — глянь-ка,
Что сообщает нам дорожный знак.
Свернем сюда, ведь это как-никак
Прославленная Гоголем Диканька!»

Котельная с трубой железной. Банька.
Стройбаза, автобаза и раймаг.
Забор, где крупно писано: ДУРАК.
Не злись: не ты дурак, а некий Санька,

Потомок, может быть, Черевика,
Чей след не обнаружился пока.
Здесь ничего как будто от былого —

Иная жизнь. И только имя-слово
Парит незримо в воздухе над ней.
Оно всего, как водится, прочней.

Любовь, или Музыка без слов

Случилось мне прочесть в журнальной книжке
О том, как сорок с лишним лет назад
Из-под Рязани раненый солдат
Женился на колхознице-латышке.

Пошли, как полагается, детишки,
Во всю скамью за стол садились в ряд,
И было им на пользу все подряд:
И черный хлеб, и пироги да пышки.

Но вот урок, друзья, для всех времен:
Она по-русски, по-латышски он
Так и не выучились, и супруги

Без слов решали все дела свои —
И говорят, что не было семьи
Дружнее и счастливее в округе!

Рассвет

Проглядывает солнце. Дымкой тонкой,
Чуть розовой, как птица пеликан,
Над новостройкой стелется туман —
Над голубой прорабкой, над бетонкой,

Над завезенной с вечера щебенкой.
Торчит вдали, как дядька-великан,

Высотный дом. Над ним — железный кран,
Как парикмахер со своей гребенкой.

Осталось только крышу причесать,
На радость людям привести в порядок.
Ах, так и впредь бы видеть и писать —
Рассветный час так благостен и сладок,
Пока в безлюдной этой тишине
Проблемы спят, ворочаясь во сне...

Перемены

Опрокинутый сонет

Вновь мир перевернулся! Уточним:
Стоят, как прежде, и леса, и горы,
Но перед тем, кто был вчера гоним,

Открылись безграничные просторы,
И приседают, пятясь, перед ним
Улыбчивые фоторепортеры.

А тот, напротив, кто еще вчера
Был на верхах официозной славы,
Предметом стал насмешек и забавы,
Пустой страницей, донышком ведра.

Ждешь новостей с волнением с утра:
Чем удивит родимая держава?
И лишь, как встарь, на башнях флюгера
Знай вертятся — налево и направо.

●

Виктория ТОКАРЕВА

Два рассказа

Сказать, не сказать...

Артамонова поступила в училище легко, с первого раза. На вступительном экзамене играла Чайковского, Шопена и что-то для техники, сейчас уже забыла что. Кажется, прелюд Скрябина.

Киреев поступал вместе с ней, но провалился. Получил тройку по сочинению, недобрал один балл. У него случились две орфографические ошибки и пять лишних запятых. Киреев обладал абсолютным музыкальным слухом, но пять запятых оказались важнее.

В последний день вывесили списки принятых. Киреева не было в списке, значит — откинут, отбракован, как нестандартный помидор. Он стоял чуть в стороне и смотрел перед собой куда-то вдаль. Артамонова хотела подойти к нему и сказать, что он самый способный из всех. Но постеснялась. Он мог принять сочувствие за унизительную жалость и обидеться.

Когда сдавали экзамены — держались общим табунком, болели друг за друга. А сейчас разделились на две несмешивающиеся части: везунки и неудачники. Принятые смотрели на непринятых, как живые на покойников: немножко с ужасом, немножко с любопытством и с неосознанной радостью: вы ТАМ, а мы — ТУТ.

Пятнадцать везунков во главе с энергичной Лындиной отправились праздновать победу в близлежащее кафе. Артамонова пошла вместе со всеми, сдала свои пять рублей, но душой не присоединилась. Она чувствовала свою вину перед Киреевым, как будто заняла его место. Там же, в кафе, решила позвонить Кирееву, но всезнающая Лындина сказала, что у него нет телефона. Киреев жил на территории монастыря в бывшей трапезной. Это двухэтажное строение считалось среднеисторической постройкой, находилось под охраной государства, поддерживалось в первозданном виде. Телефона туда не полагалось, поскольку среднеисторические монахи не перезванивались с внешним миром, на то они и монахи.

Просто взять и поехать в трапезную без предупреждения Артамонова не решилась, хоть и была слегка пьяна и благородные чувства стояли у горла.

Осенью группа собралась для начала занятий. Киреев оказался в группе. Было очевидно: сунули по блату. Кто-то расстарался, спустили еще одно место — специально для Киреева.

Артамонова обрадовалась, а группа ханжески нахохлилась. Музыка — БОГ. Училище — ХРАМ. И вдруг — блат. Какие контрасты! Кирееву в глаза ничего не говорили, но как-то брезгливо сторонились, будто он негр, вошедший в вагон для белых. Киреев делал вид, что не замечает. Но Артамонова видела: замечает. И страдает. И почему эта курица Лындина — крючкотворка и интеллектуалка, как все бездари, — учится по праву, а Киреев — не по праву. Или, скажем, Усманову прислала республика, она прошла вне конкурса. Республике нужен национальный кадр. А если Киреев не кадр, он что, хуже? Почему по блату республики можно, а по индивидуальному блату — нельзя?

Артамонова принципиально села рядом с Киреевым в аудитории. Занимала ему очередь в буфете. Брала сосиски и коржики. А когда начались зачеты, предоставила Кирееву свои конспекты. Киреев сказал, что не понимает ее почерка. Артамонова согласилась читать ему вслух.

Сидели у Артамоновой на кухне, грызли черные соленые сухарики. Мама Артамоновой пережила ребенком блокаду и никогда не выбрасывала хлеб. Резала его соломкой и сушила в духовке. Эти сухарики были неотвязными, как семечки.

В середине дня жарили картошку. Киреев сам вызвался чистить и делал это так, будто всю жизнь только этим и занимался. Ровный, равномерный серпантин кожуры не прерывался. Картошка из-под его рук выходила гладкой, как яйцо. Артамонова заподозрила: когда человек одарен, он одарен во всем. Картошку жарили с луком, болгарским зеленым перцем и колбасой. Сверху заливали яйцом. Киреев называл это «крестьянский завтрак». Такое сочетание продуктов и слов казалось Артамоновой талантливым, почти гениальным.

На кухонной полке стоял керамический козел: туловище из глиняных бежевых витков как бы шерсть, а рога — темно-коричневые, блестящие, будто облитые лаком.

Киреев ел крестьянский завтрак, глядя перед собой отсутствующим взором. Свет из окна падал на его лицо. Артамонова вдруг с удивлением заметила, что его темно-коричневые глаза не вбирают в себя свет, а отсвечивают, как керамика.

— Ой! — сказала Артамонова. — У тебя глаза, как у козла рога.

Киреев ничего не ответил. А что тут скажешь... Он даже не понял: хорошо это или плохо, когда глаза, как у козла рога.

Потом Киреев курил, и слушал конспекты научного коммунизма, и не понимал, чем конкуренция отличается от соцсоревнования и почему конкуренция — плохо, а соцсоревнование — хорошо. Похоже, этого не понимал и автор научного коммунизма.

Однообразный голос Артамоновой убаюкивал, и, чтобы стряхнуть с себя сонную одурь, Киреев садился играть. Его любимые композиторы были: Шостакович, Прокофьев. Чайковский для Киреева был слишком наивен. Артамонова признавала именно Чайковского, а звучания Прокофьева для нее — как железом по стеклу. Но она стеснялась возражать, самоотверженно слушала.

У Киреева были сильные пальцы. Артамонова сидела как под обстрелом. Под такую музыку хорошо сходить с ума. Но постепенно эта несообразность во что-то выстраивалась. Вырастала. Во что? Наверное, в двадцатый век.

От хорошей музыки в человеке поднимается человеческое. Жизнь задавливает человеческое, а музыка достает.

Артамонова могла так сидеть и слушать. И покрываться пылью времени. Но приходила из больницы мама. Она работала медсестрой в реанимации, каждый день вытаскивала кого-нибудь с того света. И очень уставала, потому что тот свет засасывает, как вакуум. И надо очень напрягаться, чтобы не пустить.

Киреев собирался домой. Артамонова его провожала. Он застегивал пуговицы, но мысленно был уже где-то в другом месте. Он умел вот так: уходить — не уходя.

После его ухода Артамонова ставила пластинку, бросалась на кровать и смотрела в потолок. Наивная музыка ее обнимала, кружила, обещала. Она плыла, плыла... Улыбалась, не улыбалась — летела куда-то лицом, худеньким телом, жидкими волосиками, собранными в пучок, как у балерины, большими глазами под большими очками.

Как хорош был Чайковский. Как хороши стены родного дома. Как хороша жизнь.

Артамонова влюбилась.

Сейчас уже трудно было определить точность момента, когда это произошло. Когда не поступил и стоял в стороне, отбракованный. Или осенью, когда впервые появился в группе. Либо на кухне, когда увидела его мрачные глаза... А в общем, какое это имеет значение. Важно то, что грянула любовь.

Сначала шел инкубационный период, она не знала, что влюбилась, просто появилась потребность о нем думать и вслух проговаривать свои думы.

При этом Артамонова знала, и все знали, что Киреев женат на какой-то Руфине. Он женился, когда ему было двадцать, а Руфине тридцать.

Она была немыслимой красоты, Киреев сошел с ума и отбил ее у большого человека — генерала или министра. И Руфина ушла из пятикомнатной квартиры в трапезную. Ушла на чистую любовь. Первый год они не вылезали из постели, и было все равно, где эта постель — в подвале или во дворце. Потом началась жизнь, и Руфина увидела разницу: где стоит постель и обеденный стол и что на столе.

Киреев подрабатывал на танцплощадках и на свадьбах. Со свадеб приносил Руфине вкусненького, денежки в конверте и чувство вины, которое не проходило. Роли распределились четко: Руфина — недовольна, Киреев — виноват. Может быть, именно в свою вину проваливался Киреев, когда стоял с отсутствующим лицом, глядя в никуда.

Артамонова все знала, но это знание не меняло дела. Все равно: каждый вдох — Киреев и каждый выдох — Киреев. И болит под ложечкой, потому что там, в этой точке, — душа.

Артамонова не могла ни думать, ни говорить ни о чем другом и в конце концов стала неинтересным собеседником. Невозможно общаться с человеком одной темы. Это общение похоже на заевшую на пластинке иглу.

Усманова, ставшая близкой подругой, угорала от Киреева, от того, как он молчит, как курит, как чистит картошку, какая неглаженая рубашка, из чего следует: какая Руфина шкура и какой Киреев несчастный.

Однажды подруги прошли пешком по бульварному кольцу до улицы Горького, остановились возле подземного перехода. Апрельское солнце пекло прямо в лицо. Но это не солнце — это Киреев.

Усманова добросовестно внимала подруге, потом заметила:

— Ты слишком много говоришь о себе. Чем меньше о тебе знают, тем лучше для тебя.

— Почему? — искренне удивилась Артамонова.

Есть понятие: поговорить по душам. Человек выворачивает душу, как карман, выкидывает лишнее, наводит порядок. И можно жить дальше. У них в доме, в соседнем подъезде, проживал дипломат. Он всю жизнь был набит тайнами и секретами от макушки до пяток. И на старости лет сошел с ума, заперся на даче, ни с кем не разговаривал. Боялся выболтать секрет.

Если не общаться — сойдешь с ума. Жизнь — это общение. А общение — это искренность.

Усманова, тайно верующая в Аллаха, считала иначе. Жизнь — это своего рода игра. Как в карты. Игрок держит свои карты у лица, чтобы не подглядывали. Иначе проиграешь. А Артамонова — весь свой расклад на стол.

— Видишь? — Усманова подняла со лба челку.

Артамонова ничего не увидела. Лоб Усмановой был девически чист, и вообще она походила на прехорошенькую японку с календарей.

— Ничего не вижу, — сказала Артамонова.

— Рога.

Артамонова пригляделась. Форма лба была выпуклой по бокам.

— Пока не скажу, не заметишь. А скажу — сразу видно.

Усманова сбросила челку на лоб. Артамонова внутренне согласилась. Усманова стояла прежней прехорошенькой японкой. Но рога на лбу вошли в сознание.

— Поняла? — уточнила Усманова.

— Про рога?

— Про Киреева. Если не можешь терпеть — скажи ему одному. И успокойся.

Сказать, не сказать... Артамонова размышляла весь апрель и май.

СКАЗАТЬ. А если ему это не понадобится? Он отшутится типа: «Напрасны ваши совершенства, их вовсе недостоин я». И еще добавит: «Учитесь властвовать собою, не всякий вас, как я, поймет».

Артамонова боялась унижения. Когда-то в детстве у нее недолгое время был отчим. Он не бил ее, но замахивался. Она втягивала голову в плечи, мерцала ресницами, и вот этот ужас — ожидания удара — остался на всю жизнь. Боязнь унижения переросла в «комплекс гордости».

Любовь выше комплекса. А если все же сказать? Он ответит: «Я люблю другую женщину». После этого уже нельзя будет, как раньше, занимать очередь в буфете, вместе есть серые институтские сосиски и пить мутный бежевый кофе. Вместе идти до «Библиотеки Ленина» и ехать на эскалаторе, глядя на него снизу вверх, вбирая глазами его лицо все целиком и каждую черточку в отдельности, и все линии и структуры, строящие это лицо.

НЕ НАДО ГОВОРИТЬ. Не надо раскрывать карты.

А может быть, все же СКАЗАТЬ?.. Он согласится частично. Она станет его любовницей, он будет поглядывать на часы. Мужчина, который спешит. Его чувство вины перед Руфиной станет еще глубже. Эта двойственность не прибавит ему счастья.

Все в конце концов в жизни Киреева происходило для Руфины. После училища он хотел поступить в Гнесинский институт, оттуда завоевать мир — непонятно как, но понятно, что для нее. И Артамонова с ее обожанием в конечном счете существовала для Руфины. Обожание было заметно, это возвышало Киреева в собственных глазах, давало ему веру в себя. А уверенный в себе человек может добиться несравненно большего.

Когда совершалась первая в мире социалистическая революция, никто не знал наверняка, как ее делать и что будет потом. Вождь пролетариата сказал: «Надо ввязаться, а там посмотрим».

Может быть, так и в любви. Не просчитывать заранее. Ввязаться, а там будет видно.

А что будет видно? Либо единомоментное мощное унижение. Либо краденое счастье, что тоже унижение, протянутое во времени, — постепенно, по кусочкам.

Лучше НЕ ГОВОРИТЬ. Все оставить как есть. Точка.

Артамонова загнала любовь в сундук своей души, заперла на ключ. А ключ отдала подруге Усмановой. Усманова умела хранить чужие тайны. Так и стоял сундук, загромождая душу и тело, корябая тяжелыми углами. Больше ничего в Артамонову не вмещалось. Она ходила и качалась от тяжести.

— Ты чего смурная? — заметил Киреев.

— Ничего, — ответила Артамонова. — Коленки болят. Ревматизм.

Летом они с мамой уехали на дачу. Маму позвала к себе подруга, одинокая медсестра Люся. Люсиного сына забрали в армию. Люся тосковала, дача пустовала. Сдавать чужим людям она не хотела, сердце просило близких людей.

Дача оказалась деревянной развалюхой, но уютная внутри и соответствовала разваленному состоянию души. Артамонова чувствовала, что у стен дома и у стенок ее сердца — одно направление силовых линий, одинаковое биополе.

Рядом с развалюхой, через забор, стоял белокаменный дворец. Там жил генерал в отставке. Он разводил павлинов — зачем, непонятно. Павлины ведь не куры, варить их с лапшой вроде неудобно. Как-никак жар-птицы. Эти павлины жили в загончике и время от времени вскрикивали — с такой тоской, будто хотели донести до людей свою непереносимость. Крики взрезали воздух.

Артамонова страдала, и ей казалось: мир вокруг наполнен страданием. Простучит ли электричка — звук тревожен. Это дорога от счастья — в никуда. Засмеялась ли Люся... Это смех боли.

Однажды шла по лесу, ни о чем не думала. Просто дышала: вдох — Киреев, выдох — Киреев. Солнце пекло в голову, забыла панамку. И вдруг — что-то лопнул в мозгу, излилась мелодия, похожая на крик павлинов, — одна музыкальная фраза в два такта.

Артамонова вернулась домой. Но пока шла — забыла мелодию. Ночью она ей приснилась — четкая, законченная, как музыкальный вздох. Утром Артамонова записала ее в нотную тетрадь.

На даче была полка с книгами. Артамонова нашла сборник стихов — тоже развалюху, оторвана обложка, выпадали листы.

Артамоновой попались такие строчки: «Не добычею, не наградою, была находкой простою. Оттого никогда не радую, потому ничего не стою».

Вот Руфина — та была и добычею, и наградою.

Неподалеку от дачи размещался профсоюзный санаторий. Артамоно-

ва ходила в санаторий и играла в актовом зале, когда там никого не было. Пианино было новое, клавиши безупречно-пластмассовые, как искусственные зубы. Звучание плоское. Но не расстроено, и то хорошо. Артамонова тыркала в клавиши, соединяла музыку со стихом. Позже, когда «Павлиний крик» приняли на радио, а потом запели по стране, Артамонова догадалась: если бы Киреев ее любил, если бы была счастлива — не услышала бы павлинов. Ну, кричат и кричат. Может, от радости. И мозги не лопались бы в мелодию. От разделенной любви рождаются дети. От неразделенной — песни.

В актовый зал заглядывали отдыхающие. Садились, слушали. Артамонова играла Чайковского. Играла подолгу, и никто не уходил.

У Петра Ильича были какие-то сложности на ниве личной жизни. Только не знающий любви человек мог создавать такие великие мелодии. Мечта о любви выше самой любви. И страдания — более плодотворная нива. Ничего великого не создавалось сытым человеком.

Весь август шел дождь, сеяла мгла как сквозь сито. А сентябрь установился солнечный, ласковый. В саду поспели яблоки.

Люся уговорила остаться еще на месяц. От крыльца развалюхи до крыльца училища — час пятнадцать. Ничего особенного. Даже хорошо. В электричке хорошо сочиняется. Жизнь стала наполненной звуками. Любовь к Кирееву озвучила ее жизнь, а он и не знал. Явился в училище — такой же, как был, только еще красивее и еще недоступнее. Принц Гамлет. Летом ездил в Сочи. Играл в ресторанах. Зарабатывал деньги. Ну что ж, красивая женщина дорого стоит.

Артамонова хотела похвастаться про песню, но не смогла найти удобного момента в разговоре. А просто так, без момента, ни с того ни с сего... С ним было не просто, не запросто. Почему не могла сказать про песню? А ему неинтересно. Все, что происходит с ней, Артамоновой, ему не надо. А раз не надо, зачем совать в лицо? Комплекс гордости сжимал ее душу в комок, пальцы — в кулак, до того, что болели косточки.

Однажды утром шла через переезд. Прогромыхала электричка. С рельсов поднялась собака и завыла, как сирена. Вой восходил до неба. Артамонова остановилась. Что это? Если бы собака попала под поезд — погибла бы. Не выла. Значит, что? Поезд ее толкнул? Но поезд с его скоростью и массой — и собака в двадцать килограммов... Сюда даже слово «толкнул» не подходит. Тогда что? Может быть, испугал? Контузил?

Артамонова приехала в училище и рассказала Кирееву про поезд и собаку. Киреев пристально посмотрел на Артамонову, подозревая ее в аллегориях: дескать, Артамонова — собака, а поезд — неразделенная любовь. Он насмешливо произнес: «О-о-о», и покрутил рукой, будто ввинчивал лампу.

Артамонову ошпарила догадка: знает. Издевается. Она сделала непроницаемое лицо и замолчала на весь день. Мысленно отобрала у Усмановой ключ от сундука любви и бросила его в мусорное ведро. Хотела пересесть от Киреева, но это было бы нарочито. Артамонова решила: внешне все останется по-старому, а внутренние перемещения, как учила Усманова, никого не касаются. Артамонова передвинула все козыри в одну сторону, бросовую карту — в другую. Бросовая карта — это Киреев. А козыри — музыка. Артамонова со злости написала песню. Песня получилась, как ни странно, жизнеутверждающая, типа: «Надоело говорить и спорить и любить усталые глаза»...

Наступила зима. Выпал снег. Стало теплее, не так ветрено. Снег как будто прижал ветер к земле.

Однажды вечером Артамонова сидела дома в одиночестве. Мама была на ночном дежурстве. Ее наняли за деньги к умирающей старушке. Артамонова листала сборник-развалюшку. Попались такие слова: «Не могу без тебя столько долгих дней...»

Стихи писала женщина. Талантливая. У нее были те же дела, что и у Артамоновой. Значит, живет на свете неразделенная любовь.

Артамонова вдруг пала духом: не могу без тебя столько долгих дней. Раздался звонок в дверь.

Артамонова открыла и увидела Киреева. Он стоял неестественно серьезный, даже торжественный. Молчал. Артамонова ждала.

— У тебя есть фолкники? — наконец спросил Киреев.

— Нет, — удивилась Артамонова. — Откуда они у меня?

Фолкники соединили рок с фольклором. Артамонова была равнодушна к этому направлению.

— А «Детский альбом» у тебя есть?

— Есть, наверное. А зачем тебе?

— Я хочу разломать ритм. Сделать другую аранжировку. Современную.

— Зачем ломать ритм у Чайковского? Ломай у Прокофьева, — посоветовала Артамонова.

Киреев молчал, покачиваясь. Она вдруг увидела, что он пьян.

— Так тебе дать альбом? — спросила Артамонова.

Киреев молчал неестественно долго, потом глубоко вздохнул, как бык в стойле.

— Сейчас?

Он кивнул, глубоко нырнув головой.

— Ну, проходи.

Киреев прошел, остановился посреди прихожей. Артамонова стала соображать: где может находиться «Детский альбом» Чайковского? Она играла его во втором классе музыкальной школы, стало быть, двенадцать лет назад. Выкинула? Не может быть. Ноты и книги не выкидывают. Значит, на антресолях.

Артамонова взяла табуретку и полезла на антресоли. Она барахтала поднятыми руками, пытаясь выгрести нужное из бумажных волн. Ее тело было вытянуто, напряжено. Колени находились на уровне глаз пьяного Киреева. Он вдруг молча обхватил ее колени, снял Артамонову с табуретки и понес в спальню. Артамонова так растерялась, что у нее замкнуло речь. Не могла сказать ни слова. Он нес ее как ребенка. Артамонова плыла в его руках. В голове сшибалось противоречивое: да? или нет?

ДА. Ведь она любит его. Безумно. И давно. И вот случай...

Но он молчит. И вообще пьяный. Соображает ли, что делает? А она будет терять невинность — так неинтересно. НЕТ.

А с другой стороны, надо же когда-то расставаться с этой невинностью. Все подруги распрощались еще в школе. А она до сих пор... стыдно сказать...

Но почему он молчит?..

Пока Артамонова металась мыслями, он положил ее на кровать и дальше было то, что было. И совсем не так, как мечталось. Больше всего запомнились два шуршащих звука от пластмассовой молнии на брюках: один раз сверху вниз, когда снимал. Другой раз — снизу вверх, когда застегивал. Разница между этими шорохами — минут десять, а может, пять. Киреев поднялся. Одернул куртку и ушел с тем же молчаливым достоинством, что и появился. А она провожала его с тем же недоумением, что и встретила.

На другой день Артамонова взяла ему, как прежде, сосиску и кофе. Киреев ел, глядя в пространство. Проваливался в свое, отсутствовал по привычке.

«Не помнит, — поняла Артамонова. — Может, спросить? А как спросить?»

«Ты помнишь?» Он скажет: «Что?» И тогда — как ему объяснить, что было между ними? Какие для этого бывают слова? Может быть, так: «Ты помнишь, как ты меня любил?»

Он скажет: «А я не любил».

Артамонова не стала ничего спрашивать.

Началась практика в музыкальной школе. Она вела музыкальную литературу. Играла детям «Детский альбом», благо ноты были найдены. Киреев их тогда забыл.

Иногда играла свои песни. Дети думали, что это тоже Чайковский.

Через две недели Артамонова заметила странное: не может чистить зубы. От зубной щетки начинает выворачивать и холодный обруч стягивает лоб.

Районный врач спросила: будет ли она рожать?

— Не знаю, — потерянно сказала Артамонова.

— Думайте, но недолго,— посоветовала врач.— Самое лучшее время для прерывания — восемь-девять недель.

У Артамоновой было две недели на раздумье.

СКАЗАТЬ, НЕ СКАЗАТЬ...

Киреев может не вспомнить, ведь он был пьяный. И тогда он решит, что она врет, шантажирует или как там это называется...

Предположим, помнит. Поверит. Но что с того? Менять свою жизнь он не намерен, значит, ребенок ему не нужен. А она, если хочет, пусть родит себе сама, как дева Мария от непорочного зачатия. В конце концов это ее дело. Ее живот. Но как будет расти этот бедный мальчик,— Артамонова почему-то была уверена: мальчик. Маленький Киреев. У всех есть папы. А у него нет. Только мама и бабушка. Бедная сорокадвухлетняя бабушка с нежным именем Оля. Муж бросил Олю, беременную, на пятом месяце. Не выдержал бытовых и материальных трудностей. Захотел удобств и красоты. Будущей дочке и жене он оставил только фамилию.

Артамонова родилась раньше времени, неполных семи месяцев. Еле выходили. Потом к ней стали липнуть все болезни. Еле отбили. Наконец выросла, поступила в училище, скоро начнет сама зарабатывать, помогать маме. Вот тут бы Оле расслабиться, отдохнуть от уколов и ночных дежурств, может, даже выйти замуж, пожить для себя. Так нет — опять все сначала. Маленький Киреев не получит даже фамилии. Он будет Артамонов. Оля не откажется от внучка, да еще безотцовщины. Будет любить еще острее, и страдать за дочь, и стесняться перед соседями. Сейчас, конечно, другое время. Никто заборы дегтем не мажет, но... Что за семейная традиция: маму бросили в законном браке, дочку бросили, не успев приобресть... Зачем Оле такие разъедающие страдания? Она вообще ничего не должна знать.

Усманова выслушала новость, и ее узкие глаза стали круглыми.

— Ты что, с ума сошла? — серьезно поинтересовалась она.— Своему ребенку руки-ноги отрывать?

— Он еще не ребенок. Он эмбрион.

— Ты что, в бога не веришь?

— А что делать? — не понимала Артамонова.

— Поговори с ним. Ты же не за себя просишь. А хочешь, я поговорю?

— Ни в коем случае! Я сама...

Был день стипендии. Артамонова пришла в училище. Возле кассы она напоролась на Киреева. Как ногой на гвоздь. Киреев стоял и считал деньги.

«Сейчас скажу... спрошу... скажу...» — решила Артамонова, и в ней даже хрустнуло что-то от решимости. Но Киреев раскладывал деньги по кучкам, и она промолчала. И опять что-то хрустнуло от сломанного желания.

Киреев окончил расфасовку своих денег. Часть положил в карман, другую часть в бумажник. Поднял голову. В лице Артамоновой его что-то поразило. Он спросил.

— Что?

— Ничего,— сказала она.

— Хочешь, в кафе сходим? Я угощаю.

При мысли о еде тут же подкатила к горлу тошнота.

— Не хочу,— сказала Артамонова. И добавила: — Спасибо...

Операционная располагалась в большом, или, как говорили раньше,— в большой зале. Там стояло два стола, работали два хирурга, мужчина и женщина.

Артамонова смотрела на дверь, ведущую в отделение. Она ждала: вбежит Киреев в пальто и шапке, молча схватит ее за руку, скажет одно слово: успел. И выдернет ее отсюда, и она заскользит за ним в тапках по гладкому кафелю, как по катку.

Киреев не знал, что с ней и где она, и поэтому не мог здесь появиться. Но вдруг Усманова не послушалась, и провела с ним беседу, и назвала адрес больницы?

Из залы вывезли каталку с бескровным телом, мотающейся головой.

Следующая очередь была ее. Она в последний раз оглянулась на дверь. Сейчас вбежит: запыхавшийся, испуганный, встревоженный. Скажет: «Ну разве можно так обращаться со своей жизнью?»

Артамонова вошла в операционную.

Левый крайний стол был ее. Хирург стоял, закатав рукава. На нем был клеенчатый фартук, забрызганный кровью. На соседнем столе, как в гестапо, кричала женщина.

Артамонова подошла к хирургу. У него было доброе крестьянское лицо. Артамонова доверилась лицу и спросила:

— Может, не надо?

Он посмотрел на нее с удивлением и сказал:

— Но вы же сюда сами пришли. Вас же не привели.

«В самом деле,— подумала Артамонова.— Раз уж пришла».

Она взобралась на стол. Ей стали привязывать ноги. Тогда еще не было внутривенного наркоза, когда женщина отключается от действительности. Тогда все происходило при здравом уме и трезвой памяти.

Тонкая игла боли вошла в мозг. Потом стала нарастать, как шквал, по ногам потекла кровь, и послышались звуки, похожие на клацанье ножниц. Артамонова поняла: из нее безвозвратно выстригают маленького Киреева — беспомощного и бесправного. Клацали ножницы, летели руки, ноги, голова... Артамонова закричала так страшно, что этот крик, казалось, сметет и столы, и хирургов.

К вечеру за ней пришла Усманова. От мамы все держалось в тайне. Надо было вечером вернуться домой как бы из консерватории. С концерта пианиста Малинина.

Они шли по вечерней улице. Был гололед. И казалось, что земной шар ненадежно прикреплен к земной оси.

Артамонова вошла в дом и сразу легла в кровать. Мама ни о чем не подозревала, готовила еду на завтрашний день. Мыла посуду и пела.

Артамонова лежала в постели, подложив под себя полотенце. Плакала. Из глаз текли слезы, а из тела кровь. Кровь и слезы были одной температуры: тридцать шесть и шесть. И ей казалось, что из глаз течет кровь, а оттуда — слезы. И это в каком-то смысле было правдой.

Две недели Артамонова не ходила в училище. Не хотела. И не отвечала на телефонные звонки. На душу спустилось то ли возмездие, то ли равнодушие. Казалось: объявят по радио атомную войну — не встанет с места.

Целыми днями сидела за роялем, тыркала в клавиши. Получилась детская песенка, как ни странно,— оптимистическая. Грустное пишут относительно счастливые люди. У них есть силы на грусть.

Первого апреля у Артамоновой — день рождения. Двадцать лет. Круглая дата. Пришел курс. И Киреев пришел и подарил глиняную статуэтку верблюда. Сказал, что искал козла, но не нашел.

Артамонова удивилась: помнит. Ей казалось: всего, что связано с ней, не существует в его сознании.

Верблюд смешной, как будто сделанный ребенком. На его глиняном бежевом боку Киреев написал толстым фломастером: АРТАМОШКЕ. Надпись была сделана не сплошной линией, а точечной. Одна точка под другой. Артамонова поставила верблюда возле козла.

В тот день группа гуляла на всю катушку. Подвыпивший Гена Кокорев принялся ухаживать за мамой. Маме было смешно, но приятно: раз ухаживают дети, значит, есть перспектива на ровесников.

В тот день было много водки, много еды, много молодости и музыки. Киреев плясал вместе со всеми, топоча ногами. Артамоновой казалось: он что-то втаптывает в землю. Она смотрела на него пустым взором. После того, как пропал ребенок — результат ее любви,— сама любовь как бы потеряла смысл.

Кончилось тем, что все пели на много голосов. Музыканты — люди меченые, не могут без музыки. Они — как земноводные: могут и на суше. Но в воде лучше.

Разошлись за полночь. Смех, музыка, ощущение беспричинного счастья повисли на стенах. Этим можно было дышать.

И остался глиняный верблюд рядом с козлом. Козел большой. Верблюд маленький. Они стояли рядом десять лет. До следующей круглой даты.

Следующая круглая дата — тридцать. Главные, определяющие события в жизни происходят именно в этом промежутке: от двадцати до тридцати. Потом начинаются повторения.

Артамонова кончила музыкальное училище. Поступила в институт имени Гнесиных на дирижерско-хоровое отделение. После института стала вести хор во Дворце пионеров. В трудовой книжке значилось: хормейстер. Красивое слово. Дословно: мастер хора.

Артамонова любила детей плюс музыку и сумму этих слагаемых — поющих детей. Бежала на работу, как на праздник. И дети обожали эту свою послешкольную жизнь. В хоре не было текучки.

«Павлиний крик» записали на радио. Песню услышали. Ее включил в репертуар популярный певец, выдержанный внешне и внутренне в духе соцреализма. Артамонова называла его «поющая табуретка». От табуретки песня перешла к молодой ломаной певице. Она так надрывалась: «Не добычею, не наградою», — будто песня была лично про нее.

Артамонова первый раз услышала «Павлиний крик» на пляже в Прибалтике. Рядом с ней сидел Люсин сын Сержик, который пришел к тому времени из армии. Сержик крутил транзисторный приемник, из него выплеснулся «Павлиний крик». Артамонова так поразилась, что не выдержала, поднялась с песка и пошла по пляжу. Потом побежала. Если бы осталась сидеть возле Сержика — взорвалась бы до смерти от распирающего грудь счастья. Надо было растрясти это счастье, не держать в таких жизненно опасных количествах. Артамонова бежала, могла обежать все море, вплоть до Швеции, но все иссякает, и заряд счастья в том числе. Вечером ее бил озноб. Оказывается, счастье тоже выматывает. В эту ночь, перед тем как заснуть, подумала: «Спасибо, Киреев».

Кстати, о Кирееве. Он ушел с третьего курса института и где-то затерялся на жизненных дорогах. Говорили, что играет в ВИА, вокально-инструментальном ансамбле. Но ансамбль зажимали. Тогда все зажимали. Руководящие товарищи воровали и зажимали, не допускали свободомыслия, чтобы удобнее было воровать. Хочешь свободы мысли — пожалуйста. Но это не оплачивается. Платили только за верную службу.

Артамонова не знала, но могла догадаться: Руфина тяготилась нищетой, а Киреев чувствовал себя виноватым.

В этот же период, с двадцати до тридцати, ближе к тридцати, Артамонова вышла замуж за Сержика. Это случилось сразу после Прибалтики. Когда Сержик надел ей в загсе кольцо, Артамонова почему-то подумала: «Доигрался». Это относилось не к Сержику, а к Кирееву. И стало чего-то жаль.

Сержик был порядочный и нудный, как все порядочные люди. Зато можно быть уверенной в своем завтрашнем дне.

Такой любви, как к Кирееву, не было, но она и не хотела ТАКОЙ. От ТАКОЙ хорошо умирать, а жить надо в спокойных жизнеспособных температурах.

За прошедшие десять лет Сержик вернулся из армии, кончил институт иностранных языков, стал синхронным переводчиком. Артамонова была его второй женой. До нее он успел жениться и развестись. Его предыдущая жена в отличие от Артамоновой была хорошенькая, похожая на всех артисток сразу. Но нервная. Когда ей что-то не нравилось в Сержике, она снимала с его лица очки и грохала их об землю. Очки разбивались. Это было ужасно. Сержик тут же переставал хоть что-нибудь видеть. Но это не все. Главное то, что хорошие очки не достать, за границей они очень дороги, и Люся выворачивалась, как перчатка, чтобы ее мальчик носил фирменные очки. А она — оземь. Это уже хулиганство.

Сержик был милый, правда, много ел. У Артамоновой исчезла проблема: сказать, не сказать. Спросить, не спросить... Она говорила и спрашивала, а чаще вообще не спрашивала, делала все по своему усмотрению. А Сержик только кивал и ел.

Артамонова догадалась: любовь — власть. Всякая власть парализует. А отсутствие любви — свобода. Как хочешь, так и перемещаешься. Хорошо без любви.

Слуха у Сержика не было. Он синхронил на одной ноте, и это профессионально удобно, потому что переводчик — не артист. Он должен подкладывать текст, а не расцвечивать его интонациями.

Одно только мешало: Сержик в армии сломал передний зуб, а может, ему выбили, в армии и не такое бывает.

Зубы — своего рода загородка, скрывающая от глаз то, что происходит на хоздворе. А здесь, в загородке, дырка и видна работа языка. Человек ест, разговаривает, язык переворачивает пищу, произносит буквы, он беспрестанно занят — мелькает туда-сюда.

Артамонова каждый день говорила Сержику: вставь зуб. Он каждый день отвечал: ладно.

Через триста шестьдесят дней, после трехсотшестидесятого «ладно», Артамонова сняла с его лица очки и грохнула их оземь. Сержик с ужасом понял, что все женщины одинаковы.

Они разошлись. Как там, в стихах: «Была без радости любовь, разлука будет без печали».

Мама с Люсей тоже поругались. Вот это обидно, по-настоящему. Треснула и распалась большая дружба. В мире стало немножко меньше тепла. Так что и от Сержика произошел ущерб.

Песен при Сержике не писала. И вообще как будто не жила. Когда пыталась вспомнить этот период — нечего было вспомнить.

В тот, киреевский, период — от восемнадцати до двадцати — разговаривала, как помешанная. Плакала кровавыми слезами. Переживала сильные чувства. Тогда она жила. А потом была.

Артамонова подозревала, что ее проводка перегорела под высоким напряжением. Она выключена навсегда.

Много работала, уставала и счастья не хотела. Зачем хотеть того, чего нет? А есть покой и воля. Вот этого сколько угодно.

Сорок лет — бабий век.

Но Артамонова, как осеннее яблоко, — только поспела к сорока. В эту пору она оказалась красивее, чем в двадцать. Была тощая, стала тонкая. Была укомплексованная, пугливая, как собачонка на чужом дворе. Стала спокойная, уверенная в своем ДЕЛЕ, своей незаменимости. Появилось то, что называется: чувство собственного достоинства. Существенная деталь к внешнему облику. В чем-то глубинном она не переменилась, осталась прежней, молодой. Чего-то выжидала. Награды за одиночество. Может быть, она выжидала, что просверкнет Киреев. Но сама инициативы не проявляла. И когда встречала общих знакомых — не расспрашивала. Скажут — она услышит.

Ничего существенного не было известно. Для ВИА Киреев был уже старый — сорок три. Нелепо видеть седеющего дядьку, орущего под гитару. Время сменилось, и эстрадные певцы поменяли манеру. Раньше тряслись и блеяли, а теперь четко выкрикивают каждую букву, как глухонемые, научившиеся говорить.

Вчера блеяли, сегодня выговаривают, завтра еще что-нибудь придумают в яростной попытке обратить на себя внимание, развернуть к себе людей. А «Аве Мария» была, есть и будет.

Но Киреев... Куда он понес свое бунтарство? Руфина двигалась к пенсионному возрасту. Не родила. Упустила время. Жили в той же двухэтажной среднеисторической постройке, которая охранялась государством, но не ремонтировалась. Второй этаж отдали в аренду кооператорам, надеялись, что предприимчивые парни отреставрируют дом и проведут телефон. Руфина надеялась на кооператоров. На Киреева она уже не надеялась. Такие вот дела.

Мама Оля ушла на пенсию. Всю жизнь неслась на предельной скорости — и вдруг по тормозам. Движение кончилось, и сразу набежали вопросы: КУДА? ЗАЧЕМ? А известно куда. В старость. Зачем? А ни за чем. Жизнь пожевала, пожевала и выплюнула. Оля привыкла быть необходимой,

в этом состояло ее тщеславие и самоутверждение медсестры и матери. Ей нужно было еще одно беззащитное существо.

Артамонова постоянно возвращалась мыслями в ту роковую минуту, когда стояла перед хирургом и спрашивала: «Может, не надо?» Он сказал бы: «Конечно, не надо. Идите домой». И она бы ушла. И сейчас ее сыну было бы восемнадцать лет. Он, возможно, служил бы в армии, а она бы ездила на присягу, заискивала перед гарнизонным начальником и приглашала его на свой концерт.

Нерожденный сын присутствовал в ее жизни, как музыка через стену. Приглушенно, но слышно. И чем дальше продвигалась во времени, тем сильнее скучала. Пусто жить для себя одной. Хочется переливать в кого-то свои силы.

Артамонова пошла на птичий рынок и купила попугая. Назвала его Пеструшка. Попугай — не человек. Птица. Но все же это лучше, чем ничего. Вернее, никого.

Во Дворце пионеров подружилась с Вахтангом. Он вел драматический кружок два раза в неделю. Их дни совпадали.

Вахтанг — настоящий артист из настоящего театра, но ему не давали играть то, что он хотел. Например, Вершинина. Режиссер говорил: «Но ведь Вершинин не грузин и не красавéц». Режиссер произносил это слово с ударением на «е». Как будто стыдно иметь красивую внешность. А Чехов, между прочим, утверждал: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». А в современной драматургии так: если лицо и одежда в порядке — значит сомнительный тип. Фарцовщик или сынок. Иначе откуда одежда у советского человека? А уж если душа и мысли на высоте — значит полуголодный, затрюханный неудачник. Странный человек, в нестираном свитере и в очочках.

Вахтанг мучился своей невостребованностью, не видел выхода. В любви ему тоже не везло. Он хоть и был красавѐц, но без денег. Без жилья. Артамонова выслушивала его невзгоды, подкармливала бутербродами и в результате полюбила за муки. А он ее — за состраданье к ним. Все, как у Шекспира.

Они поженились.

Вахтанг перебрался в их однокомнатную квартиру. Мама переместилась на кухню. Тесно, конечно. Но для того, чтобы сделать ребенка, много места не надо.

Ребенок тем не менее не получался. Артамонова пошла к врачу. Женщина-врач сказала: «Ребенка не будет. — И спросила: — Был первый аборт?»

Артамонова ответила: «Один». Врач сказала: «Иногда хватает и одного».

Вот чем кончился для нее визит Киреева. Что он тогда хотел? Кажется, «Детский альбом» Чайковского.

Верблюд стоял на прежнем месте и ухмылялся отвислыми глиняными губами.

Вахтанг раз в месяц звонил своей маме в Кутаиси и, прикрывая рукой трубку, говорил: «Не получилось». Мама была недовольна женитьбой сына. У Артамоновой, с маминой точки зрения, было слишком много «не». Не красива, не молода, не девушка. Дети не получаются. Какой в ней смысл вообще?

Все эти «не» были справедливы. Но Артамонова привыкла к другому восприятию себя. Ей не нравилась интерпретация ее образа, созданная свекровью. Хотелось бы от свекрови освободиться. Выключить ее из круга общения. Но свекровь шла в комплекте с Вахтангом. Либо обоих принимать, либо обоих выключать. А так чтобы мамашку задвинуть, как пыльный тапок, а Вахтанга оставить — было нереально.

Оставаться без Вахтанга не хотелось. Он был такой красивый, такой накаченный мышцами, как медный всадник. Так хорошо было засыпать и просыпаться под его тяжелой, как плита, рукой.

Ночи были талантливы и разнообразны. А дни — одинаковы и неинтересны. В театр пришел новый режиссер, ставили Астафьева. Режиссер сказал Вахтангу: «Ну какой из тебя русский мужик?» Вахтанг стал подумывать: не переехать ли в Кутаиси, играть грузинскую классику. Но там бы ему непременно сказали: Вахтанг, какой из тебя грузин? Отец русский,

жена русская, учился в Москве. Артамонова понимала: дело не в национальном коде. Дело в том, что Вахтанг — полуталантлив. Он не бездарен. Все понимает, но не может мощно выразить. Как собака, которая понимает человеческую речь, но сама не разговаривает. Вахтанг не осознавал своей недоталантливости. Очень редкий человек может сказать себе жесткую, жестокую правду, типа: я бездарен. Или: я трус. Человеку свойственно чувствовать себя правым. Ибо кто не прав, тот не живет. Вахтанг был набит комплексами, амбициями — всем тем, что заменяет человеку дело. И все свои неудачи перекладывал на людей, на обстоятельства, на всеобщую несправедливость. Артамонова понимала: ему надо менять профессию. Например, на Западе он мог бы быть платным любовником при дорогих отелях. Но разве такое скажешь мужчине?

Детей не получилось, но Вахтанг вполне заменял сына. Ему надо было варить, стирать, утешать, давать карманные деньги. Но все же он не был сыном. И ночь не заменяла день. День главнее.

У Артамоновой в грудной клетке зрел, взрастал знак вопроса, большое такое недоумение: ЗАЧЕМ?

Кончилось все в один прекрасный день, и, как казалось Вахтангу, на пустом месте. Он в очередной раз закрыл рукой трубку и сказал: «Не получилось».

Артамонова забрала у него трубку и что-то такое в нее сказала. Кажется, она сообщила какой-то адрес или направление. Куда-то мама должна была пойти. Мама ничего не поняла, а Вахтанг понял. И поскольку они существовали в комплекте, то Вахтанг вынужден был отправиться вместе с мамой.

Личная жизнь не сложилась. Но зато хор процветал, набирал силы. Съездили в Болгарию, в Китай и в США.

В Софии стены домов были обклеены поминальными листками. На одном из них Артамонова прочитала: «Страшната тишина».

В Китае поразило обилие велосипедистов. А в Америке — вообще все другое, поскольку оборотная сторона планеты. И воздух не тот, и хор иначе резонирует. Артамонова почти физически ощущала эту «иначесть».

Работали много, иногда по два концерта в день. В свободное время бродила по магазинам. Для нее Америка — одна большая комиссионка. Не больше. И не меньше.

Вечером вытягивала из хора все, что могла. Ее руки — как дистанционное управление — могли послать любой заряд и вытянуть из хора всю душу, все дыхание. Аплодировали стоя.

Пятьдесят лет — первый юбилей.

Страна дала орден за вклад в культуру и звание «Заслуженный работник». Орден вручали в Кремле.

Перед Артамоновой шел получать награду коротенький старик. Его награждали за вклад в профсоюзное движение и в связи с каким-то летием. Скорее всего, это был четвертый юбилей. Старик нажал громкую педаль и закричал, забился, как в падучей, благодарил за самый счастливый миг в его жизни, обещал, что он и дальше, все оставшиеся силы... Лысина старика стала розовая, Артамонова заволновалась: профсоюзного деятеля может хватить удар.

Высокий чин, вручающий ордена, вежливо пережидал. Он, видимо, привык к таким припадкам. Его глаза были затянуты пленкой, как у спящей птицы. Этой пленкой высокий чин отгораживался от действительности. Невозможно же каждый раз сопереживать чужой радости. Никакого здоровья не хватит.

Старик откричал и без сил вернулся на место. Забросил в рот таблетку валидола.

Следующей была Артамонова.

Вручая орден в красной коробочке, высокий чин посоветовал продолжать в том же духе. И в этом году, как в прошлом. Может быть, он решил, что, получив орден, Артамонова потеряет интерес к делу. Орден — цель. А если цель достигнута — зачем уродоваться дальше?

Артамонова удивилась и переспросила: «Что?»

Высокий чин не понял, к чему относится «что», и они какое-то время смотрели друг на друга с нормальным человеческим выражением. Без пленки. Артамонова увидела, что он простой мужик с хохлятской хитрованинкой в глубине глаз, с розовым лицом хорошо питающегося человека. А он тоже что-то такое увидел и, когда сели фотографироваться, сказал:

— Нравишься ты мне. — И положил руку на ее колено.

Фотограф приготовился. Артамонова сняла руку, шепнула: «Компрометирующий документ». Он шепнул в ответ: «Сейчас перестройка. Все можно».

У нее мелькнула идея попросить жилье. Попросить — не попросить... И не решилась. Так и осталась в однокомнатной квартире.

Песни Артамоновой пели в ресторанах и с эстрады. Сберегательная книжка стала походить на колодец в болотистой местности. Только вычерпаешь, опять подтекает. Хорошо. Деньги — это свобода. Свобода от нашей пищевой и легкой промышленности. Можно питаться с базара. Одеваться за границей. Передвигаться на машине. В один прекрасный день пришла к выводу: она находится в браке со своим ДЕЛОМ. И лучшего мужа ей не надо. Дело ее кормит, одевает, развлекает, возит в путешествия, дает друзей, положение в обществе. Какой современный мужчина способен дать столько?

Артамонова ездила по проезжей части, а по тротуарам колоннами и косяками шли двухсотрублевые мужчины, у которых сто рублей уходит на водку. Шли вялые, бесслухие сережики, невостребованные вахтанги, у которых и лицо, и одежда, и мысли — а никому не надо. А она — мимо. Мимо и НАД. Хорошо!

Приезжала Усманова. У нее болел сын, нужна была лучшая клиника. Правильнее сказать — не болел, а родился с дефектом: незаращение жаберных щелей. Мальчик был умный, нормальный, но немножко земноводный. За ушами — свищи. Надо было зашивать. Эти жабры застили Усмановой небо, и землю, и весь белый свет. У нее был затравленный маниакальный взгляд.

В такие минуты Артамонова была рада, что у нее не ребенок, а птица.

Пеструшка рос веселым и смышленым. Он обожал Артамонову и, когда она приходила с работы домой, пикировал на нее сверху, как камикадзе — японский летчик-смертник. Шел на таран и приземлялся в волосы или на плечо. Он умел говорить несколько бытовых фраз, типа: «Пеструшка хочет пить». Разговаривал утробным роботным голосом, как чревовещатель. Однажды Артамонова решила усложнить задачу: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Фраза была длинной и сложной для птичьего ума. Пеструшка нервничал, злился и, сидя у Артамоновой на плече, рвал ей волосы. Мама возмущалась и кричала, что Пеструшка сломается, как ЭВМ при перегрузке, что Артамонова сорвет у него психику. Артамонова отступилась. Но однажды вечером Пеструшка явственно произнес: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы».

Всего можно добиться, если захотеть. Артамонова постоянно чего-то добивалась, но не для себя. Для других. Она не умела сказать «нет» и постоянно была обвешана чужими поручениями. Считалось, что статус «заслуженного работника» дает ей дополнительные преимущества. Артамонова пробивала: то телефон, то кладбище, то песню на радио.

Добрые дела имеют особенность: можно десять раз сделать для человека. Один раз не сделаешь — и ты враг. Но у Артамоновой врагов не было. Ее любили. Было за что пожалеть (одинока). Было чем восхититься (добра, талантлива). Сострадание гасило зависть, и Артамонова получала от людей чистое, очищенное чувство, как водка после тройной перегонки. Множественная доброжелательность заменяла ей одну большую любовь. Этим дышала. Артамонова плохо чувствовала себя за границами, потому что в воздухе не было электричества ее друзей. А здесь, в однокомнатной квартире, было все: покой и воля, дело и деньги, друзья и мама. И Пеструшка в конце концов.

Но однажды случилось несчастье. Во вторник. Она помнит: именно во вторник, вечером. Артамонова вышла из комнаты в кухню. Пеструшка устремился следом. Артамонова не видела и, выходя, закрыла за собой дверь. Пеструшка на полной скорости врезался в дверь маленькой головой.

Его хоронили во дворе поздно вечером, когда никто не мог их увидеть. Положили в коробку из-под туфель и закопали.

Вернулись домой. В квартире стояла «страшната тишина».

Артамонова заплакала по Пеструшке, которого убила. По сыну Киреева, по всей своей незадавшейся жизни. И ей казалось, что из глаз шла кровь.

А мама ходила рядом и говорила:

— Наверное, если бы я умерла, ты бы так не плакала.

Если верить теории относительности, то во второй половине жизни, так же как и во второй половине отпуска, дни проходят скорее.

Раз в неделю Артамонова производила в доме влажную уборку. Каждая пылинка — это секунда, выраженная в материи. Частичка праха. И, когда стирала пыль, ей казалось — она стирает собственное время.

Говорят, что песок — развеянный камень. Каждая песчинка — время. Значит, пустыня — это тысячелетия. Чего только не придет в голову, когда голова свободна от нот.

В Москве гастролировал знаменитый органист. Артамоновой досталось место за колонной. Ничего не видно. Только слышно.

Она закрыла глаза. Слушала. Музыка гудела в ней, вытесняя земное. По сути, хор — тот же орган, только из живых голосов. Звуки восходят к куполу и выше, к Богу. Еще немножко — и будет понятно: зачем плачем, стенаем, рождаем полурыб, убиваем детей и птиц. Зачем надеемся так жадно?

Артамонова возвращалась домой в метро. Шла по эскалатору вниз, задумавшись, и почти не удивилась, когда увидела перед собой Киреева. Лестница несла их вниз до тех пор, пока не выбросила на ровную твердь. Надо было о чем-то говорить.

— Ну-ка, покажись! — бодрым голосом проговорила Артамонова.

Киреев испуганно поджал располневший живот. Хотел казаться более бравым.

Он был похож на себя прежнего, но другой. Как старший брат, приехавший из провинции. Родовые черты сохранились, но все же это был другой человек, с иным образом жизни.

Артамонова знала: последний год Киреев играл в ресторане и, поговаривали, ходил по столикам. Вот куда он положил свое бунтарство. На дно рюмки.

Они стояли и смотрели друг на друга.

— Как живешь? — спросила Артамонова.

— Нормально.

Кепка сидела на нем низко, не тормозилась волосами. Жалкая улыбка раздвинула губы, была видна бледная, бескровная линия нижней десны.

«Господи, — ужаснулась Артамонова. — Неужели из-за этого огрызка испорчена жизнь?»

— Тебе куда? — спросил он.

— Направо, — сказала Артамонова.

— А мне налево.

Ну, это как обычно. Им всегда было не по дороге.

Артамоновой вдруг захотелось сказать: «А знаешь, у нас мог быть ребенок». Но промолчала. Какой смысл говорить о том, чего нельзя поправить?

Они постояли минуту. На их голову опустилось шестьдесят пылинок.

— Ну, пока, — попрощалась Артамонова. Чего стоять, пылиться?

— Пока, — согласился Киреев.

Подошел поезд. Артамонова заторопилась, как будто это был последний поезд в ее жизни.

Киреев остался на платформе. Его толкали, он не замечал. Стоял, провалившись в себя.

Артамонова видела его какое-то время, потом поезд вошел в туннель. Вагон слегка качало, и в ней качалась пустота.

И вдруг, как озноб, продрала догадка: своими сказать — не сказать, спросить — не спросить она испортила ему жизнь. Родила бы, не советуясь, сыну было бы под тридцать. Они вместе возвращались бы с концерта. Она сказала бы Кирееву: «Познакомься, это твой сын». И Киреев увидел бы себя, молодого и нахального, с прямой спиной, с крепким рукопожатием.

Как в зеркало, заглянул бы в керамические глаза, и его жизнь обрела бы смысл и надежду. А так — что? Стоит на платформе, как отбракованный помидор. Как тридцать лет назад, когда его не приняли в музыкальное училище. И так же, как тогда, захотелось подойти и сказать: «Ты самый талантливый из всех нас. И еще не все потеряно». Жизнь повозила его, но это он. Те же глаза, как у козла рога, та же манера проваливаться, не пускать в себя. И она — та же. И так же воет собака на рельсах. Между ними гора пыли и песка, а ничего не изменилось.

— Следующая станция «Белорусская»,— объявил хорошо поставленный женский голос.

Артамонова подняла голову, подумала: странно, я ведь села на «Белорусской». Значит, поезд сделал полный круг. Пришел в ту же точку.

Она двигалась по кольцу.

Киреев стоял на прежнем месте. Артамонова увидела его, когда дверцы вагона уже ехали навстречу друг другу. Артамонова не дала дверям себя защемить, выскочила в последнюю секунду. Спросила, подходя:

— Ты что здесь делаешь?

— Тебя жду,— просто сказал Киреев.

— Зачем?

— А я тебя всю жизнь жду.

Артамонова молчала.

— Ты похудела,— заметил он.

— А ты растолстел. Так что общий вес остался тот же самый.

Киреев улыбнулся, показав бледную десну.

Все нормально, все хорошо

Фамилия, имя, отчество — Бочаров Алексей Ефимович
Год рождения — 1948
Место работы — АПН
Цель приезда — командировка

Бочаров заполнил гостиничный листок. Подал его администратору. Администратор взяла листок и паспорт, стала сверять. Бочаров ждал. Вообще-то он был не Ефимович, а Юхимович. Простодушный папаша в свое время решил, что Юхим — слишком мужицкое, неинтеллигентное имя и записал себя в паспорте Ефим, механически превратив сына в Ефимовича. Страна, конечно, интернациональная, но зачем брать на себя чужое? Своего хватает. Хотя, если разобраться, все нормально, все хорошо.

ГОД РОЖДЕНИЯ — 1948. Тут не убавить, не прибавить. Война кончилась в сорок пятом. Юхим пришел контуженный, но целый. Думал, что страна поблагодарит. Но ему сказали: «Страна тебе ничего не должна. Ты ей должен все». Юхим всю жизнь выполнял и перевыполнял план на производстве, а не заработал ни машины, ни дачи. Летом загорает на балкончике. Производство выбрало из него здоровье, годы, потом выплюнуло на нищенскую пенсию, не сказало «спасибо» и не сказало «извини». В выигрыше оказались «локтевики» — те, кто пробивался локтями. Они не ждали, что страна о них позаботится. Они сами заботились о себе. И теперь у них все есть, и детям останется. А у Юхима нет ничего, кроме имени Ефим. Единственное, что он себе урвал и сыну оставил.

МЕСТО РАБОТЫ — АПН. Агентство печати «Новости». Журналист-международник, средство массовой информации. Бочаров работает «средством» пятнадцать лет. Из них семь с половиной просидел в далекой Индии, в городе Мадрасе. Когда спрашивали: «Ну, как там?», жена отвечала: «Хорошо топят»,— имея в виду пятьдесят градусов в тени.

В Мадрасе Бочаров был зав. бюро, здесь тоже зав. с зарплатой триста шестьдесят рублей в месяц плюс пятьдесят за язык, плюс интервью, публикации — набиралось за пятьсот рублей. Кто еще у нас в стране получает такие деньги? Профессора? Замминистры?

Квартира — вся в японской технике и русском антиквариате. Красное дерево — глубокое, теплое, живое. От него веет временем. Оно как будто рассказывает о прежней жизни, прежних хозяевах — красивых праздных женщинах, благородных мужчинах. Не исключено, что в этом кресле сиживал Пушкин, писал хозяйке в альбом стихи. Когда живешь в окружении старины, то потом не можешь находиться в современных стенках из ДСП. Казалось бы, какая разница: что вокруг тебя? Главное — что в тебе? Но то, что вокруг, незаметно просачивается внутрь. И вдруг замечаешь, что твоя душа заставлена скучными ящиками из прессованных опилок.

ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА — КОМАНДИРОВКА. Точнее сказать, он приехал в личных целях. Профессор университета Розалия Ефимовна Галесник позвонила ему в Москву и сказала, что хочет отдать свои папки. Боится, умрет — и все пропадет. Назначат, конечно, комиссию по наследию, но тяжело думать, что в ее листках будут копаться чужие, равнодушные руки. Алеша Бочаров — любимый ученик. Пусть возьмет ее наследие (часть наследия), разберет, напишет книгу или диссертацию. Самоусовершенствуется и подтянет человечество до своих знаний. Дарит клад любимому ученику. Как не взять? Просто неудобно отказаться.

Розалия Ефимовна была настоящей Ефимовной. Однако главное в Розалии — не то, как звали ее папу, а маниакальная тяга к Индии. Она утверждала, что жила там при первом рождении и хочет после смерти снова там родиться. А кто знает, может, она действительно там жила.

Администратор положила перед Бочаровым тяжелый ключ. Сказала:

— Седьмой этаж.

Бочаров протянул руку. Рука была в коротких волосках. Волоски вытекали из-под манжета рубашки — на руку и даже на пальцы до сустава. Администратор домыслила себе остальное тело, поросшее волосами, как у первобытного человека. Она посмотрела ему в лицо. Наметанным глазом отметила белый крахмальный воротник, подпирающий холеные щеки. Беловоротничковый. Она без ошибки умела отличать хозяев жизни от жертв, наших от иностранцев. Все это отражается на лице, хоть и говорят, что на лбу ничего не написано. Но на лбу, особенно в глазах, написано все. Наши люди, замученные социализмом, были видны прямо от дверей виноватым выражением лица.

Беловоротничковый взял ключ и отошел. Администратор проводила его глазами. Потом взяла следующий листок, протянутый следующей волосатой рукой.

«Фархад Бадалбейли Шамси-оглы» — прочитала она. Подумала: не имя, а песня с припевом.

Бочаров повернул ключ, вошел в номер. Номер как номер. Временное жилище. Здесь жили до тебя, теперь ты. Завтра уедешь — придет горничная, поменяет постель, проветрит, чтобы духу твоего не было. Заселится следующий. И с ним так же. Все это напоминает о бренности существования. Пришли. Пожили. Потом время сдуло. Следующий...

Недавно Бочаров смотрел по телевидению похороны Ленина. Многие мысли поднимались в нем и многие чувства. Но одно потрясло. Все это море людей больше не живет. Это поколение ушло. Они жили, любили, страдали и умерли; в основном страдали.

Бочаров подошел к окну. Отодвинул занавеску. Гостиница стояла на площади, как на полуострове. Носовая часть гостиницы врезалась глубоко в площадь, а конец уходил в город, к домам.

Дома в этом районе старые, антикварные. Петербург. Они довольно зашарпаны, но если отреставрировать — заговорят.

Бочаров любил Ленинград. Он здесь родился, учился в университете на факультете востоковедения. Потом женился на москвичке, эмигрировал в Москву. Ленинград постепенно из «колыбели революции» превращался в оплот реакции. Тогда многие сбегали в Москву, подальше от нового Романова. Тот — Николай Второй — был царь. А этот — царек. Слова похожи, однако разные. Бочаров уехал из Ленинграда, но скучал. Черемушки с одинаковыми белыми геометрическими коробками напоминали галлюцинации сумасшедшего. Одинаковость угнетала, обезличивала, лишала уникальности. Ты — как все. Инкубаторский. А он — не как все. Он — это он.

Бочаров подошел к телефону. Набрал номер Розалии Ефимовны. В трубке сказали:

— Сейчас...

«Чей это голос?» — не понял Бочаров. Должно быть, соседки. Соседи несколько раз менялись за те 89 лет, которые Розалия жила в этой квартире. Профессор с мировым именем, она знает об Индии больше, чем са-

ми индийцы. На Западе у нее была бы вилла с бассейном, свой самолет и яхта. Здесь — сидит в коммуналке, без лифта. Не может выйти на свежий воздух. Сидит — ровесница века, старая, как век.

Бочаров услышал ее голос — низкий, прокуренный. Старушка в свое время курила и даже, кажется, пила. Муж ушел от нее еще до войны. Не выдержал соперничества с Индией. Розалия говорила мужу: «Самое неинтересное в моей жизни — это ты».

Бочаров сказал, что приехал со «Стрелой» и через час будет у нее.

— Ты звони, голубчик, четыре звонка. И если долго никого нет, не уходи. Это значит, я иду.

— А соседи не могут открыть? — спросил Бочаров.

— Соседи в это время на работе, — объяснила Розалия Ефимовна. — Ну, а у тебя как?

— Все нормально, все хорошо, — сказал Бочаров.

— А мама как?

Бочаров замолчал, как провалился. Потом сказал:

— Мама умерла двадцать пять лет назад. Вы же были на похоронах.

— Да? — удивилась Розалия Ефимовна. — Да, да, помню...

«Плывет...» — подумал Бочаров.

— Ты приезжай, голубчик, непременно. Я приготовила тебе четыре папки по пятьсот страниц в каждой. Разберешь. Еще четыре папки я отдам своей дочке Рашмине.

«Какая дочка? — удивился Бочаров. — У нее нет детей». Потом вспомнил: она собирает вокруг себя индийских студентов, которые учатся в Ленинграде, и называет их детьми. Они ей помогают и возле нее греются. Индийцам в Ленинграде знобко и холодно после своих пятидесяти градусов в тени.

— А Попов в моей папке? — спросил Бочаров.

— В твоей, в твоей, папка номер четыре.

Какие-то вещи, для нее необязательные, например, жива или нет его мама, Розалия Ефимовна путала, забывала. Но все, что касалось профессии, — помнила до мелочей.

— Не завтракайте, — предупредила Розалия Ефимовна. — Я вас накормлю.

Она любила своих студентов — прошлых и настоящих. Заряжалась от добра. Студенты отвечали ей тем же. Так отвечает земля на благодатный дождь. Ее польешь, она плодоносит.

Бочаров шел по городу. Синее небо. Яркий снег. Он любил свой Питер и под бархатным дождем, и в белые ночи. Любил, потому что привык. Это дано ему было возлюбить с детства.

Вот дом, где в молодые годы жила Крупская. К ней приходил Володя Ульянов, взбегал по ступенькам. Она ему открывала дверь. Как давно это было. А вообще — не так уж давно. Бочаров родился при жизни Сталина: 1948 год. Сталин — соратник Ленина. Ленин родился при жизни Достоевского. Достоевский застал Пушкина. Если взяться за руки, то можно дотянуться до Пушкина. Все рядом. А генерал Попов — совсем близко. История генерала Попова в четвертой папке у Розалии Ефимовны.

Хорошо было идти по Невскому проспекту и думать о Попове.

Сорокалетний, как и Бочаров, — помещик, красавец, вдовец или холостяк — это надо уточнить, а впрочем, какая разница, — нет, все-таки разница, — встречает в Петербурге благородную девицу, она только что окончила Бестужевские курсы — красавица, умница, увлечена химией. Попов видит ее и с первого взгляда понимает, что его долгий поиск счастья блестяще завершен. Он женится и в качестве свадебного подарка дарит ей лабораторию. Юная жена с утра до вечера — в лаборатории: опыты, эксперименты, — чем там занимаются химики, что они льют в свои колбы, реторты, какие получают соединения? Кончилось все тем, что она погибла в своей лаборатории: не то взорвалась, не то сгорела, а может, то и другое. Вчера была — сегодня нет. Попов не мог смириться с этим фактом — вчера была, сегодня нет. Он слегка сошел с ума. Мозг отказывался принимать жестокую данность. Попов уехал к себе в имение — где-то в Черновцах — и на берегу реки построил мраморный корабль. Пока возводился мемориал — Попов этим жил: хлопотал, нанимал людей, сам трудился до изнеможения. Труд и идея отвлекали его от бессмысленности жизни. Корабль готов. Надо что-то делать дальше. Попов прорыл от своего дома до корабля подземный туннель. Рыл один — с утра до вечера. По тоннелю приходил на корабль и тосковал. Пожалуй, он не сбрендил. Он любил, как сейчас говорят, по-настоящему. Многие считают: сегодня, в конце двадцатого века, нет ТАКОЙ любви. Бочаров думал иначе. Любовь во все времена одна. Люди — разные. Сейчас нет ТАКИХ людей. Итак, Попов потерял смысл жизни и мучительно искал этот смысл. Он узнал, что в Индии проживает мудрец или святой Вивекананда, и поехал прямо к нему за тридевять земель. Такое было время: затосковал — строй корабль или поезжай на другой конец света. Ищи выход.

Вивекананда — выход. Его мировоззрение легло на душу Попова как озарение, как благодать. Примирило его с собой, с миром. Попов вдруг осознал, что мир — родной дом. Страны — комнаты, люди — родственники: сестры, братья, дети. Можно спокойно ходить по комнатам, видеть родные лица. Ты не одинок.

Попов вернулся в Петербург. Ему было мучительно жаль людей, которые не знают Вивекананды. Он стал переводить его на русский язык. Кое в чем Вивекананда пересекался с Толстым. Было много общего в мировоззрении этих двух великих старцев.

Революция Попова не тронула, он никому не мешал — седобородый кроткий старик, должно быть, казался тихопомешанным. Но он был нормальный человек. Просто очень много знал и, как Бог, смотрел сверху на человеческую мельтешню. Смотрел не равнодушно и не брезгливо, а с пристрастием. Хотел завещать как детям — все, что знал и накопил. Его не слушали. Не до него.

Умер Попов своей смертью. Похоронили его возле корабля. Этот корабль и по сей день стоит на берегу маленькой речки. И могила там. Надо выяснить: где именно. Обязательно съездить.

Красивая история. Красивая жизнь. Бочарову стало чего-то жаль: может быть, юную жену Попова, погибшую в начале своего цветения, а может, себя. Мог бы он вот так, как Попов? Женился бы через год. А в Индию поехал бы заведующим пресс-центром на место Фролкина. И новую жену взял бы с собой. Она бы доллары копила. Доллар — твердая валюта. Хорошо было Попову выражать сильные чувства, когда у него имение, дворянство, наследство. На него работало не менее трех предыдущих поколений: прадед, дед, отец. А он, Бочаров, — сын Юхима. Что он мог унаследовать от отца? Страх. Перед войной Юхим боялся, что посадят. Во время войны — что убьют. После войны — опять посадят. Мало ли что придет в голову сумасшедшему вождю народов? Остался жить только потому, что был маленький, незаметный человек. Обычная человеческая щепа. Но тогда и щепки летели во все стороны, поскольку, как всем известно, рубили лес для строительства коммунизма.

Бочаров в сравнении с генералом Поповым нищ и наг. Но не в этом, не в этом дело...

Дверь открыли сразу. На пороге стояла молодая индианка в шерстяной советской кофте поверх сари. Сари и кофта сочетались странно. И именно по кофте было очевидно, как ей тут неприкаянно и холодно. Она улыбнулась Бочарову застенчиво и открыто одновременно.

Розалия сидела за столом, как стог сена. Потянулась к Бочарову двумя руками, как маленькая.

Бочаров поцеловал ее в мягкую щеку. Сел к столу. Привыкал к Розалии. Она всегда казалась ему запредельно старой, и двадцать лет назад и теперь. Кожа на лице и на руках в мелкой ряби, как будто ветер прошел по воде. Но в чем-то оставалась неизменной. Это неизменное смотрело со дна веселых глаз. Розалия с юмором стала рассказывать о своих болезнях, о том, как каждый день, садясь за стол, она торгуется со своими почками: «Я съем кусочек селедочки, то, что я люблю. А потом то, что любите вы: творожок и кашку». Почки не соглашались, но Розалия делала по-своему. Она всегда жила, как хотела.

На столе стояла еда, помещенная в розетки для варенья. Порции — кукольные. Бочаров боялся есть. Он только посмотрел: в одной розетке лежало что-то малиновое: свекла. В другой — темно-зеленое: морская капуста. Свеклу Розалия поставила для почек. А капусту для себя. Вокруг по

стенам — стеллажи с книгами и папками. Материалы об индийско-русских отношениях начиная с четырнадцатого века. Это бесценно, как, скажем, произведение искусства. Но Розалия пристраивает свои папки, как детей, чтобы не сдавать в детский дом. А в сущности, это и есть ее духовные дети, их надо пристроить, чтобы потом спокойно умереть. К фактору смерти Розалия относилась как к пересадочной станции. Доехала. Пересела. И дальше. До следующей станции. Путь бесконечен.

Освободиться от страха смерти — все равно, что сбросить мучительно тесную обувь. Как легко тогда идти!

— Кто это у тебя на галстуке, раки? — спросила Розалия.

— Кони, — ответил Бочаров.

На синем шелке галстука — красные полосочки в сантиметр. Вглядишься — это не полосочки, а бегущие кони. Как только Розалия заметила?

— Ты купил его в Дели, — опознала Розалия. — Я дружила в Дели с одним врачом. У него такой же галстук, только на нем маленькие рачки. На белом фоне черные рачки. Он его никогда не снимал.

— Почему? — удивилась Рашмина, и русское «почему» так же странно не совпадало с ее смуглым личиком и красным кружком на лбу.

— Он обнаружил у себя рак желудка и сам себе сделал операцию. Никому не доверял. Сам вырезал, ассистенты зашили. Он поехал домой.

— А это возможно? — не поверил Бочаров.

— В Бомбее изобрели обезболивающее средство, которое воздействует на болевой центр, а остальной мозг работает нормально. Не то что наш наркоз. Глушит наповал.

— А почему у нас его нет? — спросил Бочаров.

— У нас много чего нет.

— А как он теперь? — спросила Рашмина.

— Наркоз или врач? — уточнила Розалия.

— Врач.

— Здоров. Никаких рецидивов. Только вот галстук. Все-таки сбрендил слегка.

Бочаров всматривался в Розалию, сильно подозревал: она тоже сбрендила слегка. История с врачом была вроде реальна, такое могло произойти, но где-то размывалась грань реальности и все плыло, как мираж. Врач, сам взрезавший себя и копающийся в своих внутренностях... Молодая индианка в вигоневой кофте с чистым русским языком, полумистическая вечная Розалия. Еще немножко — и Бочаров перестанет понимать, где он, — в Ленинграде, в Москве или в Индии. А может быть, он качается в «Стреле» и ему снится сон.

Розалия переключилась на Попова, как будто была с ним знакома. А может, и была. Рашмина принесла четыре папки, положенные в зеленый целлофановый пакет с надписью «Станкоимпорт».

Розалия говорила о том, что из этой истории можно сделать советско-индийское кино, поскольку индийцы обожают кино. Тогда жизнь Попова разольется широко, но мелко. Кинематограф действует вширь. Вглубь действует проза. Если копать глубже, то надо писать документальную прозу. Для русских лучше проза. Для индийцев — кино, потому что они сентиментальны, предпочитают чистое чувство.

Бочаров слушал и осознавал: Розалия может говорить только об Индии и о том, что с ней связано. Человек одной идеи. Ровесница века. Родилась в 1900 году. При ее жизни случились события: революция, нэп, тридцать седьмой год, война, победа, застой и оттепель. Розалия все это знала, но события текли мимо нее, как пейзаж за окном поезда. Она была совершенно аполитична.

И вместе с тем Бочаров понимал: чтобы делать в жизни что-то по-настоящему, надо делать только одно. Рафаэль расписывал купола и по два года не сходил вниз. Жил на лесах. Ему туда приносили еду. Туда залезали женщины. Когда он спускался вниз, то разрезал сапоги, иначе было не снять. После этого остаются купола. После Розалии — папки. Даже если их раздать, они все равно есть. А что останется после него?

— А там еще стоят камни? — спросила Розалия.

— Где там?

— Под Мадрасом. На берегу.

— Стоят, — сказал Бочаров, хотя ничего не понял.

— А мама твоя как?

— Спасибо.

Было душно. Хотелось есть. Розалия оживлялась на глазах, а Бочаров опадал, как резиновая надувная игрушка. Ему казалось, что Розалия при большой массе имеет очень слабый заряд и как бы подпитывается им, Бочаровым. Она подсоединилась к нему и тихо качает энергию.

«Сейчас, — сказал он себе. — Договорит — и я уйду».

Розалия снова метнулась к Попову, к жанру документальной прозы, стала перечислять документы, имеющиеся в папке, фотографии, чертеж корабля, подлинник перевода Вивекананды.

«Сейчас»... — говорил себе Бочаров и оставался сидеть, как под гипнозом. Наконец он оторвал себя от стула. Почти выдавил себя из квартиры. Но и в последнюю секунду надо было что-то говорить и обещать.

Он ушел, держа в руке пакет с папками. Остановился на берегу Фонтанки. Долго дышал. Силы медленно возвращались. Казалось, он приходил в себя после обморока.

Официантка взяла заказ.

Бочаров установил закономерность: молоденькие официантки высокомерны, словно за их молодость надо доплачивать. А возрастные официантки — душевны. Как бы извиняются за жизненный стаж. Бочарову попалась высокомерная. Записала заказ, будто сделала большое одолжение.

Бочаров вздохнул. В Мадрасе он был белый сахиб — белый господин. Короля играет окружение. Окружение Бочарова — а именно шофер Атам, повар, нянька — постоянно напоминало, что он белый господин. Сначала Бочаров смущался, потом привык. К хорошему быстро привыкаешь. Он вдруг вспомнил про камни на берегу Индийского океана. Розалия не сбрендила. Камни действительно стояли. Под Мадрасом, где они купались, в океане было место с глубокой воронкой. Поговаривали, в ней жила акула. Против этого места поставили камни, чтобы люди не купались. Какая теплая, тугая вода в океане.

Хорошо было тогда в Мадрасе. Особенно, если смотреть из сегодня. Бочаров был молод, и жена молода. Они и сейчас в расцвете, но это уже вторая молодость. А тогда была первая. За сыном ходила тихая бенгалка. Она никогда не делала ребенку замечаний. Просто ходила — и все. И сын вырос спокойный, недерганый. Потому что его не дергали воспитанием, а просто любили. Бочаров был убежден: в начале жизни человек должен познать нерассуждающую, всеобъемлющую любовь. И тогда он вырастет счастливым.

После Индии Москва казалась холодной, пасмурной. Яблоки, купленные в овощных магазинах, даже отдаленно не пахли яблоками. Были безвкусны, с каким-то лекарственным привкусом, как пенициллин. Солнце ушло за серые тучи, а из серых туч сыпанул дождь со снегом. И отношения с женой испортились, стали как магазинные яблоки...

Красивая певица взяла микрофон и запела песню из репертуара Пугачевой. Она была гораздо красивее Пугачевой и пела не намного хуже, а вот поди ж ты... Пугачева известна на всю страну, а девушка поет в ресторане. Наверняка Пугачева устала от славы, а эта девушка жаждет ее превыше всего. Бочаров подумал, что такая же расстановка сил у него и Фролкина. Фролкин — во главе фирмы. Ему давно все надоело. Он как старый перекормленный кот, который не ловит мышей. Лень двигаться. А Бочарову сорок — золотое сечение, когда форма и содержание на какое-то время встречаются. В молодости отстает содержание. В старости с содержанием все в порядке, но форма... А здесь одно и другое слиты воедино. Бочаров — как конь, в котором играет каждый мускул, а его держат в стойле. Стойло, правда, комфортное. Но в хлеву.

Официантка принесла салат «оливье». Бочаров подозрительно посмотрел на горку, залитую майонезом. Неясно — что ешь и чем это для тебя кончится. Он не доверял нашему общественному питанию. Плохое мясо долго вымачивают в уксусе. Жевать вроде не сложно, но на вкус напоминает прессованные опилки.

Бочаров вспомнил, как его повар готовил курицу. Белое мясо клал на кусок поджаренной корейки. Постное куриное мясо прослаивалось жирком и копченым духом. Бочаров ел одно, а вспоминал о другом.

Люди танцевали в центре зала. Веселились простодушно. Бочаров любил смотреть на чужое веселье. Ему становилось чего-то жаль. Может быть, их, которые в своей жизни слаще морковки ничего не ели. Может, себя, оставшегося в четырнадцать лет сиротой. Может, их и себя — вместе, потому что чувствовал свою с ними неразрывную связь. Когда долго живешь за границей, да еще в другой культуре, — чувствуешь эту самую неразрывную связь. И никакая курица на тундуре не заменит.

Выходит, человек не птица. Где тепло, туда и летит. Человек — дерево. Где посадили, там ему и быть, там его корни и крона. А когда корни в одном месте, а крона в другом...

Певица окончила песню, переглянулась с пианистом. Тот закрыл крышку. Переглянуться — сколько это занимает времени: секунду, две? Но за эти две секунды Бочаров понял: любовь. Скрестились в пространстве два луча энергии. Пианист, конечно, — ложиже, невзрачный мужичок, зато лидер. Не то что Бочаров — застоявшийся конь. Чему он завидовал в жизни по-настоящему — это красивой семье, где все в одном мешке: секс, дом, дело, дети, спорт, деньги, нежность, общая могила...

Певица темпераментно закричала новую песню. Пианист наотмашь лупил клавиатуру.

Они показались Бочарову навязчивыми. Он расплатился, пошел из ресторана.

Женщина-администратор странно посмотрела на него из своего загончика. Бочаров замедлил шаг. Но генерал Попов незримо глянул на него, как бы наблюдая поведение своего биографа. Бочаров смутился и пошел пешком по лестнице. В сравнении с Поповым он нищ и наг, но не в этом, не в этом дело. Попов служил Богу, Царю и Отечеству. А кому служил Бочаров прошедшие двадцать лет? Брежневу и его тринадцати апостолам.

Бочаров дошел до своего номера. Настроение почему-то испортилось: то ли из-за несвежего майонеза, шибающего уксусом, то ли из-за певицы — черт его знает. Но Бочаров был не из тех, кто попадал под настроение. Он умел им управлять. Первым делом — душ. Вторым делом — сон. Бочаров влез в ванну. Потом переоделся в пижаму. Подошел к окну, задернул штору, чтобы солнце утром не расстреляло в упор его сон. И вдруг на подоконнике увидел божью коровку — настоящую, оранжевую, с черными точечками. Как она здесь оказалась? Видимо, упустила время зимней спячки и теперь у нее бессонница...

Бочаров посадил божью коровку на руку. Она стала пробираться по его волосатой руке и, вероятно, думала, что ползет среди травы. «Бедная... — испугался Бочаров. — Как же она проживет?»

Он снова оделся, вышел в коридор. За столиком против лифта сидела пожилая коридорная. Возле окна был расстелен диван, коридорная приготовилась ко сну, хотя спать им не положено.

Бочаров подошел, стараясь ступать неслышно, будто боялся спугнуть ее предстоящий нелегальный сон.

— Извините, пожалуйста, вы не знаете, чем питаются божьи коровки? — виновато спросил он. И добавил: — Такие жучки. В лесу живут.

— Это их птицы едят. А они... зелень, наверное. Траву. Что же еще?

— Спасибо, — поблагодарил Бочаров.

— Вы разгадываете кроссворд? — спросила коридорная.

— Да. Спасибо.

Бочаров увидел в конце коридора фикус, и у него созрел план.

Он вернулся в номер, достал из несессера маленькие ножницы. Пробрался к фикусу и настриг от его жесткого листа зеленую лапшу. Сжимая зелень в кулаке, а кулак пряча в кармане, он вернулся в номер. Божья коровка сидела на прежнем месте и доверчиво ждала.

— Сейчас, — сказал он коровке. — Сейчас, моя хорошая...

Бочаров достал спичечный коробок. Вытряхнул спички, выстелил дно зеленью и сверху посадил божью коровку. Задвинул крышкой. Потом продырявил в крышке три дырочки и положил коробок под зажженную настольную лампу. Теперь в ее домике был воздух и свет. Божья коровка могла вполне вообразить, что она в траве под солнышком.

Устроив божью коровку, Бочаров лег спать. Совесть его была спокойна, перспективы определены. Но сон не шел. Божья коровка пустила его мысли совершенно по другим виткам. И в обратном направлении. Неожиданно вспомнились молодость, стажировка в Дели после университета. Обезьяны, живущие на воле у стен мертвого города. У русских «давно» — это восемнадцатый век. А у индийцев — «давно» — это второй век. Да и то не очень давно: у них все связано: второй век, двадцатый, тридцатый. Как вчера, сегодня, завтра... Но не в этом дело. Однажды выстроили город, вырыли колодцы. И вдруг ушла вода. Видимо, подземная река изменила свое русло. Без воды нельзя жить. Люди бросили город и ушли.

Перед стеной пасутся мартышки с подвижными человечьими личиками, просят у людей еду. Одни просят, а другие требуют, хватают за одежду, агрессивно скалясь. Однажды Бочаров видел задумчивую мартышку. Она кого-то поджидала у самой дороги, вглядываясь напряженно, и при этом чистила банан. Ее узенькое, низколобое, ушастое и глазастое личико отражало проблему выбора: ждать или уходить. Бочаров не верил прежде в дарвиновскую теорию о происхождении человека. Ему казалось, что обезьяны — это другая ветвь эволюции, не имеющая к человеку никакого отношения. А сейчас усомнился. Дарвин, пожалуй, прав. Но при чем тут Дарвин, мартышка, мертвый город?..

В городе исчезла вода, и люди ушли. Без воды нельзя жить. А еще нельзя жить без правды. Правда — это тоже вода. А в жизни Бочарова правды нет. Значит, он живет в мертвом городе.

В чем вранье? Прежде всего в профессии. Бочаров выпускает журнал, который пропагандирует советский образ жизни за рубежом.

...«Самый привилегированный класс в нашей стране — это дети». А по детской смертности, как выяснилось, мы занимаем первое место среди цивилизованных стран. Дальше идет какая-нибудь Уганда.

...«Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет»...

Старики получают нищенскую пенсию — шестьдесят рублей в месяц. Только бы не умереть с голоду. Не умереть, но и не жить.

Бочаров думает одно, пишет другое. Официально врет. И за это ему платят зарплату замминистра и дарят челночную жизнь, возможность пожить ТАМ, почувствовать себя белым господином.

За границей — тоже вранье! Копят, жмутся, жены ругаются, сплетничают. Люди собраны на маленьком пространстве, как крокодилы в террариуме, — горят низкие крокодильи страсти. Жена, человек искренний, не любила эту челночную жизнь, но горячо одобряла ее последствия. Она любила выжимать соки из соковыжималки «Мулине», перекручивать мясо на мясорубке «Мулине», складывать продукты в японский холодильник, жарить мясо на тефлоновой сковороде. Заказывать шубу по каталогу «Квели». Пить виски с черной этикеткой, хотя через какое-то время ей было все равно чем напиваться. Жена любила последствия такой жизни, но уставала от самой жизни. Время от времени ей хотелось все разбить и разметать. Но разбивать нельзя, за этим ездили за границу. Поэтому раздраивала себя, заливала спиртом по горло, по самое темя, чтобы залить мозги, ничего не помнить. Время от времени жена впадала в запой. Приходилось ее прятать. Узнают — выселят в двадцать четыре часа. Бочарову все время казалось, что он носит шило в мешке, и это шило может высунуться из мешка каждую секунду.

Однажды запой затянулся на неделю, жена приняла снотворное, чтобы отключиться, заснуть. Спирт и транквилизатор не сочетаются. Ей стало плохо. Надо было вызвать врача. Врач придет, зафиксирует алкогольное опьянение — и конец всему.

Жена смотрела на Бочарова, как раненый зверь, а он стоял и плакал. Не то чтобы материальные блага были главнее, чем ее жизнь. Он плакал от своего бессилия, от невозможности ТАК жить и невозможности отменить эту жизнь. Ведь он для них старался — для жены и сына. Для них продавал душу.

Бочаров вспомнил, как обходились, выкручивались коллеги-международники. Шурик Цыганов — с легкостью. Он был жадный человек. За границей все жадные, но Шурик обладал какими-то особыми талантами по этой части. Однажды упал в голодный обморок, как первый нарком пищевой промышленности. Но тот — от честности, этот — от жадности. Он мог бы умереть за деньги. Деньги — его идея, как свобода для Спартака. Если бы ему сказали: «Шурик, на́ миллион и выскочи с шестнадцатого этажа», —

долго бы думал. Не сразу согласился. Все же думал. И выпрыгнул бы. Умирают же за идею.

Юра Крюкин — тихий человек в большом чине — не любил политику, прятался от нее за хрупкую спину Марины Цветаевой. Каждый день ходил в библиотеку, заказывал нужные книги, собрал все иноязычное творчество Марины Цветаевой, включая ее переписку на немецком языке. Собрал, откомментировал — получилась большая рукопись.

Крюкин не может бросить работу, его некем заменить. Оказывается, есть незаменимые. Незаменимый Крюкин мечтает стряхнуть с себя Запад и Восток, вернуться в родную Москву, а вернее, под Москву, на дачу, к деревьям, птичкам, к письменному столу. Но это можно только по выходе на пенсию. Настоящая жизнь начнется с шестидесяти.

Бочарову вдруг мучительно захотелось другой участи. Все бросить, уйти на вольные хлеба. Зачем врать индийцам, когда можно говорить правду своим? А сможет? Не разучился за двадцать лет? Это у индийцев двадцать лет — миг. А у него — половина сознательной жизни. Лучшие годы — на что потратил? На соковыжималку «Мулине».

Бессонница набирала силу. Мысли рвались, жевались, как советская магнитофонная пленка. Ни с того ни с сего вспомнилось, как комитетчик Боря Мамин увез жену у всех на виду. Открыл дверцу машины, сказал: «Нина, поехали».

И она села в его машину и укатила. А все стояли во дворе и смотрели — русские и индийцы, шофер Атам и нянька — старая бенгалка, и все его бюро в полном составе. Все видели, как один белый господин увез у другого жену.

Комитетчики — каста неприкасаемых. Но в ином смысле, чем у индийцев: неприкасаемые работают в туалетах, к ним нельзя прикоснуться — противно. А к Боре Мамину нельзя — потому что нельзя.

Жена вернулась довольно быстро, через час. Хотя за час — он это знал — можно успеть многое. Жена сказала, что посидели в кафе. Никто не видел, как она вернулась, к этому времени все разошлись. Но все видели, как она уезжала. Бочарову казалось, что на него стали поглядывать иначе, чем раньше. Не в глаза, а чуть выше, на темя, где у молодых бычков зачинаются рога.

Жена обиженно таращила на Бочарова голубые глазки. Они были некрупные, но поразительно ясного, чистого тона. Сама ясность и чистота.

Потом Боря Мамин стал к ним заходить. Они даже подружились, Боря даже пытался приторочить Бочарова к своим делам, но Бочаров не стал приторачиваться. Он — средство массовой информации, и с него хватит простого вранья. Боря не настаивал. Дружбе это не повредило. Но Бочаров знал цену такой дружбе: у них могли быть самые искренние отношения, но если НАДО для дела, Боря мог в одночасье зачеркнуть и Бочарова, и его жену, и голубые глаза бы не спасли. НАДО — для таких, как Боря Мамин, — выше общепонимаемой человеческой морали. Если надо, он может мгновенно выключить прежние чувства и включить другие, как телевизионные программы. Раз! И уже другое изображение. Был концерт, стал футбол. Или ничего не стало. Какая-то неведомая Бочарову надчеловеческая или подчеловеческая мораль.

Но Мамин, в отличие от Бочарова, ни в чем не сомневался. Он верил в свое дело, а значит, — в свою жизнь.

В спичечном коробке зашуршало. Бочаров поднял голову, прислушался. Может быть, от Бочарова шли волны бессонницы, и это мешало заснуть божьей коровке. А может, коровка мешала Бочарову. Не спала, волновалась за детей и за родителей: не склевали ли их воробьи или вороны?

Бочаров посмотрел на часы. Четыре часа. Надо бы выключить лампу, но жалко коровку. Бочарову всегда кого-то жалко, только не себя. Это у него наследственное. От мамы. Бочаров положил на глаза рубашку и стал считать. На счете тридцать семь — точно знал: его город — не мертв. В одном из колодцев есть хрустальная вода. Ее зовут Маша. О ней никто не знает, но она есть.

Маша — журналистка, молодая, коротенькая, как кочерыжка, с личиком ангела Возрождения. Умная, как мужик, и простодушная, как ребенок. Всему верит, будто вчера на свет родилась. Бочаров любит ей пожаловаться, это у них называется «булькать». Он булькает — она слушает, внемлет, сострадает до конца и душу свою подставляет, как таз. Хочешь, соверши омовение над сим сосудом. Хочешь — вытошни все, что в тебе лишнее. Примет и будет счастлива, что тебе легче. Будет заглядывать в глаза.

Приходится, правда, удирать с работы. Опять врать: дескать, пошел на интервью или в библиотеку. Удирал, как правило, после обеда. В два часа. А вернуться домой надо в семь. Жена ждет, смотрит на часы. Если опоздаешь — не разговаривает, и духота в доме, как перед грозой. Однажды заявила: если что — отравится. У нее уже все приготовлено и спрятано в заветном месте. Бочаров отмахнулся: не говори ерунды. Но испугался. Знал, — может. Войдет в запой и отравится. Назло ему, себе. Она такая. Максималистка. Ей все — или ничего. Войдет в черную спираль, откуда выход только один — в космос. И тогда — как жить? Как смотреть в глаза сыну? Поэтому лучше не опаздывать и возвращаться в семь. Чтобы попасть домой в семь, надо уйти от Маши в шесть. В пять Бочаров начинает поглядывать на часы, и настроение портится от скорой разлуки. Но с двух часов, когда едет к Маше, и до пяти — три часа — ПРАВДА. Он говорит, говорит... Булькает обо всем: о том, что поменяет работу, уйдет на вольные хлеба, станет настоящим журналистом. Он обязательно вырвется из мервого города и побежит, побежит... И ветер в лицо. Маша слушала и дышала этим новым ветром. Он накалывал ее, как стрекозу на иглу. И она трепетала и погибала. И улетали оба в ПОКОЙ, — вся энергия уходит из человека, он умирает, душа высвобождается и летит. Этот полет и покой знают только что умершие люди: какое-то особое чувство освобождения, радостного растворения, слияния с космосом. Недаром индийцы обожествляют любовь.

Они лежали на самом дне Покоя. Потом она говорила: «Я люблю тебя». Он отвечал: «Я люблю тебя». Это был не диалог:

— Я люблю тебя.

— И я люблю тебя.

Это была перекличка. Позывные в космосе:

«Я люблю тебя...»

«Я люблю тебя...»

Правда. Бочаров чувствовал ее каждым своим человеческим слоем. Почему нельзя так жить всегда? Во всем. Почему он всегда чего-то боится? Врут, когда боятся. Чего? Что семья останется без средств, что друг обидится, жена отравится. Он учитывал всех, кроме себя. С этим ничего не поделаешь. Такая же была мама — жена Юхима, девушка из белорусского села. Ей казалось, — все умнее ее, все больше знают. Хуже нее только кошка. И та не хуже.

Бочаров вспомнил, как умерла его мама. Хотя что значит «вспомнил»? Он не забывал об этом никогда. У мамы появилась изжога. Районный врач предложил сделать рентген желудка. Мама панически боялась кабинетов и процедур, но неудобно было возразить врачу. Он может воспринять это как недоверие. Мама пришла в назначенный день. Хамоватая медсестра протянула поллитровую банку с барием. Мама не могла пить барий, ей казалось, что это разведенный зубной порошок. Она замешкалась. Медсестра открыла рот, но в этом случае правильнее сказать — разинула хавальник, как говорит его сын. Молодежный сленг. Хавать — значит жевать. Рот у таких людей только для пережевывания и хрюканья, как у свиней. Но свиньи — более человечны. Они не притворяются людьми.

Короче говоря, медсестра разинула хавальник на тему: больных много, а она одна, и каждый будет кочевряжиться, а она должна выдерживать за копейки. При этом глаза ее были набиты злостью, как стеклами, и волны ненависти окатывали маму.

Мама смутилась, что позволяет себе такое антиобщественное поведение. Ей стало жалко медсестру, и, чтобы не загружать собой, она поднесла банку ко рту. Мама знала, что не сможет проглотить. На какую-то секунду маму охватил ужас, она сделала глоток. И у нее случился инсульт. Два года после этого она лежала парализованная, а потом умерла.

А ведь все могло быть по-другому. Когда медсестра начала хамить, надо было плеснуть ей в рожу барием. Повернуться и уйти. Сестра пошла бы в туалет, умылась, утерлась казенным вафельным полотенцем. И через

час — забыла. И мама бы жила до сих пор. И все было бы нормально, все хорошо. Но мама не могла вот так — решительно. И Бочаров — не может. И не сможет. Он вдруг понял, что не сможет, — и заплакал. Его никто не слышал, кроме божьей коровки. Бочаров плакал в подушку и звал: мама...

А потом заснул в слезах, как в детстве, и ему снился странный, беспокойный сон, как будто он увидел на лестнице жулье с крадеными чемоданами и впустил их в свою квартиру, чтобы скопом сдать в милицию. А жулье поселилось у него и осталось жить, и устроили на кухне пожар. А он ничего не может сделать.

Проснулся Бочаров, как всегда, в семь утра. Это было его время. Когда бы ни лег — просыпался в семь утра. Настольная лампа горела. Под ней лежал спичечный коробок.

Бочаров заглянул в коробок — он был пуст. Зеленая лампа на месте — а коровки нет. Бочаров оглядел пол, отодвинул кровать. Проверил подоконники. Заглянул в ванную.

«А была ли она?» — усомнился Бочаров. Потом подумал: бог с ней, была, не была — какая разница.

Он сделал жесткую гимнастику — приседал двадцать раз на подскоке. Выжимал свое тело, подскакивал и снова приседал до конца. Разрабатывал колени, накачивал ноги, давал нагрузку сердцу, возвращая телу силы и уверенность.

Нервный срыв остался в ушедших сутках. Начинался новый день, где все должно быть нормально, все хорошо.

А что плохого? Прочная семья, желанная возлюбленная, работа по специальности. О вольных хлебах не может быть речи. В сорок лет он будет бегать по редакциям, как студент-стажер.

Бочаров стал под душ: горячий, холодный. Холод жег. Он выскочил, растерся полотенцем. Увидев себя голого, подумал вдруг, что неандертал с дубьем выглядел так же и человек мало изменился с тех пор.

Бочаров надел свежую белую рубашку, повязал галстук. И пока выстраивал узел — придумал: можно связаться с миллионером Хаммером, предложить ему совместный советско-американский журнал. А Бочаров — во главе журнала.

Можно стать пресс-мэном, крутиться колбасой с утра до ночи, ездить в Америку, как к себе на дачу. А можно все бросить, отправить жену на работу. А самому засесть, как Юра Крюкин, и написать книгу о Попове, донести до сегодняшнего человека Вивекананду.

В тихий кабинет, один на один с Поповым, Вивеканандой. Другая жизнь. Иная участь.

Можно крутиться, крутиться, крутиться — взбить воздух до густоты — так, чтобы ходить по воздуху. А можно осесть и замереть, лечь на дно, как подводная лодка.

Бочаров оглядел себя в зеркале: не неандертал. Современный человек. В расцвете сил. Живет в определенную эпоху, в 80-х годах двадцатого века. Каждое время предлагало своих лишних людей. Сегодня от тебя самого зависит — стать лишним или не лишним.

Бочаров вышел в коридор. Запер дверь.

Коридорная сменилась. Сидела другая женщина, не потерявшая доверия к жизни... В знак доверия ее глаза были густо запорошены голубыми тенями.

Бочаров отдал ей ключ. В этот момент к коридорной подошел черновсклокоченный человек в финском спортивном костюме. Дождавшись, когда Бочаров отошел к лифту, он тихо, озабоченно спросил:

— Девушка, вы случайно не знаете, чем питаются божьи коровки?

●

Леонид БЕЖИН

Маяк над островом

К СТОЛЕТИЮ ПУТЕШЕСТВИЯ А. П. ЧЕХОВА НА САХАЛИН

Последнее время часто мечтал вслух: — Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот...

И. А. Бунин. «О Чехове»

I

...Почему же все-таки? Почему же все-таки он поехал? В этом длинном кожаном пальто, которому в письмах слагал хвалебные оды («Дивное пальто. Оно спасло меня от простуды»), с зашитыми под подкладку ассигнациями, с дорожным сундучком, где была спрятана икона и завернут в тряпочку револьвер, приготовленный на тот случай, если по дороге нападут разбойники. Слава Богу, не напали — в этом смысле езда по сибирскому тракту оказалась безопасной. Но если бы? Неужели смог бы взвести курок, прицелиться, выстрелить? Он-то, доктор Чехов, Антов Павлович?! Нет, скорее неловко размахнулся и запустил бы этим револьвером, как Николай Ростов во француза. В том-то и дело, что и грозный револьвер, и трогательно зашитые под подкладку деньги выдают человека, больше привыкшего к дому, чем к дороге. Да, да, истинный домосед так и готовится к отъезду: кропотливо, осмотрительно, с оттенком боязни, потому что дорога для него иное с о с т о я н и е. Как река для человека, не умеющего плавать, и вот он по камушкам, по досточкам, по торчащим из воды островкам... лишь бы не терять устойчивой опоры под ногами.

По письмам видно, как накануне отъезда овладевало Чеховым это преддорожное чувство... как его определить?.. Пожалуй, точнее всего словами Камю: «легкое отвращение перед будущим, называемое тревогой». Он, конечно, не признается в этом чувстве (пожаловаться, поплакать в жилетку не в его духе), но оно незримо овевает исписанные им листочки, сквозит между строк. И уложенные в сундучок вещи для него — те же камушки. Наверное, и матушка Евгения Яковлевна, и сестра Мария Павловна, собиравшие его в дорогу, по десять раз загибали на руке пальцы, стараясь все предусмотреть, ничего не забыть, и как, наверное, собой гордились, когда захлопнули крышку, повернули ключик в замке и вручили дорогому Антоше: с таким сундучком хоть в Америку! Но оказалось, заранее всего не предусмотришь, и какая там Америка... на первых же станциях их Антоша обнаружил, что самого-то нужного как раз и не хватает (не захватил мешочек для чая и не догадался заранее купить бертолетовой соли), и сундучок изрядно намял ему бока тупыми углами, пока он не догадался поменять его на «какую-то чепуху, которая рабски распластывается на дне повозки».

Дорожное состояние для Чехова так и осталось состоянием человека, оторванного от дома, иначе он не написал бы: «И вот я сижу в избе, стоящей в озере на самом берегу Иртыша, чувствую во всем теле промозглую сырость, а на душе одиночество, слушаю, как стучит по гробам мой Иртыш, как ревет ветер, и спрашиваю себя: где я? зачем я здесь?» Шум разливше-

гося Иртыша он сравнивал со странным звуком, похожим на то, как будто под водой стучат по гробам,— невеселое сравнение! В этом смысле он не Максимов и не Якушкин, для которых дорога была именно домом, он — Чехов, страдавший от дорожных неудобств, от того, что случайный попутчик назвал его на «ты», а старуха в сибирской избе, подавая ему чайную ложку, «вытерла ее о задницу». Неспроста же совпали слова Камю с преддорожным чувством Антона Павловича: если бы применить к Чехову экзистенциальный анализ, он открыл бы в его душе некий бытийственный холодок, некую застылость самого вещества, наполняющего нервные клетки. Было, было это в Чехове, хотя преданные ему чеховеды так любят подчеркивать: широкий, гостеприимный, «хлебосольный, как магнат». И рост у него был почти два метра, и с яхты он нырял в открытом море — этакий силач-богатырь, не Чехов, а Гиляровский в запорожских шароварах и вышитой украинской сорочке. Но вот что пишет этот силач с палубы парохода: «Мне не весело и не скучно, а так какой-то студень на душе. Я рад сидеть неподвижно и молчать. Сегодня, например, я едва ли сказал пять слов. Впрочем, вру: разговаривал с попом на палубе». Без этого холодка, без этого странного оцепенения, овладевавшего им в дороге, не было бы загадки Сахалина и мы не спрашивали бы себя, почему ов поехал. Но ведь загадка-то есть, и мы спрашиваем: почему?! Почему?!

Ответом на этот вопрос принято считать «Сахалин», книгу о каторжном острове. Она занимает особое место во всех собраниях сочинений Чехова и очень редко издается отдельно. Как будто без поддержки соседних томов этот томик словно бы и не чеховский — слишком мало в нем привычного Чехова. Иногда кажется, вот-вот оно и появится, это чеховское,— уже мелькнуло, забрезжило в рассказе Егора или описании прогулок с доктором, но, помелькав, поискрившись, тотчас же и погасло. Какую-то иную задачу он здесь перед собою ставит — не литературную, а жизненную. Это очень важно понять: «Сахалин» для Чехова не книга, а поступок. Вот почему форма этого сочинения так открыта, прозрачна — ее как будто и нет вовсе. Чехов не прячется за приемы, за беллетристические ходы,— он весь перед вами. Не писатель, а человек. И тут-то замечаешь, что человек немножко слабее писателя. Совсем немножечко, но — послабее. Слишком уже он скрупулезен в перечислениях, слишком старается все предусмотреть, ничего не забыть — словно не книгу пишет, а дорожный сундучок укладывает. Не оттого ли, что внутренне чувствует свою отдаленность от этой каторги, этих заключенных, снимающих перед ним шапки, этих гремящих ключами смотрителей? Отдаленность, отстраненность, отчужденность — называйте как угодно, но чувствует, чувствует. Это сказывается в самом непроизвольном — интонации повествования. Очень трудно определить, какая она. Ну, сдержанная, спокойная, сосредоточенная — допустим. Понятно, что Чехов не рвет на себе рубаху и не впадает в обличительный тон, рассказывая об ужасах Сахалина, но что-то еще есть в этой интонации... какой-то слегка мешающий призвук. Скажем, капает вода из крана или подрагивает от ветра стекло, и вот не хочешь замечать, а замечаешь. Так и с «Сахалином»: читаешь и невольно ловишь себя на мысли, что между автором и описываемым им предметом — дистанция. Слишком уж он наблюдатель, слишком уж он приезжий. Похаживает, посматривает, заносит в книжечку. И хотя временами срывается на пафос, его основная задача быть строго научным, точным, позитивным. Как в статистических карточках, которые он заполнял: имя, фамилия, вероисповедание...

Разумеется, за интонацию не упрекнешь, как нельзя упрекать за почерк или манеру походки. И, конечно, никуда не деться от факта, что скрупулезно заполненные Чеховым карточки вызвали бурю откликов по всей России. Но это уже результат, нас же в данном случае интересует процесс. И тут-то снова возникает вопрос: почему же он вписал эту не свою книгу? Привлечь внимание к положению на каторжном острове? Таким ответом можно было бы удовлетвориться, если бы Чехов сочинил о Сахалине повесть или рассказ — такой же, как «Гусев» или «В ссылке», но почему не свою? Почему единственный раз за все время предпочел не написать, а прожить этот каторжный Сахалин, хотя именно писание защищало его от жизни, а не жизнь от писания? Здесь мы касаемся, быть может, самого потаенного в Чехове, бытийственного, экзистенциального. Касаемся его религии — не в узком, а в широком значении слова. «Хочется вычеркнуть из жизни год или полтора» — это уже не привычный для нас образ Чехова, не пенсне на шнурочке, не чеховская улыбка, а самая предельная жизнь, овеянная тем, что за чертой, за горизонтом, за последним пределом. И понять это можно не столько через чеховедение, через ученые размышления о Чехове, сколько через прямое со-переживание, со-причастие чеховской жизни.

С таким сопереживанием я столкнулся однажды, и произошло это в том самом доме на Садово-Кудринской, откуда Чехов уезжал на Сахалин. Произошло вопреки всем ожиданиям, поскольку назначенное на этот день обсуждение новой повести о Чехове, опубликованной журналом «Звезда», сразу как-то не заладилось: зал был наполовину пуст, люди сидели разрозненными группками, а то и поодиночке — верный признак того, что попали сюда случайно. Послушают, похлопают и разойдутся. Да еще столпятся на лестнице, обгоняя друг друга, чтобы поскорее взять пальто в раздевалке. Такие мысли невольно возникали и у меня, и у автора повести, но что поделаешь — выступать-то надо, и поскольку мне предстояло открывать вечер, я первым поднялся на сцену, стараясь не останавливаться взглядом на пустых креслах и не замечать скучающего выражения лиц. Но стоило произнести несколько слов, и в воздухе словно обозначилось некое движение, а затем я почувствовал, как соткалось из невидимых нитей нечто в равной степени важное и для меня, и для зала — Чехов. Как только он появился, сразу заполнилась пустота, рассеялся холодок скуки, исчезла разрозненность между группками, и зал объединился в едином порыве любви к своему писателю.

Люди заговорили, и особенно мне запомнилось выступление девушки — кажется, ее звали Женей. Да, да, именно Женей, потому что имя невыразимо соответствовало чертам ее необычного облика — длинным худым рукам, простому гребешку в волосах, бледному лицу с наполненными светом глазами и даже черному свитеру, в который она была одета. Черный цвет — монашеский, вот и в Жене было нечто монашеское, нестеровское, от «Христовой невесты». Не то чтобы она внешне напоминала героиню этой картины, но изнутри была озарена той же духовностью, напряженной до экзальтации, до порывистой устремленности к ближнему, готовности всем делать добро. Признаться, поклонники Чехова мне всегда представлялись иными,— слишком разные это стихии, Чехов и Нестеров, монашеская Русь и уездная Россия. И вот неожиданное сближение... Когда дошла очередь до Жени, она встала, прижала к груди тетрадочку с торопливыми записями, начала говорить и о повести, и о Чехове, и о себе, и о чем-то связывающем ее с Чеховым, и меня поразило, что эта связь способна быть такой насущной, такой безусловной, такой последней связью, которая обрывается вместе с жизнью. Оказывается, Чехова можно не только читать, размышлять над его героями, находить поддержку в тех или иных вопросах, но можно спасаться Чеховым, как спасались раньше духовным Словом. И я понял, что надо поехать... поехать вслед за Чеховым... на Сахалин... увидеть людей, живущих в тех местах, по которым он проезжал... увидеть описанные им города, села, моря и реки... и быть может, тогда мне откроется загадка его книги.

А тут и случай представился, и попутчик нашелся — прозаик Петр Паламарчук, и вот уже позади остался Ярославль, где Чехов пересел с поезда на пароход «Александр Невский», и мы плывем по Волге, легкий туман стелется по воде, а на берегу видны стога, перевернутые рыбачьи лодки и сухие сосновые леса, загорающиеся на солнце янтарным светом.

II

...Оба тихие, молчаливые, муж и жена. Она — совсем маленькая, худенькая и как бы даже слегка запуганная: кажется, что ей постоянно хочется спрятаться, сжаться в комочек, приникнуть к столу и втянуть голову в плечи. Поскольку встречались мы чаще всего за обедом, я успел заметить, что ест она очень медленно и подчеркнуто аккуратно, соблюдая все правила этикета, и лицо ее при этом выражает уверенность: чем больше людей вокруг, тем больше правил. Ее молчание обычно сопровождалось либо протяжным вздохом, означавшим внимание к словам собеседника, либо заинтересованным покачиванием головы, либо задумчивым, исполненным уважительного участия взглядом. И еще, пожалуй, слегка грустной улыбкой, с которой она выслушивала даже самые смешные истории, рассказываемые за столом. Да, да, она никогда не смеялась, словно смех для нее был уже неким нарушением, посягательством на правила, неким запретным действом, из суеверия

избегаемым ею: смех как бы поднимал ее над всеми, а ей, будто полевой мышке, хотелось юркнуть в норку, замереть и не высовываться.

Он тоже редко смеялся, но его серьезность была иной,— не задумчивой и мечтательно грустной, а как бы оценивающей и недоверчиво вопросительной. Да, да, он словно смотрел и спрашивал: «Ну, что вы мне предложите такого, чтобы мне было с вами интересно? Чтобы я мог поговорить с вами на равных?» В обычных застольных разговорах он не участвовал, вяло насаживал на вилку кусочки мяса и отправлял в рот, и лишь однажды оценивающая вопросительность во взгляде сменилась цепкой заинтересованностью. После стоянки в одном из волжских городков заговорили о его достопримечательностях, о музеях, о картинной галерее, о живописи, и наш спутник отложил вилку, задумался, собрался с мыслями и стал перечислять увиденные полотна. Причем останавливался отнюдь не на самых известных, а с пониманием произносил имена Туржанского, Рылова, Жуковского, что выдавало в нем не праздного туриста, равнодушно взирающего на золоченые рамы, а в некотором роде любителя, знатока. И едва лишь произнес он несколько слов, как вся его большая, грузная и как бы слегка закостеневшая фигура с бесцветным пушком на голове, тонкими, в ниточку, губами и узкими щелочками глаз словно бы приобрела в моем восприятии законченность и завершенность. Скорее всего это был человек с гуманитарными склонностями и технической специальностью, приобретенной в те страшные годы, когда трудно было, оставаясь честным, заниматься гуманитарными предметами — историей или литературой, и вот он предпочел скромную и тихую специальность технолога или инженера, не требовавшую постоянных ссылок на «Краткий курс истории ВКП(б)», а для себя обрел отдушину в том, что стал собирать альбомы художников, рассматривать их вечерами при свете настольной лампы, бывать на выставках в Третьяковке и Пушкинском музее и даже ездить по воскресеньям с этюдничком и, выбрав укромное местечко в лесу, стеснительно и кропотливо выписывать маленькие пейзажные акварельки.

Сейчас же они с женой, наверное, с трудом раздобыли билеты, отдежурив несколько ночей у касс речного вокзала, и отправились в путешествие по Волге, о котором давно мечтали и на которое долго откладывали деньги, экономили, урезали свои расходы, отказывали себе в самых невинных удовольствиях, надеясь этим — главным — удовольствием вознаградить себя за все лишения. И наконец, столь долгожданный миг настал, и они вдвоем разместились в тесной каюте, и пароход отчалил от пристани, и грянуло в репродукторы «Прощание славянки», и они с чувством полноправных пассажиров стали гулять по палубе, выносить на корму раскладной стульчик, любоваться обрывистыми берегами и слушать записанный на пленку голос диктора, бодро и оптимистично сообщающего о том, сколько фабричных труб застилают разноцветными дымами небо и сколько бетонных плотин сдавливают болезненно вспухшее русло Волги. «Тихие, добрые, застенчивые люди,— говорил я себе.— Привыкли к именам вредителей на страницах газет и отчетам о судебных процессах. Привыкли бояться ночных шагов на лестнице и со страхом думать: «Кого же сегодня?..» Так и прожили с этим страхом, словно с пропахшими нафталином шубами в кованом сундуке. Прожили незаметно, негромко, не отдаваясь большим движениям чувств и мыслей».

Так я говорил — и ошибался, не предполагая, что мне станет стыдно за эту ошибку. Но сначала о пятом человеке, с которым мы встречались за обеденным столом. Это была одинокая старушка, строго и опрятно одетая, с черепаховым гребнем в седых волосах и белым платочком, спрятанным за кружевную манжету. В одно и то же время она подсаживалась к столу, нехотя съедала борщ, котлеты и макароны, трогала платочком губы, поднималась и уходила. Никогда сама ни с кем не заговаривала, не слишком охотно отвечала на вопросы. И вот однажды расплакалась... да, да, не выдержала и расплакалась при всех, по-детски всхлипывая, отворачиваясь к окну и недоуменно разводя руками от такого случившегося с нею казуса. Оказывается, она просто соскучилась по дому. Ехала-ехала — и соскучилась... Это было настолько неожиданно, что в первую минуту я ничего не мог сказать, и только мои спутники вдруг преобразились. Не то чтобы они нашли слова утешения («Успокойтесь. Не надо. Скоро вы будете дома»), но в них будто бы ожила душа — ожила и устремилась навстречу старушке. И слова-то они нашли, и посмотрели на нее особенно, и тихонько тронули за руку, и улыбнулись вместе с ней, когда старушка, вытерев слезы, изобразила некое подобие улыбки. И тут я понял, что большим движением для них было сострадание, к которому их приучили те самые — страшные — годы. И тогда мне захотелось поговорить с ними о Чехове...

И поговорить, и посмотреть на берега, и сравнить все то, что видим мы, с тем, что когда-то видел он, гуляя по палубе, поворачиваясь спиной к ветру и придерживая у горла ворот кожаного пальто. И вот начались наши прогулки и наши разговоры, и я задавал тот же вопрос, почему, а мои знакомые по-своему пытались мне ответить. При этом я с удивлением ловил себя на мысли, насколько же Чехов растворен, рассеян, разнесен мельчайшими пылинками в нашей жизни, если три случайно встретившихся человека — и не где-вибудь в литературном салоне, а на палубе волжского парохода — могут так пристрастно судить о деталях его биографии, словно Антон Павлович живет с ними в одном доме и за стеной слышен его глухой кашель. Почему на Сахалин?.. А любил ли Авилову?.. А ревновал ли Лику к Потапенко?.. И надо было ли жениться на Книппер?.. И почему провалилась «Чайка»?.. Вопросы рождались в таком изобилии, что в пору было воскликнуть: позвольте, какая Лика! Никакой Лики давно уже нет, и о Потапенко почти забыли! Что он там написал, ваш Потапенко? Роман «Не герой»? Нет, не читали, и вообще сейчас, знаете ли, иные времена. И люди совсем другие — оглянитесь вокруг себя!

Да, другие, и люди, и времена, и нет ни Потапенко, ни Лики, но Чехов-то есть, и в этом вся загадка! Растворен, рассеян, разнесен пылинками. И то, что столетие назад было достоянием личных писем, дневниковых признаний, рассказов за рюмкой анисовой в «Славянском базаре», теперь разлетелось по всей России, и на каком-нибудь другом пароходе... трое людей... вот так же... «Подумать только! — с внезапной злобой сказал мой друг: — Как он жил, как жил, господи ты боже мой! Равнодушная жена в Москве, а он здесь или в Ницце, пишет ей увичижительные письма, вымаливает свидания! А здесь вот, в этом самом доме, печки отвратительные, температура в кабинете десять градусов, холод собачий, тоска... В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере — Россия, снег, бабы, нищие, грязь, и темнота, и угарные избы». Это — из разговора моряков, героев рассказа Юрия Казакова «Проклятый Север», побывавших в ялтинском доме Чехова. Неважно, происходил ли такой разговор на самом деле, или же он полностью выдуман, сочинен писателем. Важно, что герои рассказа говорят о Чехове и его глазами видят Ялту, холодное весеннее море и цветущие сады на кривых татарских улочках.

Вот и нам хотелось так же увидеть Кострому, Плес, Кинешму, Нижний Новгород — все эти волжские города, даже по звучанию своих имен невыразимо совпадающие с чем-то чеховским, словно эти имена придумал он сам, вставил в рассказ или повесть, а затем уже их присвоили реально существующим городам. Особенно Кинешма — эта уж точно из рассказа о каком-нибудь аптекаре, продающем в пакетиках бертолетову соль, и какой-нибудь Ольге Ивановне, Ольге Петровне... «Аптекарь, увидев Ольгу Петровну, обрадовался и сконфузился, она — тоже; оба, по-видимому, давно уже знакомы и, судя по бывшему между ними разговору, не раз гуляли по оврагам близ Кинешмы». Нет, это еще не рассказ, а отрывок из письма, но кажется, еще чуть-чуть, и возникнет таинственная завязь маленького чеховского рассказа, оживут улицы и дома, в комнатах зазвенит посуда, заскрипят половицы и заговорят на разные голоса люди. Точно так же и сама Кинешма с палубы парохода представляется готовой иллюстрацией к Чехову: пятиглавый собор, пристань, набережная, бульвар... Чуть-чуть — и возникнет...

Зато Плес не только чеховский, но и левитановский, и мы легко могли вообразить, как, вытягиваясь во всю высоту своего роста, Антон Павлович пытался с палубы разглядеть то, что было связано с воспоминаниями о друге: «Видел Плес. Узнал я кладбищенскую церковь, видел дом с красной крышей...» Это, относящееся к воспоминаниям,— провожает. «Слышал унылую гармошку. Немножко холодно ехать. Кое-где на берегу попадается снег». Это, чужое и незнакомое,— встречает, и Чехов как бы раздваивается между ностальгией по дому и тревожным чувством дороги. Оба чувства невольно передаются и нам, последователям Чехова, идущим по его следам, правда, с опозданием на сто лет. Это свое запаздывание особенно осознаешь, когда читаешь его строчки о Волге: «...заливные луга, залитые солнцем монастыри, белые церкви; раздолье удивительное...» Да, не застали, не повезло. Мона-

стыри до основания срыты бульдозерами, вместо белых церквей остались кирпичные коробки с облупившейся штукатуркой и проволочными каркасами куполов, а заливные луга навечно залиты — затоплены — искусственными водохранилищами. Какое уж там раздолье... Плес за эти сто лет, конечно, тоже успел измениться — и чеховское, и левитановское там поистерлось, повыветрилось, но на набережной сохранились старые дома (в одном из них — музей Левитана), да и само место хранит незримый след прошлого: здесь — было...

«Кострома хороший город» — помечено в письмах Чехова, и вот мы высаживаемся в Костроме, кружим по пристани в ожидании прогулочного катерка, смотрим на сонную зеленоватую воду, на противоположный берег Волги, а затем — дождавшись — едем в Макарьевский монастырь, один из немногих уцелевших на Волге, оттуда — в церковь Воскресения на Дебре, где нам показывают старую домонгольскую икону, и наконец попадаем в центр города, к рынку и торговым рядам. Там-то и ожидает нас самое важное — выставка старых открыток. Тех самых, слегка пожелтевших, с городовыми и лоточниками... Вот она, дореволюционная Кострома, хороший город! И действительно — тихий, благопристойный, с чистыми улицами, со спокойной, размеренной жизнью. Может быть, даже слишком спокойной, на чей-то взгляд, но мы-то от этого отвыкли, потеряли даже представление, что же это такое... спокойная... размеренная... и уж тем более далека от нас настоящая русская провинция с ее блинами на масленицу, крашеными пасхальными яичками, медным самоваром на расшитой скатерти, кренделями и печатными пряниками. Далека, неразличима в дымке ушедших времен, поэтому и слишком для нас быть не может, и, сравнивая две Костромы, мы невольно отдаем предпочтение той, далекой, на пожелтевших почтовых открытках. Точно так же и город Горький для нас, как и для Чехова,— Нижний Новгород, и мы снова ищем знакомые полуистершиеся следы, угадываем их в очертаниях двухэтажных домов с резными деревянными воротами, занавешенных окон с наличниками, булыжных мостовых и еще чего-то невыразимого, что словно бы выговаривается по-волжски, с упором на «о», но кажется не словом, а дыханием, воздухом, веянием: Новго-род...

III

В Ульяновске мы прощаемся с теми, с кем успели познакомиться за несколько дней пути, и высаживаемся на берег. Пароход наш дает протяжный гудок и отчаливает, сверкая в темноте освещенными окнами кают, а мы устраиваемся на ночь в гостинице. Утром мы снова на пристани: садимся на «Метеор», совершающий рейсы по Каме. Конечно, пароходом было бы лучше (по-чеховски!), но выбирать не приходится, и к тому же скорость есть скорость. Поздно вечером будем в Челнах, а на следующий день — в Перми. Пока не включен двигатель, «Метеор» покачивается на волнах, но вот капитан объявляет отплытие, матросы поднимают трап, и, приподняв корпус над водой, наше судно устремляется вперед.

Глухо тукают о борт волны, брызги летят в окно. Целый день мы в пути: Тетюши, Болгары, Чистополь. Как тут не раскрыть томик и не прочесть: «Плыву по Каме, но местности определить не могу; кажется, около Чистополя!» Кажется, и Бог с ним! Спрашивать, уточнять нет никакого желания. Вокруг него «всякого звания люди» — смеются, разговаривают, шуршат газетами, а он, пристроившись в уголке, заполняет убористым почерком листочки почтовой бумаги. Это письмо к родным, а уж им-то можно излить душу: «...не весело и не скучно...», посетовать на свою нерасторопность: «Хотел сегодня утром купить в Казани чаю и сахару, да проспал», и позволить себе совсем нелитераторское: «О чем еще написать? Больше не о чем...» Читая все это, они, конечно, вздыхали, покачивали головами, может быть, даже украдкой трогали платочком глаза (сестра и матушка уж точно трогали), но лишь издалека — от Москвы до Чистополя сотни верст — представляли себе, где он и что с ним, мы же, теперешние читатели, словно находимся рядом. Удивительное чувство — рядом с Чеховым! Поэтому и строчки его писем читаешь с особым пониманием и сопричастностью тому, о чем он пишет. Особым даже в том случае, если это обычная пейзажная зарисовка: «...береза еще не распустилась, тянутся кое-где полосы снега, плавают льдинки...»

Письмо помечено 24 апреля — для здешних краев самое начало весны.

Так и видишь эти грифельно-серые льдинки, плавающие в мутной воде, дотаивающие по берегам полоски затвердевшей наледи и голые ветки берез, словно прочерченные угольком на синей бумаге. Видишь и отчетливо осознаешь, как одиноко ему здесь было, хотя по привычке отшучивался, сокрушался, что на пароходе не кормят даром, подмечал смешные черточки в попутчиках («...тощий блондин... загримирован Надсоном и старается дать понять, что он писатель...»), а Лику величал Тер-Мизиновой, намекая на то, что жила она в доме, принадлежавшем армянину Джанумову. От одиночества не спастись ни на палубе, ни в рубке, ни в каюте; оно оборачивается то холодом, то дождем, то пронзительным ветром. Поэтому и Кама у него — «прескучнейшая река». Обратим внимание: не скучная, а именно прескучнейшая. Как будто ему самому сейчас из рук вон плохо, а впереди — новые версты, гостиницы, почтовые станции. И дождь, и ветер. И — одиночество...

В Челнах мы ночуем и утром плывем дальше: Сарапул, Чайковский, Бабка. Об этих городках у Чехова нет ни строчки — разве что он упомянул о них косвенно. «Камские города серы; кажется, в них жители занимаются приготовлением облаков, скуки, мокрых заборов и уличной грязи — единственное занятие» — да, да, именно в этом письме, отправленном уже из Екатеринбурга. Упомянул обо всех сразу, не называя поименно: видно, очень уж докучали и уличная грязь, и мокрые заборы, и пасмурные облака. И снова он о скуке, не замечая, что повторенное несколько раз, это слово становится синонимом тоски, отчаяния или даже мировой скорби, как определил философ Сергей Булгаков основное настроение Чехова (к его работе «Чехов как мыслитель» мы еще вернемся). Вообще в словаре Чехова скука — это особое слово-маска, одновременно и водевильная, и трагическая, недаром он назвал «Скучной...» одну из самых исповедальных своих историй. Он и в письмах часто пользуется этой маской, не желая обременять других своими переживаниями, ведь скука — в отличие от тоски или отчаяния — не требует сочувствия, сострадания, участливой жалости: подумаешь, заскучал! И Чехов — иначе он не был бы Чеховым — охотно подводит под это «подумаешь...» самое сокровенное, потаенное, выстраданное. Чего никому не расскажешь, не доверишь, не выскажешь. Даже самым близким друзьям — а, впрочем, были ли самые близкие?! «Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу один».

Сарапул, Бабка не чеховские города и уж тем более Набережные Челны, город, возникший совсем недавно, весь состоящий из многоэтажных корпусов и лишенный того, что мы называем стариной, архитектурными памятниками, историческим центром. Здесь не встретишь двухэтажных деревянных домиков, булыжных мостовых, церквушек за решетчатыми оградами, старинных — в три обхвата — деревьев. Казалось бы, нет и нет — что за печаль, проживем и без этого, но вот странная вещь — не живется. Не ходится. Не дышится. Особенно если ты приезжий и попал сюда вечером, в те самые часы, когда не до конца стемнело, но фонари еще не зажглись. И ты плетешься по улице с чемоданом и чувствуешь нечто сиротское, потерянное, безотрадное. Куда ни взглянешь, всюду голые стены, пустыри, свалки. И постепенно холодок какой-то анестезии примораживает тебя изнутри, а тут еще лозунг — «Превратим наш город в город-сад!» И висит он посреди глинистой жижи, обломков бетонных плит и заржавленной арматуры. И вот стараешься вспомнить: «Город-сад... город-сад... вроде бы что-то знакомое. Где это?..» Ну, конечно же, у Чехова! «Вся Россия — наш сад» И это его вечное стремление сажать деревья! Одним словом, ключевой образ, и литературный, и жизненный. У Тургенева — первая любовь, вешние воды, у Чехова — вишневый сад. Он мечтал и о городе-саде, и о стране-саде, и что же в итоге? Натолкнуться на осколочек чеховской мечты здесь, на окраине чужого города, и, выдергивая ноги из глинистой жижи, прочесть: превратим... создадим... выполним...

И разве не странно, что лозунги пишем вроде бы по Чехову, а вот домик в Перми, где останавливался Антон Павлович, недавно сломали. Дескать, не очень-то он и ценный, этот домик, поскольку писатель провел там всего лишь день: в два часа ночи прибыл он в Пермь, а в шесть часов вечера поездом уехал в Екатеринбург. Ну, поспал немного, умылся, позавтракал он в гостиничке этой. Выглянул в окно — льет и льет без конца, на улицу носа не высунешь. Так и просидел в номере со старой газетой, а часов эдак в пять или чуть пораньше расторопный носильщик поставил его чемодан на задок коля-

ски, получил на чай и торопливо юркнул обратно в подъезд, а он устроился на жестковатом сиденье, вздохнул с облегчением и на вопрос извозчика: «Куда везти, барин?», ответил: «На вокзал, братец. На вокзал». Ответил — и укатил, только метнулась из-под колес стайка серых воробьев. Вот и вся история его пребывания в Перми — не ахти какая замысловатая. Да и гостиничка невзрачная, непарадная, только вид портит. Так что получай наряд, Вася, заводи бульдозер, и... и не стало чеховского домика. И вот стоим мы на пустом месте, и как нам не хватает этой невзрачной, непарадной, но подлинной гостинички, как обидно за Чехова, чей незримый след она хранила столько времени, и как жаль пермяков, потерявших вместе с нею частичку живой истории.

Что ж, не повезло с чеховским домиком — остается просто пройти по той самой Сибирской улице, по которой он ехал, представить, как стучали копыта по булыжникам, как причмокивал и щелкал кнутом извозчик: «Но, милые! Но, залетные!» А мимо проплывали дома — может быть, этот, чудом уцелевший с тех времен? Или наоборот, благодаря тому же чуду не снесенный бульдозером? С балкончиком, с колоннами, с высокими окнами — может быть... Но наступает вечер, и нам самим пора на вокзал. Уже куплены билеты до Екатеринбурга, или, как он сейчас именуется, до Свердловска. «Уральская дорога везет хорошо. Боромлей и Мерчиков нет, хотя и приходится переваливать через Уральские горы. Это объясняется изобилием здесь деловых людей, заводов, приисков и проч., для которых время дорого». Комментарий к этому письму подсказывает, что Боромля и Мерчик — мелкие станции Харьковско-Николаевской железной дороги. Значит, он по-прежнему меряет все на домашний лад: даже какую-то Боромлю вспомнил. С каким же вожделением предавался он воспоминаниям, если заглядывал даже в такие уголки памяти! «Вообще дождь, грязь, холод... бррр!», а воспоминания греют, навевают приятную дрему, уносят в мир сладких грез. Особенно если постукивают колеса, позванивает ложка в пустом стакане и кондуктор подбрасывает уголек в вагонную печку. А ты ложишься на полку, натягиваешь на себя одеяло, забрасываешь за голову руки, и все смешивается — сон и явь, воспоминания и действительность, прокурор, читавший на пароходе его «В сумерках», и Лика, по неисправимой привычке оставляющая слишком большие поля в своих письмах.

Если поезд из Перми отходил в шесть вечера, значит, утром он должен уже быть в Екатеринбурге. Мы тоже прибываем утром — в окна видны редкие деревца, заборчики, домики и «выбросы» камней, уже обещающие Урал. Повсюду желтизна осени... Прозрачность... тишина. А у него? «Проснувшись вчера утром,— пишет он из Екатеринбурга 29 апреля,— и поглядев в вагонное окно, я почувствовал к природе отвращение: земля белая, деревья покрыты инеем, и за поездом гонится настоящая метелица. Ну, не возмутительно ли?» Самое точное (беспощадно точное!) определение здесь — белая земля. Дальше уже пейзаж, предметные детали: деревья в инее, метелица, белая земля же — это как бы мгновенный и непроизвольный слепок душевного состояния. Вот он проснулся... и эта белизна за окнами... Проснулся — и белизна, такая унылая и однообразная, что лучше бы и не просыпаться. Но в этом он признается лишь самому себе, с другими же вновь надевает маску: он, видите ли, готов возмутиться! Этакий грозный пассажир, которого невольно задел локтем проходящий мимо кондуктор,— сейчас затопает ногами, побагровеет, уронит с переносицы пенсне: «Ах, ты, сукин сын! Да я тебе...»

Нет, Антон Павлович, не возмутиться вы готовы, а глухо застонать от тоски и одиночества, преследующих вас, словно назойливые спутники: то под руку возьмут, то из-за спины вынырнут, то загородят дорогу с глумливой усмешкой. Вот вам и хочется с независимым видом отвернуться к окну и почувствовать себя путешественником, любующимся романтическими видами. Благородным, безукоризненным, европейским — в отутюженном костюме, в добротных ботинках на толстой рубчатой подошве, с большими кожаными чемоданами, обклеенными ярлыками знаменитых отелей. Поэтому и браните вы погоду, и сетуете, что «вся эстетика пошла к черту». Но ведь вы не эстетик, Антон Павлович, и Сахалин ваш не путешествие в европейском смысле слова и даже не научная экспедиция, хотя накануне вы и проштудировали гору специальных книг, добросовестно и аккуратно сделали выписки, отчеркнули на полях важные абзацы. Сахалин ваш — нечто совсем другое, а вот что же именно — на этот вопрос еще предстоит ответить.

IV

Вот мы и в Свердловске, столице Урала. На наше счастье, он еще не перестал быть Екатеринбургом, и островки старины сопутствовали нам, пока мы бродили по улицам, разглядывали фасады старых домов, изучали барельефы и лепные украшения. Но самое главное — сохранилась Американская гостиница, в которой Чехов провел несколько дней. Двухэтажное здание на улице Малышева (бывшем Покровском проспекте), оно и сейчас напоминает гостиницу, особенно изнутри: лестница, коридоры, высокие двери номеров, большое зеркало при входе. Сюда и доставил его извозчик утром 28 апреля 1890 года — в присыпанном колючей снежной крупой кожаном пальто и сапогах, нестерпимо воняющих дегтем (какие там ботинки на толстой подошве!). У портье получил ключ, разделся и, едва почувствовав жар натопленных печей, дал себе клятвенное обещание безвыходно сидеть в номере и принимать Гуниади. Об этом он и известил через посыльного Александра Михайловича Симонова, проживавшего в Екатеринбурге. Все-таки родственники (Прасковья Тихоновна Симонова — двоюродная сестра Евгении Яковлевны), надо повидаться. И вот открывается дверь и входит в номер человек — скуластый, лобастый, угрюмый, ростом под потолок, косая сажень в плечах, да еще к тому же в шубе. «Ну, думаю, этот непременно убьет», поскольку и все предыдущие, появлявшиеся в номере с самоваром или графином, не внушали доверия. А этот — уж точно...

Но оказалось, он-то и есть Александр Михайлович, служит в земской управе, директорствует на мельнице, освещаемой электрическим светом, редактирует «Екатеринбургскую неделю» — просвещеннейший человек, вот только обедать не пригласил, из чего можно заключить, что нужда в московском родственнике у него не особо великая. А посему и московский родственник делает саркастический вывод: «Прасковью Параменовну, Настасью Тихоновну, Собакия Семеныча и Матвея Сортирыча видеть я не буду, хотя тетка и просила передать им, что она уж раз десять им писала и ответа не получала. Родственнички — это племя, к которому я равнодушен так же, как к Фросе Артеменко». Надо заметить, что «родственничка» Чехов высмеял не совсем справедливо: Александр Михайлович Симонов оставил о себе добрую память, и екатеринбуржцы вспоминали о нем с большим уважением. Да и было за что уважать: земская управа, мельница, газета — вот образец истинного попечения о нуждах своего края! Антон Павлович в нем просто не разобрался,— помешала некая психологическая преграда, некий барьер, который он сам же и возвел. «На улице снег, и я нарочно опустил занавеску на окно, чтобы не видеть этой азиатчины». Так же и с Симоновым — занавеска... Хотя, впрочем, сыграла роль и заведомая рознь между городским разночинцем, оторвавшимся от традиционного уклада, и человеком патриархальным, основательным,— отсюда и ремарка Чехова: «...женат, имеет двух детей, богатеет, толстеет и живет «основательно». Основательность для него — уже в кавычках. Говоря словами Достоевского, Чехов — представитель случайного семейства, еще достаточно крепкого, спаянного, но уже — случайного, разрозненного, недаром, кончая гимназию, он жил в Таганроге совершенно один, вдали от родных, перебравшихся в Москву. Отсюда и привычка к одиночеству, и равнодушие к Собакию Семенычу и Матвею Сортирычу...

Уцелела Американская гостиница, уцелело старое здание железнодорожного вокзала и несколько других зданий чеховских времен. Не сохранился печально известный дом Ипатьева, но он не чеховский — в нем расстреляли царскую семью. Когда это случилось, самого Антона Павловича давно уже не было в живых — он умер от чахотки в Баденвейлере, так что вроде бы и связи никакой нет... И все-таки она есть, эта связь,— символическая... Сказали бы тогда Чехову: вы находитесь в городе, где через тридцать лет... Что бы он ответил? Наверное, содрогнулся бы, как всякий русский человек. Переспросил бы растерянно: «Как?! И даже... девочек?» Замолчал бы надолго, задумался, а ведь ехал на царскую каторгу. Ехал протестовать, собирался привлечь внимание правительства и общественности к ужасному положению каторжных. Да, да, ужасному, нечеловеческому. «...в это дождливое, грязное утро были моменты, когда мне казалось, что я вижу крайнюю, предельную степень унижения человека, дальше которой нельзя уже итти». Так и сказано — предельную, и только дом Ипатьева словно бы молча опроверга-

ет сказанное: нет, это еще не предел. Пойдут и дальше, хотя Чехов представить себе этого не мог. Для него, человека девятнадцатого века, такое просто немыслимо. Ладно, революция, красные флаги, митинги, демонстрации, но зачем же девочек... в шахту?! Не мог он себе представить и того, что через сорок — пятьдесят лет на Сахалине будет другая каторга, еще более жестокая, чем царская, а в наше время будут выкапывать трупы людей, расстрелянных в те годы.

«Было это за год или за два до начала войны, то есть в 1939 или 1940 году,— рассказывает один из очевидцев трагедии в урочище Куропаты под Минском.— Как-то летом, днем, мы жали жито около этого леса. Возле нас по дороге прошла грузовая машина с открытым кузовом. В кузове сидели мужчины в гражданской одежде. Машина въехала за ограду. Мы решили посмотреть, подошли к ограде, отодвинули доски и увидели, что мужчины копают яму. Потом они уехали. Вскоре после этого за ограду в лес прошла машина с черной будкой. И сразу же послышались выстрелы и людские крики. Потом эта машина уехала. Мы пошли посмотреть. Когда пролезли за ограду, то увидели, что яма была засыпана свежим песком, который шевелился». О таком же случае нам рассказали в Тобольске: на окраине города рыли котлован под рабочее общежитие и наткнулись на трупы людей в одежде з/к — заключенных сталинских лагерей. Они лежали ровными рядами — видно, расстреливали неподалеку, а сюда свозили закапывать. А может быть, и стреляли здесь же, около ямы, чтобы далеко не возить. Укладывали на дно и засыпали землей,— вот и пролежали они под двухметровым слоем пятьдесят лет. В карманах сохранились потускневшие монетки тридцатых годов и нашлась даже полуистлевшая книжка заключенного со странной надписью: сумма прописью. Долго думали, что она означает, пока не догадались спросить у бывшего з/к. Оказалось, что прописью записывалась цифра, обозначавшая срок заключения. Чтобы все было точно — по-бухгалтерски точно — как в сберкассе...

Или другой случай — мы услышали о нем в Красноярске. Весной подмыло высокий берег Оби, осыпался в воду оползень, и обнажились ряды трупов — братская могила расстрелянных в тридцатые годы. Да и на самом Сахалине немало таких могил, правда, в отличие от места, где находилась знаменитая Александровская тюрьма, описанная Чеховым, там нет мемориальных табличек, и Антону Павловичу вряд ли разрешили бы посетить их с корреспондентским билетом «Нового времени».

Однако вернемся немного назад и подробнее опишем путь от Екатеринбурга до Тобольска. Следующей станцией была у нас Тюмень, куда Чехов отправил из Екатеринбурга телеграмму: «Тюмень. Пароходство Курбатова. Ответ уплачен. Уведомьте, когда идет пассажирский пароход Томск». От ответа зависело, поплывет он на пароходе или же поскачет полторы тысячи верст на лошадях. Из Тюмени телеграфировали, что первый пароход в Томск пойдет 18 мая, значит, больше двух недель надо ждать. Скучать, томиться в номере гостиницы, шагать из угла в угол и барабанить пальцами по стеклу. Такую пытку он не выдержит, да и к тому же на Сахалин надо попасть к началу лета. Таким образом, надежды на пароход не оправдались, и он все-таки поскакал. Как провел время в самой Тюмени, мы не знаем, поскольку в известном нам письме, посланном 3 мая, о городе ничего не говорится,— Чехов уведомляет в нем таганрогского городского голову К. Г. Фоти об отправке книг для городской библиотеки. В письме есть строчки: «Я счастлив, что могу хотя чем-нибудь быть полезен родному городу...» Эти слова о счастье быть полезным гораздо больше относятся к Сахалину, чем к Таганрогу: быть полезным не городу, а стране, России — вот его заветная мысль. Но и возможность принести даже малую пользу он, конечно, использует — накануне отъезда из Москвы поручает выслать в Таганрог три свои книги, а вместе с ними и экземпляр «Власти тьмы» с собственноручной подписью Толстого. Точно так же он и после Сахалина хлопочет о посылке книг — самых разнообразных по содержанию — на каторжный остров. Вроде бы несоизмеримые вещи — значение «Острова Сахалина» для России и собранной им библиотечки — для острова, но в отличие от героя «Дома с мезонином», художника, влюбленного в Мисюсь, он не отвергает значения малой пол зы. Не для России, конечно, и даже не для Сахалина, а — для самого себя. Посылка книг — его собственное маленькое, но доброе дело (такое же, как посадка деревьев), и сколько он совершит подобных дел — за это он в ответе перед Богом и своей совестью. Ответственность — мотив очень важный для понимания сахалинской поездки, и мы еще о нем поговорим.

В Тобольске Чехов не был, хотя и упомянул о нем в своей книге, и для нас это — промежуточная станция между Тюменью и Томском. Мы ночуем в маленькой гостинице при речном вокзале, утром взбираемся на высокий пригорок, откуда виден весь город (в каждом городе должно быть старое место и должно быть — высокое), гуляем по тобольскому кремлю, стоим на службе в церкви — первой каменной церкви Сибири — и после полудня садимся на пароход, чтобы плыть дальше по Иртышу. И вот тут-то возникают два портрета... портрета людей, которых мог бы встретить Чехов, а может быть, даже и встречал, поскольку и тогда они были (такие же!), и сейчас они есть — ходят, смеются, разговаривают. Между ними и Чеховым некая связь, некое взаимное притяжение — как между магнитами, разделенными прозрачной перегородкой: вроде бы не касаются друг друга и в то же время разъединить их невозможно. Эти люди не слишком-то похожи на чеховских персонажей, и он для них — вовсе не любимый писатель. Прочли один раз (в школе — «Ионыча» и «Человека в футляре») и больше не перечитывали. И все-таки в них есть отсвет, невидимое мерцание того, что мы называем прилагательным без существительного: «Чеховское...» Да, да, нечто чеховское, рассеянное в мире капельками утренней росы, разнесенное песчинками по нашим душам...

V

Их имена — Марина и Наташа. Обе работают на пароходе: Марина — бухгалтером, а Наташа — официанткой и посудомойкой. Вроде бы дружат или, точнее, поддерживают дружеские отношения, поскольку трудно заподозрить в дружбе столь разных людей. Марина с первого взгляда кажется женщиной устроенной и благополучной — во всяком случае, по здешним меркам. Во-первых, она хорошо одета, а это уже говорит о многом: знает, где лежит, и умеет достать. Во-вторых, она спокойна и даже как бы слегка равнодушна ко всему, как бывают равнодушны женщины, у которых помимо связей в деловом мире и постоянного источника доходов есть еще верный муж — или на крайний случай тот, кто его заменяет. Поэтому Марина никуда не рвется, а словно обмяв вокруг себя камыши и свернувшись калачиком, нежится на нагретом местечке — как степная лиса или дикая собака. Отсюда — и ровный голос, и слегка замедленные, с ленцой движения, и некая безразличная светскость в разговоре: о чем угодно, на любую тему, даже самую рискованную — пожалуйста... Но между нами дистанция. Я вас послушаю, улыбнусь там, где надо, произнесу два-три слова в ответ, исповедоваться же не буду. Вы — исповедуйтесь, а я понаблюдаю, оценю, взвешу и составлю о вас представление. Я это очень хорошо умею делать, и взгляд у меня — цепкий. Я отлично все замечаю, и уж будьте уверены — сумею воспользоваться полученной информацией...

Кажется, я не ошибаюсь в предположении, что Марина была послана к нам как парламентер-разведчик, и это вполне понятно: пароход туристский, со своим сложившимся коллективом, а тут сели двое незнакомых... с виду нездешние... один толстый, с бородой и волосами до плеч, другой — худой и без волос... да еще в книжечки что-то записывают. Пойди угадай, кто такие. Уж не ревизоры ли? И решили исподволь разузнать и порасспросить. И на всякий случай подбросили дефицитных продуктов в столовую — на радость изголодавшимся пассажирам. И вот мы с Мариной неторопливо беседуем, и она как бы нехотя осведомляется, откуда мы и зачем пожаловали в эти края. Мы простодушно рассказываем: по следам Чехова... на Сахалин... «Ах, Чехов...»,— и на ее лице появляется сочувственно светское выражение. Да, да, это очень интересно... на Сахалин... наверное, что-нибудь напишете... И мы уклончиво (литераторы — народ суеверный) пожимаем плечами: наверное... напишем... надо постараться... После этого еще несколько вопросов, и разговор заканчивается. Марина удовлетворена. Ей удалось побеседовать о Чехове в таком избранном обществе и одновременно убедиться в том, что ее собеседники — не подсадные ревизоры. Мы вежливо прощаемся: «Заходите», «И вы заходите», а в это время Наташа уже раскладывает ложки и расставляет тарелки к ужину.

В отличие от Марины она человек неустроенный и неблагополучный: это

тоже видно с первого взгляда. Одета она кое-как — в заношенный свитер и вылинявшие джинсы, накрашена на скорую руку и причесана по той самой моде, которая обозначается словами «и так сойдет». Худая, высокая, с длинными руками (такую длиннорукость любил описывать Бунин, изображая деревенских дурочек, юродивых и святых), она кажется немного нескладной, и вся ее фигурка угловато топорщится под одеждой. Плечи, локти, ключицы очерчены остро и выпукло, к тому же она слегка сутулится, будто стесняясь своего роста, смотрит словно бы искоса, сбоку, и взгляд у нее опьяненно блуждающий и чуть-чуть диковатый. И только лицо... не то, чтобы ослепительно красивое, а хорошее лицо, на котором невозможно представить выражение зависти, лукавства, затаенного злорадства. Невозможно потому, что сами черты этого лица как бы не складываются в подобное выражение и на нем словно не проложено морщинок для злорадства и зависти. Поэтому она для всех своя, эта Наташа, и надо было видеть, как любили ее пассажиры. И что удивительно, под конец туристского сезона на пароходе отдыхали люди преклонных лет, почти сплошь пенсионеры — вроде бы кому охота с ними возиться, а она возилась: каждому угодит, над каждым приветливо склонится, каждому улыбнется и доброе слово скажет. И какой-нибудь лысый дядя начнет с ней неумело заигрывать — не отвергнет презрительно, не уколет насмешкой, не щелкнет по носу, а отнесется по-свойски: постоит, поболтает и, глядишь, и дядя-то другим становится, спадает с него это пошленькое ухажерство.

Целыми днями Наташа сутулилась над раковиной, драила посуду, резала хлеб, разносила по столам борщи и котлеты, а когда выдавалась свободная минута, кормила речных чаек — крошила хлебные корки, оставшиеся после обеда, и бросала в воду. Чайки с криком подхватывали добычу, а Наташа рассеянно смотрела на них и о чем-то думала. В такую минуту я и решил с ней заговорить — тихонько приблизился, взял из рук хлебную корку и, кроша ее в воду, спросил, откуда она. «Из Свердловска». «А плаваете давно?» «Уже пять лет». «А вы знаете, что в этих местах бывал Чехов?» И я стал рассказывать ей о Чехове — как он ехал на лошадях по сибирской равнине, переправлялся через Иртыш, шлепал по грязи в мокрых валенках, хлебал жидкую похлебку на постоялых дворах, подолгу не смыкал глаз, мерз под пологом брички, а однажды бричка опрокинулась, столкнувшись с почтовой тройкой, в другой же раз он чуть не утонул — его лодку застигло ненастье, и поднявшиеся на реке волны раскачивали ее так, что он уже приготовился сбросить валенки, пальто и полушубок перед тем, как упасть в ледяную воду. Обо всем этом я рассказывал в надежде заинтересовать Наташу. Мне казалось, что уж она-то отзовется, откликнется на мой рассказ, и он вызовет в ней нечто большее, чем сочувственно светскую улыбку. Сейчас-то мы и поговорим,— думалось мне,— и в этом разговоре откроются новые черточки и в Чехове, и в самой Наташе. Но, выслушав меня, она отряхнула руки, безучастно сказала: «Ах, Чехов...» и устало побрела на кухню...

...По Иртышу мы плыли три дня, и все это время медленное движение парохода по мутно-серой, окутанной легким туманом воде, между двумя берегами — крутым и обрывистым правым и пологим левым — представлялось не плаванием по сибирской реке, а словно бы мистическим вхождением в странный, нереальный, невещественный мир. Стоя на носу парохода, бесшумно рассекающего голубоватую мглу тумана, и глядя в пространство реки, петляющей между островами, невозможно было не поддаться чувству, что мы словно поднимаемся над землей и парим, и только редкие сигнальные гудки и унылый звук гармошки, доносившийся с палубы, вновь возвращали нас на землю. Играл один из пассажиров — молчаливый, замкнутый, с непроницаемым лицом и плотно сжатыми губами, он каждый день запирался в каюте и с непонятным упорством воспроизводил на старенькой, задыхающейся гармони одни и те же мелодии: «Из-за острова на стрежень», «Хазбулат», «Когда б имел златые горы». Каждый день — одни и те же. Но никто не роптал, не возмущался, а напротив, все чутко прислушивались к этим звукам, как будто они не рождались под пальцами неискушенного музыканта, а неким причудливым образом возникали из желтизны глинистых берегов и тяжелой синевы пасмурного неба. Не так ли и Чехов когда-то «слышал унылую гармошку»? И не стоял ли он так же на носу парохода, рассекающего мглистый голубоватый туман? И не охватывало ли и его чувство мистического воспарения, отрыва от грешной земли? Или иное подобное чувство?

«Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2—3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или горечью?» С восторгом или с горечью — вот оно! Значит, уже заранее готовился к тому, что придется испытать и то, и другое, и не только готовился, а и стремился к этому и был согласен даже на двatри восторженных или горьких дня. Всего два-три из всей-то поездки — не мало ли? Но, видно, так редко выпадали в жизни такие дни, а потому имели для него столь высокую цену, что он, не задумываясь, отдавал за них и полгода, и год, и полтора. Восторг и горечь — слова-то вроде не его, не чеховские, непривычные в устах Антона Павловича. Трудно представить, чтобы он восторгался, как жизнерадостная дама, описанная в XII главе «Сахалина». Или, загримировавшись под Надсона, выставлял бы напоказ свое страдание. Не стал бы выставлять — отшутился бы, а вместо восторженных восклицаний озадачил бы собеседников неожиданным вопросом, похожим на тот, который задал однажды двум одолевавшим его интеллектуалкам: «А вы любите мармелад?» В этом весь Чехов — скрытный, сдержанный, немногословный. Может быть, даже слегка холодноватый, как утверждала Лика Мизинова. И вот он ради двух-трех дней, способных вызвать восторженные или горькие воспоминания, готов «вычеркнуть из жизни год или полтора».

Это признание мы тоже находим в письме, написанном накануне поездки,— признание серьезное, без шуточек. Какие уж там шутки, когда собственную жизнь вычеркивают, словно неудачную страницу или абзац в рукописи! И не день, не месяц, а полтора года — не страшно ли? Не страшно, если это тюрьма, ссылка, каторга, а тут ведь наоборот. Обычная, милая, домашняя жизнь вычеркивается ради каторги, ссылки, тюрьмы. Насколько же была изжита эта домашняя жизнь, раз ему так захотелось другой жизни! Насколько он, скрытный, сдержанный и немногословный, стал вдруг себе не нужен, раз решил испытать себя в непривычных чувствах восторга и горечи! Не приближаемся ли мы здесь вплотную к разгадке «Сахалина»? В чем она, эта разгадка, как не в желании выйти за предел, за привычную черту, освободиться от нажитого годами груза! Но что там, за пределом,— ответить на этот вопрос мы сможем, лишь продолжив наше путешествие...

VI

Как мы помним, проплыть по Иртышу Антону Павловичу не довелось — пароходство Курбатова телеграфировало о слишком позднем отправлении парохода, но зато нам предстоит увидеть место переправы Чехова через Иртыш. Судя по его сибирским очеркам, переправлялся он неподалеку от села Пустынного — это название встречается в IV главе: «Тот берег высок, крут и совершенно пустынен. Видна лощина; в этой лощине, как говорит Федор Павлович (хозяин избы, где остановился Чехов.— Л. Б.), идет дорога на гору, в село Пустынное, куда мне нужно ехать. Этот же берег отлогий, на аршин выше уровня; он гол, изгрызен и склизок на вид; мутные валы с белыми гребнями со злобой хлещут по нему и тотчас же отскакивают назад, точно им гадко прикасаться к этому неуклюжему, осклизлому берегу, на котором, судя по виду, могут жить одни только жабы и души больших грешников. Иртыш не шумит и не ревет, а похоже на то, как будто он стучит у себя на дне по гробам. Проклятое впечатление!»

Снова он о гробах — словно этот звук его навязчиво преследует, и жабы упомянуты к месту: где склизко, там и жабы... И души больших грешников должны обитать именно здесь, на голом, неуклюжем, изгрызенном волнами берегу. Одним словом, запомнилось ему это местечко, раз изобразил его неким подобием лубочного ада. И красок не пожалел — замесил их круто и густо, размашистыми мазками положил на холст: «...со злобой хлещут... гадко прикасаться». Слишком избыточно для его стиля — не сразу узнаешь руку Чехова. Видно, очень уж хотелось выразить проклятое впечатление и избавиться от него. И не мелькнула ли при этом мысль о собственном грехе и собственном страшном суде, ведь попал-то он сюда добровольно? Во всяком случае, прослеживается некий намек, некое косвенное уподобление: «...на котором... могут жить... души больших грешников». Не он ли тот самый грешник?

Он или не он — утверждать одинаково трудно, поскольку картина нарисована, а мысль осталась невысказанной. Несомненно одно: Чехов с собой

словно бы за что-то рассчитывался, за что-то с себя взыскивал, и счет был самый нешуточный — жизнь. Поэтому так и манит нас это Пустынное, словно над ним еще витает тень сокровенных чеховских раздумий, и мы в нетерпении смотрим на карту — вот оно, уже близко. Но сначала — небольшая остановка в Большереченске, городке на берегу Иртыша, где нам с Петром Паламарчуком приходится разделиться: он отправляется осматривать краеведческий музей, а я беру попутную машину и, рискуя опоздать на пароход, еду в Могильное-Посельское. На карте это село тоже отмечено как чеховское: Антон Павлович проезжал его по дороге в Томск, а быть может, и останавливался в одном из сохранившихся деревянных домов. Не так ли это было: «Часов в пять утра, после морозной ночи и утомительной езды, я сижу в избе вольного ямщика, в горнице, и пью чай. Горница — это светлая, просторная комната, с обстановкой, о какой нашему курскому или московскому мужику можно только мечтать. Чистота удивительная: ни соринки, ни пятнышка. Стены белые, полы непременно деревянные, крашеные или покрытые цветными холщовыми постилками; два стола, диван, стулья, шкаф с посудой, на окнах горшки с цветами. В углу стоит кровать, на ней целая гора из пуховиков и подушек в красных наволочках; чтобы взобраться на эту гору, надо подставлять стул, а ляжешь — утонешь. Сибиряки любят мягко спать».

Вот и хотелось взглянуть на эти сибирские дома, провести ладонью по шершавым, высохшим бревнам, соприкоснуться с тем, что осело в их трещинках и морщинках,— с памятью о Чехове. Любая крупинка этой памяти — чудо, поэтому мне слегка не верится, что через полчаса я окажусь р я д о м с этими домами, и я дотошно расспрашиваю попутчиков, старожилов здешних мест: действительно, сохранилось?.. И действительно, того времени?.. Худой, высокий старик и маленькая старушка, сидящие рядом со мной, усердно кивают в ответ: да, да, в самом центре села, неподалеку от школы. «И Чехов там бывал?» При имени Чехова кивают еще усерднее, с особой гордостью тех, кому посчастливилось родиться в местах исторических, связанных с памятью о выдающихся людях: да, да, они еще в детстве слышали... им рассказывали... тот самый... в пенсне и с бородкой. У Могильного-Посельского прошу шофера притормозить и выскакиваю на обочину. Вот они, эти дома,— их сразу узнаешь по почерневшим бревнам, слегка покосившимся стенам и маленьким, вырубленным окнам. Подхожу поближе, поглаживаю шершавую поверхность стены, заглядываю в окно. Вместо удивительной чистоты — разорение, запустение, грязь. В углу свалены спинки старых кроватей, под потолком болтается лампочка на голом шнуре. Посреди комнаты — деревянный стол с воткнутым в него охотничьим ножом. За столом какие-то люди в телогрейках разливают по стаканам водку и чистят копченую колбасу. Какой там Чехов! Они не слышали... им не рассказывали...

Снова ловлю попутку и возвращаюсь в Большереченск. Слава Богу, успел — пароход еще не отчалил, но капитан уже на мостике, и матросы в оранжевых спасательных жилетах готовятся убирать трап. Вместе с Петром Паламарчуком мы стоим на палубе и смотрим, как раскачивается на волнах дебаркадер и наш пароход трется бортом об автомобильные покрышки, прибитые к доскам причала. К вечеру заметно темнеет, к тому же небо затягивает облаками,— неужели из-за этого нам не удастся разглядеть место переправы? Поднимаемся в рулевую рубку и спрашиваем у штурмана, когда проходим Пустынное. Отвечает: «Часа через два». Да, будет совсем темно. Не удастся. И все равно через два часа мы занимаем свой пост на верхней палубе. Потягивает ветром. Краснеют в темноте огоньки маяков. А берега словно бы и нет,— утонул, исчез, бесследно канул во мраке. Остается утешать себя тем, что мы все-таки п о б ы в а л и на этом месте, и сознание этого факта должно вознаградить нас за то, что мы его н е у в и д е л и. Признаться, не слишком утешительная награда: побывали — не увидели. Но ничего не поделаешь — не повезло. Снова заглядываем в рубку и спрашиваем: «Скоро?» Отвечают: «Пустынное!» И тут вспыхивает прожектор, выхватывая из темноты кусок высокого и крутого берега — того самого, к которому причалил Чехов, и пароход дает короткий, отрывистый гудок. Знак приветствия!

Значит, все же увидели, и он словно бы возник перед нами, этот чеховский берег, не из темноты ночи, а из сумрака прошлого, из дымки ушедших времен. Возник, как возникают видения, ткутся из воздуха миражи, и показалось даже, что сам Антон Павлович... там на берегу... в мокром полушубке и валенках... «Куда я попал? Где я?» Этот голос тоже словно бы донесся о т т у д а, одновременно похожий и на глуховатый чеховский баритон, и на беззвучный голос его души, незримо витающий здесь над нами... Со странным чувством вернулись мы в каюту, и я долго не мог заснуть, все доставал и перелистывал томик чеховских писем, вспоминая при этом верхнюю палубу, шарящий по берегу луч прожектора и отрывистый пароходный гудок — приветствие Чехову. Утром же мы были в Омске — торопливо прошлись по центральной улице, по музеям, по книжным лавкам и, поскольку в чеховских письмах этот город не обозначен (Антон Павлович обогнул его стороной), сразу же взяли билеты на поезд. На следующий день нас встретил деревянный, резной, с узорными наличниками Томск, где Чехов пробыл неделю и откуда отправил три письма в Москву.

«Идет дождь... Чернила скверные, а на перо вечно садятся какие-то волоски и кусочки... Был в бане. Отдавал в стирку белье (по 5 коп. за платок!). Покупаю от скуки шоколат». Эти строки из писем я выбрал как самые непроизвольные, бессюжетные, дневниковые, не столько обращенные к адресату, сколько стенографически фиксирующие настроение минуты. Заметил волосок на кончике пера — написал. Вспомнил про баню. Посетовал, что дорого берут за стирку, а главное — признался, что от скуки покупает шоколад. Фраза удивительно чеховская, сродни той самой, знаменитой: «Кофей сегодня пила и без всякого удовольствия», но там он спрятался за жену губернского секретаря Настасью Федоровну Мерчуткину («Юбилей»), а здесь-то о самом себе, о Чехове, а стало быть, и Мерчуткина — отчасти он сам. Да и что там смешного, в этой фразе Настасьи Федоровны,— не смешна она, а убийственно точна! Точна настолько, что и добавить нечего, и существует эта фраза как бы самостоятельно, отдельно от той водевильной сценки, в которой она использована. И повторяем мы ее вроде бы с улыбкой, хотя сами в душе пугаемся этой точности: не о нас ли? Не мы ли так же... без удовольствия?.. Ведь значение фразы в том, что человеку н е ч е м ж и т ь, кроме чашечки утреннего кофе, а тут и этой ничтожной малости не осталось. Чем не экзистенциальная драма в духе Сартра или Камю, но Чехов обозначил жанр своего произведения как шутку в одном действии. Да, да, на то он и Чехов. Он может э к з и с т е н ц и а л ь н о написать за Треплева («Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно»), но самого его увольте. Он — не автор экзистенциальных драм.

И своим родным он никогда не напишет, что ему нечем жить, а вот о покупке шоколада — пожалуйста. Авось, и улыбнутся, когда прочтут. И слегка пожалеют: ну, заскучал Антоша. И в ответном письме попросят, чтобы скорее возвращался. И уж никак не заподозрят по этим строчкам, что его скука сродни болезни, которая возникает от отсутствия жизни (жизненная недостаточность?) и которую он понимает не столько как врач, а сколько как писатель. Понимает и сам же прописывает себе лекарство — кусочек шоколада в хрустящей обертке, вызывающий то самое у д о в о л ь с т в и е, которого была лишена Настасья Федоровна. Пожалуй, не мокрые валенки, не ругань ямщиков и тряска в дороге, не жидкая похлебка с кусочками дикой утки и невареным луком, а именно этот шоколад позволяет представить душевное состояние Чехова, и после этого совсем не удивляешься, когда читаешь: «Томск скучнейший город. Если судить по тем пьяницам, с которыми я познакомился, и по тем вумным людям, которые приходили ко мне в номер на поклонение, то и люди здесь прескучнейшие. По крайней мере мне с ними так невесело, что я приказал человеку никого не принимать». «Люди прескучнейшие» — почувствовал, что это уже слишком, и поправился: «...мне с ними невесело». Причина, конечно же, не в людях, а в нем самом, и было бы несправедливо обижаться на Чехова за эти строчки о городе. Вот, мол, не так отозвался... не отметил положительных черт... не оценил... Повторяю, он не на экскурсию приехал и его письма — не путевые заметки, а такое же средство от одиночества и тоски, как и купленный в кондитерской шоколад.

Поэтому и мы не спешим опровергнуть Чехова, хотя Томск вовсе и не кажется нам скучнейшим, а напротив, эти резные наличники, эти узорные решетки балконов, эти точеные колонки застекленных фонариков и краснеющая в окнах герань, и непременная рыжая кошка, дремлющая на подоконнике,— все это представляется заповедным островком, причудливо возникшим посреди современного города, и вызывает особую ностальгию по прошлому. И, конечно, главная улица, застроенная каменными зданиями начала века и словно хранящим дух промышленного сибирского города... И, конечно, уни-

верситет, основанный в 1888 году (Чехов застал)... И, конечно, тот красный кирпичный домик на набережной — чеховский... Да, да, говорят, что Антон Павлович в нем бывал и даже вроде бы обедал — заказывал блины с икрой, стерляжью уху и какие-нибудь расстегаи... Об этом нам рассказали в здешнем музее, и вот мы ходим вокруг, разглядываем этот красный домик с готическими окнами, полудекоративными балкончиками и прочими архитектурными украшениями той поры, и нам странно представить здесь Чехова, слишком недекоративным, неукрашенным было его путешествие, и порой даже кажется, что он погнал на перекладных свою собственную жизнь — как каторжницу, как беглянку — и сам же отправился за ней вдогонку...

И тут снова возникает портрет, правда, связанный уже не с Томском, а с Красноярском, куда мы прибыли на следующее утро и где встретились с человеком, который мог ответить на один из самых сложных вопросов духовной биографии Чехова. Священник Михаил Сергеевич Капранов — отец Михаил, как мы его называли. У нас было к нему поручение — передать привет от московских знакомых, а заодно и самим познакомиться, поговорить, порасспросить о житье-бытье. Порасспросить хотя бы в нескольких словах, поскольку мы знали, что отец Михаил человек занятой, и поэтому не собирались отнимать у него много времени. Но получилось так, что не столько мы передали ему привет, сколько он *приветил* нас добрым словом и ласковым, участливым вниманием. И разговор затянулся надолго, и собеседник наш оказался человеком удивительным, незаурядным, со сложной судьбой...

Священником он стал не сразу, и гражданские убеждения сложились в нем раньше, чем духовные. Как и многие его сверстники, Михаил Капранов был разбужен весенней оттепелью начала шестидесятых — возвращением людей с фанерными чемоданчиками, незаконно осужденных в тридцатые и сороковые, публикациями их рассказов и воспоминаний, гулом прокуренных студенческих аудиторий, забрезжившими демократическими свободами и надеждами на будущее. Особенно — надеждами, поскольку они легче всего возникают и с ними труднее всего расстаться. И когда весенняя оттепель сменилась первыми заморозками и в ветровом движении воздуха обозначились оцепенение и застой, именно упрямое нежелание расстаться с надеждой заставляло Михаила Капранова хранить и распространять книги, постепенно попадавшие в разряд запрещенных. Так было и с известным письмом Федора Раскольникова, ныне опубликованным, как и многие другие образцы запрещенной литературы. Между тем за распространение этого письма Михаил Капранов был осужден по статье и приговорен к тюремному заключению с последующей высылкой в места не столь отдаленные. Что и говорить — неожиданный поворот судьбы для шестидесятника, еще не расставшегося с верой в решения XX съезда! Но Капранов выдержал испытание и не последовал примеру тех, кто из страха перед расправой публично отрекался от своих убеждений. Однако в тюрьме ему довелось встретиться с людьми, чей духовный облик толкнул его на пересмотр многих жизненных позиций, поэтому, выйдя на свободу, он отказывается от политической деятельности и выбирает для себя иной путь — путь служения православной церкви. Со временем становится священником, получает приход в Красноярске, но при этом остается человеком самых разносторонних знаний и интересов. Поэтому неудивительно, что именно отцу Михаилу я задал вопрос... впрочем, начнем издалека и прежде всего спросим себя о том...

VII

...с чего же это началось? Да, да, когда именно это возникло, определилось, приобрело черты законченного явления, получившего свое название и даже описанного в литературе? Во всяком случае, не во времена «Слова о полку Игореве» и «Моления Даниила Заточника» — за это можно смело ручаться потому, что монументальный и героический стиль древнерусской литературы, воспевавшей воинские победы и духовные подвиги, как бы не позволял проявиться в ней чувствам и помыслам *отдельного* человека. А уж тем более таким, как чувство скуки, апатии, лени, хандры, и если в старину и молились: «...не даждь ми уныния», то и уныние это было как бы непсихологическим, определяемым лишь умозрительно и лишенным той самой эмоциональной *мякоти*, которую можно попробовать на вкус, словно горький или кислый садовый плод. Вот и получается, что древнерусское уныние — категория этическая, обозначающая неспособность души к христианскому подвигу, к деятельному служению православной истине, и осуждается оно не как эмоциональное состояние, а как моральный недостаток, требующий решительного исправления. Подобное отношение к отрицательным эмоциям сохранялось и в дальнейшем — вплоть до XVIII века, когда даже державинская скорбь по поводу того, что «Река времен в своем стремленьи// Уносит все дела людей», не облекалась в формы интимного душевного переживания, а словно бы оставалась *мировой* скорбью — в смысле непосредственной связи с космосом, с мирозданием. Поэтому рядом со скорбными последними стихами Державина —

О сладкий дружества союз.
С гренками пивом пенна кружка!
Где ты наш услаждаешь вкус,
Мила там, весела пирушка.
Пребудь ты к нам всегда добра:
Мы станем жнть.
И пить...
Ура! ура! ура!

(«Кружка»)

Не слишком ли разные настроения для одного поэта? Но в том-то и дело, что поэт еще не превратился в *одного*, не поддался иллюзии своей исключительности, не утратил сознания того, что он не только жилец у себя в усадьбе, но и житель Вселенной, обитатель величественного здания космоса («Умом громам повелеваю...»). И если в мире свет побеждает тьму, а добро оказывается сильнее зла, то и человек живет по тем же законам, одерживая победу над унынием и скорбью, заглушая их звоном бокалов и застольными возгласами: «Ура! ура!». Не оттого ли так чувствуется некая деятельная бодрость в людях державинского века, одинаково стихийных и непосредственных во всех своих проявлениях — от чудачества до политического фрондерства? И не оттого ли столь щедро наделены душевным здоровьем представители карамзинских времен, чья сентиментальная мечтательность еще заметно отдает добродушной и невзыскательной патриархальностью («и крестьянки любить умеют»)? Так когда же возникло, с кого началось? Вроде бы теперь и не отыщешь, и все-таки она есть, эта точка отсчета. Пушкин! Да, именно он впервые уловил и обозначил явление, которое не уставала воссоздавать вся последующая литература. И именно в романе «Евгений Онегин», который потому-то и назван *энциклопедией*, что в нем отражены все веянья русской жизни начала девятнадцатого века. Итак, что же это за явление?

Недуг, которого причнну
Давио бы отыскать пора,
Подобный англнйскому сплину,
Короче: русская хандра...

Вот и диагноз поставлен, и причина болезни найдена, и различие определено: сплин — это там, в далекой и туманной Англии, а у нас — хандра-матушка, такая же загадочная и необъяснимая, как и сама Россия. Подкрадывается она исподволь, незаметно, но уж если нападет на человека, то уж тут не «ура!», а «караул!» кричи. И спасения от нее нет никакого, потому что хандра — это уже *психология*, а перед собственной психологией человек так же беззащитен, как перед разбушевавшейся стихией. Хорошо, если не застрелится («Он застрелиться, слава Богу, попробовать не захотел»), но при этом и не совершит благородного поступка, не пожертвует собой ради ближнего, а, напротив, этого ближнего еще и погубит — убьет на дуэли, сам же будет вечно мириться с однообразным существованием *лишнего* человека. Пушкинский тип? Да, безусловно, но в еще большей мере тургеневский, гончаровский и чеховский. Чеховский — особенно, потому что он-то, как никто другой, выразил эту хандру в своем творчестве, а если сравнить ее с онегинской, то это и не хандра, а нечто более жестокое и страшное — болезнь *жизни*, никчемной, мелкой, пошлой, никому не нужной. Онегину было легче — он хандрил в тишине старинного барского дома, под сухой треск поленьев, сгорающих в камине, под звуки клавикордов, на которых играют изящные ноктюрны Фильда, а вот чеховских героев окружают засаленные обои в цветочек, продавленное кресло и залитая кофе салфетка. Тут уже один шаг до Достоевского, до комнаты Раскольникова, а поэтому и чеховская тоска имеет как бы болотный оттенок — зачерпни, и засочится меж пальцев зеленоватая, чавкающая жижа.

Именно так написал о Чехове Сергей Булгаков, к чьей книге мы обещали вернуться. Вот как определяет философ основной мотив чеховского твор-

чества: «...не о подвигах героизма, а о могуществе пошлости, не о напряжениях и подъемах человеческого духа, а об его загнивающих низинах и болотинах». Да, об этом повествовал Чехов — повествовал без устали, с неослабевающим упорством, находя все новые оттенки чеховской скуки, лени, уныния. Но неужели не было в его творчестве этого «не даждь ми...»?! Неужели не выдавливал по капле раба из своих героев?! Да, случалось, что изображал натур сильных и энергичных, но сомневался в своем отношении: нужны ли сильные? Сомневался и догадывался, что не силой, а чем-то иным преодолевается пошлость. Поэтому и опоэтизировал нежную и мечтательную Мисюсь, а не ее энергичную и деятельную сестру (об этом рассуждал Корней Чуковский в книге «О Чехове»). Поэтому и в маленьком рассказе «Студент» так проникновенно написал об Иисусе Христе, связанном и избиваемом во дворе первосвященника — на глазах у трижды отрекшегося от него Петра.

Рассказ удивителен своей концовкой — студент духовной академии Иван Великопольский, только что рассказывавший у костра двум женщинам евангельскую историю, возвращается домой и, переправляясь на пароме через реку, думает о том, что «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле...» Неожиданные, непривычные для Чехова строки, и только одно словечко выдает его — «по-видимому». Все-таки не удержался — взяла верх обычная трезвость медика и упрямая, усвоенная с детства готовность сопротивляться неумеренному религиозному восторгу. Ведь относится словечко не к студенту духовной академии, а Чехов уже от себя добавил это слово. Подумал, не слишком ли будет, если без «по-видимому», и это в их просвещенный-то век с его верой в прогресс и науку! Нет, пожалуй, слишком... И добавил. И рассказ получился чеховский, а не толстовский, не бунинский, не шмелевский. Нет никаких оснований искать в нем выражение сознательной религиозной веры, и все-таки он пленяет стихийным и светлым религиозным чувством.

И не только рассказ «Студент», но и другие повести и рассказы. Вот как описывается монастырь в рассказе «Святою ночью»: «Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы и беспардонном шатании и толкотне». А вот несет из больницы мертвого ребенка Липа, героиня повести «В овраге», и по дороге, возле ночного костра ей встречаются двое — старик и молодой парень. «Старик поднял уголек, раздул — осветились только его глаза и нос, потом, когда отыскали дугу (для лошади.— Л. Б.), подошел с огнем к Липе и взглянул на нее; взгляд его выражал сострадание и нежность». Дальше Чехов описывает ночное поле, небо со звездами, скрип телег, выезжающих на дорогу. Между стариком и Липой происходит такой разговор:

— Вы святые? — спросила Липа у старика.

— Нет. Мы из Фирсанова.

— Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий. Я и подумала: это, должно, святые.

Поистине одно из самых поразительных мест у Чехова: «Вы святые?», «Нет. Мы из Фирсанова», и все настроение этой сцены словно пронизано, осенено свыше благодатным светом. Так все-таки верил или не верил? Об этом я и спросил отца Михаила Капранова, когда мы сидели за столом, степенно пробовали уху, сваренную матушкой Галиной, и говорили о Сахалине, о Чехове, о причинах его странной поездки. Отец Михаил помолчал, как бы собираясь с мыслями, и убежденно ответил: «Да, верил», причем было видно, что этот ответ возник у него не под влиянием минуты, а после долгих предварительных раздумий. Что ж, возможна и такая точка зрения на вопрос, вызывавший у наших чеховедов лишь уклончивые и невразумительные ответы, хотя, признаться, мне ближе иное, более осторожное утверждение Сергея Булгакова: «Вообще из сопоставления рассеянных и всегда скупых замечаний автора по этим интимным вопросам выносится вполне определенное впечатление, что в них стыдливо и, быть может, несколько нерешительно отражается крепнущая религиозная вера, несомненно христианского оттенка; сказать что-нибудь определеннее нас не уполномочивают имеющиеся данные. Вне этого предположения весь Чехов становится загадкой, а некоторые его вещи (как, напр., тот же «Студент») представляли бы психологический и логический nonsence». Примерно то же самое пишет и Борис Зайцев в своей замечательной книге о Чехове: «Христианский мир отца и матери (в особенности) скрытно в нем произрастал, мало, однако, показываясь на глаза».

«Мало показываясь»,— но, может быть, однажды все же показался? Вот тут-то и настало время ответить на самый главный вопрос, который был задан вначале: *почему же Чехов поехал на Сахалин?* Что было скрытой, спрятанной ото всех причиной? Вспомним известное письмо Суворину, отправленное накануне поездки: «Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный». Да, хотел воочию увидеть страдания человека — считал это своим долгом, своим призванием. «Работавшие около него и на нем решали страшные, ответственные задачи и теперь решают». Да, он разделял эту страшную ответственность и поэтому примкнул к тем отважным исследователям, которые немало *поработали* во имя освоения Сахалина. «Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку...» Вот оно — «как в Мекку!» — значит даже и не поездка, не путешествие, а *хождение*, подобное тем, в которые некогда отправлялись паломники ко святым местам. Значит, та самая стыдливая и нерешительная вера, которая мелькает в лучших созданиях Чехова, однажды выразилась непосредственно в *жизни*, и этим выражающим ее поступком был Сахалин. Значит, дремало в душе, таилось нечто от древнерусских скитальцев и ходоков, иначе не признался бы Бунину о своей мечте стать бродягой, странствовать с клюкою по монастырям и сидеть летним вечером на лавочке у церковных ворот. Конечно, религиозное в Чехове следует понимать не в узком, а в самом широком смысле — как гуманное, жертвенное, подвижническое, и совершенно прав Борис Зайцев, отмечавший в своей книге: «Его действенный и живой Бог, живая идея было человеколюбие». И все-таки без скрытого религиозного отсвета, без затаенного «...не даждь ми...» не было бы чеховского Сахалина — как по-двига, как добровольно взятого на себя страдания.

VIII

«Со мною от Томска до Иркутска едут два поручика и военный доктор. Один поручик пехотный, в мохнатой папахе, другой топограф с аксельбантом. На каждой станции мы, грязные, мокрые, сонные, замученные медленной ездой и тряской, валимся на диваны и возмущаемся: «Какая скверная, какая ужасная дорога!» А станционные писаря и старосты говорят нам:

— Это еще ничего, а вот погодите, что на Козульке будет!

Пугают Козулькой на каждой станции, начиная с Томска,— писаря загадочно улыбаясь, а встречные проезжающие со злорадством: «я, мол, проехал, так теперь ты поезжай!» И до того запугивают воображение, что таинственная Козулька начинает сниться в виде птицы с длинным клювом и зелеными глазами».

Эти строки мы прочли в поезде, и хотя нас в отличие от Чехова и его спутников не запугивали, не улыбались загадочно, не обещали, что под Козулькой мы наверняка сломаем ось, надолго застрянем в грязи или, того хуже, вообще не доедем до Красноярска, со странным чувством ждали мы эту Козульку. Не то чтобы всерьез верили всяким россказням — да и Чехов не очень-то верил, но некое легкое опасение (сродни чеховскому) преследовало и нас: все-таки Козулька... одно название чего стоит! Судя по расписанию, поезд прибывал туда рано утром и стоял всего две минуты, но мы обещали друг другу непременно проснуться и хотя бы выглянуть из вагона. И вот часов в шесть-семь утра я внезапно открыл глаза: какая-то станция. Не желая раньше времени будить товарища, я решил спросить у проводника, где мы сейчас стоим, но почему-то в вагоне его не оказалось. Тогда я вышел в тамбур и снова удивился тому, что вагонная дверь — несмотря на отсутствие проводника — была открыта. Я выглянул. Утренний туман лежал на рельсах, и в полутьме светились станционные огни. «Что за станция?» — спросил я у дорожного рабочего, перешагивавшего через рельсы. И в ответ

прозвучало: «Козулька!» После этих слов поезд тронулся, а я вернулся в купе и снова лег спать. Мой товарищ потом долго сокрушался, что я его не разбудил. Да, не разбудил — что поделаешь! Подшутила над нами эта Козулька...

В Красноярске нам показали скверик, разбитый на том самом месте, где раньше находилась почтовая станция, упомянутая в письме Чехова от 28 мая: «Сейчас пьем на станции чай, а после чаю пойдем смотреть город». Смотреть город они пойдут вместе с поручиками и военным доктором, и Красноярск им понравится: «красивый интеллигентный город; в сравнении перед ним Томск свинья в ермолке и моветон». Дальше в письме следует перечисление достоинств города — чистые мощеные улицы, каменные дома и большие изящные церкви. Конечно, нам хочется взглянуть, что из этого сохранилось, и мы тоже идем по улицам, сворачиваем в переулки, поднимаемся на мосты, выходим на набережные. Увы, от старого центра города уцелел лишь крошечный пятачок, стиснутый со всех сторон бетонными коробками, да и тот постоянно сжимается и усыхает, как шагреневая кожа. Старые каменные дома постепенно выпадают из застройки главных улиц, и лишь одна большая изящная церковь осталась на перекрестке — не о ней ли писал Антон Павлович? И не на этой ли набережной Енисея он «стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!» Одно время у нас очень любили ссылаться на замечательные слова Чехова, как бы добавляя при этом: Чехов мечтал, а ныне его мечта стала былью. Сбылось, мол, предсказание великого писателя, и полная, умная, смелая... жизнь... осветила... Подобный пропагандистский прием вполне отвечал тогдашним представлениям о развитом социализме и как бы негласно поощрялся творцами этой формулы. Но мы сейчас так уже не скажем. Более того, нам несколько неловко повторять слова Чехова, зная о собственных трудностях и нерешенных проблемах. Какая уж там полная, умная — людям есть нечего! И не в том ли смелость нашей жизни, что мы чуть было не повернули вспять Енисей и другие сибирские реки, а в больших городах Сибири нечем дышать из-за гари и копоти! О тревожнейшей экологической обстановке в Красноярске свидетельствует, к примеру, такая деталь: потомственные жители города предпочитают возить гостей на смотровую площадку Караульной горы не днем, а поздно вечером, когда не видно застилающего горизонт дыма, заводских труб и уродливых небоскребов.

Из Красноярска мы отправились в Иркутск, по определению Чехова, лучший из всех сибирских городов. Заранее слышали, что там и по сей день стоит здание гостиницы, где останавливался Антон Павлович, и действительно, вот оно — каменное, высокое, с красивыми арочными окнами и балконами, именно здесь он написал: «Мои спутники мне надоели. Одному ехать гораздо лучше. В дороге я больше всего люблю молчание, а мои спутники говорят и поют без умолку, и говорят только о женщинах. Взяли у меня до завтра 136 рублей и уже потратили. Бездонные бочки». Значит, разочаровался в поручиках и военном докторе. Снова захотелось одиночества и того сосредоточенного духовного состояния, которое возникает лишь при долгом молчании. Но от попутчиков избавиться не удалось, и 11 июня вечером все четверо выехали из Иркутска. Впрочем, теперь к ним добавился еще и пятый — ученик Иркутского технического училища Иннокентий Никитин, на адрес которого Чехов просил родных выслать карту Забайкальской области. Даже уточнил: если можно, на холсте. Так понадежнее, подобротнее, и ученику технического училища легче будет скатывать такую карту в рулон и засовывать в ранец. Иными словами, все предусмотрел, обо всем позаботился — таков Чехов...

От Иркутска до Байкала Антон Павлович и его спутники ехали по берегу Ангары. Мы же эти берега видели из окна «ракеты», и действительно, «берега живописные. Горы и горы, на горах всплошную леса», и снова хотелось представить худощавую высокую фигуру Чехова в длинном кожаном пальто, а рядом беспечно болтающих поручиков и военного доктора и выглядывающего из коляски Кешу Никитина, может быть, отдаленно похожего на Егорушку, героя чеховской «Степи»... Вот и Листвянка, напоминавшая Антону Павловичу Ялту: вокруг такие же горы, только «нет построек, так как горы слишком отвесны и строиться на них нельзя». Чехов и его спутники заняли здесь небольшую квартиру-сарайчик,— ну, чем не Ялта, правда, нет отдыхающих, прогуливающихся по набережной с зонтиками и рассматривающих в бинокли море! «У окон, аршина на 2—3 от фундамента, начинается Байкал»,— так описал Чехов домик в Листвянке. Побывали и мы в таком домике на самом берегу Байкала — в гостях у отца Сергия, служившего в здешнем храме. У него недавно родилась дочка, и, разговаривая с нами, отец Сергий укачивал ее в колясочке... Из Листвянки на маленьком пароходике мы доплыли до порта «Байкал», там переночевали в пустой гостинице, таинственно мигавшей окнами, словно дом с привидениями из рассказа Эдгара По, а рано утром к железнодорожной станции подали тепловоз с двумя допотопными вагончиками, мы устроились у запотевших окон, проводница заварила чай в кастрюльке, и мы поехали по старой железнодорожной ветке, соединяющей порт «Байкал» и Слюдянку. Поехали медленно, с частыми остановками, но ничуть не жалели об этом, поскольку при такой скорости только и успевали разглядеть туманный, пепельно-серый Байкал, лежавший слева от нас, и тянувшиеся справа осенние склоны гор, просеки, расщелины и крутые обрывы. Как тут было снова не вспомнить Чехова: «Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем. Вода прозрачна необыкновенно, так что видно сквозь нее, как сквозь воздух; цвет у нее нежно-бирюзовый, приятный для глаза». Повезло Антону Павловичу, что застал он *такой* Байкал и ему не приходилось отстаивать его красоту в изнурительной журнальной полемике...

В Слюдянке мы провели несколько часов в ожидании поезда — гуляли вдоль Байкала, сидели на перевернутых лодках, а мой товарищ Петр Паламарчук даже купался в ледяной воде. «Верхнеудинск миленький городок» — это о современном Улан-Удэ, куда мы приехали ночью, миновав чеховские станции Клюево и Боярский (он упоминал о них в письмах), и где долго не могли устроиться ни в одной гостинице, доступной обычному командировочному, пока нас по странной прихоти судьбы не приютила самая недоступная и недосягаемая гостиница обкома — с теплым душем, мечтой транзитных пассажиров, чистым бельем и настоящими — в кишке, а не целлофане — сосисками в буфете. Поэтому на следующее утро Верхнеудинск действительно показался нам, выспавшимся и вымывшимся, миленьким городком — со старыми деревянными домами и тихими улицами. Подробно изучив город, мы запаслись билетами на самолет и, поскольку оставалось несколько часов до вылета, решили побывать в Иволгинском дацане — знаменитом буддийском центре Бурятии. Отправились туда на такси и еще издали увидели сверкающие золотые крыши с колокольчиками, храмовый дворик и большие молитвенные барабаны (покрутил — значит помолился).

Из Улан-Удэ мы полетели в Читу, где Чехов расстался со своим подопечным Иннокентием Никитиным. Городу посвящена скупая реплика: «плохой, вроде Сум». Видно, успел взглянуть лишь из коляски, измученный долгой ездой: «О сне и обедах, конечно, некогда было и думать». Вот и мы не задерживаемся в Чите, а, переночевав в гостинице аэропорта, летим в Благовещенск. «Налево русский берег, направо китайский. Хочу — на Россию гляжу, хочу — на Китай». Так писал он в письме Суворину, и мы с тем же чувством наивного удивления разглядывали китайский городок Хэйхэ на противоположном берегу Амура и читали пограничную надпись, запрещавшую с наступлением темноты спускаться к воде. В Благовещенске нам не повезло: пароход до Николаевска уже отчалил, и пришлось нам поездом добираться до Хабаровска. Там, на трехэтажном каменном доме с крылечком (улица Шевченко, 7) нам встретилась мемориальная доска: «В этом здании в 1890 году по пути на остров Сахалин останавливался Антон Павлович Чехов». Значит, это и есть здание Военного собрания, где он читал газеты? «Если судить по «последним» газетам, которые я вчера читал в Хабаровске в Военном собрании,— пишет он родственникам 1 июля,— то это письмо вы получите в октябре». Что ж, вполне вероятно, хотя другие считают чеховским одноэтажный деревянный дом на улице Тургенева. На всякий случай разыскиваем и его — не донесется ли шелест газетных страниц, которые листал Чехов, устроившись в глубоком кресле и — по своему сугубо штатскому складу — слегка смущаясь обилия людей в орденах, эполетах и начищенных сапогах.

В Хабаровске мы все-таки сели на пароход, и поистине удивительным было наше плавание по Амуру до Николаевска — густой туман над заводями, поднимающийся внезапно, как шапка вскипевшего молока, и так же внезапно опадающий, неправдоподобно большая, лимонно-желтая луна, выстилающая по волнам мерцающую дорожку, лиловые сопки, тревожные крики

чаек на закате, а главное, ставшее уже привычным сознание того, что когда-то и он, Чехов... так же стоял на палубе... смотрел на эти берега... «После Хабаровки Амур становится шире Волги». Да, пожалуй, пошире, хотя и нынешняя Волга неестественно расширилась из-за плотин и готова поспорить с Амуром — невеселый это был бы спор. «Сегодня 1-й июль. Значит, плыву я уж 10 дней. Надоело». Действительно, за десять дней непрерывного плавания он устал, а раньше Амур ему очень нравился. Нравился больше других рек, и уральских, и сибирских, иначе он не написал бы: «Я в Амур влюблен; охотно бы пожил на нем года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России». Вот оно что — не красота и не простор, а свобода главное для него! Здесь мы снова касаемся чего-то очень важного в Чехове. С одной стороны, осуждает студенческие забастовки — там, в России (об этом есть в письмах), а с другой стороны, готов позавидовать последнему ссыльному на Амуре. Чем это объяснить? Непоследовательностью политических взглядов? Но в том-то и дело, что Чехов понимает (точнее, стихийно воспринимает) свободу не столько политически, сколько географически—не как человек средней полосы России, а как степняк, южанин, родившийся в Таганроге, неподалеку от казацкой вольницы. Поэтому стремление к свободе для него — это постоянное стремление уехать, вырваться из привычного круга, и тем-то близок ему Амур, что бесконечно далеко от его похожего на комод московского дома, протоптанной дорожки в снегу и таблички «Доктор Чехов» на входной двери.

Внимательно читая письма Чехова и многочисленные воспоминания о нем, убеждаешься, что по складу своей натуры он менее всего склонен к переустройству собственной жизни или — в духовном смысле — самого себя. Для него творчество возникает лишь при соприкосновении пера и бумаги, но это понятие никак не распространяется на жизнь. Чехову осталась чуждой идея жизнетворчества, захватившая многих его современников. Для Толстого и Достоевского прожить было важнее, чем написать (как, впрочем, и чуть раньше—для Гоголя), и они переделывали себя не менее яростно, чем черновики собственных рукописей. Чехов же почему-то по капле выдавливал из себя раба, решительная и бесповоротная ломка собственной натуры как бы не отвечала его внутреннему складу, его темпераменту. В этом он не революционер, а беглец. Иногда даже — беглец от собственного счастья, которое он недаром называет насмешливым (попутно заметим, что это название родилось именно по пути на Сахалин — в одном из сибирских писем), и насмешливое оно прежде всего потому, что Чехов сам над ним смеется. Как бы не верит ему, этому оседлому счастью, и старается под любым предлогом его из-бежать. Психологически эту черту Чехова, наверное, лучше всех понимала Лика Мизинова —оттого и смирилась с их неудавшимся романом. Смирилась, окончательно уяснив для себя, что Чехов—всегда там и никогда здесь, словно его вечно манит и дразнит неведомая степная вольница. Отсюда— и его постоянная неспособность усидеть на месте, постоянные странствия — от Одессы до Сахалина и Цейлона. В дороге он не был счастлив, а был свободен. «Покой и воля» — так обозначил это состояние Пушкин («На свете счастья нет...»).

IX

«5 июля 1890 г. я прибыл на пароходе в г. Николаевск, один из самых восточных пунктов нашего отечества» — этой фразой начинается «Остров Сахалин». Прибыл он на «Муравьеве», совершающем рейсы по Амуру, а затем пересел на «Байкал», который и доставил его на Сахалин через Татарский пролив. Плавание это закончилось вполне благополучно, а вот между двумя рейсами было мучительное и довольно нелепое стояние на пристани — в полной растерянности и незнании, куда себя деть. Вся беда в том, что гостиницы в городе не нашлось, а в общественном собрании ему позволили лишь отдохнуть после обеда, на вопрос же, где можно переночевать, недоуменно пожали плечами. Да Бог его знает, где! Пожалуй, что и нигде! Так он и оказался снова на пристани — той самой, на которую сошли с трапа и мы, когда наш «Невельский» причалил к берегу. И вот смотришь с пристани на Николаевск, один из самых восточных пунктов отечества, и удивительно чувствуешь Чехова — его заброшенность, потерянность, тоску. Стоял здесь, поеживался от ветра, глухо покашливал, закрывая ладонью рот, а солнце уже опускалось, волны на Амуре темнели, и собаки выли на том берегу. Рядом, на досках, его вещи — тюки и сумки. И «Байкал» в темноте сверкает огнями. И он снова себя спрашивает, зачем он здесь, зачем он сюда приехал?..

Слава Богу, на «Байкале» его приютили, и он даже подружился с капитаном и тремя помощниками капитана, но от Николаевска остались самые мрачные воспоминания: «Обыватели ведут сонную, пьяную жизнь и вообще живут впроголодь, чем Бог послал». Конечно, хотелось бы опровергнуть Чехова, сказать, что за сто лет в Николаевске многое изменилось,— и наверное, это действительно так, только нигде больше мы не видели таких огромных, в полторы тысячи человек, очередей за водкой и такой унылой пустоты на прилавках гастрономов и овощных магазинов. Гостиницу же мы все-таки разыскали и даже сумели пробиться в ресторан поужинать, но тотчас же столкнулись с удивительным местным нововведением: столы были накрыты заранее, и посетителям предлагался один и тот же обязательный набор блюд с единственным правом выбора — съесть все подчистую либо остаться голодным. Поужинав по обязательной программе и переночевав в гостинице, мы провели весь следующий день в безуспешных попытках улететь на Сахалин или попроситься на попутное грузовое судно, которое могло бы нас туда доставить, поскольку чеховский маршрут через Татарский пролив давно забыт и пассажирские суда по нему не ходят. В управлении порта нам пытались помочь, но ближайшее судно отходило на Сахалин лишь через несколько дней— ждать мы не могли и на следующее утро улетели самолетом в Оху, городок нефтяников на севере Сахалина, оттуда — в Зональное, а из Зонального на попутной машине добрались до Тымовска. Так начались наши странствия по Сахалину...

Прежнее название Тымовска — Дербинское — мы встречаем у Чехова: «Утром выхожу на крыльцо. Небо серое, унылое, идет дождь, грязно. От дверей к дверям торопливо ходит смотритель с ключами.

— Я тебе пропишу такую записку, что потом неделю чесаться будешь! — кричит он.— Я тебе покажу записку!

Эти слова относятся к толпе человек в двадцать каторжных, которые, как можно судить по немногим долетевшим до меня фразам, просятся в больницу. Они оборваны, вымокли на дожде, забрызганы грязью, дрожат; они хотят выразить мимикой, что им в самом деле больно, но на озябших, застывших лицах выходит что-то кривое, лживое, хотя, быть может, они вовсе не лгут... Приходит на ум слово «парии», означающее в обиходе состояние человека, ниже которого уже нельзя упасть». Каким страшным по своему смыслу кажется Чехову это слово — «парии», применявшееся по отношению к людям отверженным, выброшенным из общества! Но странное дело — оно совершенно не страшит нас. Может быть, слегка пугает, как пугают иные страшные сцены в кино или в театре, но всерьез не страшит. Слишком оно для нас ненастоящее, невзаправдашнее, бутафорское, это слово, вместе с тем образом, который возникает при его произнесении: нищенские лохмотья, протянутая для подаяния рука. Если так выглядят парии, то, пожалуй, мы и сами готовы попробовать... а ну-ка... наставим заплаток на джинсах, отрастим длинные волосы и побудем немного хиппи. Чем они хуже париев — просят медяки у прохожих, ночуют в брошенных домах! Очень даже весело...

Так что же произошло? Почему за сто лет, отделяющих нас от Чехова, совершенно выветрилось содержание этого слова? Да именно потому, что оно означало бесправное положение человека в правовом обществе, представителем которого и чувствует себя Чехов. Иначе бы он так скрупулезно не подсчитывал, сколько кубометров воздуха приходится на одного заключенного в камере, и не исследовал бы так дотошно состояние тюремных нужников. Да, при этом он негодовал, протестовал, возмущался, но в том-то и состояла его посредническая миссия между правовым обществом и бесправными париями. Таким образом, утверждение, что по меркам этого общества ниже париев упасть нельзя, имело отрицательный и положительный оттенок: все-таки нельзя же, значит, есть какие-то гарантии. А вот если общество перестает быть правовым?.. Тогда можно и ниже?.. Приведем для сравнения больничную сценку, заимствованную из воспоминаний о каторге недавнего времени. Колыма, начало 50-х: «Меня и Федю Варламова втащили в небольшую камеру с деревянным полом. Федя был без сознания. Когда нас тащили

в БУР, я несколько раз пытался подняться на ноги. Но голова кружилась, меня сильно, до рвоты тошнило. И отвратительно рвало. Через решетчатое, но открытое окошко камеры доносился голос врача, спорившего со старшим надзирателем.

— У молодого человека ранена рука, и у него явное сотрясение мозга. Другой вообще очень тяжело ранен. Им обоим надо помочь, нужно их осмотреть, оказать помощь. Я как врач требую, чтобы меня пропустили к раненым!

— Ты, папаша, слыхал, что майор сказал?

— Слыхал.

— Вот то-то и оно-то.

— Это же вопиющее нарушение советских законов!

— Здесь, гражданин доктор, закона нет, здесь закон — тайга, а прокурор — медведь».

Добавить к этой сцене нечего. Единственное, что хочется сказать,— в ней невозможно присутствие Чехова. В первой сцене он — свидетель, очевидец со стороны, который выносит по отношению к происходящему правовое суждение. Во второй сцене свидетелей нет: она описана от лица участника, и в этом, пожалуй, наиболее горький итог всего того, что произошло с нашим обществом за сто лет после Чехова...

Из Тымовска на попутной машине мы двинулись в Александровск, старую столицу острова, где Чехов впервые сошел на сахалинский берег. В солнечный погожий день, да еще ранней осенью, дорога от Тымовска до Александровска, поднимающаяся на небольшой перевал, а затем снова спускающаяся в долину, на редкость красива именно по-сахалински — затаенной, холодноватой и слегка угрюмой красотой сопок, одетых в «багрец и золото», хотя пышного увядания природы здесь нет, а есть как бы последнее свечение осени, похожей на догорающий лесной костер. Вот и Александровск был словно пронизан этим свечением, когда мы бродили по старой части города, разыскивали одноэтажный бревенчатый домик, в котором бывал Чехов, стояли на месте бывшей александровской тюрьмы и издали смотрели на море, на портовые краны и три торчащих из воды каменных зуба — «Три Брата». И снова в ушах настойчиво звучало: он... он... он.., и мы оказывались во власти странного, ускользающего чувства — вот вроде бы догоняем, ступаем след в след, а меж нами столетие... Целое столетие — шутка ли сказать! Так что же реальнее — разделяющее нас время или близость этих мест, этих зданий, этих вещей и предметов? Да, бывал в этом самом бревенчатом домике — говорят, у Карла Христофоровича Ландсберга, сахалинского каторжного, о котором писал Кони... И место бывшей тюрьмы исхожено им вдоль и поперек... А здесь, в порту, возле «Трех Братьев», причалил катер, забравший его с «Байкала»... И в здешнем музее даже хранится ложка, которой он ел. Обычная ложка, из простого металла, слегка потемневшая и потускневшая от времени и такая необычная, чеховская...

Так что же реальнее? Пожалуй, все-таки близость, иначе бы не произошло со мной то, что заставило снова — уже во второй раз — приехать в Александровск. «Чаще всего мы ходили к маяку, который стоит высоко над долиной, на мысе Жонкиер. Днем маяк, если посмотреть на него снизу,— скромный белый домик с мачтой и с фонарем, ночью же он ярко светит в потемках, и кажется тогда, что каторга глядит на мир своим красным глазом. Дорога к домику поднимается круто, оборачиваясь спиралью вокруг горы, мимо старых лиственниц и елей. Чем выше поднимаешься, тем свободнее дышится; море раскидывается перед глазами, приходят мало-помалу мысли, ничего общего не имеющие ни с тюрьмой, ни с каторгой, ни с ссыльною колонией, и тут только сознаешь, как скучно и трудно живется внизу». Эти строки из «Острова Сахалина» я прочел в поезде, который вез нас из Тымовска в Южно-Сахалинск. Не то чтобы я не читал их раньше — читал, конечно, но это было еще в Москве, а тут случайно раскрыл книгу и перечитал снова. Перечитал и вздрогнул: на маяке-то мы не побывали! И не увидели туннель, пробитый в мысе Жонкиер. Тот самый, о котором Чехов не без сарказма заметил: «На этом туннеле превосходно сказалась склонность русского человека тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетворены самые насущные потребности». Не побывали, не увидели — как же так! И стало меня заедать беспокойство — не знал, куда деваться. Говорил себе, что прошло много лет, что туннель и маяк наверняка по нескольку раз перестраивались, но неосуществившаяся возможность побывать вблизи, увидеть, прикоснуться все-таки заставила вернуться в Александровск. Как ни далека дорога, а пришлось... В Южно-Сахалинске мы простились с Петром Паламарчуком — срочные дела заставили его улететь в Москву, а я взял билет на ночной поезд до Тымовска...

И вот я иду к маяку по той же дороге, что и Чехов,— по старому деревянному мосту через Дуйку (не о нем ли у Чехова — по старому деревянному мосту через «Спешно строят мост через Дуйку...»?), мимо портовой пристани, берегом моря. Под ногами — обломки камней, наносы каких-то водорослей, засохшая морская капуста, остро пахнущая йодом. Слева — поросшие травой и кустарником склоны гор, а над головой — прозрачное бирюзовое небо и до рези в глазах сияющее осеннее солнце. Вхожу в туннель, укрепленный деревянными сваями: сыро, холодно, капает с потолка. А в конце уже виден маяк — белая башенка с огромным вогнутым зеркалом. При Чехове он был деревянный, но вскоре после его отъезда построили каменный. Дорога к нему так же круто поднимается вверх, оборачиваясь спиралью вокруг горы. «Около домика рвется на цепи злая собака». Да, да, и сейчас все, как у Чехова, только собака отвязана, и на территорию маяка не зайдешь. А жаль — можно было бы подняться на башенку и посмотреть оттуда вниз. Впрочем, почему бы не довериться Чехову: «Если, стоя в фонаре маяка, поглядеть вниз на море и на «Трех Братьев», около которых пенятся волны, то кружится голова и становится жутко!» Прочесть у Чехова — все равно, что испытать самому, и, стоя у ограды, за которой лает собака, я мысленно переношусь туда, на маяк, и как будто снова читаю у Чехова: «Широкое, сверкающее от солнца море глухо шумит внизу, далекий берег соблазнительно манит к себе, и становится грустно и тоскливо, как будто никогда уже не выберешься из этого Сахалина. Глядишь на тот берег, и кажется, что будь я каторжным, то бежал бы отсюда непременно, несмотря ни на что». Таков Чехов с его вечной неспособностью усидеть на месте: из Москвы его тянуло на Сахалин, а с Сахалина хочется бежать в Москву. И, пожалуй, действительно бежал бы, будь он каторжником. В человека бы не выстрелил, а с каторги бежал бы. Да, да, таков Чехов: слишком велико в нем стремление к свободе, и свобода всегда имеет пространственные ориентиры.

Когда я спускался с маяка, по берегу ходили женщины с плетеными корзинами. «Что это вы собираете?» «Уголь». «А откуда он здесь?» «Морем наносит. Наверное, возле берега залегает пласт. Уголь легкий и горит хорошо». Вот она, привычка островитян приспосабливаться к условиям жизни: набрал полкорзины морского угля, и зимним вечером в доме жарко пылает печка! Приспособиться к холодной зиме и другим трудностям в общем-то удается, но Чехов недаром написал: «... бежал бы отсюда» — как приспособиться к этому? И здесь вновь возникают портреты людей, с которыми я встречался и которые по-разному приспосабливались к жизни на Сахалине. Король бичей. В ресторане он подошел к нашему столику и попросил разрешения взять свободный стул. Просьба была самой обычной, но он постарался вложить в нее столько преувеличенного самоуничижения, показной боязни побеспокоить и какой-то вертлявой угодливости, что мы невольно засомневались: не играл ли он простачка, не придуривался ли, не ваньку ли валял? Стул мы с готовностью уступили и при этом дружески улыбнулись в ответ: пожалуйста, какой разговор! И он так же вертляво — «Спасибо... извините за беспокойство» — удалился, а затем случайно выяснилось, что человек это страшный, не один год отсидел в тюрьме и у здешних бичей считается кем-то вроде короля. В то время, как он униженно просил у нас стул, в туалете плакала женщина, которую он до этого наотмашь бил по лицу. И — никто не вступился... Чтоб он подломился под ним, этот наш стул!..

Зубной врач. Мы ехали с ним в одном купе, утром проводник разносил чай, но заварен у него был плохой грузинский, а мой попутчик предложил хорошего цейлонского: у него имелась пачечка про запас. Тут мы, естественно, разговорились, и я узнал, что по профессии он зубной врач, успешно практикует в Найбучи, но вот беда — в свое время отсидел за взятку. Признался он в этом без особого сожаления, а как бы с беспечной гордостью человека, сумевшего неожиданным способом приобрести ценный жизненный опыт. Он даже добавил такую фразу, что тюрьма, мол, многому учит, и я подумал: «Эге, да ты, оказывается, не просто взяточник, а искатель приключений!» И стал с интересом к нему присматриваться. И что меня больше всего удивило — это роскошный иллюстрированный каталог мебели и бытовой

техники, листая который, он произнес: «Люблю красивые вещи». Вот оно что! Он приспосабливался к жизни тем, что культивировал здесь, на Сахалине, европейский комфорт и из-за этой своей страсти вступал в неизбежные противоречия с законом. Он хотел быть владельцем красивых вещей, и несбыточность этой мечты странным образом примиряла его с тюремными буднями. Человек из ресторана. Представился как бывший диссидент, высланный сюда из Ленинграда, но чувствовалось—слегка подвирал. Если его и выслали, то не за распространение запрещенной литературы, а за спекуляцию дефицитными книгами. Слишком уж он старался изобразить несправедливо обиженного и вызвать к себе интерес. И слишком благополучным при этом выглядел: вельветовые брючки с фирменной нашлепкой, такая же фирменная курточка, свитерок и богемный платочек на шее. Было видно, что живет он лишь рестораном, куда его пускают даже в перерыв, называют по имени, а иногда и бесплатно кормят. Днем он приносит и уносит какие-то сумки, что-то перепродает официанткам, метрдотелю и швейцару, а вечерами, когда ресторан наполняется, подсаживается к посетителям, выпивает одну-две рюмки и со значительным выражением рассказывает о своем мнимом диссидентском прошлом. Вот и вся его ресторанная жизнь...

Из Корсакова я возвращался морем— до Владивостока. Всю ночь и половину следующего дня пароход сильно качало, матросы намертво задраили иллюминаторы в каютах, палубы опустели, и на обед являлись лишь самые отчаянные смельчаки, не подверженные морской болезни. Но вечером качка стихла, небо прояснилось, и в легком тумане показались очертания материка. Во Владивосток мы прибыли рано утром, и я прежде всего прошелся по главной улице, поднялся на вершину одной из сопок, а затем разыскал место, откуда Чехов любовался Амурской бухтой: «...по бухте ходил настоящий кит и плескал хвостищем...» Да, да, то самое... Из Владивостока я четверо суток ехал до Новосибирска, в купе было жарко натоплено, и я поочередно стоял то в коридоре, то в тамбуре и не мог оторваться от окон: леса, покрытые инеем и еще не сбросившие листвы, туманные сопки и ненарушаемая чистота пространства, какое теперь уже редко где увидишь... Из Новосибирска я отправился в старое село Колывань, которое проезжал Чехов,— очень уж хотелось взглянуть на сохранившееся здание почтовой станции. А затем прямым поездом вернулся в Москву, и на этом закончилось мое путешествие. И только один портрет осталось нарисовать в заключение...

Этого человека я встретил еще в Корсакове — на палубе морского парохода, и показался он мне вначале немного странным: в распахнутой железнодорожной шинели, с шарфом, нелепо обмотанным вокруг шеи, он каким-то заплетающимся шагом расхаживал от борта к борту, размахивал руками и всем восхищался. «Вы только подумайте,— повторял он.— Мы прощаемся с Сахалином!» Вскоре мы познакомились, и оказалось, что зовут его Борисом Александровичем и он действительно бывший железнодорожник, но только не простой, а путешествующий. За те годы, пока на пенсии, исколесил он всю страну —от Урала до Дальнего Востока. В этот раз решил побывать на Сахалине— посмотреть, как люди живут. Случилась авария в Чернобыле, и Борис Александрович немедленно собрался в Киев — ведь люди же... Неистребимую любовь к ним он словно бы не в силах удержать в себе, и надо видеть, как упоенно он их слушает, вникает во все подробности их судеб. Во Владивостоке мы вместе сошли на берег, и тут я убедился, что люди не всегда платят Борису Александровичу ответной любовью, разложил он на вокзале свой завтрак, но тут же устремился куда-то, а завтрак украли, и он долго не мог скрыть огорчения. «Как же так! — вздыхал он.— Уж лучше бы попросили...» Зато в Хабаровске его провожал весь вагон — помогали вынести чемодан, жали руки, совали бумажки с адресами. Счастливый и сияющий, он стоял на платформе, и я тоже помахал ему в окно... Хороший человек Борис Александрович, чеховский...

●

Поэзия — каждодневная молитва

В конце минувшего года в гостях у «Октября» побывала американская поэтесса Маргарет Баррингер. Она не только пишет стихи, но и взяла на себя нелегкий труд помогать пишущим и всем тем, кто ценит поэзию.

Баррингер создала «Американский поэтический центр» в Филадельфии и бескорыстно вот уже много лет ведет разностороннюю работу, возглавляя его. Об этом центре, о месте поэта в американском обществе шел разговор в редакции.

— Лет семь назад у меня возникло ощущение какой-то растерянности, непонятно было, что происходит вокруг. Я уже писала стихи и почувствовала необходимость как-то лучше ориентироваться в окружающей жизни. Меня преследовала мысль, что никто толком в Америке не понимает происходящего, что в американском обществе в силу его перегруженности технологией возникла острая потребность именно в камерном слове, звучащем слове. А поэты друг с другом ни в чем не соглашаются. Стало любопытно: а что если собрать небольшую группу поэтов, чтобы они оказались все под одной крышей? Послушали бы друг друга и немножко поработали вместе. Так возник «Американский поэтический центр» в Филадельфии. За годы существования в центре побывали практически все поэты и литературная общественность Пенсильвании и установилась очень тесная связь со средствами массовой информации. Поэтический центр — это четыре человека, четверо служащих и четыре компьютера. Они ищут контакты с разными поэтами, со всеми писателями Пенсильвании, со всеми университетами. Все это, естественно, на частной основе. Правда, руководство штата дает нам небольшие деньги, потому что поняло: наша организация вне политики, создана только для того, чтобы помогать писателям, существует лишь для литературы. Надо отметить, что поэтический центр — в общем-то посредническая организация. Она помогает всем, кто занят творчеством. Находит для поэтов деньги: устраивает публичные выступления. Кроме того, у центра имеется маленькая книжная лавка, где продаются произведения поэтов и вообще литераторов нашего штата. Каждый год в марте проходят поэтические фестивали в городах Пенсильвании, в которых участвуют поэты, не только местные, но и из других штатов — от самых известных до совсем молодых, делающих первые шаги. Мы утвердили определенного рода систему пропаганды поэзии, совершенно неполитическую. И в этой системе может участвовать каждый. Надо сказать, что поэзия у нас не пользуется особым успехом. Из всех искусств она наименее престижна. Поэт не может жить на свои литературные заработки, он должен либо преподавать в университете, либо работать в библиотеке, или еще где-нибудь. Понимаете, надо обязательно где-то работать. Поэзия — это не бизнес, это личная каждодневная молитва. Но вот недавнее социологическое исследование нас ободрило. Выяснилось, что 42 миллиона американцев пишут стихи. Может быть, мне удастся с помощью национального фонда поощрения искусства распространить систему, разработанную в Пенсильвании, и в других штатах.

— Маргарет, вы не только организатор и душа поэтического центра, но и сами пишете стихи. Наш читатель не знаком с вашим творчеством. Конечно, рассказывать о своих стихах — дело неблагодарное, но все же...

— Я довольно поздно попала в университет, после этого сразу стала писать. В последние годы я слишком занята поэтическим центром, нет времени углубиться в себя. Как раз приезд сюда, в Москву, позволяет мне глубже вглядеться в свое поэтическое я, поскольку здесь другой мир, другой контекст жизни. Если в двух словах ответить, то я человек, склонный к состраданию. Другой мне важ-

нее, чем я сама. Кроме того, каждая женщина наделена особым чувством, особой заботой о выживании. Речь не об эгоистическом выживании, а вообще о выживании рода человеческого. На мой взгляд, и американская поэзия, и «Американский поэтический центр» вот этой сущностью и проникнуты. Как поэт я прошла через разные увлечения, через разные этапы, но неизменно самым интересным, самым значительным оставались для меня творческие различия в отношении к миру мужского и женского начал. Мое особое пристрастие — эпическая поэзия, эпическая традиция. Это высшее выражение красоты. Поэтому приходится овладевать языком мужественным, стремиться чувствовать себя свободной в рамках этого языка. Иногда я даже пишу от мужского лица, с точки зрения мужчины. И теперь мне кажется, что я достигла того, что между двумя началами, которые во мне существуют, как в каждом человеке,— мужским и женским,— нет внутреннего противоречия. Сейчас возвращаюсь к поэзии метрической, правильной и более строгой по форме. Начала все чаще обращаться к сюжетам. Многое в моих стихах — из рассказов матери о моем детстве на ферме. Захотелось вернуть эти очень далекие воспоминания.

— У нас есть такое странное разделение — на мужскую и женскую поэзию, особенно любят этим заниматься критики, и когда сравнивают и оценивают мужскую поэзию, то может быть использована любая шкала ценностей. Сравнивают кого угодно с кем угодно. Но когда речь заходит о поэзии женской, то отсчет идет неминуемо по высокому классу — это Цветаева, Ахматова, только так. Свойственно ли подобное американской критике?

— Этого нет. Да и не могло возникнуть, так как замечательные американские поэтессы, их было немало, в основном были поэтами без публики, а значит, и без критики. Большинство из них почти не публиковались при жизни. Но, по моему глубокому убеждению, женщине-поэту намного труднее, и ей особенно необходима моральная помощь.

— Связан ли ваш центр с русской эмигрантской поэзией?

— Видите ли, непосредственной связи с поэтами-эмигрантами нет, потому что сдерживает языковой барьер. Но все наши мероприятия посещают иммигранты. Представителей первой русской иммиграции почти уже нет. А третья иммиграция приходит. Особенно когда выступают советские поэты.

— У нас есть Литературный институт. Предполагается, что он готовит профессиональных литераторов, то есть людей, которые добывают свой хлеб насущный литературным трудом, например, стихами. Немного странно узнать, что в Америке поэты, даже признанные, должны иметь службу. Особенно интересна практика работы писателей при университетах.

— Как правительство, так и университетское руководство в Америке поняли, что писатели — это очень хороший двигатель в общественных отношениях, контактах. При большинстве университетов существуют так называемые третьи группы: обычно очень известный писатель руководит литературной мастерской, где регулярно бывают собрания, семинары, поэты приносят стихи, читают вслух, потом студенты их обсуждают. При этом они учатся на других факультетах, не обязательно гуманитарных. Когда они оканчивают университет и оказываются в огромном противоречивом мире, их уже ничто не поколеблет, и они продолжают писать. Но чтобы публиковаться, чтобы тебя заметили, чтобы оставить след,— это в общем-то тяжело. За это надо бороться, даже сражаться. Только в таких испытаниях выковывается то, что нужно.

Беседу вела Ирина БАРМЕТОВА

Маргарет БАРРИНГЕР

С английского

Знак вечности

Моему отцу

В проеме дверей сверкает ослепительно белый прибой.
Угловатые тени полудня в зарослях сада за домом,
беззащитная голость платана с синевою набухших вен.
На подоконнике, где ты показал мне рисунок, оставленный солнцем,
проникшим сквозь прорезь в оконном ставне,
словно сквозь прорезь в игральной карте,
там свет разлился и два этих солнечных эллипса
поглотили пространство года, сжали в один объем —
вот и все, что мне от тебя осталось из-за моей неспособности

о жизни твоей вспоминать в присутствии посторонних,
когда память свою о тебе я прячу под небом без горизонта,
или стараюсь вспомнить, как выглядел ты в тот полдень,
множество лет назад, какую печаль усталости
я в глазах твоих увидала, когда ты объяснить пытался
этот мир, на ладони раскачивая лепесток розоватый шиповника:
все что в памяти запечатлелось тогда,— это крепкая
плоть ладони твоей и хрупкая плоть моей детской ладошки,
розовеющей, как лепестки, страстно жаждущей вдруг дотянуться
и сжать, и востребовать детским инстинктом блаженство
мгновений, когда двое сливаются и превращаются в эллипсы света,
проникаясь текучим и медленно плавным сияньем.

Брожу я сейчас по дому, из комнаты в комнату,
где свет вечерний на темных полах, брожу я, пока
за зеркалом прямо над столиком в нашей прихожей
вдруг ключи нахожу на старом твоем брелоке,
он всегда был с тобой —
когда ты отсюда смотрел, как волны вздымаются и опадают,
словно дышащий женский живот океанских глубин.
Твой брелок у меня в ладони, сжимаю змеистых колец серебро,
опять на крыльцо выхожу постоять на досках подгнивших,
облепленных рыжими водорослями, безвольными, длинными,
присыпанными песком, и провожаю солнце, и в воздухе
что-то вздрагивает,
трепет и угасанье, ослепительный меркнет полдень,
из-за черного горизонта брызжет луч молодого месяца.

Перевела Юнна МОРИЦ

О кипарисах

Бессмысленно спрашивать, как ночь создает рассказ о себе,
Говорить о том, что меж кипарисом и елью сияет Жар-птица,
Прикипая к небу сверкающей болью; праздно желанье узнать,
Как высоко она приземлится во времени, когда время пройдет,

Иль представить сей день, день после дня, когда небеса
Воскресали,— когда за тем, что я видела, был кругозор,
До того пронизанный светом, что казалось — перевернуты
Мысли мои и содержимое разума там, выше, чем мозг мой,

Оставляет бездумное тело решать; бессмысленно вновь
Утверждать, что на взгляд кипарис оперен, как Жар-птица,
Что он говорит, когда ты ложишься здесь, рядом со мной,—
Мужчина с руками,— это все, что я знаю, но я тебе говорю:

То, чего хотят кардинал или сойка, значительно больше:
Хотят они снега, косо летящего сквозь это окно,—
Смело, знакомо и нежно, будто тепло, которое знаю я,
Знала дольше, чем тело, которое помню, которое есть я;

Хотят они память о нас, вместе живущих, память-птицу,
Бьющую крылом в такую суматошную толщу движенья, что
Вчерашний весь день летит в меня и я становлюсь
Исчезающей точкой на холсте Мондриана,— черные его

Конечности ведут, покуда мой разум не растянется надо мною,
Требуя действия, будто ничто не свершилось, иль хуже того,
Чтоб решила я — который вздох будет моим последним,
Дабы на следующий день разгласить его в заголовках газет;

Вздохнули — я сделала выбор, объявили, что выбор плохой,
Покуда где-то в воспоминаньях, в длящейся их глубине

Я не ощутила рожденье моего ребенка,— в нем был миг
Обретения — первый восторг обретения: мой дар;

Затем открытие своей галактической груди,
Познанье того, как младенец встретился с грудью,
Как утром Жар-птица взлетает живой!
Но претворяется восторг дня, который и есть дитя.

Мне это не чудится: он претворяется, чтоб извлечь
Такой огонь из рук твоих, будто ты его мать
Иль где-то кружась, так далеко от исчезнувшей точки
(Жар-птица еще в уютном, надежном своем гнезде), что

Лицо нового мира должно быть младенца лицом, а не то
Сдунут, как копоть, снег, летящий сквозь окна,
Сгинет холст мира, запомнившиеся детали его сорвут,
Все улетит, если ты не встретишь себя одного,—

Руки раскинуты, как у Христа, чтобы скрыть пустоту,
Глазами, которыми плакал Эль Греко, ты ждешь
Бесконечно, чтоб возжаждал младенец-мир твою грудь;
Тогда медленно, медленно, с низко поникшею головой

Ты поползешь, чтобы взять свою голову, как дитя
На руки,— да будет принят твой дар, ты подымешь его
В жизнь, ты должен напоить его молоком
Своей зрелости, начни, начни еще раз,

Будь тем открытым огромным клювом птенца,
Ждущим в отцовском гнезде, гнезде Жар-птицы;
Питай себя крохами светляка, будто причастием к слову,
И начни признавать, что весь рассказ о себе

Помещается меж костью и плотью — ударом в пульсе;
Познай себя ребенком плачущим, дабы дали ему поесть,
Возьми его нежно на руки; здесь кипарис и здесь ель,
Жар-птица, взлетая, поет; взлетая, поет звездам.

Перевела Валентина СИНКЕВИЧ

Шоссе на северо-восток

Ей ничего не видно со двора, поросшего травой,
не видно из-за мусора вокруг бугра,
не видно, как бросают доллары в дорожный автомат.
Она лишь только слышит гудки автомобилей,
их монотонность, текущую их воду...

Не может уловить, что воздух выхлопами пахнет,
и видит только лишь лужайку жалкую,
и волосы раскрылись желтые и расплелись, распались
по затылку, как поле спелое... Теперь
в них заросли пырея, лопухи. И — одуванчики.

Она улыбается ежеминутно, видя ребят,
играющих в бейсбол, словно Америка еще все та,
та старая, с невинным небом и яблочными пирогами.
Не слышит, как лопата об лопату бьется, могилу рядом роя,
не чует, как свалка за холмами гнилью тянет заводской,
и пятнышко на лбу, оно казалось родинкой, сейчас ее тревожит.

Перевел Александр ТКАЧЕНКО

Е. БУРТИНА

Коллективизация без «перегибов»

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В ДЕРЕВНЕ В 1930—1935 ГОДАХ

— А кто платил,
Когда я не платил?
За каждый стог,
Что в поле метал,
За каждый рог,
Что в хлеву держал,
За каждый воз,
Что с поля привез,
За кошачий хвост,
За собачий хвост,
За тень от избы,
За дым от трубы,
За свет и за мрак,
И за просто, и за так...

А. ТВАРДОВСКИЙ.
«Страна Муравия»

Сейчас уже, кажется, окончательно развеян один из основных мифов нашей официальной истории: будто так называемая «сплошная коллективизация» явилась результатом массового добровольного движения крестьян в колхозы. Однако и в наши дни, говоря о насильственной коллективизации, обычно имеют в виду события конца 1929 — первых месяцев 1930 года, когда крестьянин был поставлен перед выбором: вступление в колхоз или «раскулачивание», в лучшем случае — лишение избирательных прав. Нарушение в этот период «принципа добровольности» вскоре было официально признано руководством — в иезуитски-лживой форме констатации «перегибов» — и осуждено (статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов» — «Правда» от 2 марта 1930 года, постановление ЦК ВКП(б) от 15 марта того же года «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении» и др.). Многие «загибщики», послушно исполнявшие указания Центра, были репрессированы. Отлив из колхозов был таким, что к концу лета 1930 года в них осталось не более трети записавшихся (21 процент из 60, числившихся в колхозах к марту). Тем не менее всего через каких-нибудь три-четыре года практически все крестьяне, за единичными исключениями, стали колхозниками.

Как же это получилось?

Согласно объяснению, до последнего времени державшемуся в официальной науке, единоличника убедили хозяйственные успехи колхозов, рост благосостояния колхозников. Однако нередко в тех же самых книжках на соседних страницах сообщается о том, что в годы коллективизации «произошло снижение экономических показателей сельского хозяйства, выразившееся в значительном уменьшении валовой продукции зерновых культур и в сокращении поголовья скота» (С. П. Трапезников. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос, т. 2, М., 1974, с. 351). Иногда упоминаются и «экономические методы», использовавшиеся в этот период для «стимулирования» процесса коллективизации. Правда, говорится об этом как-то глухо и невнятно, без определенности в оценках. Вот что сказано по этому поводу в одной из последних и наиболее правдивых публикаций о коллективизации. После неудавшейся попытки загнать всех крестьян в колхозы «стали более активно применяться экономические рычаги... Государство в 1930 году оказывало колхозам большую помощь, им предоставлялись существенные налоговые льготы. Зато для единоличников были увеличены ставки сельскохозяйственного налога, введены взимаемые только с них единовременные налоги. Рос также объем государственных заготовок, которые приобретали обязательный характер» («Коллективизация: как это было» — «Правда», 16 сентября 1988 года). Своего отношения к этим мерам авторы публикации прямо не высказывают, но складывается впечатление, что они рассматривают эти методы как разумную альтернативу политике первых месяцев «сплошной коллективизации» — альтернативу, которая, впрочем, осталась нереализованной: как явствует из материала, произвол и репрессии по отношению к крестьянству не прекратились и в дальнейшем.

Предлагаемый ниже обзор правительственных постановлений 1930—1935 годов показывает, что на всем протяжении названного периода эти «экономические методы» отнюдь не были забыты, и дает представление об их действительном содержании и значении. Хотелось бы подчеркнуть, что это не исследование налоговой политики по отношению к крестьянству, а только обзор определенной группы документов, запечатлевших указанную политику на общесоюзном уровне[1]. Свою задачу автор видел и в том, чтобы привлечь внимание читателей к такому содержательному и сравнительно доступному источнику по истории советского общества, как «Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР»[2].

Сельхозналог

В конце 20-х годов основным налогом на крестьянство был так называемый «единый сельскохозяйственный налог», введенный в 1923 году вместо нескольких натуральных и денежных налогов. В начале 30-х годов к нему прибавились новые налоги, которые по своим размерам не уступали сельхозналогу, а часто и превосходили его. Но поскольку они устанавливались в процентном отношении к годовому окладу сельхозналога, то он по-прежнему считался основным. С него и начнем.

Прежде всего необходимо пояснить, как формировался сельхозналог. Не разобравшись в этой сухой и скучной материи, невозможно понять, как сельхозналог превратился в один из мощных «экономических рычагов» коллективизации. Дело в том, что в отличие от подоходного, который платили горожане, сельхозналог приходилось рассчитывать как бы в два этапа: прежде чем его начислять, нужно было определить сумму, с которой он должен был начисляться,— годовой доход данного крестьянского хозяйства. А это было совсем непросто.

Сельхозналогом облагались доходы крестьян от земледелия и животноводства. Однако определить реальный доход от каждого источника: от лошади, коровы, мелкого скота, от каждого поля, огорода, сада и прочего — в миллионах крестьянских хозяйств, значительная часть продукции которых потреблялась владельцами, а значит, не получала денежного выражения, было практически невозможно. Поэтому облагаемый доход рассчитывался на основании так называемых «норм доходности», устанавливавшихся в законодательном порядке для каждого вида скота и сельскохозяйственных угодий (посевов зерновых, картофеля, для огорода, сада, сенокоса и др.) В ежегодно издававшемся «Положении о сельхозналоге» давались средние нормы доходности для союзных республик. (Например, в 1929 году были установлены следующие нормы доходности: 1 га посевов зерновых — 40 рублей, 1 га огорода — 150, сада — 140, сенокоса — 16 рублей, лошади — 20, коровы — 15,5 рубля). Ориентируясь на эти средние нормы, Советы Народных Комиссаров союзных республик и исполкомы окружных (поздиее — областных) Советов устанавливали их точные размеры для каждой местности таким образом, чтобы отклонения от средних норм в ту и другую сторону взаимно уравновешивали друг друга. Определение облагаемого дохода с помощью норм доходности значительно упрощалось и сводилось к выяснению того, сколько в хозяйстве земли, занятой под зерновыми, садом, огородом и т. п., а также сколько голов скота, подлежащего обложению (облагались только взрослые животные). Затем норму доходности каждого вида угодий умножали на занятую под ним площадь, а нормы доходности скота — на его количество. Полученная сумма и считалась облагаемым доходом хозяйства. Конечно, это был «нормативный», а не реальный доход конкретного хозяйства. Несовершенство механизма формирования сельхозналога оставляло возможность для его произвольного увеличения за счет повышения норм доходности, а при прогрессивном обложении даже незначительное увеличение этих норм давало большой «эффект». Сталинское руководство широко использовало эту возможность. Так, по РСФСР с 1929-го по 1935-й год норма доходности зерновых увеличилась в два раза, огородов — в четыре с половиной раза, рабочего скота — в шесть, крупного рогатого скота — почти в семь раз.

Однако обложение по нормам имело то несомненное достоинство, что ставило все хозяйства данной местности в равные условия, так как размер налога зависел только от реальных имущественных различий (количество земли, скота). Кулак платил больше других не потому, что считался кулаком, а потому, что действительно был богаче других. В 1928 году равенство крестьян перед законом было нарушено. С этого времени кулацкие хозяйства облагались не по нормам, а в индивидуальном порядке — по их «действительной доходности», как гласили правительственные постановления. На самом же деле индивидуальное обложение, «изымавшее весь годовой доход, а

[1] В статье использованы, главным образом. совместные постановления Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) и Совета Народных Комнссаров (СНК) СССР. Большинство из них подписаны Председателем ЦИК М. И. Калининым, Секретарем ЦИК А. С. Енукидзе, Председателем СНК В. М. Молотовым или одиим нз его заместителей — В. В. Куйбышевым и Я. Э. Рудзутаком. Совместные постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) подписывались В. М. Молотовым и И. В. Сталииым.

[2] Ссылки на это издание даются в тексте. Поскольку все использованные постановлеиия помещены в I отделении «Собрания», указывается только год. если ои неясеи из контекста, и порядковый номер постановления.

часто и сверх него, прямо разоряло эти хозяйства» («Правда», 1988, 16 сентября). Теперь хозяйства, облагавшиеся в индивидуальном порядке, платили больше других не потому, что были богаче, а потому, что их объявили кулацкими. Приведем такой пример. По данным Г. Л. Марьяхина («Очерки истории налогов с населения в СССР». М., 1964), в 1929/30 окладном году[3] крестьянские хозяйства, облагавшиеся в индивидуальном порядке, по обеспеченности землей и скотом практически ничем не отличались от хозяйств, облагавшихся по нормам, с годовым доходом свыше 500 рублей. И та, и другая группы располагали в среднем на хозяйство семью — десятью га земли, двумя коровами и двумя лошадьми. А платили по сельхозналогу первые в два раза больше, чем вторые. С начала «сплошной коллективизации» индивидуальное обложение стало применяться и по отношению к некулацким слоям деревни.

С 1926 года к обложению сельхозналогом стали привлекаться доходы от кустарно-ремесленных промыслов (которые уже облагались промысловым налогом), работы по найму (плата за которую тоже уже облагалась подоходным налогом) и других неземледельческих занятий крестьян. В облагаемый доход включался не весь годовой доход хозяйства от этих занятий, а определенный процент от него, который устанавливался в законодательном порядке. В 1930 году в облагаемый доход включали 15 процентов заработной платы и 40—60 процентов доходов от других неземледельческих заработков, из которых предварительно вычитались основные производственные расходы (на сырье, топливо и тому подобное). Неземледельческие заработки кулаков (в том числе и заработная плата) включались в облагаемый доход хозяйства полностью (1930 г., № 144), то есть облагались дважды.

На основании определенного указанными способами облагаемого дохода исчислялся единый сельскохозяйственный налог. До 1928 года исчисление налога производилось по доходу, приходящемуся в хозяйстве на одного едока: облагаемый годовой доход хозяйства делился на количество едоков и уже с полученной суммы исчислялся налог[4]. В 1928 году наряду с этим порядком исчисления налога был введен новый — по доходу на хозяйство в целом, с учетом числа едоков. По этому порядку из общей суммы годового дохода хозяйства вычиталось по 20 рублей на каждого едока, а налог исчислялся с оставшейся суммы[5]. Решение вопроса о том, какой порядок исчисления налога применять в той или иной местности, находилось в компетенции местных властей.

Введение нового порядка исчисления налога означало его фактическое повышение. Возьмем для примера среднее крестьянское хозяйство из пяти едоков, имеющее лошадь, корову, четверть гектара огорода и по четыре га посевов зерновых и сенокосов. Годовой доход этого хозяйства по нормам доходности 1929 года составил бы 297 рублей. При старом порядке исчисления налога (по доходу на одного едока) это хозяйство должно было бы уплатить 3 рубля 61 копейку сельхозналога; по новому порядку — 18 рублей 30 копеек, то есть в пять раз больше.

В 1930 году такое сосуществование двух систем сохранилось только для крестьян-единоличников. Порядок исчисления налога с колхозов, колхозников, а также с кулаков был изменен. В отношении колхозов прогрессивное налогообложение было заменено на пропорциональное: вводилась единая, не зависевшая от уровня доходов ставка налога на каждый рубль дохода — 5 копеек (для сельхозкоммун — 4 копейки), что означало существенное понижение налога. В то же время резко ухудшилось положение колхозников, сохранивших подсобное хозяйство. Они облагались на тех же основаниях, что и единоличники, но исчисление налога с подсобного хозяйства колхозников производилось только по новому порядку (по доходу на хозяйство в целом), причем по отношению к ним не применялся вычет в размере 20 рублей на едока и необлагаемый минимум[6]. Так «стимулировалось» максимальное обобществление имущества колхозников.

В 1928—1929 годах исчисление налога при индивидуальном обложении производилось по тем же ставкам, что и при обложении по нормам доходности. В 1930 году ставки индивидуального обложения были резко повышены[7].

Следующий пример до некоторой степени позволяет судить о сравнительной

[3] До 1930 года окладиый год считался с 1 октября текущего по 1 октября следующего года.

[4] Налог исчислялся по следующим ставкам: с первых 20 руб. дохода на едока взималось по 2 коп. с каждого рубля; с излишков сверх 20 до 30 руб.— по 3 коп. с рубля, до 40 руб.—по 5 коп., до 50 руб.—по 10 коп., до 60 руб.— по 15 коп. с рубля и т. д. (1927, № 30).

[5] Остаток после вычета 20 руб. на каждого едока облагался по таким ставкам: с первых 25 руб. взималось по 4 коп. с каждого рубля, с излишков сверх 25 до 100 руб. — по 7 коп. с рубля, до 150 руб.— по 10 коп., до 200 руб.— по 15 коп. н т. д. (1928, № 212).

[6] Необлагаемый минимум, то есть предельный размер годового дохода, прн котором хозяйство обязательно освобождается от налога, в годы, предшествующие коллективизации, постоянно возрастал. В 1930 г. он был сохранен на уровне 1929 г. и составил: при 1—2 едоках в хозяйстве — 110 руб., при 3—4 едоках — 130 руб., при 5 и более — 150 руб. В 1930 г. было разрешено облагать налогом хозяйства крестьян, лишенных избирательных прав, даже в том случае, если их годовой доход был ниже необлагаемого минимума.

[7] Для хозяйств, облагаемых в индивидуальном порядке, были установлены следующие ставки: с первых 500 руб. годового дохода взималось по 20 коп. с каждого рубля: с излишка сверх 500 до 700 руб.— по 30 коп. с рубля, от 700 до 1000 руб.— по 40 коп. и т. д.

тяжести обложения различных категорий сельских налогоплательщиков в 1930 году (только до некоторой степени, поскольку он не учитывает различий в порядке определения размеров дохода). Облагаемый доход взятого мною в виде примера единоличного хозяйства из пяти едоков по нормам доходности 1930 года составлял 321 рубль. При исчислении налога по доходу на одного едока оно должно было заплатить в этом году 4 рубля 58 копеек, а при исчислении по доходу на хозяйство в целом — 22 рубля 95 копеек. При таком же годовом доходе колхоз уплатил бы 16 рублей 5 копеек, колхозник, имеющий подсобное хозяйство,— 45 рублей, кулак (а вернее, крестьянин, хозяйство которого облагалось в индивидуальном порядке) — 64 рубля 20 копеек.

В 1930 году изменились не только ставки налога по индивидуальному обложению, но и условия его применения. В предшествующие годы индивидуальному обложению подлежали лишь «наиболее богатые крестьянские хозяйства», причем, как указывалось в законе 1929 года, «в количестве не более 3% (разрядка здесь и далее моя.— **Е. Б.**) от общего числа крестьянских хозяйств по Союзу ССР» (№ 95). А в постановлении 1930 года сказано: «Число хозяйств, облагаемых в индивидуальном порядке, должно составить 3 процента общего числа крестьянских хозяйств», то есть, по сути дела, давалось задание обложить в индивидуальном порядке не менее 3 процентов хозяйств независимо от реального количества кулаков.

В 1930 году не была воспроизведена статья 30 предыдущего постановления, гласившая: «Сумма дохода от сельского хозяйства, определенная при обложении в индивидуальном порядке, не может превышать более чем на 75% сумму этого дохода, исчисленную по нормам». В то же время появилась статья, прочно закрепившаяся в законодательстве на весь период коллективизации: «Хозяйства, обложенные сельхозналогом в индивидуальном порядке, не имеют права ни на какие льготы по налогу». Льготы по сельхозналогу предоставлялись маломощным хозяйствам, инвалидам, хозяйствам, пострадавшим от стихийных бедствий, орденоносцам, бывшим красным партизанам и красногвардейцам, военнослужащим, а также хозяйствам, расширяющим посевные площади, выращивающим ценные технические культуры, и некоторым другим. Теперь ни стихийное бедствие, ни инвалидность, ни прошлые, ни настоящие заслуги перед государством не могли служить основанием для снижения налога с крестьянина, попавшего под пресс индивидуального обложения.

В целом, однако, «Положение о сельхозналоге» 1930 года продолжает политику 1928—1929 годов (если не считать грабительского налога на подсобное хозяйство колхозников, который в следующем году был отменен). Проследим, как менялись условия обложения единоличников по «Положениям о сельхозналоге» за 1931—1935 годы.

1931. Почти по всем позициям, кроме посевов зерновых, повысились нормы доходности, особенно значительно — на 40—46 процентов — по огородам и садам, на 74 процента — по виноградникам (здесь и далее — № 171).

Полностью отменен более выгодный для плательщиков порядок исчисления налога по доходу на каждого едока в хозяйстве.

Ставки налога остались на прежнем уровне, но скидки для многоедоцких хозяйств, предусматривавшиеся «Положением» 1930 года, в постановлении 31-го года уже не упоминаются.

Фактически отменен для единоличников необлагаемый минимум (сохраненный и даже увеличенный для колхозов). Теперь беднейшие хозяйства, уже много лет освобождавшиеся от налогов, должны были платить их на общих основаниях. Правда, размеры сельхозналога были для таких хозяйств пока невелики — в пределах четырех-пяти рублей на хозяйство, но сам по себе факт отмены необлагаемого минимума знаменателен. Он свидетельствует об отказе от традиционной политики «опоры на бедноту», ставившей ее в привилегированное положение. Как только беднота сыграла отведенную ей роль в деле «ликвидации кулачества как класса», ее лишили этого положения. Но если как субъект коллективизации беднота уже утратила для государства свое значение, то как объект коллективизации она его полностью сохранила. С этого времени начинается налоговое давление на бедноту.

Привлечены к обложению ранее специально не учитывавшиеся доходы единоличников от продажи своей продукции на рынке. По сути дела, это означало двойное обложение одних и тех же источников дохода: к примеру, корова теперь облагалась и по нормам доходности, и по доходу, полученному крестьянином от продажи молочных продуктов на рынке. Вернее — это было даже тройное обложение, так как «розничная торговля, производимая единолично с рук, с земли, а также с лотков», облагалась еще и промысловым налогом в размере от 16 до 64 рублей (1930 г., № 481).

В 1931 году рыночные доходы включались в облагаемый доход хозяйства «в сумме, не превышающей 50% остального облагаемого дохода». Таким образом, только за счет этой меры облагаемый доход хозяйства мог «возрасти» в полтора раза, а соответственно — в прогрессивном порядке — должен был возрасти налог. Так, облагаемый доход нашего единоличника (корова, лошадь, четверть га огорода, четыре га зерновых и четыре га сенокосов) по нормам 1931 года составил бы 350 рублей (а сельхозналог с этой суммы — 28 рублей 75 копеек). Теперь же налоговая комиссия могла одним росчерком пера «увеличить» облагаемый доход этого хозяйства до 525 рублей, а сельхозналог — до 71 рубля 75 копеек, то есть по сравнению с предыдущим годом в три раза! Правда, «Положение» 1931 года предусматривало обложение рыночных доходов только тех единоличников, у которых рыночные доходы превышают 75 рублей в год, а также тех, которые не выполнили договоры контрактации [8] и задания по поставкам сельхозпродукции. Однако со следующего года оно было распространено на всех единоличников.

Политика в отношении индивидуального обложения в течение 1930 года претерпевала некоторые изменения. Предметом их явилась статья 29 «Положения о сельхозналоге», содержащая перечень признаков, при наличии которых хозяйство могло считаться кулацким и подлежало индивидуальному обложению. Статья эта не была серьезным препятствием для распространения индивидуального обложения на остальные слои деревни, так как следующая статья давала право окружным исполнительным комитетам «видоизменять» эти признаки «применительно к местным условиям». 23 июля 1930 года в русле борьбы с «перегибами» было принято постановление ЦИК и СНК СССР «Об изменении статьи 29 положения о едином сельскохозяйственном налоге». В нем осторожно констатировалось, что «имели место случаи» расширительного толкования данной статьи, «что неизбежно привело к обложению в индивидуальном порядке некоторых середняцких хозяйств», и давалась новая, более подробная ее редакция, «исключающая необходимость дополнительных к ней... постановлений местных органов власти» (№ 399). Последнее обстоятельство серьезно ограничивало применение индивидуального обложения. После массовой экспроприации зажиточного крестьянства в 1928—1930 годах и постановления от 1 февраля 1930 года, запретившего крестьянам аренду земли и использование наемного труда (№ 105), хозяйств, имеющих признаки, перечисленные как в первой, так и во второй редакции статьи 29 (систематическое применение наемного труда, аренда земли на кабальных для сдатчика условиях, наличие в хозяйстве промышленного предприятия или сложных машин с механическими двигателями и другие), к этому времени оставались разве что единицы.

Однако ограничения эти просуществовали недолго: всего через полгода постановление от 23 июля было фактически отменено — «ввиду явно недостаточного выявления количества кулацких хозяйств» (1931 г., № 6). В «Положении о сельхозналоге» 1931 года признаки хозяйств, подлежащих индивидуальному обложению, вообще отсутствуют: их установление полностью возложено на республиканские и областные органы власти. Отсутствует в законе 1931 года и указание на то, что индивидуальное обложение проводится лишь «в районах, где кулацкие хозяйства еще не ликвидированы в порядке сплошной коллективизации». Таким образом, закон 31-го года не просто оставлял возможность для применения индивидуального обложения по отношению к некулацким слоям деревни, но прямо санкционировал его, распространив на регионы, где кулачество было уже ликвидировано. Подтверждением этого служит и статья 88: «Те из раскулаченных хозяйств, у которых не имеется скрытых доходов, капиталов и имущества, облагаются единым сельскохозяйственным налогом на общих основаниях с единоличными трудовыми хозяйствами, но не имеют права на какие-либо льготы». Поскольку ни одна налоговая комиссия, наверное, не могла бы поручиться, что у того или иного раскулаченного хозяйства нет «скрытых» доходов и имущества (а иначе как бы они могли считаться «скрытыми»?), то, значит, раскулаченные крестьяне, то есть полностью разоренные, лишенные всех средств производства и почти всего имущества, также подлежали индивидуальному обложению. Как видим, уже в законе 31-го года связь индивидуального обложения с эксплуататорскими слоями деревни была чисто формальной, декларативной и служила лишь идеологическим прикрытием для давления на всех единоличников.

Таким образом, даже те незначительные ограничения на применение индивидуального обложения, которые еще существовали, были окончательно сняты. Сложилась странная с юридической точки зрения ситуация: индивидуальное обложение устанавливалось, но почти никак не регламентировалось законом. Закон фактически не давал ответа на основные вопросы: кого облагать и как облагать? — оставляя их решение на усмотрение местных властей. В сущности, это был разрешенный законом, возведенный в закон произвол. Впрочем, ответ вроде бы и давался: облагать в индивидуальном порядке кулацкие хозяйства по их действительной доходности. В то же время было совершенно ясно, что речь идет не об этом, так как кулаков уже почти не осталось. Несомненно, это была рассчитанная двусмысленность, с помощью которой удавалось убить сразу нескольких зайцев. Толкая местные власти на обложение в индивидуальном порядке рядовых единоличников, она одновременно снимала с Центра прямую ответственность за эту политику и позволяла ему держать местных работников в постоянном страхе перед наказанием за «перегибы».

В то же время закон 31-го года предусматривал ряд новых льгот для колхозов и колхозников: понижение ставок на-

[8] Форма государственных заготовок сельхозпродукции на основе договоров, заключаемых госорганами с крестьянами.

лога на колхозы и на подсобное хозяйство колхозников, освобождение колхозного скота и личного скота колхозников от обложения и другие.

Итак, в «Положении о сельхозналоге» 1931 года уже достаточно хорошо различимы контуры новой налоговой политики в деревне, хотя это еще, так сказать, первый набросок. Своеобразным резюме к нему служит статья, в которой установлены различные размеры пени за просрочку платежей для разных категорий плательщиков (раньше пени были для всех одинаковы): для колхозов — 0,1 процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки, для рядовых единоличников — 0,2 процента, для «кулаков» (то есть единоличников, уплачивающих налог по индивидуальному обложению) — один процент. Проведенная до мелочей дискриминация единоличников и соотношение 1:2:10 наглядно характеризует эту политику.

В результате сумма сельхозналога в 1931 году распределилась между основными группами плательщиков следующим образом: колхозы и колхозники, составлявшие 58,6 процента крестьянских хозяйств, уплатили лишь 24,6 процента общей суммы сельхозналога, рядовые единоличники, то есть 40,5 процента хозяйств, внесли 60 процентов этой суммы, а крестьяне, облагавшиеся в индивидуальном порядке, составлявшие менее одного процента хозяйств, заплатили 15,3 процента. При этом размер сельхозналога в среднем на одно хозяйство составил у колхозников — четыре рубля, у рядовых единоличников — 23 рубля, у крестьян, облагавшихся в индивидуальном порядке,— 398 рублей (Г. Л. Марьяхин, с. 140—141).

1932. Почти на 20 процентов увеличена норма доходности зерновых; на 40 процентов возросли нормы доходности огородов, садов — на 70, виноградников — на 50 (здесь и далее—№ 189б).

Введена твердая ставка налога — семь рублей — для хозяйств единоличников, имеющих не более ста рублей годового дохода, что ухудшило положение маломощных хозяйств. Так, хозяйство с годовым доходом 70 рублей в 1931 году платило при одном едоке — 2 рубля 75 копеек, при двух — 1 рубль 35 копеек, а в 1932 году при тех же доходах — семь рублей.

Для остальных хозяйств изменен порядок исчисления налога: если раньше из годового дохода хозяйства вычиталось по 20 рублей на каждого едока и налог исчислялся только с оставшейся суммы, то теперь этот вычет был отменен и обложению подлежал весь доход хозяйства. Это означало существенное повышение налога, особенно для многоедоцких хозяйств. Например, для нашего единоличника, имевшего семью из пяти человек, облагаемый доход сразу же увеличивался на сто рублей. В результате (с учетом роста норм доходности) — налог на его хозяйство возрастал минимум в полтора раза: с 29 рублей[9] в 1931 году до 45 в 1932-м. В действительности обе цифры (особенно вторая) были бы гораздо больше, так как мы не учли обложение рыночных доходов, а в 1932 году оно резко возросло.

Как уже говорилось, рыночные доходы в 1931 году привлекались к обложению в сумме, не превышающей половины остального облагаемого дохода хозяйства. Теперь же разрешалось увеличивать облагаемый доход за счет рыночных доходов вдвое, что при прогрессивном обложении означало увеличение налога в несколько раз. Так, облагаемый доход нашего единоличника по нормам доходности 1932 года составил бы 408 рублей, с учетом рыночных доходов он мог быть увеличен до 817 рублей, а налог соответственно — до 163 рублей (вместо 45 по нормам).

При этом нигде не говорилось, как эти рыночные доходы следует учитывать. Оно и понятно. Такой учет просто не предусматривался. С одной стороны, он был невозможен (без помощи самих крестьян, на которую в данном случае трудно было рассчитывать), с другой стороны — не нужен, так как рыночные доходы уже были «учтены» в нормах доходности. А главное, в точном учете рыночных доходов явно не был заинтересован сам законодатель. Отсутствие законодательно закрепленного порядка определения рыночных доходов позволяло брать с крестьянина налог на эти доходы независимо от их реального уровня и даже от того, были ли они у него вообще. Так что обложение рыночных доходов служило лишь предлогом для произвольного увеличения налога.

Однако очень скоро пришлось отказаться от этой драконовской меры. Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 мая 1932 года «в целях содействия колхозам, колхозникам и единоличным трудящимся крестьянам в деле развертывания торговли продуктами своего сельскохозяйственного производства» отменило «все существующие как республиканские, так и местные налоги и сборы» с рыночной торговли крестьян и установило, что к обложению сельхозналогом привлекаются лишь 30 процентов от общей суммы рыночных доходов единоличников (№ 233). Впрочем, уже в «Положении о едином сельхозналоге» на 1933 год этот пункт был сформулирован в значительно менее благоприятной для крестьян редакции, позволявшей увеличивать облагаемый доход на треть независимо от наличия и размера рыночных доходов крестьянина (здесь и далее — № 188б).

1933. Повышены нормы доходности зерновых (на 9 процентов), крупного рогатого скота (на 18), огородов (на треть),

[9] Здесь и далее денежные суммы округляются до полных рублей.

садов (на 20 процентов) и некоторых других источников дохода.

Установлен новый порядок определения дохода от земледелия. Теперь он определялся не по реальному количеству имеющейся в хозяйстве пахотной или засеянной земли, как это было раньше, а «по площади ярового посева, установленной для каждого хозяйства по посевному плану, и по учтенной у него площади посева озимых культур и многолетних насаждений». Такие планы ежегодно давались не только колхозам, но и единоличным хозяйствам. Облагаемый доход единоличника, определяемый на основании спускаемых сверху плана посева и норм доходности, по необходимости превращался в «директивную» величину, имеющую мало общего с реальным доходом.

Вновь увеличен налог на маломощные хозяйства единоличников: установлена твердая ставка — 15 рублей — для хозяйств с годовым доходом до двухсот рублей. Теперь беднейшие хозяйства с годовым доходом до ста рублей должны были платить уже не семь рублей, как в прошлом году, а в два раза больше. При этом в законе содержалась оговорка, что «в тех случаях, когда ставка для колхозников установлена для данной местности в размерах, превышающих 15 рублей, оклад налога с трудовых единоличников не может быть ниже этой ставки». Так что, если колхозники данной местности платили 30 рублей налога[10], то и единоличник должен был уплатить столько же, будь у него хоть 50 рублей дохода. С введением новой твердой ставки возрос налог и на хозяйства с годовым доходом от ста до двухсот рублей.

Резко увеличились ставки налога по индивидуальному обложению: для хозяйств с доходом до тысячи рублей в год вводилась твердая ставка — 350 рублей, для остальных устанавливалось прогрессивное обложение, изымавшее половину или более половины всего облагаемого дохода. (Напомним, что индивидуальное обложение позволяло совершенно произвольно «назначать» крестьянину сумму облагаемого дохода.) Ставки по индивидуальному обложению и раньше были чрезвычайно высокими: исходная, самая меньшая из них составляла 20 копеек с рубля. Теперь крестьянин, плативший ранее 100 рублей налога с облагаемого дохода в 500 рублей, должен был заплатить в 3,5 раза больше. Что же было делать тем, у кого доход был меньше 350 рублей? Отдавать в виде налога весь свой годовой доход и даже больше. А ведь были еще и другие налоги.

[10] В 1933 г. был отменен прежний порядок исчисления налога с необобществленных доходов колхозников. Теперь ставки налога устанавливались для них республиканскими, краевыми и областными органами власти в пределах от 15 до 30 руб. Для колхозников с доходом от подсобного хозяйства до 300 руб. в год (то есть, по-видимому, для большинства) это означало повышение налога.

Раздел «Положение о сельхозналоге» на 1933 год, посвященный индивидуальному обложению, содержит ряд любопытных особенностей по сравнению с «Положениями» предыдущих лет. Вместо традиционного предупреждения: «Правительства союзных республик должны установить тщательное наблюдение за тем, чтобы ни в коем случае не допускалось обложение в индивидуальном порядке середняцких хозяйств. Виновные в нарушении этого правила должны привлекаться к строгой судебной и административной ответственности»[11] в «Положении» 33-го года находим: «Правительства союзных республик должны установить тщательное наблюдение за тем, чтобы все кулацкие хозяйства были полностью выявлены, обложены в индивидуальном порядке и чтобы суммы налога с них были взысканы полностью и в срок, а также за тем, чтобы ни в коем случае не допускалось обложение в индивидуальном порядке трудовых единоличных хозяйств». Смещение акцента очевидно. В следующей статье, возлагающей, как и прежде, установление признаков кулацких хозяйств на республиканские, краевые и областные органы власти, содержится дополнение: «При этом должно быть предусмотрено обязательное обложение в индивидуальном порядке:

а) хозяйств, занимающихся систематической спекуляцией (скупка-продажа) и наживающихся на этом за счет рабочих и крестьян;

б) хозяйств, злостно не выполняющих заданных им планов посева и других установленных законом государственных обязательств, если они не относятся к определенно бедняцким хозяйствам».

Прежде всего вызывает недоумение пункт «а». Спекуляция, как известно, в нашей стране — уголовно наказуемое деяние, за которое в те времена давали минимум пять лет с конфискацией имущества, и, следовательно, она не могла облагаться налогом. Это было бы все равно что взимать налоги с «доходов» грабителей, легализуя тем самым их преступный промысел. Скорее всего словом «спекуляция» здесь обозначалась обыкновенная крестьянская торговля, которая была для единоличника одним из немногих способов заработать деньги, а значит — заплатить налоги и сохранить свое единоличное хозяйство. Таким образом, в 1933 году индивидуальное обложение нацеливалось на те единоличные хозяйства, которым еще удавалось поддерживать свое существование с помощью торговли.

Далее, как свидетельствует пункт «б», индивидуальное обложение стало использоваться в качестве наказания за невыполнение обязательных поставок государству сельхозпродукции, введен-

[11] Предупреждение это полностью противоречило другим статьям раздела, но было необходимо, чтобы держать в страхе местное руководство.

ных в конце 1932-го — начале 1933 года вместо контрактации (поставок по договорам). Индивидуальное обложение должно было дополнить и без того суровые кары, предусмотренные законом за невыполнение заданий по поставкам: с крестьянина в принудительном порядке досрочно взыскивалась недовыполненная часть годового задания, а кроме того, он привлекался к уголовной ответственности по статье 61 УК РСФСР. Согласно новой редакции этой статьи, принятой в 31-м году, за невыполнение государственных заданий в первый раз накладывался штраф в пределах пятикратной стоимости невыполненного задания; во второй раз за это грозило уже лишение свободы или принудительные работы на срок до одного года. За те же действия, совершенные «кулацкими элементами» хотя бы и в первый раз, давали срок до двух лет с конфискацией имущества. Эта участь, по-видимому, как раз и ожидала тех, кто по «Положению о сельхозналоге» 33-го года был подвергнут индивидуальному обложению за невыполнение поставок, так как только индивидуальным обложением и определялась принадлежность к «кулацким элементам».

1934. К этому времени в стране было ликвидировано около 780 тысяч кулацких хозяйств («Советское крестьянство», М., 1970, с. 239)[12], то есть больше, чем их имелось в действительности к началу сплошной коллективизации,— 600—700 тысяч хозяйств («Правда», 1988, 16 сентября). Тем не менее постановление ЦИК и СНК СССР «Об утверждении положения о сельскохозяйственном налоге на 1934 год» вновь требует: «Обеспечить полное выявление всех кулацких хозяйств, обложение их в индивидуальном порядке, взыскание причитающегося с них налога полностью и в срок» (№ 231).

При этом, однако, продолжает возрастать налоговое давление и на беднейшие единоличные хозяйства. Твердая ставка налога на хозяйства с годовым доходом до двухсот рублей увеличивается с 15 до 25 рублей. Таким образом, для единоличников, имеющих менее ста рублей годового дохода, всего за три года сельхозналог возрос в три с половиной раза (с 7 рублей в 1932 году). Увеличились ставки налога и для хозяйств с доходом от 200 до 400 рублей. Только ставки налога на доходы свыше 400 остались на прежнем уровне, но в связи со значительным увеличением норм доходности (огородов — на 35 процентов, картофеля — на 60, сенокосов — на 55, садов и виноградников — более чем на 20) возрос налог и на эти хозяйства. Например, налог на хозяйство нашего условного единоличника только за счет роста норм доходности в 34-м году должен был увеличиться по сравнению с предыдущим почти в полтора раза (с 57 до 83 рублей).

В «Положении» 34-го года появилась статья, которой не было в предшествующие годы: «Хозяйства, злостно не выполняющие заданных им планов посева и обязательных поставок продуктов государству, облагаются сельхозналогом на общих основаниях, но сумма налога с них удваивается. Никакими льготами по сельскохозяйственному налогу (в том числе и скидками по ст. 66[13]) эти хозяйства не пользуются». «Положение» 33-го года предписывало подвергать такие хозяйства индивидуальному обложению, «если они не относятся к определенно бедняцким хозяйствам». Видимо, теперь было решено прямо указать меру наказания за невыполнение поставок, не полагаясь на местных работников, которые вдруг да проявят человечность — не подвергнут индивидуальному обложению какое-нибудь «злостное» хозяйство на том основании, что оно является «определенно бедняцким».

В 1934 году в поиске поводов для дополнительного обложения единоличников вспомнили о «лишенцах по прошлой деятельности» и решили (на семнадцатом году Советской власти!) «наказать» их двойным налогом. Согласно «Инструкции о выборах в Советы» 1930 года, существенно расширявшей по сравнению с конституцией круг лиц, лишенных избирательных прав по их прошлой деятельности, к ним относились: «все служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений», «все бывшие служащие тюремного ведомства, члены царствующего (!) дома», а также высшие чиновники царского и белогвардейских правительств (№ 524). Кто же из этих людей мог в 30-х годах оказаться в числе плательщиков сельхозналога? Разве что нижние чины полиции, охранки и тюремного ведомства — простые солдаты. Впрочем, основания для лишения избирательных прав на практике бывали гораздо разнообразнее. Позволю себе привести пример из истории своей семьи.

Моя прабабушка, крестьянка Новгородской губернии Мария Васильевна Васильева в начале 30-х годов была лишена избирательных прав на том основании, что ее муж, умерший в 1920 году, до революции избирался крестьянами волостным старшиной. Причем к самому прадеду при его жизни у Советской власти не было никаких претензий. В 1934 году и ее, 64-летнюю старуху, вырастившую девятерых детей, должны были обложить двойным налогом, лишив права на какие-либо льготы. Характерная деталь: навлечь на хозяйство двойное обложение мог не только глава семейства, но и любой другой его член, лишенный избирательных прав. Можно себе представить, каково ему было тогда в своей, а в иных случаях и в чужой, приютившей его семье...

[12] Цифра эта, очевидно, значительно занижена. Сталин в беседе с Черчиллем говорил о 10 миллионах сосланных кулаков, имея в виду, по-видимому, и их семьи («Правда», 1989, 30 октября).

[13] Статья 66 предусматривала скидки по налогу для семей, имеющих трех и более нетрудоспособных членов.

1935. Вновь на 20—30 процентов увеличены нормы доходности земледелия. При этом резко подскочили нормы доходности животноводства, в первой половине 30-х годов почти не менявшиеся: рабочего и крупного рогатого скота — в четыре-пять раз, мелкого скота — в два с половиной раза (здесь и далее — № 232). В целом это было самое значительное увеличение норм доходности в первой половине тридцатых годов.

Увеличилось обложение неземледельческих заработков единоличников: если в 33—34-м году в облагаемый доход хозяйства включалось 30 процентов неземледельческих заработков, то в 35-м году — от 50 до 100 процентов.

Установлена твердая ставка — 15 рублей — для хозяйств с доходом до ста рублей, что несколько облегчило положение беднейших единоличников, которые в предыдущем году платили с той же суммы 25 рублей. Однако в постановлении содержалась оговорка, которая могла свести на нет это понижение: «Во всех случаях оклад налога с единоличного хозяйства должен быть не менее чем на 25 проц. выше ставок, установленных в данной местности для колхозников». Поскольку максимальная ставка налога на подсобное хозяйство колхозников в 1935 году повысилась до 40 рублей, то на деле налог даже на самые маломощные хозяйства единоличников мог быть значительно выше 15 рублей и доходить до 50-ти.

В то же время заметно повысились ставки налога на хозяйства с доходом свыше 200 рублей. (В этом году в связи с повышением норм доходности скота количество таких хозяйств должно было сильно увеличиться: так, владельцы коров сразу «разбогатели» на 82 рубля за счет повышения нормы доходности крупного рогатого скота с 23 до 105 рублей.) Только за счет повышения ставок налог на хозяйство с годовым доходом свыше 200 рублей увеличился почти в полтора раза. Например, хозяйство с доходом 300 рублей платило в 1934 году 30 рублей, а в 1935-м должно было уплатить 44. С учетом увеличения норм доходности этот рост был еще более значительным. Например, налог нашего единоличника в 1935 году возрос по сравнению с предыдущим годом в два с половиной раза — с 83 до 210 рублей.

Всего же за шесть лет коллективизации сельхозналог на хозяйство нашего единоличника увеличился в девять раз: с 23 рублей в 1930-м он в следующем году возрос до 29-ти, в 1932-м — уже до 45-ти, в 1933 году достиг 57 рублей, в 1934-м — 83-х, а в 1935-м подскочил до 210 рублей. И это только за счет увеличения норм доходности и изменения порядка исчисления налога, то есть по заведомо неполным, заниженным подсчетам, так как мы не могли учесть обложения неземледельческих и рыночных доходов крестьянина, весьма существенно влиявшего на размер налога.

Быстро рос не только абсолютный размер налога, но и его доля в облагаемом доходе хозяйства. В нашем примере она увеличилась с 7 процентов в 1930 году до 25-ти в 35-м. Однако по отношению к реальному доходу эта доля была бы еще выше, так как при тогдашних способах определения облагаемого дохода (по спускаемым сверху нормам доходности, посевным планам и бравшимся «с потолка» размерам рыночных доходов) расхождение между реальным и облагаемым доходом не могло не увеличиваться. Не имея возможности определить масштабы этого расхождения, можем только предложить читателю сравнить налог нашего единоличника в 1935 году — 210 рублей — с размером его облагаемого дохода в 1930 году — 321 рубль, то есть к 35-му году сельхозналог достиг двух третей облагаемого дохода 1930 года. Может быть, это сравнение и не совсем корректно, но то, что оклад налога на хозяйство единоличника к концу коллективизации стал быстро «догонять» сумму его годового дохода, это несомненно. При этом обложение сельхозналогом подсобного хозяйства колхозников, поначалу льготное, но становившееся со временем все более значительным, тем не менее заметно «отставало» от обложения единоличников.

Перейдем к другим видам налогов.

Самообложение, культсбор, единовременный налог и другие платежи

Самообложение — сбор средств на местные нужды (строительство школ, больниц, дорог и тому подобное), проводившийся по решению сельского схода. Однако свой самодеятельный характер это установление в годы коллективизации очень быстро утратило, превратившись в самый обыкновенный налог. Это легко проследить по постановлениям ЦИК и СНК СССР «О самообложении сельского населения» 1927[14], 1930—1935 годов.

В постановлениях 27-го, а также 30—32-го годов первая статья гласила: «Граждане, проживающие в сельских поселениях, могут выносить постановления о самообложении для удовлетворения местных культурных и хозяйственных нужд, имеющих общественное значение». С 1933 года появляется другая формулировка: «Самообложение населения... проводится в сельских местностях и дачных поселках». «Проводится», то есть должно проводиться независимо от наличия местной инициа-

[14] Действовало и в 1928—1929 годах.

тивы на этот счет. Не случайно в постановлении 33-го года отсутствует статья, имевшаяся во всех предыдущих постановлениях по самообложению: «Вопрос об установлении самообложения... может быть внесен на обсуждение общего собрания граждан как по инициативе сельского Совета, так и по инициативе общественных организаций, колхозников, инициативных групп единоличников и отдельных граждан». Правда, и раньше роль местной инициативы, видимо, была не особенно велика: ведь эта инициатива вполне могла быть «внушена» сельсовету или «общественным организациям» сверху, а организовать ее одобрение сельским сходом было уже делом техники. По закону для разрешения вопроса о самообложении на собрании должно было присутствовать не менее половины общего числа граждан, имеющих избирательные права. Если на собрание не являлось это количество граждан, то оно созывалось вторично и считалось правомочным, если на нем присутствовало не менее одной трети указанных граждан. Решения принимались простым большинством голосов. Таким образом, сельсовету для проведения решения о самообложении достаточно было заручиться поддержкой всего лишь четверти или даже одной пятой числа крестьян, имеющих избирательные права. А платить взносы по самообложению обязаны были все: и те, кто голосовал против, и те, кто вообще не присутствовал на собрании.

И все-таки именно сельским Советам и обществам принадлежало право определять и цели самообложения, и его общую сумму[15], и размер индивидуальных взносов в виде одинакового для всех жителей данного селения процента к сельхозналогу. Кроме того, сельсоветы сами распоряжались средствами, собранными по самообложению. Причем эти средства могли расходоваться только на цели, предусмотренные постановлением сельского схода о самообложении, и тратить их на какие-либо другие нужды, в том числе на административные, было запрещено. С началом коллективизации село теряет и эти права. С 1931 года ставки самообложения устанавливаются законом, причем впервые вводятся дифференцированные ставки для разных групп крестьян. Раньше размеры взносов по самообложению у крестьян одной деревни тоже были разными, но принцип определения индивидуальных взносов — процент к сельхозналогу — был для всех один. Чем богаче крестьянин, тем больше сельхозналог с его хозяйства, а следовательно, и взнос по самообложению. Теперь (как это было сделано ранее по отношению к сельхозналогу) крестьян разбивают на неравноправные группы (колхозники, единоличники, «кулаки») и размеры самообложения ставятся в зависимость исключительно от принадлежности к той или иной группе, а не от доходов крестьянина.

С 1933 года сельсовет перестает быть полновластным распорядителем средств, собранных по самообложению: значительная их часть начинает поступать в районные бюджеты. Из постановлений о самообложении исчезает запрещение использовать эти средства на цели, не предусмотренные постановлением сельского схода. По сути дела, самообложение становится своего рода местным (и в то же время повсеместным) налогом.

Для рядовых единоличников размер взноса по самообложению в первой половине тридцатых годов колебался в пределах от 50 до 150 процентов оклада сельхозналога, а для крестьян, облагавшихся в индивидуальном порядке, он почти на протяжении всего этого периода был равен *двум окладам сельхозналога*!

Рассчитаем для примера взносы по самообложению для нашего условного единоличника, опираясь на приведенные выше цифры сельхозналога на его хозяйство. В 1930 году законом устанавливался лишь максимальный размер самообложения для селения в целом — половина общей суммы сельхозналога со всего селения, а размер индивидуальных взносов определялся сельским сходом. Вероятно, не будет большой ошибки предположить, что и размеры индивидуальных взносов колебались где-то около тех же 50 процентов оклада сельхозналога каждого крестьянского хозяйства и что наш единоличник поэтому должен был уплатить в этом году по самообложению около 11 рублей. В 1931 году ему пришлось бы заплатить от 50 до 100 процентов оклада сельхозналога за этот год, или от 14 до 29 рублей, в 1932-м — 100—150 процентов оклада сельхозналога, или от 45 до 67 рублей, в 1933-м — 60—100 процентов оклада сельхозналога, или от 34 до 57 рублей, в 1934 году ставки самообложения установлены в пределах 100 процентов оклада сельхозналога, то есть в нашем случае — до 83 рублей, в 1935 году ставки вроде бы снизились до 40—60 процентов оклада сельхозналога, а на деле — в связи с резким увеличением последнего — возросли: нашему единоличнику пришлось бы заплатить в этом году от 84 до 126 рублей. В то же время колхозники платили по самообложению: в 1931-м — от 4 до 8 рублей, в 32-м — от 5 до 14 рублей, в 33-м — 8—16 рублей, в 34-м — 5—20 рублей, в 35-м — всего 3—9 рублей.

Как видим, взносы единоличников в *несколько раз* превышали взносы колхозников, причем если взносы колхозников росли незначительно (а в 1935 году даже снизились), то взносы единоличников, судя по нашему примеру, увеличились в среднем в девять раз.

[15] Законом устанавливался лишь предельный размер самообложения согласно дополнению к постановлению 1927 года, общий размер самообложения в каждом селении не должен был превышать 35% от общей суммы сельхозналога со всех хозяйств данного селения в данном окладном году (1928, 29); постановлением 30 года разрешалось собирать самообложение в сумме, не превышающей 50, а в особых случаях — 100% общей суммы сельхозналога.

В 1931 году правительство, «учитывая рост доходов деревни в 1930 и 1931 гг.» (?!) и «принимая во внимание необходимость укрепления районных и сельских бюджетов», постановило провести «единовременный сбор на нужды хозяйственного и культурного строительства в сельских районах», то есть на те же цели, что и самообложение. Но, «несмотря на целевой характер, культсбор в процессе его дальнейшего проведения превратился в постоянный источник доходов бюджета без закрепления поступающих по нему средств за определенными видами бюджетных расходов» (Г. Л. Марьяхин, с. 148). Иначе говоря, эти средства расходовались как угодно, без оглядки на «нужды хозяйственного и культурного строительства» деревни. С этого времени сбор стал проводиться ежегодно и слово «единовременный» из его названия исчезло (см. 1931, № 34; 1932, № 10; 1933, № 31; 1934, № 38; 1935, № 31).

Ставки культсбора также устанавливались в процентном отношении к окладу сельхозналога, но не текущего, а предыдущего года. Для рядовых единоличников они в первой половине 30-х годов колебались от 65 до 200 процентов оклада сельхозналога. Так называемые «кулаки» в первые два года проведения культсбора платили его в размере одного, а в последующие годы — двух окладов своего сельхозналога. В отличие от взносов по самообложению платежи по культсбору были и для колхозников довольно высокими: максимальные ставки доходили до 60 (в 1933 году) и даже до 80 рублей (в 1934-м). Но платежи единоличников всегда были выше, что специально оговаривалось в каждом постановлении по культсбору. Чтобы оценить тяжесть сбора для единоличников, «примерим» его ставки на нашего условного единоличника: в 1931 году он должен был заплатить сбор в размере 65 процентов оклада сельхозналога за предшествующий год, то есть около 15 рублей; в 1932-м — уже сто процентов оклада сельхозналога за 31-й год, или 29 рублей; в 1933-м — от 75 до 200 процентов с/х налога за 32-й год, или от 34 до 90 рублей; в 1934-м — 75—175 процентов с/х налога за 33-й год, или от 43 до 100 рублей, а в 1935-м при том же отношении к окладу сельхозналога предыдущего года — от 62 до 145 рублей.

В среднем за пять лет ставки культсбора для единоличников, если судить по нашему примеру, выросли в семь-восемь раз.

Сбор на хозяйственное и культурное строительство проводился не только в деревне, но и в городе. Рабочие и служащие платили его в зависимости от своего месячного заработка, причем (как и в отношении подоходного налога) существовал необлагаемый минимум, который в первой половине 30-х годов трижды повышался: в 1931—1933 годах от уплаты сбора освобождались рабочие и служащие с месячным заработком до 75, в 1934-м — до 100, а в 1935-м — до 140 рублей. Если бы тот же необлагаемый минимум применялся и в деревне, то нашему единоличнику (который мог считаться середняком) за эти пять лет *ни разу* не пришлось бы платить культсбор, так как его месячный заработок был значительно меньше необлагаемого минимума: в 1931 году он равнялся 29 рублям, в 1932-м — 34 рублям, в 1933-м — 38, в 1934 году — 47, а в 1935-м — 69 рублям. Между тем только по культсбору он должен был платить иногда гораздо больше того, что составляло его месячный заработок.

Чтобы иметь возможность сравнить тяжесть обложения культсбором крестьян и горожан, возьмем более зажиточного единоличника с месячным заработком 80 рублей (годовой доход 960 рублей). В 1932 году сельхозналог с этого дохода составил бы почти 209 рублей, а значит, в 1933-м этому крестьянину пришлось бы уплатить по культсбору от 157 до 418 рублей. Рабочий или служащий с тем же уровнем доходов заплатил бы всего 13 рублей, то есть даже по сравнению с минимальной ставкой культсбора единоличника в *12 раз меньше*.

В годы коллективизации с единоличников дважды — в 1932-м и в 1934-м — взимался специальный «единовременный налог на единоличников», вводившийся без каких-либо объяснений.

В 1932 году этот налог взимался следующим образом: крестьяне с годовым доходом до ста рублей платили от 15 до 20 рублей, что составляло две-три ставки сельхозналога этой группы хозяйств; крестьяне с годовым доходом свыше 100 рублей платили этот налог в размере от 100 до 175 процентов оклада сельхозналога (для нашего условного единоличника это означало: от 45 до 79 рублей). Единоличники, облагавшиеся в индивидуальном порядке, вносили двойной оклад сельхозналога за этот год (№ 476).

В 1934 году ставки единовременного налога для беднейших хозяйств с годовым доходом до 200 рублей были резко увеличены: те из них, которые не имели ни рабочего скота, ни рыночных доходов, должны были платить от 15 до 25 рублей (это 60—100 процентов ставки сельхозналога); безлошадные хозяйства, имевшие рыночные доходы, платили от 30 до 50 рублей (это 120—200 процентов ставки сельхозналога); тем же, у кого была лошадь, приходилось платить от 50 до 125 рублей (то есть от двух до пяти окладов сельхозналога).

Для хозяйств с годовым доходом свыше 200 рублей отношение единовременного к сельскохозяйственному налогу сохранилось почти то же, что и в 1932 году: 75—175 процентов — для рядовых единоличников, 200 процентов — для облагавшихся в индивидуальном порядке. Но, поскольку сильно возрос сам сель-

хозналог, резко увеличились по сравнению с 32-м годом и размеры единовременного налога с этих хозяйств. Так, нашему единоличнику пришлось бы теперь заплатить от 62 до 145 рублей — в полтора-два раза больше, чем в 1932 году.

В результате, несмотря на уменьшение числа единоличных хозяйств, поступления по единовременному налогу в 1934 году по сравнению с 32-м в два раза возросли (Г. Л. Марьяхин, стр. 148).

В постановлениях по единовременному налогу имелась статья, представляющая особый интерес: «Хозяйства, злостно не выполняющие заданных им планов посева и обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству, облагаются единовременным налогом на общих основаниях, а сумма налога с них удваивается». В соответствии с этой статьей в ряде случаев единовременный налог мог достигнуть размеров облагаемого годового дохода крестьянина или даже превысить его. Например, с бедняка-единоличника, имевшего годовой доход до ста рублей, если он торговал картошкой на рынке, в 1934 году можно было взять единовременный налог в 50 рублей, а если он при этом не справлялся с государственными поставками (что для такого хозяйства было вполне естественно), то единовременный налог с него удваивался и достигал размеров его годового дохода — ста рублей. Если же государственные задания не выполняло чуть более благополучное хозяйство, в котором имелась лошадь, но годовой доход которого не превышал 200 рублей, то единовременный налог с этого хозяйства мог составить 250 рублей и превысить размер его облагаемого дохода.

Помимо налогов, существовали и различные виды неналоговых платежей: по обязательному окладному страхованию, за распространяемые в «добровольно-принудительном» порядке облигации госзаймов, акции Тракторoцентра и другие. Наш единоличник, например, в 1932 году за обязательное страхование своей коровы, лошади и четырех гектаров посевов должен был бы заплатить около 20 рублей — почти половину оклада сельхозналога за этот год[16].

Обязательное окладное страхование, по сути дела, являлось завуалированной формой налога. Иначе трудно объяснить необходимость принудительного страхования почти всего крестьянского имущества. Характерно, что не выплаченные в срок страховые платежи взыскивались так же, как и недоимки по налогам: имущество неплательщика описывалось и продавалось. За неуплату страховых взносов так же, как и за неуплату налогов, можно было привлечь к уголовной ответственности. Более того, в правилах обязательного окладного страхования до мельчайших подробностей проводился тот же «классовый подход», который господствовал в налогообложении: по всем видам страхования единоличники платили больше, чем колхозники, а при наступлении так называемого страхового случая (пожар, гибель посевов, скота и тому подобное) получали от государства меньше. При этом в наихудшем положении опять-таки находились «кулаки», то есть крестьяне, облагавшиеся сельхозналогом в индивидуальном порядке. Ставки страховых платежей для них были в три раза выше, чем для единоличников. Если же у такого крестьянина, к примеру, сгорал дом, то ему выплачивали лишь половину страховой оценки сгоревшего имущества, тогда как рядовому единоличнику возмещали 85 процентов, а колхозам и колхозникам — полностью (см., например, 1931 г., № 276). Вероятно, это единственный в истории случай социальной дискриминации в области страхования.

Так сколько же в общей сложности должен был платить единоличник государству в это время? Постановления ЦИК и СНК СССР — при том, что они дают лишь с р е д н и е по Союзу и республикам ставки и нормы доходности, при огромном разнообразии хозяйственных условий в нашей стране, при существовании ряда местных сборов и не поддающихся учету платежей — могут дать на этот вопрос только весьма приблизительный, ориентировочный ответ. Просим читателя помнить об этом. Единственное, что мы можем сделать,— это подсчитать приблизительную сумму платежей единоличника по сельхозналогу, самообложению, культсбору (с добавлением единовременного налога в 1932-м и 1934 годах). Поскольку ставки самообложения, культсбора и единовременного налога устанавливались в процентном отношении к годовому окладу сельхозналога, мы можем представить сумму крестьянских платежей за год через годовые оклады сельхозналога, приняв оклад данного года за единицу[17]: см. таблицу 1 в конце статьи.

Как видим, единоличники всех трех групп уплачивали в год по нескольку окладов сельхозналога, причем не только так называемые «кулаки», но и беднейшие крестьяне, платившие сельхозналог по твердым ставкам. Каково же было этим псевдокулакам, которым приходилось платить по пять — семь окладов в год и без того грабительского сельхозналога!

Теперь попытаемся представить сумму платежей единоличников за год в денежном выражении[18]. Возьмем сначала группу хозяйств с годовым доходом до 100 рублей, которые с 1932 года облагались сельхозналогом по твердым ставкам (в тех случаях, когда в законе дается минимальная и максимальная ставка налога, мы брали минимальную): см. таблицу 2.

Таким образом, хозяйства, которые до начала «сплошной коллективизации» полностью освобождались от налогов, в первой половине 30-х годов должны были, по самым минимальным подсчетам, отдавать государству в виде налогов в среднем более 40 процентов своих нищенских доходов.

О размере ежегодных платежей единоличников, плативших сельхозналог по прогрессивным ставкам, можно судить на примере нашего единоличника (расчет в рублях сделан также на основе минимальных ставок самообложения, культсбора и единовременного налога): см. таблицу 3.

Получается, что за пять лет (1931—1935) наш середняк только по основным налогам выплатил бы минимум 37,4 процента своего суммарного облагаемого дохода за эти годы. Если же взять максимальные ставки самообложения, культсбора и единовременного налога, то этот процент составит 53,4. В действительности он скорее всего был значительно выше, так как реальный доход единоличника был, несомненно, меньше облагаемого, исчислявшегося по взятым «с потолка» нормам и посевным планам и существовавшего только на бумаге. Кроме того, как уже говорилось, во всех наших подсчетах не учитывалось обложение неземледельческих и рыночных доходов, весьма существенно влиявших на размер сельскохозяйственного, а следовательно, и других налогов. Нет необходимости доказывать, что для подавляющего большинства единоличных хозяйств изъятие в виде налогов более половины годового дохода означало быстрое разорение.

Дополнительным средством давления на единоличников нередко служили установленные законом сроки уплаты налогов. Здесь также существовал «классовый подход». «Кулаки», платившие больше всех, должны были также платить раньше всех и притом всю сумму сразу, тогда как остальные хозяйства вносили сельхозналог (а иногда и другие налоги) частями — в три-четыре срока с сентября по декабрь. Но о том, что осенью придется платить сельхозналог, крестьянин хотя бы знал заранее, сроки уплаты взносов по самообложению тоже были известны — они устанавливались сельским сходом, а вот культсбор и единовременный налог буквально сваливались ему как снег на голову.

Так, например, в конце ноября 1932 года, когда крестьяне уже заканчивали выплачивать сельхозналог, был введен единовременный налог на единоличников, который они были обязаны внести до 31 декабря того же года. Если учесть, что для приведения в действие этого закона в такой огромной стране требовалось определенное время, станет ясным, что крестьяне фактически должны были н е м е д л е н н о выложить сумму, равную сельхозналогу или даже превосходящую его. А уже 29 января следующего, 1933, года вышло постановление о сборе на хозяйственное и культурное строительство, уплату которого колхозники должны были закончить к 15 апреля, единоличники — к 1 апреля, а «кулаки» — к 15 февраля, то есть всего через две недели после постановления. Спрашивается: чем объяснялась такая спешка? Ведь очевидно, что далеко не в каждом хозяйстве имелись наличные деньги, необходимые для уплаты налога, и, казалось бы, в интересах самого законодателя было дать крестьянину время эти деньги собрать. Напрашивающийся ответ: сталинское правительство было озабочено не столько получением денег, сколько стремлением поставить крестьянина в безвыходное положение. Что же касается «кулаков», то постановление прямо рассчитано на то, что эти хозяйства, только что уплатившие единовременный налог в размере двух окладов сельхозналога, будут не в состоянии вновь заплатить столько же, тем более в столь короткий срок. И что тогда? Тогда налог взыскивался принудительно: имущество неплательщика описывалось, продавалось, а полученные деньги шли на уплату налога и пени за просрочку платежа. Если это было хозяйство рядового единоличника, то взыскание не могло быть обращено на сельскохозяйственный живой и мертвый инвентарь, семена, жилые и хозяйственные постройки, продовольствие, топливо и другое имущество — в количестве, необходимом для семьи недоимщика и сохранения его хозяйства. Если же это был «кулак», ему и его семье оставляли лишь «носильное зимнее и летнее платье, обувь, белье и другие необходимые предметы домашнего обихода» (1932 г., № 410б), то есть попросту выгоняли из дому с узелком «необходимых вещей». Впрочем, в 1934 году было принято постановление, почти уравнявшее в этом отношении простых единоличников с «кулаками», с той лишь разницей, что первым все-таки оставляли крышу над головой (№ 370). Но и это еще не все. За неуплату в срок налогов и взносов по обязательному окладному страхованию можно было привлечь к уголовной ответственности по статье 60 УК РСФСР вплоть до лишения свободы или принудительных работ на срок до одного года или штрафа в пределах д е с я т и к р а т н о г о (!) размера причитающихся платежей.

Если же хозяйству максимальным напряжением сил все-таки удавалось «выкрутиться», то это усилие, конечно, не проходило для него бесследно: каждый новый такой удар приближал час разорения. Тем бол… что обязанности единоличников перед государством далеко не

[16] В действительности ему пришлось бы заплатить больше: обязательному страхованию подлежал также дом и другое имущество.

[17] В этом случае мы для простоты игнорируем то обстоятельство, что ставки самообложения и единовременного налога устанавливались в процентном отношении к окладу сельхозналога текущего года, а культсбор — прошедшего.

[18] К сожалению, по отношению к крестьянам, облагавшимся в индивидуальном порядке, это — в пределах данной статьи — невозможно: как уже говорилось, оно не регламентировалось законом.

ограничивались уплатой налогов. Они должны были почти бесплатно сдавать государству значительную часть своей продукции и уж просто бесплатно отрабатывать так называемую «трудгужповинность» (перевозить сено, зерно, строить и ремонтировать дороги), работать на лесозаготовках. Все это приходилось делать и колхозникам, но у них почти всегда были — пусть не особенно большие — преимущества перед единоличниками. В сочетании с относительными послаблениями в налогообложении они во многом и явились теми «преимуществами колхозной жизни», которые так быстро «убедили» единоличника. И хотя эти преимущества со временем становились менее существенными — с ростом налогов на хозяйства колхозников, заданий по поставкам сельхозпродукции, обесценивавших трудодень,— для единоличников они становились все более очевидными. А с другой стороны, и сами единоличники к середине 30-х годов уже мало чем отличались от колхозников. Не осталось и следа той вольной крестьянской жизни, которую так любовно описывал Никита Моргунок:

Земля в длину и в ширину
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.
И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай —
Косить пошел — покашивай,
Поехал — поезжай.

и которую так жаль было менять на колхозную. Теперь единоличник был такой же казенный человек, как колхозник. Он постоянно что-то платил и сдавал государству: то мясо, то молоко, то шерсть, то зерно, то картошку, то еще что-нибудь. И притом сдавал и даже сеял столько, сколько прикажут, и «ехал» туда, куда прикажут. Так что вступление в колхоз уже не было для крестьянина таким психологически трудным шагом, как это было в начале «сплошной коллективизации». Тем более что другого выхода у него не оставалось: с введением паспортной системы в конце 1932 года путь в город был для него закрыт.

Однако и этот единственный выход — вступление в колхоз — был не у всех единоличников. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 ноября 1930 года было запрещено принимать кулаков и «лишенцев» в кооперацию (№ 591). Их беспощадно давили индивидуальным обложением, огромными «твердыми заданиями» по сдаче сельхозпродуктов, дававшимися по нескольку раз в год, и тому подобными «экономическими методами», обрекая на голодную смерть, толкая на воровство, с теми последствиями, которые вытекали из знаменитого «закона о пяти колосках»[19], *но в колхоз не принимали*. Не противоречит ли это мнению, что налоговая политика по отношению к единоличникам была той дубинкой, с помощью которой их в 1931—1935 годах загнали в колхозы? Думается, что нет. Напротив, индивидуальное обложение сыграло здесь особую и весьма важную роль. Обрушиваясь время от времени на отдельные хозяйства, оно держало в постоянном страхе всех. Как дамоклов меч оно висело над каждым единоличником, служа постоянным напоминанием о главном «преимуществе» колхозной жизни: она гарантировала от индивидуального обложения. И для того, чтобы выполнять эту роль, оно должно было быть страшным и неумолимым, как стихийное бедствие.

Так к 1936 году без «перегибов» и без «головокружения от успехов», хотя и вполне успешно, коллективизация была «в основном» завершена. Впрочем, и после этого те немногие хозяйства, которые еще оставались за пределами колхозов, не были обойдены вниманием правительства. В частности, в 1938 году был введен налог на лошадей единоличников, размер которого в этом году составил в среднем на хозяйство огромную сумму в 496 рублей. В результате более ста тысяч единоличных хозяйств потеряли лошадей или вообще прекратили свое существование (Г. Л. Марьяхин, стр. 191). «Экономические методы» вновь продемонстрировали свою эффективность.

[19] Напомню читателям те статьи этого закона, из-за которых он получил такое название: «Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты — расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении колхозного и кооперативного имущества» (1932, № 360). Какая-либо дифференциация наказаний в зависимости от размеров хищений не предусматривалась.

Таблица 1

	1930	1931	1932	1933	1934	1935
единоличники, облагаемые сельхозналогом в твердых ставках	около 1,5	2,1—2,7	5,7—7,5	2,8—6,3	3,2—10,2	2,4—9,9
единоличники, облагаемые сельхозналогом в прогрессивных ставках	около 1,5	2,1—2,7	4—5,2	2,8—4	3,5—5,5	2,1—3,3
единоличники, облагаемые сельхозналогом в индивидуальном порядке	около 1,5	3	6	5	7	5

Таблица 2

	1931	1932	1933	1934	1935
сельхозналог	5	7	15	25	15
самообложение	2,5	12	12	25	6
культсбор	6	5	15	15	15
единовременный налог	—	15	—	15	—
итого	13,5 руб.	39 руб.	42 руб.	80 руб.	36 руб.

Таблица 3

	1930	1931	1932	1933	1934	1935
сельхозналог	23	29	45	57	83	210
самообложение	11	14	45	34	83	84
культсбор	—	15	29	34	43	62
единовременный налог	—	—	45	—	62	—
итого	34 руб.	58 руб.	184 руб.	125 руб.	271 руб.	356 руб.
доля налогов в годовом доходе исчисленном по нормам доходности (в процентах)	10,6	16,8	40,1	27,3	48,3	43,1

В. КАМЯНОВ

В строю и вне строя,

или О ЧЕМ СПОР ЛИТЕРАТУРЫ ВОЗВРАЩЕННОЙ И ЛИТЕРАТУРЫ, ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРЖДЕННОЙ

В одной из повестей Владимира Маканина есть живописная зарисовка, где использован эффект обратного движения видеоленты: под деревом вдруг зашевелился слой опавших листьев, и они плавно взмывают вверх, безошибочно находя свое старое место. Листопад наоборот.

Нечто подобное происходит теперь в сфере культуры. Ее изрядно прореженная крона меняет вид. Густеет. Некогда сорванная политическими ветрами и поветриями листва по-молодому зазеленела в этой кроне. Даже многие обломанные ветви ожили, заново привились к стволу. А на стволе — продолжим аналогию — полно засохших сучьев, озелененных, однако, заботливой рукой критиков-декораторов.

Удачно ли сочетаются бутафорские ветви с живыми? Мнения на этот счет разные. Что и неудивительно: упомянутым декораторам поздно менять привычки, да и часть публики ничего не имеет против раскрашенной листвы: примелькалась. Но состав читателей пестр, а к тому же обновляется, и нелишним будет предупреждение: «Осторожно — окрашено!». Это во избежание путаницы: где натура, а где имитация.

Тоталитарный режим был готов ласкать и холить искусство при условии, что оно крепко ввязано в систему и не жалуется на стеснения. Угодливость и фарисейство при этом, разумеется, поощрялись, но с тем же примерно оттенком высокомерной глумливости, с каким Сталин относился к своим подручным: да, челядь нужная, только слишком спешит поддакивать. И время от времени в плоть безупречно покладистых авторов вонзались царственные когти.

Разного рода ереси, вывихи и подрывы основ вдруг обнаруживались у тех, кто воды не замутит, например, у новобранца пролетарской культуры А. Авдеенко, который и вообразить не мог худшей для себя доли, чем отлучение «от красного знамени, от партии, от права любить Сталина» (его исповедь о перенесенных гонениях — «Отлучение» — опубликована в двух весенних книжках «Знамени» за 1989 год).

Война с призраком «крамолы» нужна репрессивной власти и как особого рода разминка, и как способ поддерживать в обществе перманентное напряжение, и как демонстрация силы, которая неусыпно бдит. Карательные акции против оступившихся, тем паче — отступников, ее бодрят, укрепляя в уверенности, что мир четок, разграфлен, компактен, верные, а равно чуждые идеи все наперечет, фонд умственных ценностей оприходован и ей, власти, остается дозорно поглядывать окрест со своей господствующей высоты.

Но если покладистый литератор, вдруг заблудившийся в трех соснах сталинизма (либо назначенный дежурным еретиком),— вольный или невольный партнер официоза, то независимый художник — носитель злейших ересей, даже когда упомянутые три сосны — в стороне от его дорог. Выходит, идеологические кордоны для искусства не преграда! И еще: у независимого художника непременно свой язык, а сталинский (хрущевский, брежневский) официоз одноязычен, неадаптированная речь художника для него — абракадабра, «сумбур вместо музыки», которой, как известно, надлежит играть отчетливо.

Стоит припомнить, как воспринимал музыку платоновский странник-мечтатель Копенкин. Незнакомая гармошка, чей голос доносился до него из небольшого очага коммунизма, Чевенгура, «почти выговаривала слова, лишь немного не выговаривая их, и поэтому они оставались неосуществленной тоской... Копенкин пошел на ночную музыку, чтобы до конца доглядеть чевенгурских людей и заметить в них, что такое коммунизм...»

Душа Копенкина, как и многих платоновских «душевных бедняков», взвихрена, охвачена великим нетерпением — «к рассвету объявить коммунизм», но не омертвлена сухим жаром фанатизма, по-детски остро, с наивной серьезностью отзывается на пестроту впечатлений (на ту же «ночную музыку»), сразу, по ходу дела, прилаживая их одно к другому, вправляя в раму единой мирообъемлющей легенды.

Ни на минуту не затихает работа сотворения сказки из подручного материала. И стиль Платонова — отличный проявитель невиданной активности копенкиных, двановых, вощевых, рванувшихся из глухомани на вселенский простор, получивших шанс испытать неиспытанное, и клячу истории взбодрить, и до неба докричаться.

Каково же реанителю идейной непогрешимости обследовать такую прозу, если подконтрольны ему простенькие схемы, планиметрия из школьного курса, а объемы в руки не даются?

Узколобому неведению, призванному ведать культурой, что остается? Циркать по примеру щедринского орла-мецената да когтями поигрывать.

Тяжело воспроизводить эпитеты, какими при жизни наделяли Платонова. Но один выпирает из ряда — «юродивый». И Пастернак того же удостоился, притом персонально от «корифея всех наук». Оно и неудивительно: для ума закупоренного умственная свобода — род безумия.

Не в пример многим Платонов абсолютно раскованно обращался с магическими формулами агитпропа. «Сокращенный начальник пролетариата», «людям теперь нужен не столько труд, сколько коммунизм», «контрреволюционная благость природы», «резолюция о ликвидации класса остаточной сволочи» — все эти шедевры пародийно вывернутого агитстиля взяты из нескольких абзацев «Чевенгура», стоящих рядом. А роман создан в конце 20-х. Вот уж где пародийная ложка оказалась дорога к обеду! Тогда и твердокаменному ортодоксу каблуком на язык наступали, а опальный Платонов, выходит, принялся вышучивать державный слог политциркуляров. Нашел время! Да еще явно неподцензурную рукопись передал Горькому, дабы тот посодействовал публикации.

И разве пример этот уникален? Булгаков рассчитывал издать без отсрочек или пересылки за рубеж «Собачье сердце» (текст сатиры был предложен на пробу самому Л. Б. Каменеву), Зазубрин — «Щепку», Пастернак — «Доктора Живаго», Гроссман — «Жизнь и судьбу».

С простодушием духовных тружеников, только что сладивших с творческой задачей, они передают рукопись издателю, не зная за собой злых умыслов и мало сообразуясь с конъюнктурой. Но прочитанные недреманным оком тут же попадают в разряд злоумышленников либо «юродивых». Да и мудрено не попасть, если уже от речевого строя этой прозы на контрольный пост идут тревожные сигналы.

Пафосная лексика официоза буквально корчится от неудобства, попадая в конфузные сочетания. А персонажи Платонова знай себе дробят и расшатывают краеугольные камни, потому что нужен стройматериал. Ведь по призванию все они — строители. И, помимо коммунальных башен для пролетариата или диковинных зданий из навозных брикетов (смотри «Ювенильное море»), возводят на скорую руку миро-здание, самодельный Космос, где каждый из них — новосел.

Логикой с к а з а этим чудакам-демиургам и вся директивная фразеология отдана на откуп. Скособоченные варваризмы идут в дело. Зыбкий рассудок героев, вооруженный лексикой политбесед, исправно прислуживает страстям, не позволяя им выгореть впустую, занят бодрыми прогнозами, расстановкой вех на пути, заготовкой и расклейкой агитярлыков и т. п. Работы ему хватает. Но госпожа положения — страсть, взметнувшая к российскому небу кумачи с призывами.

В какой из уголков платоновской Вселенной ни загляни, всюду — владения души. И бесполезно толкаться сюда ревизору-идеологу с вопросом: ту ли музыку слушает здешний народ? Навыки ревизора здесь заведомо недействительны. С точки зрения жесткой, всегда настороженной власти — опасный прецедент: на поднадзорной территории возникла автономия, очаг вольнодумства, где магические формулы директив из центра прочитываются в какой-то скоморошьей или ю р о д и в о й манере.

Некоронованный абсолютизм, произнося «Достиг я высшей власти», орлом смотрит на мир и всегда готов подавить протест или брожение в н и з у. Каково же ему задирать голову при угрозе нападения с в е р х у, если считалось: над головой абсолютной власти, кроме пустого неба, ничего нет? А свободный художник, которому внятен «и горний ангелов полет, и гад морских подводных ход», слушает орлиный клекот диктатуры с любопытством орнитолога, умея смотреть на нее как на объект в ряду прочих объектов — с высоты духовного опыта поколений.

Вот где главная досада для самоупоенной и крайне мнительной власти — непризнание ее высоты за последнюю, недействительность — пусть даже для немногих — ее тайны и авторитета.

Так что же это за мысль, дерзнувшая возвыситься над грозной Системой? Удобный ответ готов: юродивая! Именно с ней, «юродивой» литературой, мы и оказались лицом к лицу в эпоху гласности. И этот поворот к Платонову, Бул-

гакову, Пастернаку совпал с публичной реабилитацией общечеловеческих ценностей, признанием их приоритета над прагматикой национальных, классовых, конъюнктурных интересов. Нравственная азбука большой культуры и ее «задержанные» образцы легализованы одновременно.

Смена вех? Безусловно. Как же, однако, быть с плеядой номенклатурных классиков и полуклассиков 30—70-х, которым путеводно мигали политические маяки?

— Все на своих местах,— отвечают нам авторитетные теоретики.— Чем владеем, отдавать не намерены, мест на пьедесталах хватит, и не будем сталкивать лбами корифеев!

— Так ведь разобраться надо,— скромно возражаем мы,— какая эстетическая межа пролегла между теми, кто при жизни увенчан лаврами, и, к примеру, Платоновым, Замятиным, Ходасевичем...

Но тут возражай, не возражай — ответа не расслышишь, ибо наши оппоненты — дальновидные тактики, теоретизируют с дисциплинарным или административным уклоном, наперед расчисляя, какой возможен урон от вольного соревнования мнений.

Герой последней повести Михаила Кураева «Ночной дозор», («Новый мир», 1988, № 12), бывший работник госбезопасности, делится давним своим везением — как ему посчастливилось в органы попасть. Проверяли его на предмет идейной подкованности. И вопрос задали подходящий — про партию: где именно она подвизается? «А я как раз знал!» — и по прошествии лет ликует он. Удача! Не отсебятину брякнул, а ответил точь-в-точь как положено.

И тогдашней литературе, если она рассчитывала на близкую удачу, тоже надлежало «как раз знать» положенное и не сбиваться.

Литература — угадчица верных ответов — живо подхватывала команду: «Запевай!». Путь к печатному станку надлежало проходить с песней. Разумеется, не всех, кто двигался в строю, прельщало отбивать шаг и заодно с ротой надсаживать горло. Кое-кому удавалось сохранить внутреннюю независимость от строя и сберечь голос для других, не столь громких песен. Скажем, натурфилософская, лирическая проза, историко-биографическая беллетристика имели шанс миновать сверхжесткий контроль, если, конечно, не задевали неприкасаемого — основ директивной мифологии.

А такие авторы, как Платонов, Замятин, Булгаков, Бабель, попадали в самые злостные нарушители оттого, что на директивный миф поглядывали свысока, оставляя все кордоны внизу, уязвляя доктринеров-мифологов авторитетом тысячелетий. Для системы ее охраны — непереносимо! И если еретику-простаку, когда тот пешим порядком приближается к заградпосту, можно попростому влепить в лоб шлагбаум, то этих нарушителей приходится бить влет или как-то стаскивать вниз, ибо державный миф богоравен, попытка разглядеть его конструкцию сверху — предел кощунства.

Вопрос о свободе искусства в рамках бесконтрольной диктатуры оказывается на поверку вопросом уровня мысли и широты обзора.

Крамола фракционности, уклонов, искривлений линии — полкрамолы, дерзкий подъем над уровнем мифа, остраняющий взгляд на него — злейшая из крамол. Отсюда легальный статус лишь для того искусства, которое чует над собой простертую руку вождя и всем довольно.

Как считает Юрий Карабчиевский, автор статьи «В поисках уничтоженного времени», «самый лучший советский писатель — это всегда ум и талант плюс умение укладываться в пределы дозволенного так искусно, чтоб этих пределов как бы и не было» («Искусство кино», 1989, № 4). Да, характеристика эта сильно горчит, но в меткости ей не откажешь. Стоит, однако, уточнить, что под простертой и целеуказующей рукой понемногу вырабатывался тип «ручного» («подручного») писателя, которому «умение укладываться в пределы» присуще изначально — как врожденный инстинкт. Особой искусности, дабы не выходить из пределов, уже и не нужно: пению комнатной птицы клетка не помеха.

Кстати, упоминавшийся герой М. Кураева, ветеран карательных органов, оказался тонким ценителем птичьих трелей. Начнет излагать про соловьев — заслушаешься: вольно течет, прямо из души изливается рассказ. Но изощренность слуха — одно, несение карательной службы — другое.

Может, полузадушенная человечность карателя нашла для себя щель, там и затаилась, потихоньку гурманствуя? Нет, у М. Кураева не так. Его ветеран спецслужбы скорее благодушен, чем жесток, под видом допроса нарочно разводит канитель, безвредную для подследственного: я, мол, на коне, ты — во прахе, каждому свое, но велика ли мне радость тебя топтать?

Собственную долю радости он получит, не слишком мараясь, ни над кем не куражась больше нужного. Каким способом? Простейшим: удостоверяясь раз за разом, что мудреному времени он пришелся по нраву, все делает впопад, не позволяя жизни себя заморочить. Удачник!

И устные его мемуары выдержаны в тоне «знай наших!». По ощущению ветерана органов, время распорядилось так, что люди поделены на конвоиров и подконвойных. Значит, не зевай, конвоир, а то мигом перескочишь не в свой разряд! Он и не зевал. Оттого под старость сделался растроганным эпиком былых свершений.

Оттуда, из следственных камер, ему светит дорогое прошлое. И никакие толки об ужасах геноцида не вобьют клин между этим вспоминателем и эпохой террора, ибо радость у него на целую жизнь одна — тогдашний сговор с Фортуной.

М. Кураев рассказал о человеке, который с комфортом разместился на малом отрезке времени и всем своим видом подкрепляет тезис о личности как продукте среды и воспитания.

По тому же примерно способу, как сознание кураевского героя, формировалось и сознание литературы, которая выращивалась на особом парниковом грунте. Ей надлежало «как раз знать» и при ответах на уставные вопросы не пороть отсебятину. Но опять же, подобно кураевскому вспоминателю, она в пределах собственной несвободы вольна услаждать себя хоть соловьиным пением, хоть красотой белых ночей, хоть мыслями о той сноровке, с какой ей удается выполнять руководящие указания.

Для литературы, которая «как раз знала», самой высокой высью, откуда обозревалась реальность, было нарисованное небо с рубиновыми звездами и армадой стальных соколов. А опальная литература рассматривала тот же смакетированный мир извне, с иной духовной дистанции.

Внутри утвержденных макетов мироздания оставались, конечно, зазоры, откуда подчас веяло незастойным духом. К ним живо устремлялась литературная мысль (не окончательно парализованная послушанием) за глотком дефицитной правды. И читательская аудитория, над которой тоже нависало нарисованное небо, приучалась ценить промельки правды в казенном искусстве, не всегда успевая подосадовать на мизерность ее дозировки. Дорожа тем, что есть, и безошибочно различая в кругу именитых авторов тех, кому все же тесновато в вицмундире.

Скажем, Фадеев с его громкими чинами и регалиями был от нее далековат, слишком слит с трибуной, приподнятой над страной,— больше начальник, чем открытый и доверительный собеседник. И хор зычноголосых лауреатов возле фадеевской трибуны тоже не сулил отрады читательской душе. С другой стороны, немногие писатели лирического либо лирико-философского склада слишком далеко отстояли от приподнятых трибун и ненароком могли увести неведомо куда.

В этих условиях выигрывала умеренность, которая хоть и отстаивала классовые принципы, но без зубовного скрежета и не всякий миг ждала руководящих указаний.

Когда в разгар нашего очищения от дурмана сталинщины «Знамя» напечатало воспоминания К. Симонова «Глазами человека моего поколения», критика несколько оторопела, ибо вдруг затуманились светлые черты мемуариста. Оказалось, что всего лишь десять лет назад К. Симонов придерживался «золотой середины» при описании диктатора, очень бережно стирая глянец с его парадного портрета. А плюс к тому не умел скрыть оттенка гордости тем, что некогда был удостоен верховного благоволения.

Ничего удивительного: между полюсом оппозиции к тирании и полюсом раболепия перед ней располагается середина, которую при желании можно назвать «золотой». Произрастающему здесь искусству чужд дух фанатической нетерпимости. И, даже мобилизованное властями для плановой охоты на инакомыслящих, оно старается не слишком лютовать. Так, в разгар кампании против «космополитов» Симонов держался намного пристойней Софронова или Сурова. И уравновешенная часть аудитории с удовлетворением отмечала: «Делает, что велят, а о боге помнит».

Взвинченность, заказное бодрячество официальной культуры утомляли немногим меньше чересполосицы авралов, мобилизаций, перестроек. Введенный в стране комендантский час растягивался на десятилетия, к нему приходилось приноравливать не просто дневные или недельные планы — отпущенный тебе век. Скорого возврата к норме, увы, не предвиделось. И человеческая психика, кое-как свыкаясь с судорогой починов, атакующих сигналов и сбоев, искала все же послаблений для себя, передышек, утоления своих естественных запросов.

Как раз искусство К. Симонова идеально отвечало потребности читателя хоть ненадолго расслабиться, принять стойку «вольно» (но без вызова уставу), желанию вообще отлучиться из казармы и, не теряя ее из виду, побродить неподалеку.

Симоновская обстоятельность, ровный тон, черты несуетного летописца в повествовательной манере как бы снимали избыточное напряжение, укрепляя читательскую догадку, что комендантский час длиною в полвека — не бог весть какой подарок. Притом подобная догадка относительно безопасна, с политсистемой не ссорит, неуютом диссидентства не грозит, ибо поощрена многократным лауреатом, для которого основополагающие доктрины святы; получая в руки свежеотлитую установку, он проникался ее жаром, но позволял себе стесать на ней острые закраины и сбить окалину. Против такой операции у власти возражений нет.

Как-то по ходу очередного диалога критиков на страницах «Литературной газеты» оба спорщика (А. Латынина — С. Чупринин) сошлись в нелестном взгляде на черты конформизма у Симонова, но тут же дружно себя одернули: не следует, мол, перечеркивать наследие писателя.

Однако наследию этого писателя вряд ли грозят забвение и зряшная хула.

Ведь он — это мы сами, с нашей моральной пластичностью, умением приструнить собственное правдолюбие, если оно грозит поссорить с правопорядком. Среди авторов «нечиновных» книг К. Симонов стоял выше всех на лестнице чинов, а среди приближенных к власти выделялся демократизмом и умеренностью тона. Роль, можно сказать, уникальная.

К. Симонов всегда готов был посочувствовать честному гражданину, если того принуждали отмываться от тяжких подозрений (история политрука Синцова, вышедшего из окружения без документов), и, конечно, воздать должное патриоту, которого взяла за горло, но потом нехотя отпустила «лубянская лапа ЧК» (судьба генерала Серпилина).

С полной готовностью шел писатель навстречу правдолюбию своей аудитории и замирал, точно на пограничной черте, отделяющей политическую благонамеренность от опасного критиканства. Аудитория, и сама не склонная заходить далеко в своем правдоискательстве, испытывала теплое чувство к писателю, умеющему бережно касаться болевых точек и внушать уверенность, что любой из наших общественных недугов излечим, так сказать, амбулаторным путем.

По умению находить общий язык и с командным *верхом*, и с читательскими *низами* у К. Симонова среди его именитых коллег, пожалуй, не было конкурентов.

Значит, он искуснее других умел «укладываться в пределы дозволенного» (Ю. Карабчиевский)? Нет, вернее так: среди авторов, наделенных умом и талантом, он был особенно *безыскусен* в умении «укладываться» (такое ценилось более всего) — словно сумму дисциплинарных навыков получил генетическим путем, минуя стадию тренировок.

Иначе говоря, комендантский час длиною в десятилетия успел поощрить к росту искусство, для которого узаконенная аномалия близка к норме и которое находится на полном пансионе у политсистемы, получая от нее целеуказания вместе с профилактическими подзатыльниками. Такому искусству надлежит признать относительность абсолютов и растяжимость нравственных норм, когда те слишком стеснительны для начальства. И, значит, указатели на любой ценностной шкале теперь передвигаются пальцем, потому что работу контрольных приборов тоже нельзя пустить на самотек.

Принцип «Так надо!», не зарегистрированный теорией, формирует всю эстетику соцреализма. И среди ее приверженцев К. Симонов выделялся как раз тем, что нередко под его пальцем стрелка приборов замирала примерно там, где замерла бы и сама. То есть благодаря особому такту этого писателя аномалия обретала видимость нормы.

И сегодня вряд ли стоит звать друг друга к сугубой осторожности при оценке лауреатских книг не столь далекого прошлого («Не будем перечеркивать наследие!»). Дисциплинарным осаживаниям и одергиваниям лучше предпочесть эстетическую рефлексию на такую тему: а что, собственно, происходит с художественной мыслью, если та, едва зародившись, укладывается в пределы дозволенного?

На первых порах ей приходится сделать открытие, что выше лба уши не растут и появилась она на свет с разрешения начальства, которое заступило место упраздненного бога, владеет всей полнотой истины и ни с чьей стороны конкуренции не потерпит.

Ну, хорошо. А если, как у Ницше,— бог умер? Вот об умершем боге вспоминает К. Симонов. И что примечательно? В облике своего героя мемуарист не намерен различать черты фамильного сходства с длинной вереницей тиранов, кроваво наследивших в истории. Портретируя Сталина, К. Симонов не дает воли «боковому зрению», избегает сопоставлений, аналогий (челядь диктатора не в счет) и тем прежде всего утесняет себя как размышляющего автора. Примерно то же и с центральным сюжетом симоновских воспоминаний — историей плановой облавы на интеллигенцию в конце 40-х — начале 50-х годов.

Неужели никогда ничего похожего не случалось? Напротив, стоит воцариться железной диктатуре тогда-то и там-то, она заученным жестом берет за горло интеллигента, который слишком много знает, а среди прочего — страшную тайну *серийности* очередного «вождя и учителя».

Александр Гангнус на страницах журнала «Театр» вспоминает, какое впечатление на него и многих его сверстников произвел в 60-е годы фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм», где были кадры об открытии Дома искусств в Мюнхене. «Наше опасливое потрясение,— рассказывает А. Гангнус,— было вызвано удивительным сходством увиденного с нашим искусством. Эти мускулы, эта свирепая героика, этот надсадный гимн безликому, усредненному «человеку труда», эти портреты вождей, то умилительно слащавые, то угрожающие морды бонз, лишенные проблеска мысли и сомнения...» («Что сделал ты с братом своим?», 1989, № 6).

Да, тоталитарные режимы так зычно окликают друг друга на языке своей барабанно-парадной эстетики — хоть уши затыкай. В ее зеркале Сталин, Франко, Мао, Пол Пот, Дювалье — разноплеменные братья по крови. И сколь же многое их роднит помимо эстетики! Инквизиторские замашки, любовь к провокациям, авралам, громыхающей риторике, кампаниям по устрашению давно устрашенных подданных...

Но рассудительный, отлично владеющий собой и предметом мемуарист К. Симонов ничего такого замечать не хочет.

Например, история гонений на «космополитов» воссоздана у мемуариста с пристальным вниманием к подробностям, в своем роде как бы единственным, подлежащим взвешенной, неторопливой оценке с учетом высших, не всякому доступных резонов правителя.

Основательность подхода к предмету, академичность тона, остужающая нашу горячность, здесь несколько комичны — как всякий прилив глубокомыслия на мелком месте: ведь описывается одна из рефлекторных акций диктатуры, чья система условных и безусловных рефлексов не бог весть какой секрет.

И русский патриот Сталин, сокрушающий гидру «низкопоклонства», не менее серьезен и пошл, чем родственные ему Гитлер или Мао под их националистическими стягами. В конце 70-х, когда Симонов диктовал свои воспоминания и когда у всех стоял перед глазами шабаш недавней «культурной революции» в Китае, подобные параллели сами шли в руки.

Но рефлексология деспотий — наука явно крамольная. Ее азы для нормальных воспитанников автократий — немыслимое кощунство и начало всех ересей. Сама непочтительность ума к символам режима, парадным портретам властителя, попытка вдвинуть его в сомнительный портретный ряд — уже род бунта и нарушение строжайших табу.

Впрочем, культ личности — это всегда отрицание культуры познания, системного анализа явлений. Недаром агитпроп десятилетиями вбивал в наш слух эпитеты «невиданный» и «небывалый» («подъем», «почин», «энтузиазм», «размах»). Социальная новь чуралась сопоставительных рядов: «Я сама по себе!» И умы, завороженные новью, дивились на нее, не отвлекаясь на постороннее, стремясь не упустить очередной праздничный факт, будто репортеры на коронации.

Сверстники Александра Гангнуса, молодые «шестидесятники», испытали, как мы помним, род шока («опасливое потрясение»), вдруг обнаружив, до чего похоже выражают себя две враждующих диктатуры на языке «свирепой героики». Обладай молодые «шестидесятники» закалкой наших литераторов-лауреатов, им бы и в голову не пришли опасные параллели: искусство «соцреализма» — это раньше всего искусная и политичная сортировка впечатлений, обуздание самим же автором своей природной пытливости, способной завести «не туда».

Обузданная пытливость шарахается от параллелей типа «сталинизм — гитлеризм — маоизм» и вообще понемногу сходит на нет.

В известных воспоминаниях Н. Я. Мандельштам есть примечательный штрих к портрету времени. Как-то раз Валентин Катаев увидел верблюда, и в катаевской голове сверкнула ассоциация: верблюд нес свою голову горделиво, как Осип Мандельштам. «От этого зрелища,— замечает мемуаристка,— Катаев помолодел и начал писать стихи. Вот в этом разница между Катаевым и прочими писателями: у них никаких неразумных ассоциаций не бывает. Какое, например, дело Федину до верблюдов или стихов?»

Действительно, вкус к установлению неявных подобий, интерес к световым вспышкам-рефлексам, которыми, сближаясь, обмениваются предметы,— признаки раскованного художественного сознания, способного воссоединять разбросанные во времени и пространстве явления. Но не во всяком климате сознанию легко расковаться.

Дадим слово Осипу Мандельштаму: «Революция — сама жизнь и смерть и терпеть не может, когда при ней судачат о жизни и смерти. У нее пересохшее от жажды горло, но она не примет ни капли влаги из чужих рук. Природа — революция — вечная жажда, воспаленность (быть может, она завидует векам, которые по-домашнему смиренно утоляли свою жажду, отправляясь на овечий водопой. Для революции характерна эта боязнь, этот страх получить что-нибудь из чужих рук, она не смеет, она боится подойти к источникам бытия)».

Выписка эта сделана из книги 1925 года («Шум времени»), когда революция подобно амазонке была лихой всадницей-воительницей и пробовала сберечь девичью честь, воздерживаясь от последней близости с бюрократическим аппаратом.

Нравом она, конечно, отличалась крутым, если не вздорным, чьих-либо «несвоевременных мыслей» про историческую давность, заветы и запреты морали на дух не принимала. Вулканировала подобно стихиям. Стихийностью, полыхающим румянцем, «пересохшим горлом» как раз и приваживала к себе истолкователей катастроф и природных аномалий.

Не станем гадать, куда подевались с годами ее взрывной темперамент, амазоночья повадка. Но к рубежу 30-х для самоуправного характера революции нашлась державная узда. Распорядительная воля стихии сменилась для искусства стихией государственного произвола. Однако налицо и преемственность. Искусству категорически возбранялось раздражать диктатуру даже случайными обмолвками-намеками на то, что придется платить за разбитые горшки трудными для чиновного уха подтекстами, залетать мыслью выше уровня директив и вести собственный счет исторического времени.

Подобно тому как щедринский Угрюм-Бурчеев увел глуповцев прочь от реки, силу которой не смог одолеть, железная диктатура отгоняет покорные ей умы от «источников бытия», над которыми не властна. И когда покладистые умы, сроду этих источников не видавшие, принимаются «художественно отображать» правду жизни, то современность у них — дочь неизвестных родителей, отданная

на воспитание начальству, а правда жизни нарезана ломтями — по кусочку-другому на участок действительности, куда мастер культуры получил допуск.

Революция, которая, по Мандельштаму, брезговала и каплей влаги из чужих рук, передала грузнеющей бюрократии ряд эстетических заветов. А среди них:

1) Апология социальной новизны и небывалости («новый человек», «новый мир», «партия нового типа», «новая мораль», «Моя страна — подросток», «Я другой такой страны не знаю»).

2) Связь со стариной допустима лишь под девизом «Отречемся от старого мира!»; соответственно девизу за спиной «нового человека» маячит недлинная череда предшественников — от Радищева и декабристов до социал-демократов ленинского крыла.

3) Как следствие, социальная новь знается сама с собой, бурлит в непроточном водоеме, к ходу большого Времени нечувствительна, хотя любит его горячить призывом «Время, вперед!»

4) Человек без остатка принадлежит современности, выкроен по ее меркам, к остальным временам так же мало прикосновенен, как и она; на вопросы из разряда вечных отвечает по-военному: «Не могу знать!»

Таковы ключевые положения негласного, «теневого» кодекса искусства, подотчетного бюрократии. Послушание начальству оборачивается для искусства иждивенчеством мысли, умственной ленью, то есть атрофией собственных духовных сил, разладом, сбоями в самом механизме художественного сознания.

Литература в «лауреатском» исполнении, умея многое («отображать», иллюстрировать, призывать, выражать чувства и влиятельные настроения), отучалась понимать мир. Даже ждать от себя непатентованных мыслей о мире и то отучалась.

И это — от укоренившейся привычки жить чужим умом. А искусство нешколярского миротолкования стало уделом полупризнанных, гонимых, ушло в подполье или откочевало за рубеж.

Ромен Роллан, более чем лояльный к великим переломам на советской земле, к жесткой сталинской власти, глядя на правофланговых новой литературы, недоумевал: «Страдания души индивидуума, проблемы индивидуального сознания, кажется, не существуют для них» (см. «Вопросы литературы», 1989, № 4).

Для официальной литературы проблемы индивидуального сознания, понятия «дух», «духовность» сделались архаикой. Авторов больше занимала горячка авралов, экспромтов на поприще экономики и т. п.

Но, как уже сказано, человеческой природе трудно свыкнуться с авральным режимом, когда ему конца не видать. Постоянное пребывание на вибростенде выматывает. Притупляется восприимчивость к маршевым тактам, призывам не сбавлять шаг, к дежурной аффектации газет и послушного режиму искусства.

Деспотический режим обычно угадывает критическую точку, когда сама человеческая природа принимается глухо роптать против казарменных порядков, грохота пафосных словес, а угадав, ищет меру компромисса с ущемленной природой, бросая ей кое-какие подачки и производя мелкий ремонт пропагандистской машины.

На какой-то срок меры себя оправдывают: отощавшая природа умолкает, занятая полученным пайком. А когда первый голод прошел, она готова терпеть стеснения дальше. В эту как раз пору достигает пика популярности искусство законопослушное, но без шумовых излишеств и с легким налетом фронды. Его популярность — верный знак приспособления общественного вкуса к укладу казармы, где «для уюта» повешено две-три занавесочки да старшине велено хотя бы через раз гаркать тише обычного.

При хронической форме тоталитаризма устанавливается полный слепого доверия покой—доверия низов к идеологическим символам режима. В атмосфере такого доверия набирают соки характеры, подобные кураевскому кагебисту, который «как раз знал», но сходят на нет романтики. И если у платоновского рыцаря Прекрасной дамы (Розы Люксембург) Копенкина душа младенца, очарованного сказкой, и величием мира, и звуками ночной музыки, то у героя М. Кураева душа зубрилки, у которого всегда наготове пропуск в счастливое завтра — знание казенных формул-заклинаний. Характер, выкроенный по установленным госстандартам.

Но в заявке на этот характер предусмотрено и необходимое «излишество» — отзывчивость зубрилки и на птичьи трели, и на красоту белых ночей.

Все уже было: люди-болты, люди-гвозди, люди-кирпичи для чудо-башен. Но случалось — подводил «материал», чьи природные свойства не принимались в расчет. А принимать все же приходится, поскольку административная система желает себе долголетия.

В свой срок она открывает, что природу надо гнуть в дугу с уменьем и не вдруг, а то в лоб отскочит; и уж если люди, поставленные под ружье, вынуждены платить дань естеству, пусть услаждают себя красками белых ночей, щелканьем соловьев — лишь бы голоса природы не заглушали директив. То есть пусть службист и слушатель соловьев, раз уж им деваться друг от друга некуда, сидят по разным углам и второй не тревожит первого вопросами.

Так под простертой начальственной рукой складывался тип эклектичного, или «сборного», человека, мир которого поделен на «зоны» (что точнее своих предшественников разглядел автор «Ночного дозора» М. Кураев).

В тех же условиях, под той же простертой дланью трудилась и литература, отыскивая нужный подход к «новому человеку». И ей, и ему прививались навыки исполнительности.

Когда же времена переменились, специалисты по классике соцреализма, авторы установочных монографий стали собираться для совета: вешать ли, к примеру, портрет Ходасевича в ряд с Демьяном Бедным и Безыменским или чуть в сторонке?

Не так давно Ф. Кузнецов рассказал на страницах «Литературной газеты» (1989, № 33) о теоретической конференции в ИМЛИ на тему «История советской литературы: новый взгляд». Если судить по тону выступлений, процитированных Ф. Кузнецовым, объявленная тема для многих прозвучала вопросительно: «Как уберечь историю советской литературы от нового на нее взгляда и веяний гласности?»

Разумеется, в качестве охранительного мандата для столпов официальной литературы уже наготове девиз: «Будем верны принципу историзма!» Дескать, если кто из канонизированных авторов почитал верхом гуманности «классовую ненависть пролетариата», то по велению и подсказке сурового времени. Выслушав напоминание об историзме, вы спросите, отчего в о з в р а щ е н н о й литературе (а среди прочих возвращены сверстники Фадеева, Жарова, Безыменского) не надо ни спецмандатов, ни ветеранских льгот или ссылок на диктат эпохи, а вас и слушать не станут: горячка активной обороны против неожиданных ревизий не повышает чуткости к чужим доводам.

Да и в доводах ли дело? Кто станет вас пугать жупелом «антиисторизма»? Во всяком случае, не ревнитель истины, а материально ответственное лицо, которому тошно слышать об уценке давно оприходованных лауреатских книг. То есть уценивать, возможно, станут со строгим разбором, но первое движение хранителя: «Только через мой труп!»

Если за рефлекторным жестом «Не отдам!» последует отрезвление и готовность разобраться: что за ценности мы берегли от дурного глаза? — настанет очередь вопроса: отчего же немирно встретились задержанные художники с плеядой их увенчанных современников, чьи лавры приходится освежать заклинаниями против антиисторизма?

И удовлетворительного ответа не найти без эстетической рефлексии: а что происходит с художником, которому объяснили мир и он поверил; которого нацелили и он пошел куда сказано? Удобно ли ему осваиваться в объясненном мире?

Такого рода вопросы сегодня поощрены возвращением опальных книг, где над авторской мыслью не тяготеет дисциплина государственного единомыслия.

Через шестьдесят лет после первого (зарубежного) издания появился у нас роман Михаила Осоргина, закончившего подобно многим соотечественникам свои дни в эмиграции,— «Сивцев Вражек» («Урал», 1989, №№ 5—7). Вернулась еще одна книга о развороченном бурей быте рубежа десятых — двадцатых годов, способная постоять за себя, даже если при ее оценке мы ударимся в грех «антиисторизма».

Впрочем, соблазн этого греха скрыт в самом тексте романа, где попадаются словесные краски, повторы, вряд ли мыслимые в авторской речи А. Фадеева, А. Авдеенко или П. Павленко: «Текла с привычным шумом река Времени», «Жизнь, вдаль уходившая по радиусам», «Устало старое, нужен ему покой и уход в вечность».

Нет, М. Осоргин не жертвует эмпирикой ради крутого подъема к эмпиреям. И не в пример, допустим, Булгакову не избирает ни воздушных трасс, ни высоких крыш, откуда можно панорамировать столицу. Напротив, малая подробность, «заусеница» быта, дается под многократным увеличением, удостаиваясь подчас отдельной линии в сюжете. И местом действия избран тихий Сивцев Вражек на задах торгового Арбата — нечто вроде уголка уездной России в самом сердце столицы.

Неслышно течет время в деревянном особнячке профессора-орнитолога, чью старость покоит внучка его Танюша. Впрочем, отчего же неслышно? Вот из не завернутого по оплошности самоварного краника побежала резвая струйка — сперва на стол, оттуда водопадиком на пол, и в сыроватом подвале прибыло влаги, что сделалось событием для его обитателей — крыс, мышей, жучка, точащего балку. А на крыше тем временем сказалась работа дождей: один лишь жалкий гвоздик переела ржавчина, отчего взбугрился кровельный лист, водяную пыль стало заносить на чердачное перекрытие, и чуть резвее задвигался червяк в своем древесном канале. Такие вот микропроисшествия.

Помните: «Устало старое, нужен ему покой»? Старое устает, а над его распадом трудятся твари поменьше и покрупнее. Сменой повествовательных планов подсказано: вершится вечный обмен энергий, прежний природный цикл сменяется новым. Пестрое население особнячка — разумное и безглагольное — в определенном смысле уравнено перед своеволием природных процессов.

У М. Осоргина нет героя-протагониста, призванного вести острый диалог с Миром либо распутывать узлы трагических антиномий. Духовное ядро романа не совпадает ни с пиками чьих-то биографий, ни с обострением социальных страстей.

Стоит сопоставить: по прошествии примерно четверти века на том же Сивцевом Вражке Борис Пастернак поселит юных Юру Живаго и Тоню. Если держаться житейской меры вещей, с персонажами М. Осоргина герои Пастернака могли бы мерзнуть рядом в очередях, раскланиваться при встречах или даже

дружить домами. Соседям по улице, однако, досталось жить в далеко отстоящих друг от друга поэтических реальностях. Пастернак написал историю души, которой под силу объять планетарные события века, Осоргин — историю домаковчега, который сорвало с якоря и закружило в водовороте событий.

Герой Пастернака, «вечности заложник у времени в плену», обременен багажом культуры, знанием иных эпох, в своей же стеснен и приблуден — звездочет, упрятанный в штольню. А персонажи М. Осоргина все вместе подхвачены потоком, держатся на плаву как умеют, перемогая испытание. Неповторимый мир каждого несколько размыт, контуры его зыблются. Не потому, что по отдельности люди эти мало примечательны. Причина иная. Уже упомянутая «река Времени» словно зеркалит, отбрасывая блики на лица. Герои портретируются как бы сквозь эти световые рефлексы. При строгом соблюдении такой портретной и стилевой манеры художнику, можно сказать, удается уловить неуловимую субстанцию времени. Ток реки воспроизведен в движении стиля. И в сюжетном действии отведено место не столько характерам, сколько жизиям, «голая суть» которых не затемнеиа хроникой обстоятельств.

Героев романа роднит чувство, которое старше характеров,— печаль проводов времени. Не умея опьяняться иллюзиями всесветных преображений («разрушим до основанья, а затем...»), они слушают «сосущий клекот лихолетья» (Б. Пастернак), догадываясь, что их жизни подхватило, влечет волоком и облегчения не предвидится.

Мы угадываем недоумение этих людей: чем заслужено испытание и куда им деваться с нажитым опытом? Таких вопросов нет в тексте, они — в смене планов, архитектонике, организации пауз, порядке переходов от картин или подробностей тихого старения особняка к грому и топоту чрезвычайного времени, которому явно надоело наблюдать слишком уж тихое это старение.

Душевная озабоченность персонажей преображена в стилистику и мелодику повествования. Причем мелодия их озадаченности устройством (и деформациями) бытия как бы транслируется через авторский голос.

О той же кризисной поре, что и Осоргин, писал Платонов, соединяя распавшиеся, казалось бы, звенья времени. Для его бродяжного, мастерового, слободского люда небо, земля, мировое пространство, даже Смерть — соседи по бытию, с которыми можно особенно-то не чиниться: в кругу своих какие же церемонии? Удивительно ли, что у Платонова любой смертный на свой лад бессмертен, недалеко ушел от первого дня творения, и минута над ним не хозяйка, поскольку мирообразующие стихии ему чуть ли не кровная родня?..

Заглавный персонаж «Доктора Живаго», как уже сказано, весьма рассеянно слушает распорядительный голос эпохи, ибо приучен сопрягать далекие времена.

М. Булгаков перебрасывает арку длиною в два тысячелетия между древним Ершалаимом и Москвой 20-х, не желающей ни знать, ни помнить сверх положенного.

М. Осоргин вглядывается в бесконечные формы Жизни, когда та возмущена взрывом общественных страстей, великой гражданской смутой...

Во всех этих случаях историческое время, равномерно откатываясь назад, не исчезает без следа, напитывая собой очередную народившуюся минуту. И авторское слово о возмущенном мире памятливо, твердо знает, что прошлое, уходя, остается.

Тем прежде всего и отлична возвращенная литература от литературы, обласканной инстанциями, что у второй счет времени — государственный и опорные его вехи — красные даты календаря, а сам поток жизни канализирован, загнан в твердое ложе доктрин.

У каждой из этих литератур — свой хронотоп. У первой его слагаемые — Вечность и Космос, у второй — календарные сроки свершений и обозримая их арена.

На вопрос «Где тут искать художника» книги Платонова, Булгакова, Замятина, Пастернака отвечают: «Везде: и в малой повествовательной подробности, и в планировке целого!» И если у него, художника, на глазах победным маршем шествует государственная философия, он следит за этим шествием со своей господствующей высоты, свободно меняя ракурсы, но не примыкая к строю новообращенных. А в произведениях дисциплинированных наших писателей намного выше авторской господствующей высоты — нависшая над умами идеология. И поднадзорные авторы, шагая в общем строю, оглядываясь на запреты и целеуказания, не столько с Миром собеседуют, сколько равняются на правофланговых.

Отсюда особое качество их продукции, которое А. Твардовский определил в своих дневниковых записях так: «Дубовая преднамеренность литературы».

...Среди постоянных посетителей особнячка на Сивцевом Вражке видное место отведено философу Астафьеву. Нет, он не комментатор событий, не интеллектуальный посредник между романистом и читателем. Льготами, предпочтительным правом на монолог не наделен. Его с такой же стремительностью подхватило течение и протаскивает через пороги, как и остальных.

Но одно хотя бы преимущество перед остальными у Астафьева есть: четкое понимание, что от нового режима ему пощады не ждать, ибо для комиссаров он, Астафьев,— человек с анкетным клеймом на лбу, номер из проигрышной серии, чужак, интеллектуал, подлежащий искоренению. Против безличной силы у него в запасе один аргумент — личное достоинство, который и предъявлен в решающем столкновении со следователем из карательных органов.

Нынешнему читателю уже успел примелькаться тип следователя-изувера, пляшущего на костях жертвы с тем большим остервенением, что сам он ущербен: сосет его тайный недуг, давит сознание собственной неполноценности... И у Осоргина философ Астафьев отдан в руки болезненного карателя, чья задача — «оформить» чужака-интеллигента, чтобы тот не застил свет классу-гегемону.

Значит, в следственной камере друг против друга полный сил, с открытым умным лицом заключенный и пасынок природы следователь со вдавленной грудью, чахоточным румянцем, пузырьком для мокроты в руках и набором политических междометий в голове.

Когда новейшая литература о сталинском терроре портретирует очередного мясника из карательных органов, да к тому же мясника-недомерка, больного, гнилозубого или кособокого, писатели не думают скрытничать. «Вот, полюбуйтесь на пигмея,— как бы приглашают нас они.— Кровавое дело потребовало монстров-исполнителей с их нетерпением выместить на другом свою ущербность!»

Так ли у Осоргина? Он, конечно же, задерживается вниманием на липкой психологии узкогрудого чекиста, штамповщика приговоров, который злорадствует в душе, небу показывает кукиш, меняя порядок смертей (своей и Астафьева), вырисовывая на бланке загогулины смертного приговора гордецу-философу.

Только главное для Осоргина не это. Обреченный, болезненный следователь раньше всего интересен как частица соединенной слепой силы, принявшейся грызть, точить, расшатывать основы традиционного уклада.

Оборвались годичные циклы прилетов ласточки к дому старого орнитолога, вовсю пируют, уже не таясь ни от людей, ни от котов, подвальные грызуны, полнится скрипами катастрофически ветшающий особняк, тысячами косят людей возбудители тифа. Кажется, заскакали стрелки часов, всегда отмерявших равные дольки времени. Время сбилось с привычного темпа. Заторопились и биологические часы: человеку ли, безглагольной ли твари неким космическим декретом предписано пошевеливаться, быстрее проделывать путь от расцвета к распаду.

То ли поломка случилась в налаженном устройстве Жизни, то ли ее потоку настала пора поменять русло и обнаружили себя скрытые тектонические силы? Последними ответами на подобные вопросы искусство не располагает. Но задаваться ими — его прерогатива (а позабыв о них, говорит с нами не от себя — от руководящих инстанций, вдобавок дикторским деревянным голосом). О том напомнила нам возвращенная литература.

Да, она тоже слушает зовы и кличи политлидеров. А как иначе? Командные голоса принадлежат шуму времени, чью летучую субстанцию искусство выпутывает из разноголосицы, звуковых обвалов, подъемов, понижений, из шумов занятой собой Жизни. С нею оно ведет свой главный разговор и больше всего озабочено разгадкой ее секретов.

Даже платя дань, казалось бы, чистой социологии, вызывая к барьеру дознавателя-чекиста и вольного философа из «бывших», возвращенный художник М. Осоргин и тут отыскивает выход из политики в онтологию. Персонажи-антагонисты для него, помимо прочего,— подданные Жизни. И выясняется: заморыш чекист тратит остаток энергии, дабы устроить скорое погребение интеллигенту.

Если не почитать последними ни политические, ни психоаналитические мотивировки такой активности, то в чем же ее секрет? А уже упоминавшийся секрет поломки биологических часов — в чем? Вопросы из разряда безответных. Но ответы здесь и не важны. Важно раздвигающее порядок готовых объяснений усилие поэтической воли художника, перед которым не просто арена классовых битв — широкое поле Жизни.

По-иному складываются дела единомышленников осоргинского чекиста из образцовых произведений соцреализма.

Существуют эти персонажи в разгаданном, ясном мире, где любая кривизна или незавершенность смыслов грезит прямизной и последней точкой над «i». Мысль, едва уйдя со старта, встает как вкопанная: путь перегорожен набором готовых истин.

При виде фадеевского «железного гномика» Левинсона у иных особо бдительных ценителей изящного вытягивались лица: «Зачем же так принижать физический облик большевика?!» А Левинсон и впрямь мал ростом, рыж, тонкоголос, в боку у него стреляет. К чему бы это? Иное дело — чекист из романа «Сивцев Вражек». Впалая грудь стража революции — ценный дар нашему ортодоксу, готовая улика против писателя-эмигранта, который попытался принизить...

А мелкорослость и хвори фадеевского вожака-коммуниста? Тоже дар, но вручаемый не сразу, а в два приема — та самая окольчатость, или «кривизна», которая честно служит прямизне авторских мыслей о несгибаемой воле партийных вожаков. Одолевая скорби плоти, закаленный (хоть и некрасивый) лидер как раз и должен явить себя во всей красе. И у В. Вишневского в «Оптимистической трагедии» драматургическую остроту определяет исходный контраст внешней слабости и внутренней силы: обуздать взрывную анархическую стихию доверено хрупкой женщине. Комиссару. Итог, естественно,— в нашу пользу.

Подобные контрасты способны впечатлять, вызывая сопереживание, душевный подъем, но при том лишь условии, что

читатель ждет от искусства не приращения идей, а горячих доказательств известного, то есть новых похвал своему уму, который идеологическую премудрость насквозь постиг и вправе расслабиться.

Находясь внутри государственного миропонимания, художественной мысли крайне неудобно постигать мир: ее зовы, выношенные «зачем» и «к чему» горохом будут отскакивать от бетонного свода доктрин. Под сводами не много вариантов выбора. Один — решать прикладные задачи. Второй — распрямляться и бунтовать.

Взбунтовавшуюся литературу сегодня именуют возвращенной. Готова ли она встать в общий строй с книгами, по которым и детишек и членов СП обучали правилам соцреализма? Заглушить этот вопрос вряд ли можно даже при хоровом скандировании: «Не зачеркивайте творчество имярека!», «Не надо сталкивать лбами Платонова и бардов сплошной коллективизации!»

«Надо — не надо» — это из репертуара одного чеховского миротворца, унимавшего спорщиков: «Зачем портить хорошие отношения? Не надо». Отношения двух литератур — канонизированной и недавно обретенной — остро конфликтны. Причем дело никак не сводится к политическим разногласиям авторов. Эти разногласия — на виду. А есть подспудный уровень конфликта — спор исходных творческих установок.

Зачем родилась на свет художественная мысль и высвобождается из младенческих пелен? Ответы полярны. В одном случае мысль от самого ее рождения — разгадчица неразгаданного, в другом — обработчица умов, государственная птица с железным клювом, долбящая читательское темя.

Призвание первой — раздвигать или приподнимать завесу тайны, основная забота второй — вбивать, втюкивать в головы набор доктрин. Призовите-ка первую и вторую к мирному сосуществованию!

Налаживая вахтерскую службу возле главных ценностей соцреализма, повторяя как заклинание «не перечеркивайте!» (хотя вряд ли кому-то придет в голову браковать всё без разбора), мы заодно консервируем и дефектный тип сознания, которое ничего не ищет, ибо все искомое нашло. Между тем груз накопленных (баловнями инстанций) навыков по сей день вяжет шаг искусства. И полнота его раскрепощения вряд ли достижима без трезвой оценки привитого литературе иждивенчества (духовного).

То есть к былым здравицам в честь идейно выдержанных авторов пора добавить толику горечи, занявшись дефектологией их утвердительной (и утвержденной) мысли.

При нынешнем «листопаде наоборот» (вспомним еще раз маканинскую картинку из повести «Голоса»), то есть возрождении некогда отринутой культуры, удержит ли «служилая» словесность прежние позиции? Сомнительно.

●

К 80-летию со дня рождения А. Т. Твардовского

«Нам решать вопросы литературной жизни»

ПИСЬМА А. ТВАРДОВСКОГО К. ФЕДИНУ

Уступая в объеме и биографических подробностях переписке с близкими друзьями — М. В. Исаковским, В. В. Овечкиным, Ив. Соколовым-Микитовым, письма А. Т. Твардовского к Константину Александровичу Федину являются не менее интересным свидетельством современника о литературной жизни шестидесятых годов, а в отношении событий, предшествовавших уходу Твардовского с поста редактора «Нового мира», существенны как документы, позволяющие восстановить ход событий. Такое содержание, например, имеет январское письмо 1968 года, вместившее болевые вопросы «текущего момента», имена участников событий, отличия их подхода к проблеме, точку зрения Твардовского и суть той поддержки, получить которую от К. А. Федина он надеялся. Январское письмо — отражение судьбы не только Солженицына, но и самого Твардовского.

К. А. Федин (1892—1977) был многолетним несменяемым членом редколлегии «Нового мира» (1941—1977). Приходили и уходили редакторы журнала: В. Щербина, К. Симонов (дважды), А. Твардовский (дважды), В. Косолапов, С. Наровчатов — К. А. Федин устойчиво сохранял свое членство в новомирской редколлегии. Такая роль и доныне держится в журналистике на авторитете и блеске литературного имени, как бы передающего свой отблеск тому печатному органу, в котором оно значится. Нельзя утверждать, что это имя сдается в некую «аренду». И что касается К. А. Федина, минимальные обязанности поначалу на него налагались. Однако с течением времени, обретением новых званий, различных творческих и нетворческих обязательств К. А. Федин от участия в работе «Нового мира» устранился и ничего, кроме своего имени, в журнал не вносил. Если у Твардовского в каком-то случае возникала надобность согласовать с К. А. Фединым спорный вопрос, он сам искал его и встречался с ним либо у него на даче в Переделкине, либо в Союзе писателей.

Нарастание отчуждения к журналу заметно уже по самой переписке. Еще заметнее просматривается оно по любопытной книге К. Воронкова, в свое время издавшего под видом личных дневниковых записей протоколы заседаний и решений Секретариата ССП[1].

Иначе проходила журнальная служба Твардовского. Разогрев его новомирской деятельности приходится на «второй заход». Чем глубже вникал он в работу, чем больше отдавал душевной энергии и опыта журналу, тем убежденнее верил в пользу, необходимость и незаменимость его для читателя и здорового климата в литературе. И такая вера была объяснима: у читателя журнал пользовался авторитетом, тираж издания из года в год повышался. И если первый уход из «Нового мира» в 1954 году стал случаем, отодвинутым в глубь памяти,

[1] К. Воронков. Страницы из дневника. 1950—1970. М., «Советская Россия», 1977.

затянувшимся «ряской времени», то отстаивание журнала в 60-е годы — во второй период редакторства — было затяжным, порою каждодневным и вовлекло в свой круг, помимо прямых сотрудников журнала, многих сочувствовавших ему современников. Не могла не коснуться эта борьба и члена редколлегии К. Федина.

То стихавшие, то вновь разгоравшиеся споры о публикациях и общей «линии» «Нового мира» оживляются и получают новую дозу горючего в связи с появлением в нем повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В предисловии к ней Твардовский писал: «Эта суровая повесть — еще один пример того, что нет таких участков или явлений действительности, которые были бы в наше время исключены из сферы советского художника и недоступны правдивому описанию. Все дело в том, какими возможностями располагает сам художник.

И еще один простой и поучительный вывод позволяет сделать эта повесть: истинно значительное содержание, верность большой жизненной правде, глубокая человечность в подходе к изображению даже самых трудных объектов не могут не призвать к жизни и соответствующей формы. В «Одном дне» она ярка и своеобразна в самой своей будничной обычности и внешней непритязательности, она менее всего озабочена самой собой и потому исполнена внутреннего достоинства и силы»[2].

Так акцентировал редактор журнала внимание читателя на произведении, обнажившем трагические реальности общества, которые литература, клявшаяся методом «социалистического реализма», до этих пор тщательно обходила.

Отношение Твардовского к Солженицыну определяется как отношение к таланту неслучайному, серьезному по самобытности, но отнюдь не исключительному. Называя имена В. Овечкина, С. Залыгина, Г. Бакланова, В. Тендрякова, Ч. Айтматова и ряд произведений, появившихся в «Новом мире», Твардовский тем самым напомнил о существовании целого пласта серьезной новаторской литературы, отмеченной остротой и критичностью зрения, реализмом понимания советской действительности. Интерес читателя к такой литературе заметно прибывал, но не вызывал сочувствия в аппарате СП и выше. Поэтому, когда пришла пора печатать новую вещь А. Солженицына — роман «Раковый корпус», не встретивший должного понимания при обсуждении на секретариате правления СП, Твардовский счел необходимым обратиться к Федину, в свое время сочувственно принявшему публикацию рассказа Солженицына. Но, как видно, одно дело похвалить рассказ, появление которого можно было объяснять остродефицитной для времени темой, другое дело — поддержать последующие, не менее мастерские рассказы, а теперь и роман, еще раз подтвердивший неслучайное появление автора в среде отечественных писателей.

Письмо Твардовского брало под защиту произведение Солженицына вне зависимости от оценки его начальством СП. Публикация романа должна была естественно влиться в приливную волну новомирской прозы, оттеснявшей стоячие воды усредненной литературы, регулярно заполнявшие страницы как столичной, так и краевой периодики.

Прямое обращение писателя к писателю интересно уже тем, что выясняет их позиции. Но важнее бывает почувствовать в таком монологе готовность пожертвовать личным спокойствием и интересом во имя общего дела литературы, порыв, который позволяет наиболее верно понять характер, личность писателя. История литературы знает многие факты, когда поступок или позиция писателя в общественно значимом деле много способствовали жизнестойкости его литературного наследия. Говорим ли мы о В. Г. Короленко, А. М. Горьком или гиганте Л. Н. Толстом, это так, и Федин много потерял как писатель, не поддержав творчества Солженицына и позиции Твардовского. Не ответив на январское письмо, Федин уклонился от объяснения своей роли в деле Солженицына. Однако она легко уясняется в ходе последующих событий: он примкнул к тому большинству на секретариате, которое, объявляя уклончивый вердикт в отношении публикации романа: «На усмотрение редакции»,— имело в виду последующий «дожим» и редакции, и автора.

[2] А. Твардовский. Вместо предисловия. «Новый мир», 1962, № 11.

Нельзя умолчать о вине К. Федина в истории с «Раковым корпусом» (и не в меньшей степени в отношении Твардовского), если вспомнить, что и место, и роль его в нашем представлении связывались с образом А. М. Горького, который обладал подлинным талантом отдавать себя людям и от которого сам Федин получил поддержку как литератор. Не захотел или не смог он пойти дорогой Горького — это отдельный вопрос, но пошел К. Федин на поводу аппарата СП. Угадывая такой оборот писательской судьбы, Твардовский однажды примерил ее на себе: «А нет,— на должность с твердой ставкой в Союз писателей пойду!» («За далью — даль»). Но не пошел.

Обратившись со своим обстоятельным письмом к руководителю писательской организации, Твардовский действовал не столько в интересах своего журнала и даже не столько в интересах автора романа, сколько в интересах развития советской художественной литературы. Но умудренные службисты СП повели «дело Солженицына» так, будто никакой литературной стороны в нем не существовало, а существовало, дескать, одно лишь недостойное, политически бестактное поведение автора, заслуживающее самого сурового осуждения. Как смел этот винтик, этот шуруп артачиться, выражать собственное мнение, если существует и действует такая отлаженная и совершенная машина, как аппарат СП?

Редактор «Нового мира» не просто переживал происходившее. Не одобряя форму протеста, «исторгнутую», как он отметил, постоянным и методичным давлением местной — Рязанской — писательской организации и столичного секретариата, он не забывает о содержании, т. е. сути «дела Солженицына» в целом. А суть эту он видел не в ужесточении остракизма автора, а в публикации его произведения в «Новом мире». Предложение это, не встретившее одобрения у противников Солженицына, лишь обострило их отношения с Твардовским.

Теперь, на расстоянии, легко увидеть ту отлаженную схему, по которой разделывались с писателями, переступавшими некую черту дозволенности, или с теми, чьи произведения, не принятые в журналах отечественных, появились в зарубежной печати.

Само собой установилось, что карающий меч осуждения обрушивался не на головы тех, кто тормозил публикации, лишал произведение жизни в читательской среде, а на головы сочинителей. Виновными оказывались авторы. И если в случае с «Доктором Живаго» было признание передачи романа зарубежному издательству и существование договорных обязательств сторон; если в случае с Солженицыным имелось лишь подозрение о передаче рукописи автором, но отнюдь не была доказана его «вина», то в случае с Твардовским вопрос об авторской вине не стоял. Безупречность правдивости Твардовского перед лицом партии была известна. Его заявление о неучастии в передаче поэмы иностранным издателям не вызывало сомнений. И тем не менее расследование обстоятельств пошло по той же схеме, что и «дело Солженицына». Суть ее сводилась к тому, что сторона, предъявившая обвинение, не предъявляла доказательств вины. Стороне, обвиняемой в негативном поступке, предстояло дать все доказательства своей невиновности.

Вот что записал Твардовский после первого разговора в секретариате по поводу появления за рубежом поэмы «По праву памяти» и на требование от него письма-осуждения произвола иностранных издательств. «...Сказал, повторил, в который раз! что мое выступление, не подкрепленное опубликованием поэмы, послужит только огласке сенсационного события, и скажут (у нас!), но где поэма, что за вещь? Двери с петель сорвут. Сейчас, уточняюсь внутренне и уверяюсь в очередном неотразимом аргументе: много чести отвечать «Посеву» и прочим, надо, если отвечать, а я и говорил, что не отказываюсь,— так отвечать граду и миру, т. е. советским читателям, читателям социалистических стран и нашим друзьям на Западе, но град и мир в один голос скажут: а где поэма?..» (3 февраля 1970 г.).

В тот же день, после встречи и объяснений с К. А. Фединым, Твардовский

делает еще одну запись: «Фединская жуть не поддается записи («коллектив», «отчленение от коллектива», необходимость ответить «им» и т. п.). Но основная идея — я, как Солженицын, та же модель: ультиматум, попытка поставить Союз <писателей> на колени и т. п. знакомое, с напоминанием, что «мы» исключали Солженицына и в коммюнике РСФСР[3] хорошо сказано, что ежели ему не угодно, так может отправляться туда, где его печатают и превозносят...» (3 февраля 1970 г.).

Но вот письмо — обращение «к граду и миру» — появилось в печати.

В редакцию «Литературной газеты»

На днях мне стало известно, что моя еще не опубликованная поэма «По праву памяти» абсолютно неизвестными мне путями и, разумеется, помимо моей воли, проникла за рубеж и напечатана в ряде западноевропейских изданий («Эспрессо», «Зюддойче цайтунг», «Фигаро литерер» и эмигрантском журнальчике «Посев») в неполном или искаженном виде.

Наглость этой акции, имеющей целью опорочить мое произведение, равна беспардонной лживости, с какой поэма снабжена провокационным заглавием «Над прахом Сталина» и широковещательным уведомлением о том, что она будто бы «запрещена» в Советском Союзе.

4 февраля 1970 г.

А. Твардовский

Что же дало это письмо, кроме оправдания самих чиновников, выдерживавших дух и форму отмежевания от дурного эпизода в жизни руководимой ими организации? После появления письма в «Литературной газете» руководители СП сразу сменили тон. Как будто не было обещания дать отрывок из поэмы с соответствующим комментарием. Теперь секретари СП Воронков и Марков в один голос заявляли: «Помилуйте, кто же будет обсуждать вещь, напечатанную в «Посеве»?» Такое непрямодушие, недостойное коммунистов, вызывало у Твардовского гнев и возмущение.

События между тем продолжали нестись в ускоренном темпе. 4 февраля Твардовский отправляет в писательскую организацию свое последнее заявление по поводу «укрепления» редколлегии «Нового мира», произведенного без его участия.

В секретариат правления Союза писателей СССР

Вчера тов. К. В. Воронков ознакомил меня с решением бюро Секретариата о назначении первым заместителем главного редактора журнала «Новый мир» т. Большова.

Не имею ничего против т. Большова по той простой причине, что совершенно не знаком с ним, в глаза его не видел и даже не знаю его имени-отчества, тем не менее считаю этот факт беспрецедентным ущемлением прав главного редактора, носящим по отношению ко мне оскорбительный характер, и не могу не рассматривать его как прямое понуждение меня к отставке, об этом я вчера заявил на словах т. Воронкову и сегодня заявляю в письменном виде.

Прошу секретариат правления Союза писателей снять мою подпись главного редактора на второй (февральской) книжке «Нового мира», так как не могу уже нести ответственность за содержание.

4 февраля 1970 г.

А. Твардовский

Закулисный способ переформирования редколлегии «Нового мира» был понят общественностью однозначно: как продуманная, умышленная акция, направленная на развал прочно сложившегося коллектива передового журнала. В первую очередь Г. Маркову был не нужен журнал (тем более что Г. Маркова он не

[3] Республиканской писательской организации.

печатал), который приносил много беспокойства, ничего не привнося в служебные заслуги Маркова. Но в какую же моральную апатию надо было впасть тому же К. А. Федину, чтобы не поднять свой голос против чиновничьего произвола?

Среди мотивов и сюжетов, предназначавшихся для будущей работы, записан Твардовским и такой:

Но только речь зайдн
О нашем брате-бюрократе,
Как бережны мы с ним:
— Ах, он так раним.
Он травмы не перенесет,
С ним нельзя формально.

В этих черновых строчках точно выражена главная тенденция времени застоя: отдать заботы и внимание не работнику-энтузиасту, не таланту, а служаке-чиновнику.

«Должность с твердой ставкой» не прибавила почета писателю К. Федину. Наоборот. Став послушным орудием в руках опытных службистов, создавших себе литературные репутации именно в служебных креслах, К. А. Федин много уронил в мнении своего читателя.

Дурно закончились и его отношения с Твардовским. За тот год, что был у Александра Трифоновича последним и прошел в тяжелой болезни, ни разу и никто из руководства писательской организации не позвонил по телефону, не справился о его здоровье, не предложил какую-либо хотя бы символическую помощь. Приезжали друзья, товарищи-писатели, читатели-новомирцы, многие пытались что-то сделать для А. Т., но для начальства СП смертельно больной человек оставался человеком смертельно враждебным.

Безнравственность и вредность операции, которой подвергнули «Новый мир» в январе — феврале 1970 г., признана и осуждена. А то, что остается пока неясным во всей этой истории, прояснят время и люди, дорожащие правдой.

М. И. ТВАРДОВСКАЯ

18 марта 1953 г.

Дорогой Константин Александрович!

Тронут Вашей обязательностью, которая вполне соответствует «научности» всего Вашего склада. Сердечное спасибо за присланные два тома «Сочинений»[4] и добрую надпись. Питаю надежду быть уведомленным относительно выхода в свет недостающих томов, хотя, конечно, Вы вправе считать, что мы квиты: два на два[5]. Но это уже было бы «ненаучно».

Крепко жму Вашу большую рабочую руку.

А. Твардовский[6]

31 августа 1953 г.

Дорогой Константин Александрович!

Спасибо за статейку И. А. Новикова[7], хотя, по правде, она жидковата. Мы все же ее напечатаем[8], если автор согласится с тем, о чем я пишу ему (прилагаю копийцу письма)[9].

Ваш А. Твардовский.

[4] Шеститомное собрание сочинений К. А. Федина, выходившее в Гослитиздате в 1952—1954 гг.

[5] Незадолго до письма Твардовский послал К. А. Федину свой двухтомник — «Стихотворения и поэмы» (М., Гослитиздат, 1951).

[6] Письма А. Т. Твардовского к К. А. Федину печатаются по копиям из архива А. Т. Твардовского.

[7] Иван Алексеевич Новиков (1877—1959) — писатель, автор трилогии о Пушкине, публикаций о Тургеневе, Чехове, Толстом. Печатался в «Новом мире». Ему принадлежит рецензия на цикл стихов Твардовского, появившихся в «Красной нови» (1938, № 5), написанная им по заказу А. А. Фадеева (опубликована в том же номере). Как вспоминал А. Твардовский, Фадеев намеревался сам написать о стихах про деда Данилу и других, но что-то ему помешало.

[8] Очерк И. Новикова «У Толстых» опубликован в «Новом мире» (1953, № 9).

[9] Копия письма Твардовского И. А. Новикову:

Дорогой Иван Алексеевич!

Статью Вашу можно печатать, хотя, откровенно говоря, она очень, очень мало добавляет к тому многому, что написано его современниками, равными и младшими.

Но ценность ее в том, что это еще одно свидетельство о Толстом современника, которому еще довелось видеть Толстого живого.

31 августа 1953 г.[10]

Дорогой Константин Александрович!

Я редко беспокою Вас напоминаниями о том, что Вы член редколлегии «Нового мира», делаю это только в случаях крайней необходимости. Таким случаем является новая большая работа М. М. Пришвина, решать судьбу которой я просто не могу без Вашего совета.

Что я о ней думаю?

Это очень, очень хорошо написанная, в смысле, так сказать, голого письма, вещь. Все, что касается елок, мхов, лесных троп, рек, зорь, тетеревов и т. п.— все превосходно, лучше быть не может. Здесь автор, несмотря на свои 80 лет, идет уверенно и безошибочно, подобно слепому, знающему свою привычную дорогу до последнего камешка на ней. Только некоторая замедленность его продвижения дает понять, что идет все же незрячий. Но как только дело поворачивается в сторону философскую, в сторону содержания, смысла повествования, тут бог весть что начинается. Ума не приложу, о какой «правде истинной» идет речь в книге, на чем основан этот пафос правдоискательства, который так ли сяк пронизывает все произведение. Ну, допустим, тут можно спорить, толковать это дело так и так, но что делать с наивнейшими натяжками, неправдоподобнейшими «допущениями» в сюжете, в реальной основе книги? Раненый, получающий задание (от кого?) найти сказочную Корабельную рощу, потребную для нужд войны, и т. п. Ведь эти вещи прежде всего приведут в недоумение и раздражение читателя, который, как известно, не так охоч до тонкостей описания природы и глубокомысленных сентенций, как охоч до дела, действия, «истории» прежде всего. Кстати уж скажу, что во всей книге автор прямо-таки фатально избегает действия, событийности. Запань, медведь, гроза в лесу и т. д. все подано так, что вот-вот пойдет самое интересное, глядишь — то и опускается, опять философия лесных примет и прочее.

Словом, дорогой Константин Александрович, я прошу Вас поскорее прочесть рукопись и дать свое заключение[11]. Высказанное мною в основном и главном сходится с мнением С. С.[12] и других товарищей, прочевших рукопись. Но без Вас мы в данном случае не можем поставить точку.

Ваш А. Твардовский.

М<осква>, 23 октября 1953 г.

Дорогой Константин Александрович!

Я только что прочел Ваше письмо относительно книги Пришвина,— я в отпуску, в редакции бываю редко, а сегодня его (письмо) мне прислали домой.

Я очень, очень рад, что Вы так активно поддержали наши в основном общие намерения печатать Пришвина, хотя, как Вы знаете из моего письма к Вам, я и не целиком разделяю Ваше восторженное отношение к «повести-сказке». Впрочем, охотно допускаю, что Вы тут больше меня рассмотрели, взяв Пришвина в целом, во всем объеме его своеобычной сущности. Во всяком случае, читатель будет признателен нам за это «русское чтение», которое мы ему дадим, за дух поэзии, населяющий эту книгу, за прелесть описательных и повествовательных страниц.

Теперь вот еще что. Вы упоминаете свои давние романы в таком тоне, будто мы их читали, знаем, а ведь, простите меня, это не очень ловко в соотношении с Толстым. Если можно, снимите это место.

Еще хорошо бы заменить заглавие — оно несколько претенциозно. Может быть, лучше что-нибудь вроде: «У Толстого», «День у Толстого» и т. п.

А по письму, как всегда у Вас, Иван Алексеевич, это очень славно написано, и читатель прочтет эти странички с удовольствием и признательностью.

Ваш А. Твардовский (ЦГАЛИ. Ф. 1702, ед. хр. 4).

[10] По «новомирской копии» (ЦГАЛИ. Ф. 1702, ед. хр. 8).

[11] Судя по тому, что «Корабельная роща» М. Пришвина не сразу появилась на страницах «Нового мира», замечания, предложенные редакцией, были автором учтены.

[12] Сергей Сергеевич Смирнов (1915—1977) — автор известной документальной эпопеи «Брестская крепость», заместитель главного редактора «Нового мира».

В редакции сейчас идет работа по освобождению текста от ни-в-какие-ворота не лезущих философических сентенций, от «хитрости», как Вы говорите. А я уж прочту еще раз в верстке.

Большое Вам спасибо за прекрасную рецензию[13]. Опять приходится пожалеть, что ее нельзя напечатать, поскольку — «внутренняя». А вот бы этой «внутренней» побольше нашим рецензиям, попадающим на страницы печати.

Желаю всего Вам самого доброго, крепко жму руку.

Ваш А. Твардовский.

М<осква>, 3 февраля 1954 г.

Дорогой Константин Александрович!

Направляю Вам главу «Далей»[14], предназначенную для № 3 «Нового мира». Кроме Вас, ее не читал еще Шолохов, которому я одновременно направляю аутентичный (научность!) экземпляр.

Будьте, как всегда, добрым и обязательным, дорогой Константин Александрович, и сообщите поскорее Ваше мнение о стихах. В данном случае принцип коллегиальности должен быть соблюден абсолютно.

Крепко жму руку, желаю доброго здоровья и настроения.

Ваш А. Твардовский.

14 мая 1954 г.

Дорогой Константин Александрович!

Мы созываем редколлегию по вопросу о редакционной статье в № 6, который ждет этой статьи. Имеется два варианта[15] редакционного выступления:

1. «Навстречу 2-му Съезду писателей» и
2. «По поводу некоторых критических выступлений».

Редколлегия должна будет избрать один из этих проектов и внести необходимые поправки на месте.

Если никак не сможете быть, не откажите дать свое письменное заключение по предложенному вопросу.

Редколлегия — в понедельник, 17 мая.

А. Твардовский.

26 сентября 1958 г.

Дорогой Константин Александрович!

От Ивана Сергеевича узнал о Вашем возвращении из Германии, а то — ни слуху, ни духу, как в воду Вы канули. Обращаюсь к Вам с одной-единственной просьбой: сообщите письмишком или по телефону, как дела с романом. Можно ли рассчитывать на первую книжку в 59 году? По крайней мере сообщите заглавие этой части трилогии, чтобы указать в проспекте[16], имея в виду хотя бы первую половину года. Второй моей просьбой будет просьба принять участие в одном заседании редколлегии, когда будем смотреть план 59 г.— такое заседа-

---

[13] Рецензия К. Федина в архиве «Нового мира» не обнаружена. Повесть-сказка «Корабельная роща» печаталась с предварявшим ее уведомлением (без подписи) о кончине М. М. Пришвина.

[14] А. Твардовский. «За далью — даль» («Новый мир», 1954, № 3). Фрагмент о Сталине не имел собственного заглавия, печатался со сноской на предыдущую — прошлогоднюю — публикацию начала поэмы («Новый мир», 1953, № 8).

Тема сталинской главы претерпела капитальные переделки, совпадавшие с периодами исторических переосмыслений роли личности Сталина в истории страны. Впервые опубликованная после смерти Сталина и посвященная ему глава (1954) передавала испытанное страной чувство утраты вождя.

Сообщенные с трибуны XX съезда партии факты о роли Сталина в утверждении и упрочении в стране беззакония и репрессий, обескровивших многие народы, сгубивших лучших и наиболее талантливых представителей многих национальностей, побудили автора вернуться к своей работе и дополнить главу новым пониманием этой личности. Глава, получившая название «Так это было», впервые напечатана в газете «Правда» (1960, 29 апреля); затем в журнале «Новый мир» (1960, № 5).

[15] Оба варианта были забракованы цензурой. Печатание статей не состоялось. А вскоре Твардовский был снят с поста главного редактора. Вернулся он на эту должность в 1958 году.

[16] В проспекте на 1959 год редакция «Нового мира» указала роман К. Федина «Костер» (часть 3-я трилогии). Появился он на страницах журнала лишь в 1961 г.

ние без академиков[17] проводить просто невозможно,— там опять можете забыть о нас и чувствовать единственную обязанность перед журналом — роман.

Желаю Вам доброго здоровья и настроения.

Ваш А. Твардовский.

3 октября 1958 г.

Дорогой Константин Александрович!

Большая просьба ознакомиться с этим проспектом[18] и отвести или добавить какое-нибудь имя, если явится такое желание. В случае внесения таких изменений поставьте, пожалуйста, редакцию в известность незамедлительно. Если же ничего не будет изменено в тексте, то можно и не писать ничего.

Будьте здоровы и веселы.

Ваш А. Твардовский.

8 октября 1958 г.

Дорогой Константин Александрович!

Кроме Вас, некому нынче в нашей литературе сделать это достойнейшее и благородное дело — написать совсем небольшую статью для «Нового мира» в необязательной, вполне вольной форме о завершении издания «Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого» как огромном событии отечественной и мировой культуры.

Ни одного слова «агитации», навязывания, уговаривания не употребляю,— решите сами, вправе ли Вы отказаться от выполнения этой задачи и будете ли Вы спать спокойно, если уклонитесь от нее[19].

Дас ист аллес.

Ваш А. Твардовский.

6 ноября 1958 г.

Дорогой Константин Александрович!

Направляю Вам рукопись Казакевича, намечаемую для первой книги 1959 г. Чтение ее не займет у Вас много времени, да и автор стоющий. Не откажите дать хотя бы в немногих строках Ваше заключение.

С праздником Вас.

Ваш А. Твардовский.

---

[17] К. А. Федин был избран в действительные члены Академии наук СССР 20 июня 1958 г.

[18] Сопроводительная записка к проспекту «Нового мира» на 1959 год, опубликованному в № 11 за 1958 г.

[19] Статьи о завершении 90-томного собрания сочинений Л. Н Толстого К. А. Федин не писал. Редакция отметила такое важное событие в культурной жизни страны рядом статей литературоведческого и мемуарного характера (Э. Зайденшнур, А. Шифман и др.).

В тот же день, т. е. одновременно с письмом К. А. Федину, в Ленинград высылается «объяснение» Твардовского литературоведу Б. М. Эйхенбауму по поводу того же толстовского издания:

«Я очень рад, что на мою телеграмму Вы отозвались согласием сотрудничать в «Новом мире» в 59 году и сердечно благодарю Вас, тем более что «инцидент» со статьей Вашей о Толстом не мог, конечно, не оставить известного осадка у Вас на душе. Я очень сожалею об этом, но так уж случилось, что в обстановке первых недель работы в журнале у меня самого как-то не дошли руки до этой статьи. Мне было известно, что она «не на тему», то есть не о завершении полного собрания сочинений Л. Н. Толстого как событии мировой культуры, а на лишь связанную с выходом этого издания тему. Конечно, это моя, а не кого-нибудь из редакции, вина, но в этой горячке, которая происходила тогда в редакции в связи с необходимостью «выйти на орбиту», т. е. ликвидировать ужасное отставание журнала с выходом,— это далеко не единственное мое упущение» (8 октября 1958 г.).

Удалось найти и письмо Б. М. Эйхенбаума на телеграмму А. Т. и получить разъяснение мельком упомянутого «инцидента». Вот что ответил Эйхенбаум 2 октября 1958 г. А. Т.:

«...Прежде всего должен признаться, что Ваша телеграмма меня обрадовала. История с моей статьей о 90-томном издании Толстого, написанной по заказу «Нового мира», принятой с похвалами, а затем (в связи с переменами в редколлегии) возвращенной мне назад, показалась мне странной... За последнее время я узнал, что Вы этой статьи не читали... Я пал, очевидно, жертвой «междуцарствия»...»

В действительности же Твардовский принял на себя вину конкретного лица — работника редакции,— вернувшего столь нужную для журнала статью.

24 ноября 1958 г.

Дорогой Константин Александрович!

Еще одна просьба к Вам, кажется совсем необременительная.

Нам стало известно Ваше письмо к С. С. Виноградской[20] по поводу ее книги. Это небольшое письмо — идеальная рецензия, все существенное сказано, никакого размазюкивания, словом, мы, то есть я и Александр Григорьевич[21], считаем, что можно печатать просто так, без каких-либо дополнений или изменений, если только Вы разрешите напечатать и разрешите снять эпистолярное обрамление (обращение и самая концовка).

Но, может быть, Вы захотите добавить что-нибудь, развить, как говорится, то это было бы еще лучше, все дело в том, чтобы получить от Вас заметку немедленно — сегодня, крайнее дело — завтра. Не отказывайте нам, дорогой Константин Александрович, мы не склоняем Вас на дурное дело.

Дайте, пожалуйста, ответ с подателем сего письма.

А что с Казакевичем?

Ваш А. Твардовский.

26 ноября 1958 г.

Дорогой Константин Александрович!

Не просто «всякое даяние благо», а очень хорошо, если дадите «Письма из редакции» в этом тематическом подборе. Гнать Вас — боже упаси; когда дадите — тотчас и пошлем в набор, но, конечно, чем скорее, тем лучше.

На Казакевича черкните хотя бы пару строк (на него уже много рецензий, только Вашей нет). О первой книжке 59-го года речь уже не идет, но случай таков, что редколлегия должна высказаться вся по возможности[22].

Спасибо за добрый отклик.

Будьте здоровы и веселы.

Ваш А. Твардовский.

14 июля 1960 г.

Милый, дорогой Константин Александрович!

Узнал вчера о Вашем возвращении из Барвихинского узилища[23] и спешу приветствовать. Очень, очень рад, что Вы, как говорят, чувствуете себя много лучше, чем до заточения.

---

[20] Речь идет о книге Софьи Семеновны Виноградской «Первые годы», вышедшей в издательстве «Советская Россия» в 1958 г. Письмо-рецензия К. А. Федина на эту книгу вошло в его статью «К образу Ленина в литературе», напечатанную в «Новом мире» (1959, № 4) под рубрикой «Письма из редакции».

[21] Дементьев Александр Григорьевич (1904—1986), литературный критик; в то время заместитель главного редактора «Нового мира».

[22] История подготовки к печати рукописи Эм. Казакевича «Ленин в Разливе» (первоначальное название повести «Синяя тетрадь») занимает последующие 1959-й и 1960-й годы и потребовала, помимо переписки и неоднократных встреч автора и редактора, еще и консультаций с ИМЭЛ.

Обсуждались не только претензии «Нового мира» к Эм. Казакевичу, но и требования исторической достоверности, предъявляемые рецензентами ИМЭЛ. Повесть побывала в руках не только у всех членов редколлегии, ее читали и обсуждали и те, кто сам занимался ленинской темой (например, Е. Драбкина, печатавшая в «Новом мире» собственные произведения о В. И. Ленине).

На основании этих отзывов-рецензий, суммированных на редколлегии журнала, было составлено письмо автору о желательных исправлениях в его повести. Помимо Твардовского, письмо подписали члены редколлегии: А. Г. Дементьев, Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, В. Г. Закс. Судя по отсутствию подписи К. Федина, письменного отзыва от него не последовало.

Оставалось убрать последние — цензурные — рогатки, когда у автора вконец истощилось терпение: он забирает свою вещь и передает ее журналу «Октябрь». Повесть, уже отредактированную в «Новом мире», напечатал Ф. Панферов.

В одном из своих выступлений (1967 г.) А. Т. объяснял такие случаи как эмоциональный срыв: «Автор принес вещь. Ему предъявили претензии. Он негодует: «Вы хотите меня изуродовать! Я забираю рукопись». Забирает. Переходит через дорогу, идет в другую редакцию. Печатает там. Посмотришь, а все, что мы ему говорили,— учтено».

Появление повести «Синяя тетрадь» «Новый мир» отметил положительной рецензией В. Сурвилло (1981, № 10).

[23] Из нелюбви к лечению А. Т. называл «узилищами» больницы и санатории, в том ряду и «Барвиху».

Слышал о том (от Ивана Сергеевича[24], которого все собираюсь и сам навестить), что Вы собираетесь в «лесную сторожку»[25]. Может быть, там и встретимся,— беспокоить Вас своим посещением в Переделкинском Монрепо[26] не хочу.

Выполняя просьбу одного из моих корреспондентов[27] (к которому я, конечно, присоединяюсь, но опять же не хочу Вас тревожить), посылаю Вам выписку из его письма ко мне.

До скорой встречи —

Ваш А. Твардовский.

20 сентября 1960 г.
Ялта, санаторий «Нижняя Ореанда».

Дорогой Константин Александрович!

Из телефонного разговора с А. Салынским[28] узнал, что Вы все еще спасаетесь в Карачарове, где он, однако, Вас достиг и под болезненным впечатлением вчера прочитанного в «Правде»[29] еще одного куска романа — болезненным в смысле опасения — останется ли хоть один абзац девственный к концу, пишу Вам на этом бланке[30], который сам по себе заменяет все формы моих напоминаний и просьб.

Бог с ним со всем, Константин Александрович, но умоляю перебелить на машинке все написанное (и напечатанное) и дать нам — пусть без конца, без точки, ибо, если мы не откроем первую книгу 1961 года «Костром», я должен буду подать в отставку, а Вы должны будете подыскивать редактора (вместе с Салынсим).

Словом, не мыслю себе Вашего возвращения без рукописи (не позднее конца октября!) для первой книги. Дай Вам бог здоровья!

К концу этого месяца я буду в Москве — у штурвала. Отзовитесь!

Ваш А. Твардовский.

29 февраля 1962 г. М<осква>

Многоуважаемый и дорогой
Константин Александрович!

Провинился я перед Вами страшно. Может быть, это даже смешно, но я действительно перенес в памяти своей день торжества Вашего[31] с 24 февраля на 25 февраля, когда схватился за голову, но делать уже было нечего, а главное, было стыдно. Однако рано или поздно нужно виниться,— винюсь и питаю надежду, что хоть со временем буду прощен.

Поздравляю Вас сердечнейшим образом.

Одно меня утешает, что положение спас Н. С. Тихонов, которого я считал по всем данным (возраст, ленинградская память и т. д.) наилучшим председателем Вашего вечера.

Ваш А. Твардовский.

---

[24] Иван Сергеевич Соколов-Микитов (1892—1975)—писатель, с которым Твардовский поддерживал добрые отношения длительное время — вплоть до болезни, лишившей его возможности общения.

Твардовский питал симпатию не только к творчеству И. Соколова-Микитова (особенно к ранней, деревенской его части), но и к личности самого писателя, его характеру, натуре. Уравновешенность и умудренность, выработанные не столько от книги, сколько от жизни; доскональное чувство природы и неизменная любовь к ней; порядочность в отношениях с людьми, само понятие которой, казалось, столько потеряло в своем значении даже в литературной среде,— все это было понято, по достоинству оценено Твардовским и стало основой их взаимоотношений. С полным правом отношения эти можно назвать дружбой двух поколений.

[25] Карачарово — дача, где Соколов-Микитов проводил летние месяцы.

[26] Ироническое, заимствованное у Салтыкова-Щедрина обозначение загородного жилья. Оно применялось и к собственному «покою».

[27] Выписка из читательского письма (ЦГАЛИ. Ф. 1702, ед. хр. 40):

«...Теперь хочу просить Вас, как главного редактора журнала, обязательно постараться напечатать в этом году на страницах Вашего журнала «Костер» К. А. Федина. Жить мне осталось немного, а очень хочется прочесть конец этой трилогии. Передайте, пожалуйста, об этом К. А. Федину. Уважьте просьбу старого человека.

Извините за беспокойство. С уважением С. Грузинский».

[28] Салынский Афанасий Дмитриевич (р. 1920) — драматург, работал в то время в аппарате Союза писателей, председателем правления которого был К. А. Федин.

[29] А. Т. имеет в виду номер газеты от 18 сентября 1960 г., где была опубликована еще одна глава романа К. Федина «Костер».

[30] Подлинник письма написан на бланке редактора «Нового мира».

[31] В письме речь идет о вечере, отмечавшем 70-летие К. А. Федина.

22 ноября 1963 г.

Дорогой К. А.!

Волю Вашу, конечно, выполним — в № 12 будет помещено Ваше письмо к читателям[32]. Однако я не считаю, что это крайне необходимо в смысле защиты редакции перед читателями-подписчиками, но некий — «добрым молодцам» (авторам) — урок здесь будет полезен. Кроме того, дано будет понять, что наши обещания в проспектах не с потолка, а имеют под собой серьезную основу — обязательства авторов. Словом — быть посему. Самое главное, поправляйтесь и приезжайте — пусть не с готовой рукописью, так с готовностью засесть за нее дома.

Будьте здоровы, крепко жму Вашу рабочую руку.

Ваш А. Твардовский.

Дорогой Константин Александрович!

Пишу Вам после нашего — какого уже счетом — собеседования в Секретариате по вопросу, связанному с «Письмом»[33] А. И. Солженицына.

Это не докладная записка Первому секретарю Правления Союза писателей СССР, хотя я отнюдь не хочу в данном случае отделять глубоко мною уважаемого писателя К. А. Федина от его должностей и званий. Но я попытаюсь обойтись без всяких условностей формы и говорить с Вами напрямую, как если бы мы говорили с глазу на глаз — по образцу наших бесед под барвихинскими кущами, или у Вас на даче, или еще где-нибудь.

Начну с главного: о ком и о чем, в сущности, идет речь, когда мы касаемся этого до сих пор не решенного «солженицынского» вопроса, который питает неумолкающие и никак не сказать, чтобы выгодные для руководства Союза писателей толки и перетолки, в литературных — и не только литературных — кругах.

Вряд ли кто возразит против того факта, что фигура А. И. Солженицына с особой резкостью вычерчивается на общем литературном фоне, что этот писатель вызывает к себе особо горячие симпатии — с одной и особо жесткую неприязнь — с другой стороны. Не будем покамест спорить, какая сторона преобладает, просто отметим самый факт, свидетельствующий по крайней мере об очевидной незаурядности этой фигуры.

Действительно, необычность литературной судьбы А. И. Солженицына, между прочим, и в том, что он дебютировал в зрелом возрасте и вполне зрелым, самостоятельным мастером. «Литературное чудо» — так озаглавил свою рецензию на рукопись «Ивана Денисовича» К. И. Чуковский[34], многоопытный старец, которого, как говорится, на мякину не приманишь.

Покойный С. Я. Маршак[35], чьи суждения были так авторитетны в литературном мире, поместил в «Правде» статью об «этой правдивой, полной веры в

---

[32] В декабрьской книжке «Нового мира» напечатано письмо К. А. Федина следующего содержания:

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Считаю своим долгом принести извинения перед читателями «Нового мира», что не мог в истекшем году предоставить второй книги своего романа «Костер» для напечатания в журнале. О таком же извинении я должен просить и редакцию журнала, по согласованию со мной обещавшую подписчикам опубликовать роман в 1963 г. Этот год, по не зависящим от меня причинам и — прежде всего — из-за моего нездоровья, сложился весьма неблагоприятно для моей работы над «Костром». Я хотел бы своим письмом отвести от журнала нарекания и взять ответ за неопубликование романа на одного себя.

Ноябрь 1963 г. Конст. ФЕДИН.

[33] За несколько дней до открытия IV Съезда советских писателей (22—27 мая 1967) Солженицын отправил в его адрес письмо с пометкой: «Вместо выступления», одновременно разослав его копию в количестве 250 экземпляров в областные, краевые, в том числе национальные организации СП. Помимо собственных писательских трудностей, он изложил в письме два вопроса — общих для литературной жизни СП. 1. О цензуре, которая по своей недостаточной компетентности, отсутствию художественного вкуса, а нередко и простой неграмотности искажает или запрещает талантливые произведения; 2. О защите авторских и иных прав писателя, рассматриваемых с точки зрения самого же Устава Союза писателей, где они в числе других пунктов значатся, но практически не применяются.

Несомненно, эти два пункта имел в виду Твардовский, говоря, что он «подписался бы под ними обеими руками».

[34] Твардовский имел в виду так называемую «внутреннюю рецензию» — отзыв о рукописи по заказу редакции. Как сообщила Е. К. Чуковская, отзыв этот в печати не появлялся.

[35] С. Я. Маршак. Правдивая повесть. «Правда», 1964, 30 января.

жизнь книге». К. М. Симонов[36] в «Известиях» приветствовал появление в литературе нового замечательного таланта.

Нет надобности перечислять всех более или менее маститых, своих и зарубежных, тепло или восторженно встретивших первую повесть нового писателя, назову два имени: Ваше, Константин Александрович, и М. А. Шолохова. Ваша высокая оценка рукописи, поступившей в «Новый мир» от безвестного автора, сыграла свою роль в ее судьбе: ставя вопрос об опубликовании ее, я особо ссылался на Вас в своем письме на имя тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева («Иван Денисович», как известно, был напечатан «с ведома и одобрения ЦК КПСС»).

М. А. Шолохов в свое время также с большим одобрением отозвался об «Иване Денисовиче» и просил меня передать поцелуй автору повести.

Из представителей более молодого и более многочисленного поколения писателей, пришедших в литературу из окопов Отечественной войны, назову Г. Бакланова, строки из статьи которого запомнились мне: «С выходом в свет повести А. Солженицына стало ясно, что писать так, как мы до сих пор писали, нельзя». В этих словах, разумеется, нет никакого «зачеркивания» всей советской литературы известного периода,— но они отражали не только личное настроение этого писателя.

Кстати, отдавая все должное Солженицыну, я не считаю его явлением таким уж исключительным и беспрецедентным в нашей литературе. Нельзя, например, забывать, каким смелым, поворотного значения литературным фактом были «Районные будни» В. Овечкина, появившиеся в «Новом мире» еще в 1952 году. Свежестью и остротой жизненного материала выделялись повести В. Тендрякова «Не ко двору» и «Тугой узел». Новым, углубленным подходом к военной теме отличалась «Пядь земли» того же Г. Бакланова. Многие страницы мемуаров И. Эренбурга, может быть, впервые в нашей литературе касались таких фактов прошлого, о которых принято было умалчивать. Можно было бы, конечно, привести и другие примеры. Не мне напоминать, но было бы «самоуничижением паче гордости», если бы я не имел в виду, что некоторые главы «Далей» и «Теркин на том свете» (в первой редакции не увидевший света) были известны задолго до Солженицына. Но сейчас я лишь напоминаю, какое большое впечатление произвела первая повесть Солженицына как таковая.

Были, правда, и совсем иные отклики на выступление Солженицына в литературе, относившие огромный успех его лишь к «сенсационности лагерного материала»,— один из руководителей Союза писателей говорил, что «через три — пять месяцев об этой повестушке забудут». Однако так не получилось. В короткий срок «повестушка» принесла автору ее необычайную и все возрастающую популярность в стране и за рубежом, имя его,— хотим мы этого или не хотим,— приобрело мировую известность, как имя одного из крупнейших писателей современности,— у меня есть основания утверждать это, и мне не возразит никто из товарищей, более моего бывавших за границей или следивших за иностранной прессой. Между тем, например, повесть Б. Дьякова[37], написанная на том же «сенсационном материале», что и повесть Солженицына, действительно уже не занимает внимания ни читателей, ни писателей,— ее как бы и не было.

Нельзя, Константин Александрович, уклоняться от того очевидного факта, что Солженицын — с его «Иваном Денисовичем» — это не частный случай литературной жизни, хотя бы и примечательный как явление редкого художественного дара. Это тот случай, когда небольшое по объему и как бы непритязательное по своим задачам произведение делает в литературе погоду, влечет за собой далеко идущие последствия. Русская классическая литература знает такие примеры,— мне незачем называть их Вам. И в данном случае мы имеем не что иное как факт благотворного воздействия на нынешнее развитие литературы,— чему бы надо только радоваться,— солженицынского образца.

Я утверждаю, что такие, наиболее значительные по идейно-художественным данным произведения последних лет, как повести С. Залыгина «На Иртыше» и

[36] К. М. Симонов. О прошлом во имя будущего. «Литературная газета», 1962, 18 ноября.

[37] Б. А. Дьяков — автор документальной повести «Пережитое» («Звезда», 1963, № 3).

«Соленая падь», как роман Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары», во многом обязаны прозе Солженицына. Тут речи нет о подражательности, а лишь о развитии на ином материале и своими средствами того же принципа правдивости, который не боится жизненных сложностей, но идет на смелое до конца раскрытие их — и достигает, таким образом, уровня художественного мастерства и силы воздействия на читателя, несоизмеримых с «односезонной» беллетристикой, приглаживающей и обедняющей действительность по очередной заданной схеме. Мне уже приходилось говорить, и я повторяю здесь, что самый объективный анализ названных произведений мог бы только подтвердить эти наблюдения человека, подписывавшего в печать рукописи и Солженицына, и Залыгина, и Айтматова.

Когда я говорил выше о резком различии отношения к Солженицыну в литературной среде, я не хочу неприязнь и даже какое-то недоброе раздражение к нему отнести только за счет завистничества, впрочем, неизбежного в любой среде искусства, при столь большом и непредусмотренном успехе коллеги. Суть дела здесь в том, что известная часть литераторов предпочитала бы вопреки тому, что говорил Г. Бакланов, писать по-старому,— так оно легче и привычнее. Но и эти люди, желающие писать по-прежнему, не могут не видеть, что читать по-прежнему их уже не хотят,— не хотят даже те из читателей, которые в своих высказываниях способны поддержать самую неприязненную критику Солженицына. Словом, очень он осложнил литературную жизнь, этот вдруг появившийся на свете писатель.

Надеюсь не быть понятым так, что я принимаю Солженицына «целиком без изъяна» и вижу в нем идеальное совершенство художника, недоступного никакой критике, не имеющего никаких слабостей. Но об этом мы всегда успеем поговорить.

Самое важное сейчас и неотложное — понять, что он занимает нас уже не просто сам по себе,— как бы высоко ни оценивался он сам по себе,— а потому, что волею многосложных обстоятельств он находится в **перекрестии** двух противоположных тенденций общественного сознания и нашей литературы, устремленных либо **туда**, назад, либо **сюда**, вперед — в соответствии с необратимостью исторического процесса.

Так обстоит дело, и что именно так, а не иначе, ближайшим и нагляднейшим образом подтверждается многомесячным прохождением у нас «дела Солженицына», как уже само собой обозначается для краткости содержание длинного ряда узких, расширенных и широких заседаний в Секретариате.

Характер этого «прохождения», надо сказать прямо, не делает чести ни Секретариату, ни кому бы то ни было, от кого, как выражается один чеховский персонаж, «это будет зависеть».

Первая беда, определившая непродуктивность и несостоятельность этого «прохождения», в том, что все внимание, возмущение и осуждение обращены на «поступок» Солженицына, на форму его обращения со своим «Письмом» к делегатам съезда писателей. Форма действительно заслуживает осуждения,— здесь я согласен со всеми. Но как бы ни была дурна форма, нельзя же из-за этого начисто исключать содержание, точно его и нет вовсе. Оно есть, оно четко и пунктуально представлено в «Письме», и я не помню даже попыток опровергнуть хотя бы один из его пунктов, объявить их ложными, надуманными, своекорыстными, идущими во вред советской литературе и т. п. Почему? По той простой причине, что они в основе своей неопровержимы, и что касается лично меня, то я бы подписался под ними обеими руками. И Вы знаете, что я в этом смысле не исключение, хотя до сих пор не писал и не подписывал никаких «документов» по поводу «Письма», считая, что все связанные с ним вопросы следует решать в нормальном порядке коллективного обсуждения на Секретариате. Вы также знаете, что я неоднократно высказывался,— и здесь, в Секретариате, это зафиксировано, и в ЦК в Вашем присутствии,— например, по вопросу о цензуре, да и о том, что касается личной судьбы Солженицына, пожалуй, даже резче, чем он.

Не ясно ли, что принять какое-либо решение по «Письму», имея в виду лишь его «форму», а «содержание» считая как бы несуществующим, или по

крайней мере несущественным, невозможно, ибо оно существует и оно существенно. Так ведь, Константин Александрович?

Другая беда — это безнадежные попытки «закрытым» способом решить вопрос, приобретший огромное общественно-политическое звучание, заслонивший собой пустопорожнее, за немногими исключениями, словоговорение на съезде писателей, получивший международную огласку и вызывавший не утихающие до сих пор горячие «прения» в литературной среде, и много шире того. Но решить этот, как его уже называют, «вопрос вопросов» сегодняшней деятельности Союза писателей и вообще дальнейшей литературной жизни путем келейного «волхвования» над ним нельзя. И налицо — попросту топтание на месте, безрезультатные наши пререкания в закрытом помещении и удручающая молчанка вовне, невозможность заключить: что же все-таки думает руководство Союза писателей, с чем оно способно выйти на трибуну к большой аудитории или на страницы печати, чтобы, наконец, «закрыть дело»?

Выходит, что Солженицын со своими претензиями к Союзу писателей готов в любой час выступить в любой аудитории или в печати, а Союз писателей со своим осуждением и отвержением этих претензий — не может сделать ничего подобного, конечно же, потому, что не может рассчитывать на открытое одобрение или сочувствие ни читателей, ни писателей. Так или не так, Константин Александрович? Именно так, и это ужасно.

И до крайности огорчает позиция, занятая Вами в последнее время в отношении всего этого «дела». Вы говорите: пусть, мол, Солженицын сперва даст отповедь «Западу», поднявшему в связи с его «Письмом» «разнузданную антисоветскую шумиху» в печати и по радио. В противном случае не печатать его «Раковый корпус», не издавать книгу рассказов (изданную, кстати сказать, и переизданную не только во многих буржуазных странах, но и во всех социалистических), не ограждать члена Союза писателей А. И. Солженицына от получивших широкое распространение клеветнических измышлений насчет его биографии. Иными словами, не только оставить без внимания все, о чем взывает «Письмо», но и предать самого Солженицына политическому остракизму, несмотря на никем не оспариваемую — ни в одном пункте — сущность его «крика души». Слышать от Вас, Константин Александрович, крупнейшего русского писателя, друга А. М. Горького и продолжателя его традиций в руководстве литературой, слова этого Вашего предложения представляется странным и непонятным. Не можете же Вы попросту присоединиться к предложению М. А. Шолохова, без обиняков высказанному в его письме: «не допускать Солженицына к перу». Это было бы особенно печально после известных литературно-политических выступлений автора «Тихого Дона», которыми он так уронил себя в глазах своих читателей и почитателей. И вообще грустно, что Федин с Шолоховым в этом деле, вместо того чтобы показать пример достойного, чуждого мелким ведомственным соображениям художнического отношения к художнику, склоняются к позиции таких товарищей из Секретариата, чья неприязнь к Солженицыну понятна и неудивительна.

Прежде всего, настойчиво выдвигаемое Вами требование к Солженицыну, чтобы он «высказал свое отношение», «дал отповедь» и т. п. как непременного условия его дальнейшей литературной и гражданской жизни, странно слышать от Вас, потому что оно явно зовет туда, принадлежит давно осужденной и отвергнутой практике известного рода: «признай», «отмежуйся», «подпишись» и т. п. Такие «признания» и «отмежевания», подобные недавно получившим место на страницах «Литгазеты» за подписями Г. Серебряковой[38] и А. Вознесенского[39] и др., приносят нам огромный вред, порождая представления о писателях как

---

[38] Г. Серебрякова опротестовала появление на Западе ее «незаконченного, недоработанного» романа «Смерч», «тайно и воровски вывезенного» и изданного во Франции. (См. Г. Серебрякова. Еще раз «о свободе творчества». «Литературная газета», 1967, 27 декабря).

[39] Очевидно, Твардовский имеет в виду письмо, направленное А. Вознесенским в московские писательские организации СССР и РСФСР и не предназначенное в печать. Не раскрывая содержания письма, «Литературная газета» выразила укор автору в том, что он не удосужился «ответить на выпады буржуазной пропаганды», использовавшей письмо в печати (См. «Литературная газета», 1967, 6 сентября. «Письмо А. Вознесенскому». Без подписи).

людях неразборчивых в морально-этическом смысле, лишенных чувства собственного достоинства или всецело зависящих от «указаний» и «требований», что, впрочем, одно и то же. Неужели Вы думаете, что такие «покаяния» идут на пользу Союзу писателей, укрепляют его авторитет? Не могу в это поверить.

Продолжая настаивать, что Солженицын должен «заклеймить Запад», «отмежеваться» от «заграницы» и т. п., мы пропускаем мимо ушей недвусмысленное заявление Солженицына на расширенном заседании Секретариата по этому поводу:

«Здесь употребляют слово «заграница» как какую-то важную инстанцию, чьим мнением очень дорожат. Я никакой заграницы не видел, не знаю, и жизненного времени у меня нет — узнавать ее. Я не понимаю, как можно так чувствительно считаться с заграницей, а не со своей страной, с ее живым общественным мнением. Под моими подошвами всю мою жизнь — земля отечества, только ее боль я слышу, только о ней пишу».

Нельзя также не принять во внимание, что Солженицыну, как художнику, совершенно чужды литературные соблазны современного Запада и его никак нельзя упрекнуть стремлением в той или иной форме «потрафить» Западу.

Но — далее. Мне предлагалось «употребить свое влияние на Солженицына» в том смысле, чтобы склонить его к выступлению против «западных» комментаторов его «Письма». Во-первых, не следует преувеличивать меру моего влияния на него, он вовсе не является «подшефным» мне «молодым автором»,— в этом году ему, между прочим, исполняется 50,— словом, он сам-с-усам, как говорится. Во-вторых, нельзя упускать из виду, что «западные комментаторы» и в данном случае разные. «Отповедь», предназначенная для врагов и злопыхателей советской литературы и советской страны, не может быть отнесена к нашим друзьям за рубежом, выступающим по поводу «Письма» Солженицына, скажем, на страницах коммунистической печати. Что мы тут можем потребовать от Солженицына? Чтобы он заодно «заклеймил» и тех и этих комментаторов его «Письма»?

Но в последнее время в развитие принципа «закрытости» решения «вопроса вопросов» речь уже идет не о выступлении Солженицына в печати, а лишь о том, чтобы он «выразил свое отношение» к «западу» письмом в Секретариат, т. е. так, что сам тот «запад» и знать ничего не узнает,— письмо лишь будет приобщено к «делу» и, таким образом, удовлетворит членов Секретариата, даже настроенных наиболее непримиримо, и откроется возможность печатать роман Солженицына, издавать книгу его рассказов и отвести возводимую на него клевету.

Подумать только, что разрешение всего «солженицынского комплекса» зависит от одной этой негласной «бумаги»! Вот до чего дожили: «бумага» объемом в одну-две страницы для нас, писателей, важнее готового к печати романа в 700 страниц, который стал бы по убеждению большинства знающих его в рукописи украшением и гордостью нашей литературы сегодня,— «бумага» важнее судьбы писателя, замечательный талант которого не оспаривают даже самые ярые его противники!

О «Раковом корпусе», между прочим, мне хочется сказать запомнившимися мне словами одной старой, но мудрой книги: «Если книга возвышает душу, вселяя в нее мужество и благородные порывы, судите ее только по этим чувствам: она превосходна и создана рукой мастера».

Именно так. Могу только добавить: искренняя уверенность Солженицына, что он сам излечился от раковой болезни, сообщает его книге поистине возвышающий душу и жизнеутверждающий тон, несмотря на то, что в ней идет речь о столь противопоказанном искусству предмете ее, составляющем, может быть, самую мрачную, после угрозы атомной войны, угрозу человечеству. Любители выискивать «подтексты» и «символы» почему-то не заметили полного светлой и мужественной символичности финала книги — выхода героя из «ракового корпуса» больницы в чудный весенний день и совпадения этого выхода в жизнь с благотворными переменами в ней, происходившими еще до XX съезда партии.

«Мое внутреннее душевное состояние,— пишет мне Солженицын в последнем письме,— мне дороже судьбы моих вещей...»

И я думаю, Константин Александрович, что, по существу, мы даже более заинтересованы в опубликовании этого романа, чем автор. Дело не только в том, что столь значительное произведение попросту преступно утаивать от широчайших кругов читателей, успевших полюбить Солженицына, и что роман уже распространился, может быть, в тысячах списков среди наиболее дотошных читателей. Но роман, как мне известно из достоверных источников, на днях может выйти в свет (если уже не вышел) во Франции и готовится к печати в Италии. Этими внешними обстоятельствами нельзя пренебрегать, не хватает нам еще повторения истории с Пастернаком! — но и внутренние не менее серьезны. Роман, задержанный сейчас в стадии набора первых восьми глав, предназначавшихся для январской книжки «Нового мира», становится во главе целой очереди задержанных (хотя никем не запрещенных) таких крупных и ценных произведений, как «Сто суток войны» К. Симонова, роман А. Бека «Новое назначение», работа Е. Драбкиной, посвященная последним годам жизни В. И. Ленина, «Зимний перевал»,— перечень можно было бы еще продолжить.

Опубликование «Ракового корпуса», которое само по себе явилось бы событием литературной жизни, рассосало бы образовавшуюся из задержанных рукописей «пробку», как это бывает на дороге, когда головная машина тронется. Это было бы бесспорным благом для советской литературы на нынешнем ее, скажу прямо, кризисном, весьма невеселом этапе, разрядило бы атмосферу глухой «молчанки», тяжелых недоумений, неясности, бездейственного ожидания...

И все это теперь зависит целиком от Вас, Константин Александрович,— только от Вас, потому что Секретариат, конечно же, поддержал бы Вас, если бы Вы, хоть со всеми необходимыми оговорками, сказали бы по вопросу об опубликовании только те слова, которые, собственно, уже были сказаны на Секретариате при обсуждении «Ракового корпуса»: «**на усмотрение** редакции «Нового мира». Иначе говоря, я призываю Вас вернуться к тому проекту «коммюнике», который, по Вашему предложению, был мною написан, Вами отредактирован и тем самым одобрен, но вдруг заменен Вашей нынешней постановкой вопроса. Документ этот находится в «деле Солженицына», не буду приводить его целиком, и без того затянул, хотя, может быть, не сказал и десятой доли того, что можно и нужно было бы сказать.

Но вот мои тогдашние конкретные предложения, осуществление которых и сейчас еще, по-моему, могло бы послужить на пользу делу, к несомненным нашим выгодам во всех смыслах:

1. Немедленно опубликовать в «Литгазете» отрывок из «Ракового корпуса» со сноской: «полностью печатается в «Новом мире»;

2. Поручить издательству «Советский писатель» подготовить сборник Солженицына к печати, с предисловием, освещающим, между прочим, биографию автора;

3. Опубликовать это предисловие в «Литгазете» или «Лит. России» с соответствующей сноской.

Ответственность, какую Вы, Константин Александрович, нынче берете на себя во всем этом деле, имеющем такие болезненные симптомы на будущее нашей литературы, очень велика, и не думаю, что она Вам легка. Не думаю, что с легкой душой Вы будете дописывать и отделывать заключительные страницы Вашего «Костра», имея прямое касательство к погребению в нетях законченной вещи как-никак товарища по перу, писателя, к судьбе которого обращены симпатии огромной массы читателей и чье присутствие в нашей литературе сегодня, вообще говоря, трудно переоценить.

Популярность Солженицына, основанная на его опубликованных вещах, теперь необычайно возрастает по ознакомлении довольно широких читательских кругов с его неопубликованными произведениями. Винить в этом автора, как Вы знаете, невозможно. И трудно сказать, каков уже рукописный тираж того же «Ракового корпуса» или «Круга первого», романа вообще незавершенного.

Следует также учесть, что рукопись книги неопубликованной в известных случаях привлекает более острый интерес, чем отпечатанная книга, да и нет гарантии, что в рукопись не вносится чего-нибудь постороннего авторскому тексту.

Дорогой Константин Александрович!

Я вовсе не так наивно самонадеян, чтобы предполагать, что Вы, вняв моим «увещаниям», вдруг прослезитесь и измените свою точку зрения на «дело Солженицына» и примете иное, чем нынешнее, решение. Но я не сомневаюсь, что Вы должны будете это сделать просто по велению надвинувшихся обстоятельств: нужда заставит калачи есть.

«А что я могу сделать?» — возразили Вы мне как-то на мой упрек в неправомерности и заведомой невыполнимости Ваших требований к Солженицыну. Это было на заседании, где мы сидели рядом, и я не помню, что я тогда сказал, но эти Ваши слова запомнил: в них была растерянность, недовольство собой и всеми нами.

А делать можно только одно: поступать согласно собственному разуму и совести. Не могу же я предположить, что Вы несете бремя внешних воздействий и понуждений. Слава богу, не те времена, чтобы только «перст указующий» решал специфические вопросы искусства и науки, оставляя втуне мнения и соображения людей, как говорится, хлеб приевших по этой специфической части. Какие мы ни есть — худые ли, хорошие — нам, не кому другому извне, решать вопросы литературной жизни. «Прямых указаний», по нынешнему времени, ждать не приходится,— их не будет, и это благо, о котором нам в иные времена и не мечталось, и мы должны пользоваться этим благом, откинув опасения, но не освобождая себя от ответственности.

Неизвестно, вообще говоря, что опаснее — принять ли решение, которое может оказаться ошибочным, или не принимать никакого решения из опасения ошибки. В военном деле предпочитается решение, даже ошибочное, нерешительному выжиданию. А в нашем деле, право же, на худой конец, лучше ошибиться, **разрешая**, чем избежать (будто бы избежать!) ошибки, **запрещая**.

В нынешней ситуации, я считаю, для Вас реальная двуединая опасность в том, чтобы скрепить своим именем стыдное решение или не менее стыдное нерешение по «делу Солженицына».

Кроме того, уж совсем между нами говоря, Вам не хуже, чем мне, известно, что мировая история литературы не знает примеров, когда гонения или нападки на талант, с чьей бы то ни было стороны, даже со стороны таланта же,— увенчались успехом.

Я знаю Вас, Константин Александрович, как писателя с моей ранней юности, когда впервые прочел Ваш «Трансвааль» (кстати, не помню, чтобы Вы письменно или изустно каялись, когда где-то в конце 20-х годов Вас обвиняли за эту вещь в «апологии кулачества» и т. п.).

Уже добрых три десятилетия, как я лично знаком с Вами. Я много наслышан о Вас от покойного С. Я. Маршака и других, знавших Вас по Ленинграду,— в том духе, что Федин — человек чести, человек, способный в любую минуту встать на защиту правого дела, придти на помощь товарищу.

Я сам имел возможность убедиться в этом, когда в труднейшей для меня ситуации 1954 г. Вы нашли добрые слова в мою пользу, сказанные Вами «на самом верху» и переданные мне участниками того памятного заседания.

И вот теперь я вынужден говорить Вам слова жесткие, может быть, обидные для Вас, да уже и говаривал при последних наших встречах по этому самому «делу». Но признайте, что собака, которая лает, не кусается. Я человек прямой, может быть, нередко без достаточной выдержки и себе во вред. Но я не способен наносить рассчитанные удары исподтишка, я чуждаюсь тех интриг и плутней, которые у нас принято называть «тактикой», «политикой» и т. п.

Резкость моих возражений Вам в последнюю нашу встречу, с участием Г. М. Маркова и К. В. Воронкова (кстати, мне казалось, что оба они с готовностью поддержали бы Вас, если бы Вы вернулись к повторенным здесь конкретным предложениям),— резкость моя была вызвана непонятной для меня раздраженностью, с какой Вы говорили об А. И. Солженицыне.

Нельзя же так говорить об этом человеке и писателе, заплатившем за каждую свою страницу и строку, как никто из нас, судящих и рядящих сейчас — что с ним делать. Он прошел высшие испытания человеческого духа — войну, тюрьму, смертельную болезнь. А теперь на него, после столь успешного вступления в литературу, свалились, может быть, не меньшие испытания, мягко выражаясь, внелитературных воздействий — негласного политического остракизма, прямой клеветы, запрещения упоминать его имя в печати и т. п. Чего стоит, по совести говоря, использование в целях обвинения найденной в его бумагах, изъятых «специальным» способом, его рукописной пьесы, написанной свыше 20 лет назад, в лагерном аду, бесфамильным арестантом Щ-232, а не членом Союза писателей СССР А. Солженицыным, и размноженной для ознакомления с ней как якобы самоновейшим произведением писателя!

Да, я осуждаю форму его «Письма», но, по-человечески, и здесь не могу бросить в него камень, понимая степень отчаяния, понудившего его на этот шаг.

Третьего дня от стола, за которым я сидел над этим письмом, меня отвлек телефонный звонок из Гослитиздата: «В статье о Маршаке, помещенной в пятом томе Вашего собрания сочинений, есть упоминание фамилии Солженицына. Мы имеем указание» и т. д.

Я, разумеется, отказался исключить это упоминание, хотя бы это угрожало мне невыходом пятого тома. Но что это такое творится на белом свете!

Кончаю свое послание, как уже сказал, без особых упований на благоприятный практический его результат. Может быть, в нем что-нибудь не так и не все в равной мере бесспорно. Но написать его было для меня делом долга и совести.

Не рассчитываю я и на Ваш ответ, зная, что Вам недосуг, да и не в ответе мне нынче дело: ответа, т. е. решения, ждет уже столько месяцев «дело» А. И. Солженицына.

Надо кончать с этим делом, дорогой Константин Александрович.

С неизменным уважением и самыми добрыми пожеланиями

7—15 января 1968. Ваш А. Твардовский.

Дорогой Константин Александрович!

В первых числах июля прошлого года я посетил Вас на даче в связи с запрещением цензурой моей поэмы «По праву памяти», известной Вам и предназначавшейся для очередной книжки «Нового мира». Поэма была запрещена без каких бы то ни было предложений о поправках или купюрах, более того, без всяких мотивировок со стороны цензуры.

Я обратился к Вам с просьбой поставить этот вопрос на Секретариате и обсудить поэму по примеру того, как были обсуждены заключительные главы моих «Далей», в свое время также задержанные цензурой.

Вы не только выразили согласие, но в специальном письме К. В. Воронкову из санатория «Барвиха» подтвердили, что не видите препятствий к обсуждению поэмы на Секретариате, за что я был и остаюсь Вам очень признателен.

Однако поэма за весь этот срок не была обсуждена и вопрос о ней оставался открытым.

Между тем за истекшие полгода сложились обстоятельства, заставляющие меня вновь обратиться к Вам с той же просьбой — обсудить эту мою новую вещь на Секретариате.

За этот срок я, хоть и не имел, как сказано, никаких конкретных претензий к поэме со стороны цензуры, продолжал работать над ней, и, с одобрения членов редколлегии «Нового мира», ныне она снова набрана и может быть представлена на рассмотрение Секретариата в более совершенном, на мой взгляд, виде.

В самое же последнее время мне стало известно о появившихся за рубежом публикациях поэмы с оповещением, что она «запрещена в Советском Союзе». Это, естественно, не могло меня не встревожить чрезвычайно и не возмутить, как угроза моему доброму имени советского литератора.

Я вновь прошу Вас, дорогой Константин Александрович, безотлагательно внести этот вопрос на обсуждение Секретариата.

Я не сомневаюсь, что из этого обсуждения моей поэмы,— при всех возможных критических замечаниях и пожеланиях,— будет сделан вывод о необходимости ее незамедлительного опубликования в нашей печати.

С уважением —

А. Твардовский.

19.1.70 г. Пахра [40].

[40] После предыдущего и этого письма начинается, собственно, постижение Твардовским подлинной личности писателя Федина, о чем свидетельствуют последовавшие февральские записи А. Т., которые я процитировала в предисловии, и наше подлинное понимание характера работы Секретариата.

Полгода пролежало заявление поэта и неоднократного лауреата литературных премий с просьбой обсудить его новую вещь — ответа автор не получил. Когда же появилась опасность руководящим репутациям — как меняется темп событий, как оживляется работа Секретариата: вот это и есть подлинный стиль деятельности бюрократического аппарата. И невольно приходит мысль о том, что не обсуждения поэмы хотели в СП, а появления ее за рубежом, чтобы расстаться с Твардовским и его редколлегией.

Публикация и комментарии М. И. ТВАРДОВСКОЙ

Наследство

•

Лариса Румарчук. Башня удачи. Рассказы и повести. М., «Современник», 1987. **Дом в Хабаровске.** Повести и рассказы. М., Советский писатель, 1988.

•

У Ларисы Румарчук за последние десять лет вышли четыре книги: одна — стихов («Осеннее купанье». М., Советский писатель, 1983) и три — прозы (кроме поименованных выше — «Единственное лето». М., Советский писатель, 1979). Книги самобытные, личностные... И ни звука в обзорно-критических отделах журналов и газет. Нужно обладать большим мужеством, всецело довериться водительству своего дара, чтобы невзирая на столь молчаливый прием продолжать главное занятие своей жизни.

Первый сборник стихов Румарчук, опубликованный «Молодой гвардией» в середине шестидесятых, тоже назывался «Дом», правда, без всякого подчиненного слова. В одноименном стихотворении дощатое, неказистое, прошитое мхом, крепко вбитое в землю жилище сопровождает хозяйку (она же, по тогдашней терминологии, лирическая героиня) на всех ее жизненных путях:

Но бедность и неприбранность кляня
(Как далеко от них я ни уеду),
Мой старый дом, пыхтя и семеня,
За мною отправляется по следу.
И я, о нем забывшая почти,
К другим огням привыкшая в разлуке,
Увижу вдруг, как отсвет от печи
Нежарко греет бабушкины руки.

Присягая на верность «дому», Румарчук вряд ли могла знать, что не только ее стихам, но и прозе суждено долго питаться соками ранних «домашних» впечатлений.

Ее «малая родина», подмосковный поселок, обладает завидной вместимостью, открыта ветрам былого и настоящего. Чудаковатые, плохо приспособленные к зигзагам жизни, но все же неунывающие, как-то выплывающие в болтанке времени и далеко не лучшего устройства бытия и быта люди обитают в этом поселке. Люди, как будто запрограммированные жесткими обстоятельствами на стандарт, но то и дело ошарашивающие кто поступком, кто движением души; люди с виду простецкие, но мучимые все теми же вечными вопросами.

Все громогласнее у нас речи о сочувствии чужому горю, о дефиците доброты; по ТВ женщина-бард поет на многомиллионную аудиторию «Храни, о Боже, стариков» — прямо парафраз былого государственного гимна. Но где же мы раньше были? Как будто не болели, не умирали у каждого отец, мать, родные, друзья, как будто не видели, что в больницах творится, какое безразличие к страждущим, какая неприбранная, будничная Смерть...

Румарчук скорбела об этом всегда и, наверное, больше, чем многие другие. О попранном в наших душах милосердии, которое мстит за себя, разрушая исподволь переступившего порог человечности,— маленький рассказ «Радости Матвея».

«Матвей ненавидел мать. Ненавидел за то, что она стара, безобразна, бестолкова. За то, что он вынужден тратить на нее субботний день. За то, что нужно возить ей еду, таскать воду из колодца, мыть ее в старом эмалированном тазу с выщербленными анютиными глазками на дне и даже выносить за ней горшки...»

«Радости Матвея» — притча о цепкости зла и одновременно чужеродности его нашей глубинной природе. Не потому ли, что злу неуютно в душе человека, оно спешит наворотить своих черных мыслей, если не черных дел, пока сила более мощная — часто через любовь или через страдание — не вытеснила его из, казалось бы, обжитого угла.

При поверхностном чтении к вещам сугубо бытовым можно отнести рассказ «Невидимая старуха». Вообще мертвящий суматошный быт оживает и как бы гармонизируется под пером Румарчук. Вот знакомая житейская ситуация. Сперва нудное ожидание собственного телефона в доме-новостройке. После его обретения — знакомство и даже дружба с теми соседями, кто телефонного отличия не удостоился, а именно с двумя заводчанками: Валей Большой и Валей Маленькой. Их невинное, симпатичное даже соперничество, их бойкие разговоры с обладательницей магнетического аппарата, напоминающие модернизированные частушечные дуэты... Но кого теперь удивишь тонкой репродукцией быта, музыкально верной передачей народной речи!

Чего же ради написан рассказ? Пойдем за фабулой: к проводу самовольно подключился «телефонный заяц» (телефоны-то не для всех! Их, как окуджавских пряников, тоже не хватает!) Невидимый. Неуловимый. Материализованный только в голосе. Старуха, клянчащая внимания у своего сына. Получающая взамен грубые, издевательские ответы... И все это вынуждена слушать законная хозяйка телефона.

Мы прошли только первые два пласта повествования. Сейчас коснемся глубины. Оказывается, героиню, неутомимого охотника за «зайцем», мучает совесть в отношении собственной матери. Такой легкой в молодости, такой трудной под старость. Была праздником жизни для дочери — стала суровой обузой. И вот ее нет, но и облегчения нет...

«И вдруг я догадалась. Не было никакой старухи. Потому-то ее и не могли обнаружить ни телефонистки, ни мастер связи, ни главный инженер...

И все-таки она была. Был этот вкрадчивый, жалующийся, прилипчивый голос. Но только он проник в мою трубку помимо АТС, минуя провода, из каких-то иных, не познанных наукой, неведомых нам сфер.

Как знак. Как весть из запредельного мира. Как предостережение. Как чья-то попытка достучаться до моего сердца. Как мамина мольба о помощи... голос, возникший неизвестно откуда и ушедший неизвестно куда.

А я не поняла.»

Есть, есть некоторый перебор со старухами. Особенно чувствуешь это, читая рассказ «Старость», где уже не сын, а внучка навещает девяностолетнюю хозяйку «прогнившей хибары», раздраженно ухаживает за ней, не обращая внимания на мольбы предпочитающей «гореть в геенне огненной», только не купаться бабки...

Что сказать в оправдание автора? Что все это правда, а правда превыше всего? Что старушечий хоровод имеет единую прародительницу — ту самую бабушку из стихотворения «Дом», чьи руки, помните, грел «нежаркий» отсвет от печи? Что художественный арсенал писательницы достаточно богат, чтобы рассказы о закате человеческой жизни не звучали самоповтором, а варьировали одну наболевшую тему? Что вопль о человечности, который Румарчук обращает не только вовне, но и внутрь себя, не может оглушить нас, таких скупых на сердоболие?

И все-таки радуешься, когда перед писательницей, скорее склонной копать вглубь, чем вширь, открываются новые объемы пространства и времени.

Повесть «Дом в Хабаровске» — это история семьи польского политкаторжанина, сосланного сто лет назад на Сахалин за участие в партии «Пролетариат». Основа и здесь автобиографическая: Румарчук рассказывает о своих предках. Но сколь тактично поступила она, выведя себя самое за скобки. То, что сама слышала ребенком, что почерпнула в специально предпринятом путешествии на Дальний Восток, передоверено герою — старшему научному сотруднику одного из центральных музеев Москвы, пишущему диссертацию о жизни политических ссыльных. Но много в нем от образа и подобия самого автора.

Этим я вовсе не хочу сказать, что книги Румарчук — зеркальные галереи, повторяющие на разные лады одно лицо, одну персону, «лирическую героиню». Несомненно одно: свой художественный мир писательница кроит строго из отпущенного ей от рождения материала (все идет в дело, ничто не пропадает!). И многочисленные персонажи, удачливые и неудачливые, альтруисты и эгоисты, мужчины и женщины, имеют общую с ней систему кровоснабжения. Все это придает повествованию особую достоверность и пронзительность, изнутри схватывает живым веществом рассыпанные на страницах книг жизненные обстоятельства, характеры, моменты времени.

Иван Бунин писал:

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.
Чем я богаче им, тем больше я поэт.

Это — не только о поэзии. Это — и о настоящей прозе.

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

Прекрасное языческое бормотание

•

Елена Шварц. Второе путешествие Лисы на северо-запад. «Аврора», 1988, № 12. **Стороны света.** Стихи. Л., Советский писатель, 1989.

•

Быль, уже ставшая анекдотом: в одном из многочисленных последних споров о «новой поэзии» прозвучала замечательная своей откровенностью фраза обиженного критика — «новых»-де неудобно цитировать... Что же, читатель, привыкший воспринимать стихи на уровне высказывания («чего написано»), действительно не имеет шансов полюбить современную поэзию, которая живет не строкой, не строфой, и даже — что относится непосредственно к Елене Шварц — не стихотворением, и даже — что относится непосредственно к сборнику «Стороны света» — не книгой, а неким «энергетическим бульоном», порождающим по мере кипения строки, строфы, стихи — и наконец-то издатели очнулись — книги.

Цитировать Шварц «кусочками» не то чтобы совсем невозможно, но весьма затруднительно; затруднительно то есть вычленить из ее текста какую-либо

законченную самостоятельную единицу, что являла б собой, скажем, афоризм или могла проиллюстрировать (поддержать, опровергнуть) ту или иную мысль.

Зазывали в кино ночью — «Бергмана
ленты!»,
А крутили из жизни твоей же моменты
По сто раз.

Вот, казалось бы, эпизод с четко очерченной ситуацией и явственно проступающей сквозь ситуацию психологией, но нет, с середины строки вламывается иная окраска, а дальнейшие ассоциации от бытовой психологии не оставляют и следа:

Кто же знал, что ночами кино
арендует ад?
Что, привязаны к стульям, покойники
в зале сидят?
Запрокинувши головы, смотрят назад.
Что сюда их приводят — как в баню
солдат?
Телеграмма Шарлотте: «Жду. Люблю.
Твой Марат».

Двусторонне-потусторонний оборот (кино арендует ад или ад — кино?) сменяется вещами сугубо бытовыми — вполне «нашими» солдатами и столь же реальными Шарлоттой и Маратом, разве что — из других времен... поразмыслить над соотнесенностью всего этого некогда — в следующей строке конкретика пропадает вовсе:

Скинула с себя семь шкур, восемь душ,
все одежды,
А девятую душу в груди отыскала —
Она кротким кротом в руке трепетала,
И, как бабке с метлой, голубой и
подснежной,
Я ей глазки проткнула, и она умирала.

Сказать о таком тексте что-либо внятное очень непросто, обычно отделываются уважительными фразами типа: «Поток замысловатых ассоциаций». Не такая, в общем-то, и глупая фраза, разве что малосодержательная, можно договориться, что она будет иметь смысл, если каждое слово в ней возвести как бы в третью степень, в куб... Ну откуда вот это: «девятая душа»? Очевидно, от седьмой шкуры, а шкура, возможно, от взаимоотношений Шарлотты с Маратом...— подобная обратная цепочка глупа и пуста, закон обратной силы не имеет; не стоит, конечно, стараться расшифровать, надо впасть в этот стих и существовать в его — музыке? шуме ли? — на тех же началах, что и Бергман с Маратом. Последнее — не для красного словца, любить поэзию Шварц можно, помоему, лишь ощутившись внутри нее, осознав себя в качестве ее персонажа. Такое ощущение рифмует для меня стихи Шварц со стихами Хлебникова и Введенского.

Потому, собственно, и невозможно цитировать «новых», что не только предмет речи «скачет», но и ритм, но и принципы рифмовки в пределах одного текста могут меняться по нескольку раз. Таково кипение суверенного мира Шварц — какие уж тут строгие ритмы! Структура стиха никогда почти не может быть точно определена,— она вся — изменчивость, вся — в движении.

Да и весь мир Елены Шварц — в бесконечном неостановимом движении (принцип современной поэзии, сформулированный, например, Бродским: «В новой жизни мгновению не говорят «постой»: остановившись, оно быстро идет насмарку»). Все у Шварц летит, плывет, перетекает одно в другое. Стоит приторомозить — «Кажется только вода неподвижным свеченьем, Страшно, как током, ударит теченье».

Новый Фауст не останавливает мгновение, новый Гамлет запускает череп в небеса:

Вот стою перед Богом в тоске
И свой череп держу я в дрожащей руке,—
Боже, что мне с ним делать?
В глазницы ли плюнуть?
Вино ли налить?
Или снова на шею надеть и носить?
И кидаю его — это легкое с виду ядро,
Он летит, грохоча, среди звезд, как ведро.

А, скажем, во «Втором путешествии Лисы» героиня, проделавшая долгий путь в «гиперборейский городок» Петербург на облаке аж из Китая, тут же рвется на прогулку — натурально, ничто не стоит здесь на месте... Другое дело, что Лиса имеет корыстный мотив (выманить И Циня из дому), но — все равно — в центре «Путешествия» — путешествие по городу, а не его мотивации.

Е. Шварц, собственно, дала формулу взгляда на свои стихи первыми же строчками сборника:

Мне нравятся стихи, что на трамвай
похожи:
звеня и дребезжа, они летят, и все же,

хоть косо, в стеклах их отражены
дворы, дворцы и слабый свет луны.

На скорости да при «косом» ракурсе и открывается перед нами такой мир, «где масоны выводят в ночи цыплят Из вареных вкрутую яиц, Но их шепот так слаб, так прозрачен наряд, Так безглазо сияние лиц...», где «идет острижена на плаху королева, Но чтоб замкнулся этот круг — Вперед затылком мчится дева И смотрит пристально на юг», где «дева, все грехи приявшая, Раздулась, как вампир в гробу. И я, свои в дорогу взявшая, Узелком вишу на ее горбу».

Предисловие к сборнику написано Александром Кушнером. Очень тепло оценивая творчество Шварц, Кушнер, однако, с подозрением относится к «невнятице, речевой и смысловой неразберихе». Признание весьма показательное: поэт, почитающий за оптимальный тип движения прогулку «вдоль Мойки» (что, конечно, по-своему замечательно и, собственно, делает Кушнера Кушнером, каким мы его знаем и любим), вряд ли обольстится шварцевским круговоротом разрывающихся, недоговоренных образов. Выделяет же автор предисловия «Кинфию» — цикл стихов из «римской поэтессы I в. до н. э.». Эти стихи на «трамвай не похожи», перед Шварц стоит вполне конкретная формальная задача: написать («перевести») стихи поэтессы, текстов которой не сохранилось, позиция автора строго фиксирована, и — ясно — выходят из-под пера «фиксированные» же, «жесткие», четкие стихи. Понятно, что и ритм здесь приручен — не борется сам с собой. «Ревут водостоки, сегодня никто — Ни вор, ни любовник из дому не выйдет, Тщетно в трактире напротив Мутных не гасят огней». Сделана «Кинфия» безусловно профессионально, но мне как читателю интересен все же мир «невнятицы», где все летит и несется, мир, называйте его «новым» или не называйте, но — другой реальности.

Я, впрочем, так часто повторяю «все летит», что закономерен вопрос: все — это что? Все — это ВСЕ.

Где этот монастырь — сказать пора —
Где пермские леса сплетаются
с Тюрингским лесом,
Где молятся Франциску, Серафиму,
Где служат вместе ламы, будды, бесы,
Где ангел и медведь не ходят мимо,
Где вороны всех кормят и пчела,—
Он был сегодня, будет и вчера.

Ангел и медведь, сад и садовник, Китай, Рим, Петербург, Черная речка, Илья и Моисей, Адам и Иона, Венеция и Юдифь, сегодня и вчера — все живет в этой реальности на равных правах, вступая в неожиданные связи и столь же неожиданно разрываясь, меняясь местами, совпадая и не совпадая... Это не соединение времен и культур (соединение предполагает изначальную разность) — это их единство; синкретика следующего витка после прохождения всех стадий дифференциации, здесь нет, скажем, приоритетности природы или человека, поскольку и природа, и культура, и человек, по определению, составляют органичное единство. Вот одна великолепная оговорка Кушнера: в стихотворении «Книга на окне» «...лежащая на подоконнике Библия переходит из царства духа в царство природы, как будто удочеряется ею, становится сама явлением природы, цветущим кустом, привлекающим пчел...»; оговорка в этом «как будто» — не «как будто» удочеряется и становится, а действительно становится.

И это не эстетство: природа действительно «окультурена», то есть уже освоена художественными средствами полностью, целиком, и теперь уже невозможно думать о саде, не вспоминая того садовника, в чьем облике... Собственно, эти рассуждения о единстве совсем не новы: читатель «Октября» мог встретить их в серьезной работе М. Эпштейна (1988, № 4). При всем отличии творчества Е. Шварц от творчества тех поэтов, о которых писал Эпштейн (О. Седакова, А. Парщиков и другие), есть у них общее, что и относит их к поэтам современным, и это общее — существование в мире, где Культура обратилась во вторую Природу или, если угодно, удвоила первую...

Стихи Е. Шварц для меня — да, невнятное, да, бормотание, невнятное языческое, но прекрасное бормотание одного из немногих пока поэтов нового единого мира, который, наверное, потребует и новой шкалы ценностей, и новой системы приоритетов, но пока...

Пока можно задохнуться музыкой (шумом ли?) первозданного слова, для рациональной оценки которого еще не выработан, по счастию, инструментарий.

И когда мы вживили в этот мрамор
лиловый,
Потемневший в дыханьи долгих веков,
Кровь живую, и жилы натужно багровы,
И нечистоты общих грехов,—

Там — высоко — в космической штольне
(пролетев через шар насквозь),
Там — Творец пожалеет очерненные
камень и кость.
Мрамор с грязью так срощены, слиты
любовно —
Разодрать их и Господу было б греховно,—
Может быть, и спасется все — тем, что
срослось.

Вячеслав КУРИЦЫН

г. *Свердловск*

Отклик

В журнале «Октябрь» № 12 за 1989 г. помещен **ОЧЕРК В. ХОДАСЕВИЧА «ГОРЬКИЙ»** (публикация В. Захарова). Считаю своим долгом, опираясь на документы, опровергнуть напраслину, возводимую автором на А. В. Луначарского.

Ходасевич пишет, что у Луначарского «однажды (?!) умер ребенок. Похоронить его по христианскому обряду Луначарский, как атеист, не мог, а просто зарыть трупик в земле все же (?!) казалось ему нехорошо. Чудак (?) додумался до того, что стал над мертвым младенцем читать стихи Бальмонта»...

Прервем цитату, чтобы напомнить об отрицательном отношении Анатолия Васильевича к творчеству Бальмонта, который, по его выражению, «...не силен, а только хорохорится...» (1919 г.). Никогда Бальмонт не был «поэтом Луначарского», тем более утешителем в великом горе — потере единственного сына. Но дело не в «байке» о Бальмонте. «Атеизм» Луначарского был философским, а не мещански-бытовым, препятствующим традициям «христианского обряда». Луначарский в 1902 г. венчался в Вологде, сохранились и документы, подтверждающие, что Горький по просьбе Луначарского был крестным отцом мальчика («Архив Горького», т. XIV, стр. 27, 41) (обряд крещения состоялся в феврале—марте 1908 г. на Капри).

Пойдем дальше: «Мария Федоровна Андреева подняла его (Луначарского.— **И. Л.**) на смех при всей честной компании. Произошла ссора... Противников помирили, но сам Горький мне говорил, что Луначарский навсегда возненавидел Марию Федоровну и именно по этой причине обошел ее при назначении заведующей Тео». («Тео» — театральный отдел Наркомпроса.)

Снова неправда. Прочитайте позднюю переписку М. Ф. Андреевой с А. В. Луначарским и Н. А. Луначарской-Розенель (опубликовано в сборнике «М. Ф. Андреева», М., Искусство, 1961), очерк Наталии Александровны «Женщина большой судьбы», дышащий любовью и уважением к Марии Федоровне.

Что же касается Тео, то этот отдел возглавлял сам Луначарский.

И последнее. Ходасевич «вспоминает», что «в один из самых последних дней июня», прочитав письмо Луначарского Горькому от 22 июня 1920 г., он-де сказал: «Осел», а Горький возразил: «Не осел, а сукин сын». Но... письма Луначарского от 22 июня просто не существует! А вот второго июля Горький писал Луначарскому («Архив Горького», т. XIV, стр. 91), адресуясь «Дорогой Анатолий Васильевич», а в постскриптуме с большой похвалой отозвался о его неоконченной пьесе «Освобожденный Дон Кихот». Могло ли быть написано такое теплое письмо через несколько дней после, как утверждается, некоей тяжкой обиды? И как ни убеждает Ходасевич читателя, что Горький лицемер, лжец и т. п.,— тут поверить в изложенное никак нельзя.

И. ЛУНАЧАРСКАЯ

Сдано в набор 11.01.90. Подписано к печати 29.01.90. А 06824. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 335 000 экз. Заказ № 1798. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 241-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.